

Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й  
М И Р

1965

5

---

1965

# ИЗВЕСТИЯ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLI

№ 5

Май, 1965 г.

---

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
И. КОНЕВ — Сорок пятый год. Страницы воспоминаний	3
КОНСТ. ФЕДИН — Костер, роман. Книга вторая «Час настал». Продолжение	61
М. СВЕТЛОВ — Из неопубликованного, стихи	90
В. ТЕНДРЯКОВ — Подёнка — век короткий, повесть	95
Л. ПАНТЕЛЕЕВ — Из ленинградских записей	142
ДЖЕЙМС БОЛДУИН — Утро да вечер, и вскоре..., рассказ. Перевела с английского Татьяна Иванова	171
<i>К 700-летию со дня рождения Данте Алигьери</i>	
ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ — Стихи о Каменной Даме. Перевел с итальянского И. Н. Голенищев-Кутузов	197
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
ЦЕЦИЛИЯ КИН — Блеск и нищета фашизма	204
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
Ф. БИРЮКОВ — Снова о Мелехове	236
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
Л. Лазарев. По приказу совести.— Ю. Буртин. Постижение жизни.— В. Жданов. Гипотезы и находки.— Р. Орлова. Знакомство с Апдайком.	251
<i>Политика и наука</i>	
В. Лакшин. Против догмы и фразы.— М. Гутин. Народная война.— А. Кондратов. Новое оружие атеиста.	266
КОРОТКО О КНИГАХ	274
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	280
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва



---

И. КОНЕВ,  
*Маршал Советского Союза*

★

## СОРОК ПЯТЫЙ ГОД

*Страницы воспоминаний*

### От Вислы до Одера

**Д**венадцатого января 1945 года войска Первого Украинского фронта, которым мне выпала честь командовать, приступили к проведению Висло-Одерской стратегической наступательной операции.

В этой крупнейшей операции бок о бок с Первым Украинским фронтом действовал Первый Белорусский фронт, которым командовал маршал Г. К. Жуков. Но я, вспоминая то время, естественно, буду сосредоточивать свое внимание на том, что находилось непосредственно в поле моего зрения, то есть на действиях Первого Украинского фронта.

Я назвал 12 января — день начала операции, — но для того, чтобы рассказать об этой операции действительно с самого начала, то есть с ее замысла и плана, мне придется вернуться на полтора месяца назад — к концу ноября 1944 года. В эти дни, будучи вызван в Москву, я привез туда план операции, разработанной командованием фронта, и лично докладывал его в Ставке Верховного Командования И. В. Сталину в присутствии членов Государственного комитета обороны.

Я хорошо помню, как подробно И. В. Сталин рассматривал план операции, причем особенное внимание он обратил на рельефно выраженный на карте Силезский промышленный район. По нашему плану удары войск шли в обход этого района, севернее его и южнее, ибо сам по себе этот промышленный район представлял огромное скопление промышленных предприятий, как правило, построенных из железобетона, шахт с мощным оборудованием, находящимся снаружи. Все это вместе взятое представляло очень большие препятствия для маневренных действий войск при наступлении на этот промышленный район с фронта.

Даже на карте масштабы Силезского района и его мощь были даны достаточно выразительно. Сталин — как я прекрасно понял, — специально обращая мое внимание на это обстоятельство, показал пальцем на карту, обвел этот промышленный район и сказал: «Золото».

Сказано это было так, что, в сущности, не требовало дальнейших комментариев.

Для меня как для командующего фронтом уже и без того было ясно, что вопрос об освобождении Домбровско-Силезского промышленного района надо решать по-особому — надо принять меры к предельно возможному сохранению промышленного потенциала, тем более что после освобождения эти исконно польские земли должны были отойти к

Польше. Но не скрою, что, когда Сталин с таким подчеркнутым значением поводил пальцем по этому району и сказал: «Золото», это придало мне дополнительный импульс для еще более внимательного и глубокого размышления над тем, как не только освободить, но и сохранить Домбровско-Силезский промышленный район.

Как эти мои тогдашние размышления реализовались впоследствии в ходе операции, я скажу позднее, но во всяком случае эта задача тогда дополнительно приковала к себе мое внимание.

План наш со стороны Ставки возражений не встретил и был целиком одобрен.

Имея утвержденный план операции, я, не теряя времени, вернулся на фронт, и мы приступили к подготовке.

Замысел заключался в том, чтобы создать сильную ударную группировку на западном берегу Вислы, на Сандомирском плацдарме, и прорвать с этого плацдарма хорошо организованную, прочную оборону противника на сорокадвухкилометровом фронте.

Пожалуй, здесь уместно будет сказать, что Сандомирский плацдарм вообще к тому времени был самым мощным плацдармом из всех захваченных нами на Висле; он имел по фронту около семидесяти пяти километров и до шестидесяти километров в глубину, так что давал нам возможность разместить для удара крупные силы.

Немцы, разумеется, понимали все будущее значение этого плацдарма для нас и на протяжении длительного времени всеми силами стремились нас с него спихнуть, вводя для этого весьма крупные силы.

То, что мы планировали с этого плацдарма прорыв шириной сразу до сорока километров, говорило о размахе задуманной операции. Такая большая первоначальная ширина прорыва имела для нас большое значение. Она позволяла сразу ввести в прорыв крупные силы и не испытывать с самого начала тех неприятностей на флангах, которые неизменно возникают при прорыве на более узком фронте.

Прорвав оборону немцев, войска нашего фронта должны были наступать в общем направлении на Бреслау (Вроцлав), вначале нанося мощный удар на Радом и Ченстохов, а частью сил — на Краков.

Операция должна была проводиться во взаимодействии с войсками Первого Белорусского фронта, наступавшего правее нас. Целью нашего взаимодействия было окружение и уничтожение кельце-радомской группировки противника, которая стояла перед стыком наших двух фронтов — перед правым флангом Первого Украинского фронта и левым флангом Первого Белорусского. Впоследствии предполагалось, перейдя довоенную германо-польскую границу, главными силами нашего фронта форсировать реку Одер, а войсками левого крыла фронта овладеть Силезским промышленным районом.

Все, кто работал над планом операции, разумеется, понимали, что перед войсками Первого Украинского фронта стоят большие оперативно-стратегические задачи. Но мы располагали для решения этих задач весьма значительными силами и возможностями. В составе фронта к этому времени насчитывалось, если говорить о боевой технике и вооружении: 3240 танков и самоходок, более 17 тысяч орудий и минометов и 2580 самолетов. Мощь была большая, и фронт, располагая этой мощью, способен был решить ту крупную оперативно-стратегическую задачу, которая перед ним стояла.

В дальнейшем мне неоднократно придется говорить о действиях тех или иных входивших в состав фронта армий и отдельных корпусов. Но, рискуя обременить читателя достаточно длинным перечнем, я все же думаю, что следует сразу дать представление о масштабах фронта и перечислить войска, входившие в его состав.

К началу Висло-Одерской операции в состав фронта входило восемь общевойсковых армий: 5-я гвардейская генерал-полковника А. С. Жадова, 21-я генерал-полковника Д. Н. Гусева, 52-я генерал-полковника К. А. Коротеева, 60-я генерал-полковника П. А. Курочкина, 13-я генерал-полковника Н. П. Пухова, 59-я генерал-лейтенанта И. Т. Коровникова, 3-я гвардейская генерал-полковника В. Н. Гордова, 6-я генерал-лейтенанта В. А. Глуздовского; две танковые армии: 3-я гвардейская генерал-полковника П. С. Рыбалко и 4-я генерал-полковника Д. Д. Лелюшенко; 2-я воздушная армия генерал-полковника С. А. Красовского, 4-й, 7-й, 31-й и 25-й отдельные танковые механизированные корпуса, 1-й кавалерийский корпус, артиллерийские корпуса прорыва, несколько артиллерийских дивизий прорыва и целый ряд других соединений, которые трудно перечислить здесь, но многие из которых я буду вспоминать дальше, по ходу развития событий.

У всех нас было стремление наилучшим образом подготовить и провести эту операцию. Мы стремились использовать для этого весь опыт, накопленный командованием и штабами в предыдущих наступательных операциях.

Готовя операцию, люди, работавшие над ней в штабе фронта и в штабах армий, соединений, вложили очень много труда и энергии в то, чтобы творчески осмыслить опыт, полученный на полях сражений, чтобы вложить в подготовку операции, а впоследствии — в ее проведение все то новое, что накопилось за последнее время, все то лучшее, чего мы уже достигали в ходе предшествующих операций. Нам очень хотелось не повторять ошибок, которые, конечно, сохранялись в нашей памяти, и провести операцию, как говорится, ценой малой крови. Это была одна из первостепенных задач, тем более что в предыдущих операциях, надо сказать правду, было немало случаев, когда прорыв обороны противника проходил с большими трудностями и с большими потерями, которые, как правило, связаны с медленными темпами наступательных действий.

Словом, все, что у нас было в прошлом, все, что у нас было на памяти — и хорошее и плохое, — мы анализировали и учитывали, готовя эту операцию.

Поскольку главный удар наносился с Сандомирского плацдарма, основные подготовительные меры, предпринимавшиеся нами, тоже были связаны прежде всего с этим участком фронта. Плацдарм заранее был весь заполнен, можно сказать, забит войсками.

Это, конечно, не было и не могло быть тайной для противника. Не говоря уже о предыстории, о всех попытках немцев сбросить нас с Сандомирского плацдарма, мы прекрасно понимали, что, поскольку нами захвачен такой большой плацдарм на такой крупной реке, как Висла, то для противника этот плацдарм будет объектом особо пристального внимания, что противник будет ждать нашего удара именно отсюда. Это уж азбука; раз захвачен плацдарм — он для того и захвачен, чтобы с него предпринимать дальнейшие наступательные действия.

Так что, в широком смысле слова, место будущего нашего удара для противника неожиданным быть не могло, и это следовало учитывать.

Исходя из сказанного, мы прежде всего определили большую ширину прорыва, чтобы в условиях жесточайшего — а мы это предвидели — сопротивления противника сразу избежать возможности фланкирования огнем с обеих сторон прорыва как главной наступающей группировки, так и тех частей, которые потом будут вводиться для развития успеха.

Второе, что мы предусматривали, это такое построение ударной группировки, чтобы сила нашего первоначального удара была максимальной, чтобы мы сумели обеспечить стремительный прорыв обороны сразу же, в первый день. То есть, как говорят, мы были намерены сде-

лать ворота, через которые сразу можно вводить находящиеся в распоряжении фронта танковые армии, превращая осуществленный прорыв из тактического успеха в оперативный и все больше развивая его выводом танковых армий на оперативный простор и развертыванием войск как в глубину, так и в стороны флангов.

Кроме той особенности, что противника трудно обмануть в смысле района будущего удара, наступление с плацдарма включает в себя и ряд других особенностей, с которыми и приходилось считаться при планировании крупной операции.

Прежде всего наступление с плацдарма требует большой инженерной подготовки: достаточного количества переправ, хороших укрытий для скопившегося на плацдарме огромного количества войск и соответствующей противовоздушной обороны, которая могла бы создать такой «зонтик», чтобы наша ударная группировка еще в исходном положении не оказалась под ударами с воздуха.

Все эти меры обеспечения были в особенности необходимы здесь, на Сандомирском плацдарме, потому что наступление с него, в общем-то, уже происходило на главном Берлинском стратегическом направлении, и этот плацдарм оказывался как бы револьвером, нацеленным прямо в лоб готов врага, как мы в то время все, от солдата и до генерала, называли Берлин.

Немецкое командование это отлично понимало, проявляло в этом смысле, надо ему отдать должное, достаточную бдительность и принимало свои меры к тому, чтобы не допустить наших успешных наступательных действий с Сандомирского плацдарма. Это зафиксировано в ряде документов немецкого командования. В частности, до начала нашего наступления к плацдарму были подтянуты крупные резервы, причем часть этих резервов — 16-я и 17-я танковые и 10-я и 20-я моторизованные дивизии — была размещена в непосредственной близости от плацдарма — как мы называем, в тактической зоне обороны противника.

Это впоследствии сыграло для немцев отрицательную роль.

Учитывая, что операция должна была начаться в точно назначенный Ставкой Верховного Командования срок — 20 января (на самом деле она, как я уже сказал, началась 12 января, но об этом переносе срока и о его причинах будет сказано дальше), учитывая также неблагоприятные метеорологические прогнозы, которые могли исключить возможность применения авиации в первый день прорыва, мы планировали прорыв с таким расчетом, чтобы он был обеспечен и без помощи авиации — за счет сосредоточения мощной артиллерийской группировки и большого насыщения боевых порядков танками.

На плацдарме были сосредоточены не только танковые армии, предназначенные для развития прорыва, но и большое количество танков для непосредственной поддержки пехоты, для участия в боевых действиях в составе ее первых эшелонов.

Разумеется, это не было новостью; насыщение боевых порядков пехоты танками непосредственной поддержки — вещь вполне закономерная и не раз проверенная в ходе войны. Более того, это было ясно и в начальный период войны. Но одно дело — желание, а другое дело — возможность. Были у нас такие времена, когда нашей пехоте приходилось наступать с помощью одной артиллерии, без танков, были времена, когда танков не хватало и приходилось в каждом конкретном случае решать, как их использовать — в качестве непосредственной поддержки пехоты или более массированно, в кулаке, для развития прорыва — или-или! А теперь наступило время, когда мы благодаря упорной, самоотверженной работе нашего тыла, нашего рабочего класса, перед которым мы все должны снять за это шапки, наконец имели достаточное количе-

ство танков и для того, чтобы насытить ими боевые порядки пехоты, и для того, чтобы иметь их в качестве мощных кулаков — танковых армий и корпусов для развития прорыва на большую оперативную глубину. Мы наконец располагали и тем и другим.

Итак, в данном случае, готовя прорыв, мы сделали ставку на мощный артиллерийский удар. Предстояла большая работа. Чтобы тщательно подготовить этот удар, командование фронта вместе с командующими армиями, с командирами корпусов и дивизий и с соответствующими командующими артиллерией провело тщательнейшую рекогносцировку всего участка прорыва. Мы, командование фронта, вместе с командармами, комкорами, комдивами, командирами полков, вместе с артиллеристами и авиаторами буквально ползком обследовали весь передний край, намечая основные объекты атаки.

Не удержусь от того, чтобы не сказать здесь, что, по моему глубокому убеждению, ползание на брюхе ни в какой степени не вступает в противоречие с оперативным искусством. Некоторые теоретики, склонные возвышать оперативное искусство, считают, что тщательная подготовка, черновая работа на местности — это, так сказать, удел практиков, а не операторов. Мне, наоборот, кажется, что это превосходно сочетается — тщательная подготовка на местности с последующим претворением теоретических постулатов в действии, на практике.

Операция, о которой я веду речь, очень показательна как раз в этом отношении, хотя у нас и до сих пор есть еще такие теоретики, которые и поныне заявляют: «Э, знаете, что это за оперативное искусство — ползать на животеле!»

После ряда тщательных рекогносцировок Военный Совет фронта обстоятельно рассмотрел весь план артиллерийского наступления. В сошедшие участвовали общевойсковые и артиллерийские начальники, командующие артиллерией армий и дивизий, командиры артиллерийских соединений, приданных фронту из резерва Главного Командования.

На этом совещании, если можно так выразиться, мы выжали из всех наших артиллерийских начальников всю квинтэссенцию огромного опыта, накопленного ими в проведении артиллерийских наступлений. В совещании участвовала целая плеяда превосходных артиллеристов — и наших фронтовых, и из приданных нам частей. В их числе такие маститые артиллеристы, как командиры артиллерийских корпусов прорыва П. М. Корольков и Л. И. Кожухов — люди с очень высокой подготовкой и громадным опытом, а также закаленные во многих наступлениях командиры артиллерийских дивизий прорыва В. Б. Хусид, С. С. Волькенштейн, Д. М. Краснокутский, В. И. Кофанов и другие.

Вспоминая это совещание, сам удивляюсь тому, как такое количество вопросов, которое стояло перед нами, могло быть обсуждено в течение одного дня. А оно длилось всего один день. Впрочем, в те времена не было семичасового дня, и по существу если говорить о рабочих днях в современном их понимании, то совещание наше длилось не один, а примерно три рабочих дня.

Мы стремились так спланировать артиллерийское наступление, чтобы всей мощью артиллерийского огня подавить сплошь всю тактическую зону обороны противника и его ближайшие оперативные резервы.

Говоря о глубине подавления, я имею в виду использование всей технической дальности артиллерии. Практически восемнадцать—двадцать километров. Следует учесть, что к этому времени у нас были подготовлены очень тщательно собранные разведывательные данные. Вся оборона противника была заранее сфотографирована. За всеми изменениями, которые на протяжении последнего времени происходили у немцев, мы самым внимательным образом следили. В общем, коротко говоря, была



намечена на занимаемой немцами территории зона в восемнадцать—двадцать километров глубиной для плотного подавления артиллерией, с полной нормой по всем артиллерийским выкладкам. Есть такой расчет, по которым я не хочу затруднять читателей,— сколько нужно выпустить снарядов таких-то калибров для надежного подавления такой-то территории. Все было рассчитано в полном соответствии с артиллерийской премудростью и достаточно капитально, на что немцы потом, кстати сказать, горько сетовали.

Но совещание совещанием — оно как бы давало общие принципы, методы, контуры работы, общий контур планирования, но само это планирование предстояло еще довести до самого низа, вплоть до полковых артиллерийских групп. Мы не чурались того, чтобы входить во все детали. Напротив, мы считали, что раз у старших артиллерийских начальников накопился достаточно большой и ценный опыт, надо постараться передать его глубоко в низы, чтобы этот опыт был воспринят полностью в дивизионах, в батареях, — чтобы все это дошло, как говорится, до корня. И при этом дошло не в виде общих указаний, а в виде конкретной практической науки. И когда в ходе подготовки к наступлению старшие артиллерийские начальники доходили до дивизиона, до батареи, учили людей в конкретных условиях, на конкретной местности, то мы не стеснялись этого. Мы не считали, что кто-то кого-то при этом подменяет. Здесь шла речь не о подмене командования в бою — командовать в бою будут те, кому это положено, а о научном — не боюсь употребить это слово в условиях войны, — о научном использовании всего накопленного коллективного опыта.

В хорошо организованном артиллерийском наступлении мы видели воплощение мощи нашей армии. Мы считали, что буквально все, что мы сделаем огнем, вместо того, чтобы делать это штыком, — все это будет нашим большим преимуществом, все это избавит наши войска от лишних потерь, и, значит, есть полный прямой смысл не покладая рук, не боясь никакой детализации и лишнего пота, работать и работать над этим.

Мы знали, что чем больше заранее поработаем над огнем, тем меньше потом понесем потерь в людях. В конце концов, если брать моральную сторону дела, — это не что иное, как специфически выраженная в условиях войны забота о человеке в той максимальной мере, в какой вообще слова «забота о человеке» совместимы со словом «война».

Говоря о подготовке артиллерийского наступления, не могу не упомянуть о сыгравшем положительную роль в этой работе командующем артиллерией фронта генерале С. С. Варенцове. Много и плодотворно работал в этот, да и в последующие периоды начальник штаба артиллерии фронта полковник Скробов. Начав войну командиром дивизиона, он вырос в отличного плановика, штабного оператора, импонировавшего всем, с кем он имел дело, своей распорядительностью, большой штабной культурой, соединенной с солдатской четкостью.

Не вижу причин умалчивать о том, что все проработанные в армиях планы артиллерийского наступления были лично проверены и утверждены мною как командующим войсками фронта. Я всегда вникал со всей возможной для меня обстоятельностью в артиллерийские вопросы. Может быть, тут сказывалась и профессиональная привязанность к артиллерии — когда-то, еще в старой армии, я был солдатом-артиллеристом, — но главное, конечно, был опыт — и мирного времени, и военного.

Оценивая огромные возможности нашей артиллерии, я стремился всегда, когда это мог, максимально использовать их.

Чтобы представить себе масштабы подготовительной работы, предшествовавшей артиллерийскому наступлению, нужно к сказанному доба-

вить, что на всем участке будущего прорыва для каждого без исключения командира батареи и командира роты, находившейся на переднем крае, были подготовлены специальные карты-бланковки, на которых были нанесены все разведывательные данные о противнике. Карта-бланковка — это копия с карты, но только с целым рядом дополнительных деталей. На каждую такую карту-бланковку были нанесены все инженерные укрепления противника, вся его система огня, все объекты атаки на данном, конкретном участке.

И это было очень важно. С одной стороны, каждый из командиров батарей, действующих на этом участке, имел совершенно точные, топографически привязанные к местности, нанесенные на карту данные, которые в принципе давали возможность стрелять так, чтобы ни один снаряд не был израсходован по пустому месту. С другой стороны, командир атакующей на этом участке роты имел полное представление о всех препятствиях, которые ему могут встретиться, — инженерных и огневых. Причем эти карты-бланковки были составлены на всю глубину тактической зоны обороны противника, то есть и артиллеристы и пехотинцы, наступавшие на данном участке, видели на этой бланковке перед собою все, что было перед ними у противника, на глубину примерно в десять километров.

Несколько слов и об инженерной подготовке плацдарма для наступления. Она была проведена в большом объеме, с большой затратой сил и средств всех войск фронта. Для характеристики масштаба этой работы, пожалуй, есть смысл привести несколько цифр. На плацдарме было открыто полторы тысячи километров траншей и ходов сообщения, в которые были спрятаны войска в период подготовки к наступлению. Было построено тысяча сто шестьдесят командных и наблюдательных пунктов, подготовлено одиннадцать тысяч артиллерийских и минометных позиций, десять тысяч землянок и укрытий разного рода для войск.

На плацдарме было проложено заново и приведено в порядок больше двух тысяч километров автомобильных дорог с таким расчетом, чтобы в ходе наступления не возникло пробок, — чтобы к началу его на каждую дивизию и на каждую танковую бригаду было по две дороги.

Через Вислу инженерные войска навели тридцать мостов и организовали три паромные переправы большой грузоподъемности.

К этому стоит добавить, что для предполагавшегося нами маскировочного маневра инженерные войска изготовили четыреста макетов танков, пятьсот макетов автомашин и тысячу макетов орудий.

Руководивший всеми этими работами начальник инженерных войск фронта Иван Павлович Галицкий показал себя, говоря без всяких преувеличений, истинным мастером своего дела, проявил большое вдохновение и новаторство.

Подготовка операции шла по всем направлениям. С командующими армиями и командирами корпусов и дивизий были проведены штабные учения-игры; для уточнения вопросов будущего взаимодействия армий, участвовавших в прорыве, начальник штаба фронта Василий Данилович Соколовский провел специальные учения со средствами связи; в армиях, корпусах и дивизиях проводились специальные сборы с командирами частей и подразделений; в войсках шли тактические учения с боевой стрельбой. Были специально подготовлены штурмовые батальоны, оснащенные всем необходимым для прорыва обороны противника. В эти штурмовые батальоны были включены танки, орудия, минометы, группы саперов.

Эти штурмовые батальоны с самого начала должны были задать тон в атаке, и соответственно этой задаче в них были подобраны именно такие командиры, которые по своим данным могли задать этот тон. Это

были отборные люди, но надо сказать, что выбирать было из кого. В основном к началу сорок пятого года почти все наши комбаты были офицерами военного времени — прибывшие из запаса, прошедшие курсы младших лейтенантов, выросшие из солдат, из сержантов, возвратившиеся после ранений на фронт. Все эти люди имели за плечами уже не одну большую боевую операцию. Командиров батальонов без серьезного боевого опыта у нас к этому времени не было. Звено комбатов и командиров полков — это основное звено, решающее успех атаки. Именно атакующие батальоны — ее решающая, ведущая сила. И отбор людей в этом звене — я говорю здесь уже не только о штурмовых батальонах, а вообще о звене комбатов — был проведен очень тщательно.

Вообще надо сказать, по моим наблюдениям, наши кадровые военные органы работали в условиях войны так, что этому не грех поучиться и в мирное время. Не говоря уже о том, что война сама отбирает кадры. Но к этому вопросу я еще вернусь.

Готовилась артиллерия, готовилась пехота, готовились танкисты. Причем в танковых войсках особое внимание обращалось на огневую подготовку танкистов, на стрельбу с хода, на стремительные действия, подвижность, маневренность.

Как один из примеров такой подготовки, проходившей повсюду, вспоминаю специальные учения, организованные на плацдарме командармом 4-й танковой генерал-полковником Лелюшенко. Военный Совет фронта присутствовал на этом учении, на котором отрабатывалась стрельба танков с хода и уничтожение танками неприятельских танков. Стрельба шла не по макетам, а по настоящим, захваченным нами в предыдущих боях здесь же, на Сандомирском плацдарме, «тиграм» и «королевским тиграм».

Словом, в масштабах фронта все трудились неотступно, не покладая рук. Очень большая работа выпала, разумеется, и на долю политических органов. Если говорить о моих ближайших соратниках, то члены Военного Совета фронта К. В. Крайнюков и Н. Т. Кальченко весь этот период постоянно выезжали в войска и участвовали там не только в подготовке, связанной непосредственно с военной стороной операции, но охватывали весь очень широкий комплекс вопросов, связанных и с моральной подготовкой к наступлению, и с проведением вдумчивой, нелегкой политической работы с людьми, которым в ходе операции предстояло вступить на территорию противника, принесшего нам столько горя и совершившего столько зверств на нашей территории.

Говоря обо всем круге вопросов, следует сказать еще и о материально-техническом обеспечении операции, которым в особенности много занимался Н. Т. Кальченко вместе с начальником тыла фронта генерал-лейтенантом Н. П. Анисимовым.

К началу операции железные дороги в тылу фронта были восстановлены и работали вполне удовлетворительно. К войскам было подвезено необходимое количество боеприпасов, горюче-смазочных материалов и продовольствия. Были проведены большие работы по ремонту техники и автотранспорта.

К началу операции фронт имел запасы снарядов и мин всех калибров — четыре боевых комплекта, автобензина больше пяти заправок, дизельного топлива четыре с половиной заправки, авиабензина девять заправок.

Запасы всех материальных средств, с учетом продолжения подвоза в ходе боев, обеспечивали крупную операцию на большую глубину.

Учитывая трудности подвоза через Вислу и большой расход боеприпасов, планируемый в первый день операции на Сандомирском плацдар-

ме — то есть уже на западном берегу реки, — в полевых складах было сосредоточено до половины всех накопленных боеприпасов.

В ходе своих воспоминаний мне придется рассказывать еще о нескольких наступательных операциях крупного масштаба. Я не буду каждый раз излагать во всех подробностях ход и объемы подготовки к таким операциям. Но здесь, говоря о первой из них, я бы хотел, чтобы читатель представил себе размах и трудоемкость подготовки фронта к крупной операции. Приношу извинения тем, кому изложение покажется несколько сухим, но я считал необходимым рассказать об этом. Война состоит не из одних сражений; она состоит и из пауз между операциями. Содержание этих пауз — и то, что сделано на их протяжении, и то, что осталось несделанным, — во многом определяет исход последующих операций.

А теперь вернемся к сорок пятому году. Сроки наступления приближались, многое было сделано, но многое казалось еще незавершенным, многое снова и снова проверялось и перепроверялось. Этого требовали масштабы стоявшей перед нами задачи.

Нам предстояло пройти от Вислы до Одера, где на глубину до пяти сот километров противник заблаговременно подготовил семь оборонительных полос, большая часть которых проходила по берегам рек Нида, Пилица, Варта, Одер, которые сами по себе были тоже дополнительными преградами. Три из этих полос обороны были заняты войсками противника. За спиной у них был Берлин, и выбора перед ними не было. Не устоять — означало подписать себе смертный приговор.

Мы понимали это, и твердая решимость несмотря ни на что опрокинуть противника сказывалась на тщательности нашей подготовки к наступлению.

Было 9 января. До начала наступления оставалось одиннадцать дней. Все основное было сделано, но, конечно, как всегда перед большими событиями, дел оставалось еще невпроворот, и каждый час из этих отделявших нас от срока наступления одиннадцати дней был расписан, распланирован и занят бесчисленным количеством оставшихся дел.

Девятого января мне позвонил по ВЧ исполнявший обязанности начальника Генерального штаба генерал А. И. Антонов и сообщил, что в связи с тяжелым положением, сложившимся на Западном фронте в Арденнах, союзники обратились к нам с просьбой по возможности ускорить начало нашего наступления. Антонов сказал, что после обращения союзников Ставка Верховного Командования пересмотрела сроки начала наступательной операции. Первый Украинский фронт должен начать наступление не 20, а 12 января.

Антонов говорил от имени Сталина. Поскольку операция уже была одобрена Ставкой и полностью спланирована, никаких изменений, кроме срока, и никаких вообще иных принципиальных вопросов в этом разговоре не возникло.

Я ответил Антонову, что к новому сроку, установленному Ставкой, фронт будет готов к наступлению.

Не хочу задним числом ни преувеличивать, ни преуменьшать трудности, которые возникли у нас в связи с передвижкой срока. В основном у нас все было подготовлено, поэтому я, не колеблясь, ответил Антонову, что к новому сроку будем готовы. Но восемь с лишним суток, которых нас теперь лишили, конечно, надо было восполнить напряженнейшей работой, уложив ее всю в оставшиеся двое с половиной суток. Чтобы довести всю подготовку до конца, от командования всех степеней потребовалась огромная собранность усилий.

В последние месяцы мы получали пополнения, и эти пополнения обучались перед наступлением. Была развернута целая программа уче-

ний, а в связи с передвижкой сроков нам пришлось эту программу на ее заключительном этапе свертывать, сокращать на несколько дней, что было, разумеется, нелегко. Были и многие другие недоделки, от которых пришлось избавляться в исключительно короткие сроки.

Словом, те восемь суток, что у нас взяли, были нам крайне необходимы. Но это необходимое время брали у нас для того, чтобы помочь союзникам, и мы на фронтах — я говорю о своем фронте, но думаю, что такая же картина была и всюду, — понимали, что передвижка продиктована соображениями общего стратегического порядка и, значит, на это необходимо пойти. Как командующий фронтом я был внутренне согласен с решением, которое приняла Ставка.

Помимо всего другого, передвижка наступления не радовала нас с точки зрения метеорологических прогнозов. На первоначальный срок начала наступления метеорологический прогноз был все же относительно более благоприятным, чем на ближайшие дни. Готовясь начать наступление 12 января, нам пришлось считаться уже не как с возможностью, а как с реальностью с тем, что из-за непогоды мы будем подавлять немецкую оборону одной артиллерией, без авиации.

Вспоминая об этом, не могу удержаться от невольного замечания и о том, сколько места отводили метеорологии наши союзники в связи с проблемами тех или иных сроков открытия второго фронта. Вспоминается это, очевидно, по контрасту. Что касается нас, то решение Ставки — выполняя союзнический долг, передвинуть сроки нашего наступления — предполагало, что в сложившихся обстоятельствах мы с метеорологией считаться не будем.

Немного отвлекаясь, хочу заметить, что опыт Великой Отечественной войны вообще дает немало примеров того, как мы предпринимали крупные наступательные действия, не считаясь с метеорологическими трудностями. И в ряде случаев правильно не считались и имели успех, потому что метеорология — это палка о двух концах. Сложная метеорологическая обстановка — это не только сложности для тебя, но и для противника. Взять хотя бы Уманско-Ботошанскую операцию весной 1944 года на Западной Украине. Это была сплошная непролазная грязь. Даже танки с трудом двигались. Гусеницы врезались в эту чудовищную грязь и наматывали ее на себя так, что она потом отрывалась от них буквально пластинами. Танки по существу ползли на днище, юзом. У-2 на что уж героический, безотказный самолет, и тому приходилось трудно. В начале операции я еще летал на У-2, а потом был вынужден пересест на танк — как ни медленно, а все-таки продвигался. А все кругом стояло. Снаряды подносили на руках. И тем не менее мы проводили операцию в условиях непогоды и распутицы в высоких темпах. И немцы в этой операции были не просто разгромлены, а бежали с Украины голые — без артиллерии, без танков, без машин. Они уходили от нас на волах, на коровах, пешком, бросив все.

Конечно, распутица и непогода поставили нас, наступающих, в очень трудные условия. Но немцев в условиях поспешного отступления под нашим натиском эта непогода и распутица буквально добила, раздели догола. Не знаю даже, как точнее сказать: были мы в ладах или были не в ладах с метеорологией. Пожалуй, верней сказать, что были в ладах в том смысле, что имели решимость не считаться с ней, когда такой решимости требовали оперативные соображения, и проводили свои операции зимой, весной, и в ненастье, и в непогоду и, как правило, с успехом для нашего оружия.

Между прочим, на эту тему есть одно любопытное высказывание у Гитлера. Оно содержится в изданных в Западной Германии стенографических записях бесед, происходивших в его главной квартире. Во

время одного из докладов в декабре 1942 года о положении на южном участке Восточного фронта и о возможности высадки нашего десанта в Крыму Иодль в ответ на вопрос Гитлера высказал мнение, что высаживаться в такую погоду вообще нельзя. В стеннограмме сохранилось изложение точки зрения Гитлера на этот счет. «А русские могут, они пройдут,—возражал он Иодлю.— При снегопаде и прочих вещах мы не смогли бы высадиться, я согласен. А от русских можно этого ожидать».

Деталь довольно выразительная и в данном случае свидетельствующая о достаточно трезвой оценке противника.

Возвращаюсь к своему повествованию.

До наступления оставалось уже немного времени. Помимо других последних приготовлений, мы в это время были заняты осуществлением крупного маскировочного, дезориентирующего противника мероприятия. Мы демонстрировали ложное сосредоточение крупной танковой группировки на левом крыле фронта. Именно туда были направлены те макеты танков, самоходных установок и орудий, о которых я упоминал раньше. Все это было сосредоточено на фронте армии генерала Курочкина, на восточном берегу Вислы, откуда немцы могли ждать удара на Краков.

Не буду утверждать, что благодаря этим маскировочным мероприятиям нам удалось обеспечить полную тактическую внезапность на действительном направлении этого удара с Сандомирского плацдарма. Однако некоторую положительную роль сыграл наш маскировочный маневр.

Несмотря на скверные метеорологические условия, разведывательная авиация противника произвела довольно большое количество вылетов в район этого ложного сосредоточения. В последние двое суток перед наступлением — по районам, где были установлены наши макеты орудий,—немцы совершили больше двухсот двадцати артиллерийских налетов. В тылу у немцев была отмечена некоторая перегруппировка сил 17-й армии; некоторые соединения ее были оттянуты на юг. И, забегая вперед, скажу, что даже уже в ходе наступления немцы не решились перебросить с юга на север часть сил 17-й армии, потому что все еще допускали возможность нашего дополнительного удара с того направления, где мы продемонстрировали ложное сосредоточение сил.

Наконец наступило 12 января 1945 года. Я с ночи выехал на наблюдательный пункт фронта, на плацдарм. Это был небольшой фольварк, расположенный на опушке леса в непосредственной близости к переднему краю. В одной из комнат окно выходило прямо на запад, можно было наблюдать и оттуда, а кроме того, рядом была небольшая высотка, на которой была установлена вся система наблюдения и управления. Туда можно было перебраться в случае обстрела. Но надо учесть, что дело происходило зимой, и сидеть непрерывно на наблюдательном пункте, в траншее, никакой необходимости не было, тем более что с самого фольварка открывался прекрасный вид.

Начало артиллерийского удара было назначено на пять часов утра. Но, пожалуй, прежде чем рассказывать дальше, надо внести некоторые пояснения, связанные с началом наступления.

Предполагая, что, как это уже не раз бывало за войну, противник с целью обмана и сохранения собственных сил может перед началом нашего наступления отвести свои войска в глубину обороны, оставив на время артподготовки на переднем крае только слабые прикрития, мы решили провести разведку боем — силами своих передовых батальонов. Разведка боем — дело известное и не новое; она проводилась перед началом наступления во многих других операциях, однако мы учиты-

вали, что здесь уже сложился известный шаблон, опасный прежде всего тем, что противник после нескольких повторений заведомо готов к нему. Шаблон этот сводился к тому, что разведку боем проводили обычно за сутки до наступления, потом собирали и обобщали полученные данные, соответственно им занимали исходное положение и на следующий день начинали наступление.

Мы решили поступить не по шаблону; не дать противнику, чтобы после разведки боем он успел вновь организовать свою оборону. На этот раз, в Висло-Одерской операции, мы решили провести разведку боем непосредственно перед началом артиллерийской подготовки, то есть в день начала наступления. Решено было нанести по противнику короткий сильный артиллерийский удар, сразу вслед за этим ударом бросить в разведку боем передовые батальоны и, как только обнаружится, что противник находится на месте, что он не оттянул войска в глубину, сразу же обрушиться всей мощью артиллерии на неприятельские позиции — на всю их глубину. А если бы оказалось, что противник отвел свои части, то мы, не тратя снарядов по пустому месту, сразу бы переносили огонь в глубину, туда, где скопился противник, отведенный с первой или второй позиции.

Помимо естественного желания наблюдать своими глазами артиллерийскую подготовку и начало наступления, я приехал на наблюдательный пункт фронта и для того, чтобы на месте принять необходимые решения в том случае, если действия передовых батальонов покажут, что противник отошел.

Противник мог отойти на разную глубину, вплоть до такой, при которой потребовалась бы передвижка части групп артиллерии и, значит, некоторая пауза. Словом, могла возникнуть ситуация, при которой мне как командующему фронтом пришлось бы принимать срочные решения, причем желательнее с проверкой на местности, чтобы тут же безошибочно дать соответствующие указания.

Наблюдательный пункт, выдвинутый в непосредственную близость к боевым порядкам и обеспеченный всеми средствами связи и управления, был для этого самым подходящим местом.

Мы приехали на наблюдательный пункт вместе с членами Военного Совета генералами Крайнюковым и Кальченко и начальником штаба фронта генералом Соколовским, и вскоре после нашего приезда — после начавшегося ровно в пять утра короткого, но мощного артиллерийского удара — передовые батальоны перешли в атаку и быстро овладели первой траншеей обороны противника.

Уже по самым первым донесениям было понятно, что противник никуда не отходил, что он находится здесь, на месте, в зоне воздействия всех запланированных нами ударов.

Артиллерийский удар при своей краткости был настолько мощным, что создал у немцев впечатление начала общей артиллерийской подготовки. Приняв действия наших передовых батальонов за общее наступление наших войск, немцы стремились всеми имевшимися в их распоряжении огневыми средствами не допустить дальнейшего продвижения передовых батальонов.

На это, собственно, и был рассчитан наш маневр. Передовые батальоны целиком заняли первую траншею и залегли между первой и второй. У противника создалось впечатление, что атака наших главных сил захлебнулась. И именно в эту счастливую для него минуту, когда он считал, что наша попытка наступать отражена им, началась тщательно спланированная мощная, настоящая артиллерийская подготовка. Она продолжалась час сорок семь минут подряд. И была такой мощной,

что, судя по целому ряду трофейных документов, немцам почудилось, будто эта артподготовка длилась не менее пяти часов.

Надо ли говорить, что такая преувеличенная впечатлительность противника свидетельствовала о том, что наши артиллеристы поработали действительно на славу.

Начиная артиллерийскую подготовку, мы не оттягивали назад наших передовых батальонов, занявших первую немецкую траншею. Это было заранее обусловлено. Каждая батарея была привязана на местности по координатам от общей геодезической сетки, так что мы действовали с расчетом, как говорят — попасть комару в глаз. И положение первой траншеи, уже захваченной нами, и положение второй траншеи, где еще находились немцы, было точно зафиксировано на всех картах у всех артиллерийских наблюдателей и командиров батарей. От них требовалось только одно — точная работа. И эта точная работа была проделана. Во всяком случае на сей раз на всем фронте наступающих войск не было обычных в случае неточной работы артиллеристов сигналов: «Прекратите, вы ведете огонь по своим».

Прогнозы метеорологов подтвердились полностью и даже с лихвой. Не только в темноте, когда начиналась артиллерийская подготовка, но и потом, когда уже рассвело, фактически видимости не было никакой. С неба хлопьями валил снег. Ветра не было, но снег был настолько густой и хлопья настолько крупные, словно погода специально заботилась о том, чтобы создать нам дополнительную маскировку. Когда несколько часов спустя мимо меня в прорыв входила танковая армия Рыбалко, то его танки были так замаскированы густым снегом под общий фон местности, что их можно было различить только по тому, что они двигались.

Разумеется, такая погода имела свои минусы. Что хорошо для маскировки, то плохо для наблюдения. Но все было заранее настолько тщательно подготовлено и сориентировано, что ни во время артиллерийской подготовки, ни во время прорыва, ни во время ввода в прорыв танковых армий не возникло никакой путаницы. Все наши планы в этот день выполнялись с особой пунктуальностью, которая, надо сказать, не так-то часто достижима на войне.

Именно с этой точки зрения я с особенным удовольствием вспоминаю тот день прорыва.

Во время нашей артподготовки немецкие войска, в том числе и часть резервов, располагавшихся в тактической зоне обороны, или, проще говоря, придвинутых слишком близко к фронту, попали под такой мощный артиллерийский удар, что были деморализованы и утратили способность выполнять свои задачи.

Взятые в первые часы прорыва в плен командиры немецких частей показывали, что их солдаты и офицеры в результате нашей артподготовки потеряли самообладание. Они самовольно — а для немцев это, надо прямо сказать, не характерно — покидали свои позиции. Немецкий солдат, как правило — и это правило было подтверждено на протяжении всей войны, — сидел там, где ему приказано, до тех пор, пока не получал разрешения на отход. Но в этот день — 12 января — мощь огня была такой беспощадной, что оставшиеся в живых немецкие солдаты самовольно покидали свои позиции и уходили в глубь обороны.

Управление и связь в частях и соединениях противника были полностью нарушены. И это было не случайное нарушение. а заранее спланированное нами, потому что у нас были полностью выявлены все наблюдательные и командные пункты и вся система управления немецких войск. И по этим наблюдательным пунктам, и по этой системе управления и связи мы били специально и в первые же минуты артиллерийско-



го огня накрыли все эти узлы связи, все эти командные и наблюдательные пункты, включая и командный пункт немецкой 4-й танковой армии, которая противостояла нам на участке прорыва.

Анализируя эту операцию, немецкие военные историки склонны, как, впрочем, и в ряде других случаев, валить ответственность за свой разгром в этой операции на Гитлера. Они обвиняют его в том, что он приказал разместить резервы, в том числе 24-й танковый корпус, в непосредственной близости к фронту, в результате чего эти резервы попали под наш мощный огневой удар и сразу же во время прорыва обороны понесли крупные потери.

Я лично допускаю, что в данном случае немецкие военные историки отчасти правы. Поскольку 4-я танковая армия держала оборону на важном оперативном направлении, прикрывавшем дальние подступы к Берлину, я не исключаю возможности, что Гитлер, исходя из собственных представлений о том, как нужно обеспечивать устойчивость войск, действительно требовал придвижки резервов вплотную к фронту. Во всяком случае, по моим наблюдениям, сложившимся в ходе войны, такое неграмотное размещение оперативных резервов, как в этой операции, для немецкого генералитета не характерно. С точки зрения элементарных требований военного искусства это профанация.

Однако надо сказать, что Гитлер виноват тут только частично, а всю остальную долю вины мы берем на себя. Резервы немцев были расположены все-таки не на передовой, а более или менее глубоко в тылу, и не будь наша артподготовка проведена с такой мощью и на такую большую глубину, эти немецкие резервы не понесли бы в первые же часы таких потерь, которые они понесли.

Чтобы хоть как-нибудь задержать дальнейшее продвижение наших войск, немецкое командование начало поспешно отводить остатки своих разбитых частей на вторую полосу обороны. Они начали этот отвод под продолжающимся огнем и уже по дороге, в полевых условиях, снова подверглись ударам нашей артиллерии, которая сопровождала их в глубину огненным валом и наносила им все новые и новые потери.

Вообще говоря, то, что они, трезво оценив обстановку, быстро приняли решение на отвод всего, что у них еще осталось, было правильно с их стороны, хотя им и мало что удалось спасти из тех войск, что были у них на участке прорыва в первой полосе обороны.

Когда после окончания артиллерийской подготовки наша пехота вместе с танками сопровождения рванулась вперед, я через час-два объехал основные направления нашего прорыва. Все кругом было буквально перепахано, особенно на направлении главного удара армий Жадова, Коротеева и Пухова. Там все было завалено, засыпано, перевернуто. Да и, шутка сказать, на этом направлении на один километр фронта, не считая мелких калибров, приходилось по двести пятьдесят—двести восемьдесят, а в отдельных случаях до трехсот орудий. «Моща», как говорят солдаты.

Третья гвардейская армия Гордова (частью сил), 13-я армия Пухова, 52-я Коротеева, 5-я гвардейская Жадова успешно продвигались. Немножко забегаю вперед, скажу, что они за первый день боев продвинулись на глубину до двадцати—двадцати пяти километров и, прорвав главную полосу обороны немцев, расширили прорыв влево и вправо с тридцати девяти километров до шестидесяти.

И это успешное продвижение общевойсковых армий и расширение ими прорыва позволило мне уже к середине дня ввести в прорыв обе танковые армии — Рыбалко и Лелюшенко.

Тем временем немцы, поспешно отводя на вторую полосу обороны остатки своих разбитых частей, стремились организовать контрудар

в глубине обороны, обрушиться на нашу пехоту находившимися у них под руками в резерве двумя танковыми и двумя мотодивизиями. Эти дивизии, слишком близко придвинутые к фронту, как я уже говорил, частично попали под действие нашего дальнего артиллерийского огня. Но тем не менее они представляли еще серьезную силу для контрудара против нашей находившейся в движении пехоты.

Немцы рассчитывали ударить по первому эшелону прорыва еще до ввода в прорыв наших танковых сил — ударить, смять и воспрепятствовать этому вводу. Но суть нашего плана в том-то и состояла, чтобы не позволить немцам этого сделать. К тому времени, когда немецкие танковые и мотодивизии изготавились для удара, в зоне их расположения появились передовые части наших танковых армий.

Видя полный успех прорыва, я приказал ввести в прорыв танковые армии буквально через несколько часов. Развитие прорыва шло успешно, противотанковая система противника была подавлена на большую глубину, и ввод танковых армий в огромные, пробитые для них ворота проходил спокойно, безболезненно и организованно. И противник, сунувшись своими танковыми войсками из района южнее Кельце, попался на наши танки.

По поводу того, когда своевременно и когда преждевременно ввести в прорыв танковые соединения, в военно-исторической науке сказано много копий. Разные мнения на этот счет были и во время войны. Было и у меня свое мнение на этот счет. И в сорок третьем, и в сорок четвертом, и в сорок пятом году в состав фронтов, которыми я командовал, неизменно входили танковые армии, танковые и механизированные корпуса, и на основании немалого опыта у меня выработался определенный подход к этому вопросу.

Я бы сказал, что Ставка под давлением некоторых наших танкистов подходила к вопросу о времени ввода танков в прорыв с излишней осторожностью, обусловленной боязнью — добавлю, порой чрезмерной — подвергнуть танки слишком большим потерям в период борьбы за передний край и за главную полосу обороны. Иногда Ставка вмешивалась даже в сроки ввода танков. Из этого, разумеется, ничего хорошего не получалось, потому что, когда оттуда, сверху, начинают жестко планировать, на какой день и в котором часу ты должен вводить в прорыв танки, это зачастую настолько не совпадает с конкретно складывающейся у тебя на фронте обстановкой, что, как правило, спущенный сверху жесткий график оказывается неудачным.

На практике обстановка, складывавшаяся в операциях, бывала крайне разнообразной, и, принимая решение, приходилось учитывать на месте факторы, заранее и издалека учету не поддающиеся. Тут истине нет и не должно быть места шаблону.

Наиболее интересный ввод в прорыв танковых войск за все время войны связан в моей памяти с Львовско-Сандомирской операцией в июле 1944 года. Я вел там в прорыв 3-ю гвардейскую танковую армию Рыбалко, когда горловина прорыва, пробитого артиллерией и пехотой, была всего шесть — восемь километров в ширину. Но я вел все-таки туда танковую армию, и это решение потом целиком оправдалось. Если бы танковая армия не была введена в дело сразу, как только удалось пробить первую брешь, мы бы долго прогрызали на Львовском направлении оборону, хорошо подготовленную немцами. Пехота не имела там достаточного количества танков непосредственной поддержки, и наступление приобрело бы очень медленный характер. А когда оборону не прорываешь, а прогрызаешь — трудно рассчитывать на успех. Прогрызание — это метод первой мировой войны, метод, при котором ты не используешь до конца всех своих возможностей. А эти возможности во

второй половине Отечественной войны у нас уже были. Появились мощные замечательные танки, прекрасные самоходные орудия. И, имея такие танки и самоходки, не использовать всю их силу удара, огня, маневра, а вместо этого планировать прорывы так, как делалось в период первой мировой войны — одной пехотой и артиллерией, держа танки в запасе до последнего, покуда пехота прогрызет все насквозь, — это мне представлялось ошибочным.

Учитывая наши реальные возможности, я тогда, во Львовской операции, подошел ко вводу в прорыв танковой армии Рыбалко с решимостью, которая оправдала себя.

Так что же говорить о Висло-Одерской операции, когда перед танками открылись ворота — хоть на тройке въезжай! Тут, как говорили в старину, сам бог велел двинуть их в прорыв немедленно, в первый же день.

Хотя в первый день нашего прорыва были взяты в плен несколько командиров немецких частей и несколько штаб-офицеров, у меня не оказалось времени, чтобы побеседовать с ними. Так что рассказать, как выглядело все происходившее с точки зрения противника, я по воспоминаниям того времени не могу. Но это в какой-то мере поправимо. Как выглядел наш тогдашний прорыв, если смотреть на него глазами немцев, я считаю, с достаточной объективностью показал генерал Курт Типпельскирх в своей книге «История второй мировой войны». Это свидетельство противника мне кажется отнюдь не лишним штрихом в картине происходившего, которую я в меру своих сил пытаюсь нарисовать. Вот что писал Типпельскирх о дне 12 января:

«Удар был столь сильным, что опрокинул не только дивизии первого эшелона, но и довольно крупные подвижные резервы, подтянутые по категорическому приказу Гитлера совсем близко к фронту. Последние понесли потери уже от артиллерийской подготовки русских, а в дальнейшем в результате общего отступления их вообще не удалось использовать согласно плану. Глубокие вклинения в немецкий фронт были столь многочисленны, что ликвидировать их или хотя бы ограничить оказалось невозможным. Фронт 4-й танковой армии был разорван на части, и уже не оставалось никакой возможности сдержать наступление русских войск. Последние немедленно ввели в пробитые бреши свои танковые соединения, которые главными силами начали продвигаться к реке Нида, предприняв в то же время северным крылом охватывающий маневр на Кельце».

Чтобы задержать продвижение наших частей и не дать нам вместе с действующими севернее войсками Первого Белорусского фронта окружить крупную кельце-радомскую группировку, немцы сосредоточили в районе города Кельце четыре дивизии своего 24-го танкового корпуса, две отходившие с фронта — 72-ю и 342-ю — дивизии и остатки еще двух пехотных дивизий.

Сосредоточившись на подступах к городу Кельце, немцы упорно дрались, и это поначалу замедлило темп продвижения 3-й гвардейской армии Гордова и 13-й армии Пухова.

Получив донесение об этом, мы, не теряя времени, повернули находившуюся в движении 4-ю танковую армию Лелюшенко, двинув ее в обход города Кельце с юго-запада. В результате этого маневра на четвертый день наступления, 15 января, город Кельце был взят, большая часть сопротивлявшихся на подступах к нему немецких войск разбита, а остатки их отброшены в леса севернее Кельце.

Впоследствии остатки этих войск, соединившись с другими группировками, отступавшими под натиском Первого Белорусского фронта, объединились в одну довольно большую группировку, состоявшую из нескольких дивизий. Эта группировка осталась у нас глубоко в тылу,

зажатая между флангами Первого Украинского и Первого Белорусского фронтов. В этом сказалась характерная особенность Висло-Одерской операции, да и вообще последнего периода войны. Мы уже не стремились во что бы то ни стало создавать двойной — внешний и внутренний — фронт вокруг каждой окруженной вражеской группировки. Мы считали — и правильно считали, — что если будем в достаточно стремительном темпе развивать наступление в глубину, то эти оставшиеся в тылу группировки врага нам не страшны. Они так или иначе будут разгромлены и уничтожены вторыми эшелонами наших войск.

Так в конце концов и произошло даже с такой крупной группировкой, включавшей в себя несколько дивизий, о которой я говорил. Она дважды потерпела поражение у нас в тылу под ударами частей нашего и Первого Белорусского фронта, дважды после боев искала путей к выходу из окружения, потом, полурассеянная, шла отдельными группами на юго-запад лесами, сзади наших войск, и в конце концов в мелких стычках была уничтожена до конца.

История этой группировки не столько интересна сама по себе, сколько типична для этого периода войны. Поэтому я, собственно, и задержался на ней.

Большую опасность в смысле возможности прорыва из окружения представляли оставшиеся в нашем тылу группировки немецких подвижных танковых и механизированных войск. Уже в разгар наступления, через несколько дней после его начала, только что прибыв на передовой пункт управления фронта, организованный на окраине города Ченстохова, я выслушал несколько взволнованный доклад одного из своих подчиненных о том, что сюда, на Ченстохов, — прямо на нас — подходит из нашего тыла крупная вражеская группировка танковых и механизированных войск.

В общем, положение складывалось такое: впереди — ушедшие уже на запад, за Ченстохов, наши войска; посредине — передовой командный пункт фронта, а сзади — немецкий танковый корпус. Так это во всяком случае выглядело в первоначальном докладе, хотя в нем, как всегда в подобных обстоятельствах, содержалось преувеличение. В действительности на нас из нашего тыла шла одна немецкая танковая дивизия, обросшая некоторыми примкнувшими к ней разрозненными частями.

Шла она, надо отдать ей должное, довольно организованно, решительно прорываясь по нашим тылам.

Известие было, конечно, мало приятное, но оно не явилось для меня неожиданностью. Мы с самого начала рассчитывали, что при таких высоких темпах движения отдельные блуждающие «котлы» будут оставаться у нас в тылу. Мы уже привыкли к этому, потому что такие явления закономерны в современных условиях, когда войска, маневрируя, имеют разрывы между собой, когда фронт наступающих не сплошной и не должен быть сплошным, потому что в условиях современной войны идти локоть к локтю, плечо к плечу нет никакой необходимости. Важно не это. Важно, чтобы внутри частей и соединений было налажено взаимодействие, чтобы со всеми частями была связь и чтобы все они в любую минуту боя были управляемы.

Эти соображения, которые я излагаю здесь в общем виде, уже вошли к тому времени нам в плоть и в кровь, стали привычной реальностью боевых действий. Мы с самого начала учитывали возможность появления в нашем тылу таких движущихся очагов сопротивления и, учитывая это, еще до начала операции предусмотрели сохранение на этот случай в резерве фронта 7-го механизированного корпуса, которым командовал генерал-лейтенант И. П. Корчагин. Этот корпус по ходу на-

ступления двигался от рубежа к рубежу за наступающими войсками, с ним все время была связь, и он все время оставался в моих руках.

Вот этому-то корпусу и была поставлена задача частью своих сил уничтожить идущую на Ченстохов из нашего тыла немецкую механизированную группировку. Разгромом этой группировки руководил начальник штаба корпуса генерал-майор Д. М. Баринов, выполнивший свою задачу быстро и точно.

Кстати сказать, решительность его действий способствовала тому, что большая часть окруженной немецкой группировки была взята в плен. Дело обошлось без затяжного боя на истребление.

Тем временем, пока в тылу наших войск происходило уничтожение различных немецких группировок, пытавшихся прорваться или бродивших по лесам, наступление главной ударной группировки войск нашего фронта продолжалось энергичными темпами. Войска быстро преодолели промежуточную полосу обороны противника по реке Нида и с ходу форсировали реки Пилица и Варта.

Говоря об этом, следует, пожалуй, отметить, что наступление развивалось так стремительно, что к рубежам рек, которые текли перпендикулярно нашему движению, наши войска успевали подойти раньше, чем к этим же рекам подходили отступавшие немецкие войска. Обстоятельство первостепенной важности, потому что стоило нам только дать отступавшему противнику сесть на заранее подготовленные рубежи (а тем более на рубежи с такими естественными препятствиями, как реки) — и темпы всей операции снизились бы немедленно.

Такое движение — если можно так выразиться, на параллельных курсах, с обгоном отступающих немецких войск и захватом водных рубежей в глубине немецкой обороны — было предусмотрено нами заранее. Мы хорошо знали, что впереди целый ряд рек, причем в большинстве с заболоченными торфянистыми долинами, с вязкими, топкими грунтами, особенно неприятными для танковых войск. Да все это еще в условиях непогоды, переменчивой польской зимы — сегодня оттепель, завтра чуть-чуть подморозит, потом снежок, потом снова распутица.

Предвидя все это, мы тщательно проследили за тем, чтобы до прорыва не использовать для переправ на плацдарм никакие подвижные переправочные средства. Все первые эшелоны наших войск, а в особенности танковых и механизированных, были снабжены комплектом, даже сверхкомплектном переправочных средств с таким расчетом, чтобы они смогли с предельной быстротой наводить переправы через реки, встреченные ими в глубине обороны противника.

Такая подготовка, плюс взятый с самого начала темп наступления, плюс решимость и распорядительность командармов, командиров корпусов, дивизий, бригад, как правило, и обеспечивали нам такое положение, при котором мы подходили к рекам и переправлялись через них раньше, чем противник успевал занимать на них оборону.

События на направлении главного удара, в центре и на правом фланге развивались стремительно и успешно. Одновременно с этим на левом крыле фронта тоже назревали и начинали разворачиваться важные события. 59-я армия Коровникова и 60-я армия Курочкина, используя успех наших войск на главном направлении, быстро продвигались к Кракову. Район Кракова был своего рода крепостным районом, заранее подготовленным и запиравшим подступы к Силезскому промышленному району.

Перед нами стояла задача: не уменьшая ни силы удара, ни количества войск на главном направлении нашего наступления, ввести из второго эшелона фронта новые силы для создания второй сильной группировки на Краковском направлении. Причем следует учесть, что Краков

представлял для нас интерес и сам по себе — как крупный город и вторая древняя столица Польши, — и как ключ к Силезскому промышленному району.

Обстановка для успешного наступления на Краковском, а впоследствии Силезском направлении складывалась благоприятно. Войска 5-й гвардейской армии Жадова и танковой армии Рыбалко, действовавшие на Ченстоховском направлении, начинали нависать над Краковским районом с севера, а левее нас 15 января перешел в наступление 4-й Украинский фронт.

Удары Первого и Четвертого Украинских фронтов по обоим флангам противостоявшей им в этом районе 17-й немецкой армии по существу создали угрозу ее окружения. Под ударами 38-й армии генерала К. С. Москаленко, входившей в состав Четвертого Украинского фронта, которым командовал в те дни генерал И. Е. Петров, немцы южнее Кракова начали отходить на запад, и это позволило войскам нашего фронта выйти непосредственно к Кракову уже к исходу 17 января.

Но прежде чем говорить о краковском эпизоде Висло-Одерской операции, пожалуй, стоит представить себе в общих чертах всю обстановку, сложившуюся на нашем Первом Украинском фронте к исходу дня 17 января, то есть через пять с половиной суток после начала операции.

К этому времени прорыв немецкой обороны был осуществлен на фронте в двести пятьдесят километров и на глубину до ста двадцати — ста сорока километров. К этому времени войска фронта разгромили основные, главные силы 4-й танковой армии, 24-го танкового резервного корпуса и нанесли значительное поражение 17-й немецкой полевой армии, входившей в группу армий А, которой командовал генерал Гарпе.

Достигнутые успехи создавали выгодные условия и для развития дальнейшего наступления на главном — Бреславском направлении, и для удара во фланг и тыл краковско-силезской группировки немцев.

Используя все, что было у них под руками — и остатки отходящих частей, и подбрасываемые из глубины резервы, — немцы стремились во что бы то ни стало задержать дальнейшее продвижение нашей главной группировки к Одеру. Но одновременно с этим они продолжали упорно оборонять Краков и, по всей видимости, несмотря на критическое положение, которое создалось у них севернее, готовились оказать самое ожесточенное сопротивление в Силезском промышленном районе. Да и странно было бы, если бы они не собирались здесь драться. Силезский промышленный район по выпуску своей продукции занимал у них второе место после Рура, который, кстати сказать, тоже очутился к тому времени под прямой угрозой со стороны наших союзников. Видимо, немцы рассчитывали, опираясь на сильно укрепленный Краковский крепостной район, сдержать нас, а в последующем, при первой возможности, нанести удар на север — во фланг и тыл нашей главной группировки, сорвать наше наступление и удержать за собой весь Силезский промышленный район.

Очевидно, здесь будет уместно сказать несколько слов о силе немецкого сопротивления, с которым мы столкнулись в этой операции вообще, беря ее целиком. Во-первых, надо отметить, что к началу операции немецкие дивизии (в особенности стоявшие против Сандомирского плацдарма) были укомплектованы и перед началом сражения имели в своем составе до двенадцати тысяч солдат и офицеров каждая. То есть, иначе говоря, к тому времени немецкая пехотная дивизия по своему людскому составу примерно соответствовала двум нашим стрелковым дивизиям.

Мы с самого начала ожидали, что немцы будут драться упорно, тем

более что в перспективе дело шло о перенесении наших действий уже непосредственно на территорию Третьей империи. Тяжелая обстановка, складывающаяся в конце войны для немецкой армии, пока еще не вносила, надо сказать, почти никаких поправок в характер действий немецких солдат на поле боя: немецкий солдат продолжал драться так же, как дрался раньше, отличаясь, особенно в обороне, стойкостью, порой доходившей до самопожертвования. Организация армии оставалась на высоте, дивизии были укомплектованы, вооружены и снабжены всем или почти всем, что им полагалось по штату.

В этих условиях говорить о моральной сломленности немецкой армии пока не приходилось. Надо добавить к этому и такие немаловажные факторы, как, с одной стороны, геббельсовская пропаганда, которая пугала солдат, уверяя их, что мы не оставим от Германии камня на камне и угоним в Сибирь все немецкое население, а с другой стороны, те жестокие репрессии, которые к этому времени еще более широко распространились в немецкой армии.

Ко всему этому следует добавить и заметный подъем духа, вызванный в немецкой армии наступательной операцией в Арденнах, которую сумела широко использовать немецкая пропаганда. Судя по показаниям пленных, в среде солдат и офицеров было в то время довольно широко распространено мнение, что, разбив союзников в Арденнах и принудив их к сепаратному соглашению, германскому командованию удастся бросить свои силы со всех фронтов против Советского Союза. И эта точка зрения распространялась даже и тогда, когда немецкая наступательная операция в Арденнах окончательно выдохлась.

Однако вернемся к боям под Краковом.

Девятнадцатого января рано утром я выехал на наблюдательный пункт 59-й армии к генералу Коровникову. Наступавшие все эти дни с боями войска Коровникова подтягивались для нанесения удара непосредственно по Кракову с севера. И наблюдательный пункт находился уже в виду города.

Оценив вместе с командующим армией обстановку на месте, мы решили направить приданный армии 4-й гвардейский танковый корпус генерала Полубоярова в обход западнее Кракова. В сочетании с наступлением 60-й армии, выходившей в это время к юго-восточным и южным окраинам Кракова, все это создавало для немцев угрозу окружения.

Войска самой 59-й армии в то утро готовились к штурму. Им была поставлена задача ворваться в город с севера и овладеть мостами через реку Висла, лишив противника возможности продолжать дальнейшее сопротивление в самом городе.

Для меня было очень важным добиться стремительности действий всех войск, участвовавших в наступлении на Краков. Только наша стремительность могла спасти Краков от разрушений. А мы во что бы то ни стало хотели взять его неразрушенным. Мы заранее отказались от ударов артиллерии и авиации по самому городу. Это было категорически запрещено. Но зато укрепленные подступы к городу, на которых строилась немецкая оборона, мы в то утро подавили артиллерийским огнем самым основательным образом.

Спланировав на наблюдательном пункте предстоящий удар, мы вместе с Коровниковым выехали на «виллисах» непосредственно в боевые порядки его войск. Корпус Полубоярова уже входил в город с запада, а на северной окраине повсюду шел бой.

Продвижение было успешным. Немцы вели по нашим войскам ружейный, автоматный, пулеметный, артиллерийский, а временами и танковый огонь, но, несмотря на шум и треск, все-таки чувствовалось, что этот огонь уже свертывается, что по существу противник уже слом-

лен угрозой обхода танков Полубоярова и решимости, несмотря на угрозу окружения, зацепиться за город и засесть там у него уже нет. Корпус Полубоярова вот-вот мог перерезать последнюю дорогу, идущую на запад. У немцев оставалась только одна дорога — на юг, в горы. И они начали поспешно отходить.

В данном случае мы не ставили себе задачи окружить немцев в городе. Если бы мы это сделали, нам бы потом долго пришлось их выкорчевывать оттуда, и мы, несомненно, разрушили бы город. Как ни соблазнительно создать вокруг противника кольцо окружения, в данном случае мы, хотя и располагали такой возможностью, не пошли на это. Поставив противника перед реальной угрозой охвата, мы вышибали его из города прямым ударом пехоты и танков.

К вечеру части Коровникова, гремя немецкие арьергарды, прошли весь город насквозь, а части 4-го танкового корпуса с северо-запада и части 60-й армии с востока и юго-востока нанесли крупные потери немцам — уже на выходе и после их выхода из Кракова.

Благодаря умелым действиям войск Коровникова, Курочкина и Полубоярова древнейший и красивейший город Польши Краков был, можно сказать, взят целым и невредимым.

Говорят, будто солдатское сердце привыкает за долгую войну к виду разрушений. Но как бы оно ни привыкло, а смириться с этими разрушениями оно не может. И то, что такой город, как Краков, нам удалось освободить невредимым, было для нас огромной радостью.

Кстати сказать, мин в городе немцы заложили больше чем достаточно. Мины были заложены под все основные сооружения, под многие исторические здания. Однако взорвать их не успели. Не успели сработать и мины замедленного действия. Первые сутки саперы, и армейские и фронтовые, вели буквально не покладая рук лихорадочную работу по расчистке города от мин и снарядов. В первый день, во время боя, я захватил только на северную окраину города. Но на следующий день, ровно через сутки, уже видел расчищенные маршруты с визитными карточками наших саперов: «Очищено от мин», «Мин нет», «Разминировано».

Войска продвигались вперед, и 20 января я уже проезжал через Краков вместе с офицерами штаба фронта на новый передовой командный пункт. Мы с интересом разглядывали то, что можно было разглядеть на ходу машины, но останавливаться и осматривать достопримечательности Кракова времени не было. На учете была каждая минута. Предстояла новая операция — за овладение Силезским бассейном.

Может быть, сейчас это покажется странным, но по-настоящему я осмотрел Краков только спустя десять лет, приехав на празднование десятой годовщины его освобождения. Осмотрел знаменитый Вавель, дворцы и соборы, побывал в Новой Гуте — в этом прекрасном новом промышленном центре новой Польши.

Кстати сказать, именно оттуда, из того района, где теперь стоит Новая Гута, мы и наступали на Краков. Эти места как раз и были тогда полем боя.

Двадцатого января, когда я проезжал через Краков на запад, на фронте назревали важные события. Впереди были новые бои, и войскам фронта предстояло вступить на территорию Третьей империи.

Чем ближе наши войска подходили к реке Одер, тем решительнее мы убеждались, что противник любой ценой будет стремиться удержать за собой Силезский промышленный район. Немцы подтягивали в Силезию остатки разбитых частей и соединений 4-й, 17-й армий и резервные пехотные дивизии.

Уже вечером 19 января, в день взятия Кракова, мы, оценивая перспективы боев в Силезском промышленном районе, считали, что против-



ник способен сосредоточить там крупную группировку войск: до десяти — двенадцати дивизий, не считая разных отдельных и специальных частей.

Перед нами стояло три задачи, соединявшиеся в итоге в одну: разбить силезскую группировку противника без больших жертв с нашей стороны, сделать это в самые короткие сроки и при этом по возможности сохранить неразрушенной промышленность Силезии.

В итоге было принято решение глубоко обходить Силезский промышленный район танковыми войсками, а затем во взаимодействии с общевойсковыми армиями, наступающими на Силезию с севера, востока и юга, заставить немцев под угрозой окружения выйти в открытое поле и там разгромить их.

С этой целью 3-я гвардейская танковая армия Рыбалко 20 января получила от командования фронта задачу изменить направление своего наступления. Раньше Рыбалко был нацелен мной на Бреслау (Вроцлав), но в связи с обстановкой, сложившейся в Силезии, потребовалось повернуть его армию, причем очень круто, с севера на юг вдоль реки Одер. Задача для него как для командарма была не только неожиданная, но и очень сложная — резкий поворот целой танковой армии, уже нацеленной на другое направление и находящейся в движении.

Одновременно с этим приказом были даны соответствующие распоряжения и общевойсковым армиям. 21-я армия генерал-полковника Гусева, усиленная 31-м танковым корпусом генерала В. Е. Григорьева и 1-м гвардейским кавалерийским корпусом генерала В. К. Баранова, должна была наносить удары в общем направлении на Беутен (Бытом), охватывая Силезский промышленный район с севера и северо-запада. 59-я армия Коровникова, усиленная 4-м танковым корпусом П. П. Полубоярова, должна была продолжать наступление на Катовицы, а 60-я армия Курочкина наносила удар вдоль Вислы, охватывая Силезский промышленный район с юга.

Так выглядел общий план взятия Силезского промышленного района.

Дальнейшие события показали, что предпринятый маневр соответствовал сложившейся обстановке. Когда 3-я танковая армия, двигавшаяся к этому времени в глубине немецкой обороны, повернула с севера на юг и пошла вдоль Одера, в тылу у немецких войск, еще продолжавших сопротивляться перед фронтом наступавшей на них 5-й гвардейской армии, немцы, не ожидавшие такого смелого маневра, боясь окружения, начали поспешно отводить свои силы за Одер.

Воспользовавшись этим, части 5-й гвардейской армии к исходу 22 января прорвались к Одеру северо-западнее города Оппельн (Ополе), переправились и захватили на западном берегу Одера плацдарм — первый на нашем фронте.

Тем временем, пока Рыбалко совершал свой поворот на юг, войска 21-й, 59-й и 60-й армий, заняв сотни населенных пунктов, вышли на непосредственные подступы к Силезскому промышленному району и начали втягиваться в жестокие бои, которые по своему характеру угрожали стать затяжными.

Начальник штаба фронта генерал-полковник Соколовский вечером 23 января докладывал в Генеральный штаб состав группировки войск противника, оборонявшей Силезский промышленный район. Группировка насчитывала девять пехотных дивизий, две танковые, несколько так называемых боевых групп, две отдельные бригады, шесть отдельных полков, двадцать два отдельных батальона, в том числе несколько учебно-пулеметных и штрафной офицерский. Кроме того, оценивая обстановку

по данным нашей разведки, начальник штаба фронта доносил, что «в ближайшее время можно ожидать прибытия двух-трех пехотных и одной танковой дивизии».

Читателю неоднократно придется, наверно, сталкиваться с термином «боевые группы». Это понятие появилось в немецкой армии во второй половине войны под воздействием нашего оружия — когда мы стали одно за другим наносить им такие поражения, после которых переставали существовать многие дивизии и полки. Тут-то и появились боевые группы — вынужденная организация, сложившаяся в силу тяжелой обстановки. Когда разбитая в боях часть теряла более половины личного состава и ее уже нельзя было считать прежней боевой единицей, все, что оставалось, объединялось в боевую группу. В 1945 году появились сводные боевые группы из различных разбитых частей. Их чаще всего называли по имени ее командира. Численность таких групп колебалась в зависимости от того, на базе чего они созданы — полка, бригады, дивизии. Иногда в них бывало пятьсот—семьсот человек, иногда и тысяча — полторы.

Надо отметить, что, как правило, эти боевые группы дрались очень упорно. У них бывало обычно опытное командование, хорошо знавшее своих подчиненных, и сбрасывать со счетов такую силу, как эти боевые группы, нам не приходилось.

Создание таких групп происходило, конечно, не от хорошей жизни, но на худой конец в складывавшихся критических обстоятельствах это было, в общем, разумной мерой со стороны немецкого командования.

Возвращаясь к той оценке немецкой группировки в Силезском промышленном районе, которая у нас сложилась к 23-му числу. Группировка эта, хотя и состояла в основном из жестоко потрепанных в боях войск, все же представляла собой солидную силу, с которой приходилось считаться.

Третья танковая армия Рыбалко, совершив поворот на девяносто градусов, шла на юг по неприятельским тылам, к 27 января вышла в заданный ей по приказу район, нависая своими передовыми частями над силезской группировкой противника.

Не могу не отдать должного Павлу Семеновичу Рыбалко. Уже обладая к тому времени большим опытом маневренных действий, он и на этот раз, получив приказ в такой момент, когда его войска уже втянулись в бои фронтом на запад, сманеврировал с предельной быстротой и, не теряя ни одного часа, пошел с боями на юг.

К тому времени, когда он подходил к Силезскому промышленному району, 21-я и 59-я армии уже подошли сюда вплотную, вышли к Беутену (Бытому), вели бои за овладение Катовицами, а 60-я армия, наступая южнее, овладела Освенцимом.

Я на второй день после освобождения этого страшного лагеря, ставшего теперь во всем мире символом фашистского варварства, был сравнительно недалеко от него, ехал через этот район в войска. Первые сведения о том, что представлял из себя этот лагерь, мне уже были доложены. Но увидеть все это лично, своими глазами, я не то чтобы не хотел, а просто сознательно не разрешил себе. Боевые действия были в самом разгаре, и руководство ими требовало настолько большого напряжения, что я считал себя не вправе отдавать собственным переживаниям ни душевных сил, ни времени. Все это принадлежало там, на войне, не мне.

Я ехал в войска и думал над предстоящими решениями, которые необходимо было принять. Дальнейшее наступление 60-й армии с юга и 3-й танковой с севера уже ясно образовывало вокруг немцев клещи, которые в перспективе оставалось замкнуть, окружив в Силезском промышленном районе всю скопившуюся там немецкую группировку. Реаль-

ные возможности к этому были. Но передо мной как командующим фронтом вставала проблема: следует ли это делать? Я отдавал себе отчет, что если мы окружим немецкую группировку, насчитывающую десять — двенадцать дивизий, не считая частей усиления, и будем вести с ней бои, то ее сопротивление может затянуться на очень длительное время. Особенно если принять во внимание район, в котором она будет сопротивляться. А в этом-то и вся соль.

Перед нами открывалась возможность запереть эту группировку в Силезском промышленном районе шириной в семьдесят и длиной в сто десять километров. Вся эта площадь была сплошь застроена главным образом каменно-железобетонными сооружениями и массивной кладки жилыми домами. Перед нами был не один город, а целая система сросшихся между собой городов общей площадью в пять-шесть тысяч квадратных километров. Если противник засядет в этом районе и будет обороняться там до конца, то одолеть его будет очень трудно, и это будет связано не только с большими человеческими жертвами, но и с тем, что мы вынуждены будем превратить этот район в развалины.

Словом, во что обойдется нам уничтожение окруженного в Силезском промышленном бассейне противника, я отчетливо себе представлял, я знал, что при всех обстоятельствах это задача длительная и трудная, связанная и с большими потерями с нашей стороны, и с большими разрушениями.

Однако, с другой стороны, принять решение отказаться от окружения противника мне было не так-то просто. Не скрою, во мне происходила внутренняя борьба, я колебался. Сложность положения усугублялась тем, что несколько дней назад, в начале операции, когда мы еще не успели приблизиться к Силезскому району, не успели до конца почувствовать, с чем, с какими потерями, с какими разрушениями будут связаны длительные бои с окруженными в этом районе немцами, мной был отдан приказ на окружение.

Я ехал в подходящую с севера армию Рыбалко, и у меня созрела мысль, что мы обязаны взять Силезский промышленный район непременно целым и, значит, должны выпустить немцев из этой ловушки и постараться добить их потом, выпустив в поле.

А с другой стороны, ведь именно окружение есть высшая форма оперативного искусства, его венец. Так как же вдруг взять и отказаться от этого? Нелегко было мне, военному профессионалу, воспитанному в духе стремления при всех случаях окружать противника, выходить на его пути сообщения, не выпускать из кольца, громить, — вдруг вместо этого пойти на нарушение сложившейся доктрины, на нарушение системы твердо установившихся взглядов. Взглядов, которые я и сам исповедовал.

Это было нелегкое психологическое состояние, которое усугублялось еще и тем, что армия Рыбалко, в которую я ехал и которую, приняв решение не окружать, мне предстояло еще раз поворачивать, — эта армия шла сюда с настроением именно окружить противника, сомкнуть кольцо вокруг него, не выпустить его. А мне предстояло опрокинуть все эти вполне закономерные ожидания и переориентировать армию и ее командующего на другую, новую задачу.

Я ехал и стремился хладнокровно взвесить все плюсы и минусы. Ну, хорошо, мы окружим немцев в Силезском промышленном бассейне. Их примерно сто тысяч. Половина из них будет уничтожена в боях, а половина взята в плен. Вот, собственно говоря, и все плюсы. Пусть немалые, но все. А минусы? Замкнув кольцо в результате операции, мы вынуждены будем разрушить весь этот район, нанести огромный ущерб крупнейшему промышленному комплексу, который должен стать достоянием Польши. Кроме того, войска понесут тяжелые потери, потому что драться здесь —

означает штурмовать завод за заводом, рудник за рудником, здание за зданием. И, несмотря на наше преимущество в технике,— в таких боях, где берешь дом за домом, приходится платить дорогой ценой, жизнь за жизнь. А между тем людских потерь у нас за спиной за четыре года войны достаточно. А перспектива победоносного окончания войны уже недалека. И всюду, где это возможно, так хочется сохранить людей, дойти с ними — с живыми — до победы.

На плечах командующего фронтом лежала в данном случае большая ответственность, и я, не будучи, очевидно, от природы человеком нерешительным, все же не скрою, долго колебался и взвешивал, прежде чем принять окончательное решение не окружать немцев, выпустить их и постараться добить в поле.

Жизнь впоследствии оправдала избранный мною тогда вариант. В итоге всех тех размышлений, о которых я уже говорил, было принято окончательное решение: не окружать немцев, оставить им свободный коридор для выхода из Силезского бассейна и добивать их, когда они выйдут через этот коридор.

Для того, чтобы осуществить этот план, надо было дать распоряжения двоякого рода. С одной стороны, надо было еще раз повернуть на ходу те соединения танковой армии Рыбалко, которые готовы были уже перерезать этот коридор, а с другой стороны, требовалось активизировать действия войск, непосредственно наступавших на Силезский промышленный район. Просто оставить коридор для выхода немцев — этого было мало, надо было заставить их рассматривать этот коридор как единственный путь к своему спасению. А для этого надо было показать им свою мощь и свою решимость вышибить их из Силезского промышленного района, атакуя их, тесня их в направлении оставленного коридора, на юго-запад.

Командующим 59-й армией Коровникову и 60-й Курочкину указания были отправлены с офицерами моей оперативной группы, а к командующему 21-й армией Гусеву я по дороге к Рыбалко заехал сам. По первоначальному плану его армия, ведя фронтальные бои, в то же время входила в Силезский район с северо-запада. Теперь ему было отдано приказание — как можно стремительнее атаковать противника с фронта, тесня и вышибая его.

Немного забегая вперед, скажу, что 21-я армия и в этот день, и в последующие прекрасно выполняла поставленную перед ней задачу.

Поскольку я заговорил о Дмитрие Николаевиче Гусеве, мне хочется хотя бы коротко остановиться здесь на личности и деятельности этого незаурядного военачальника.

Гусев прибыл к нам со своей 21-й армией с Ленинградского фронта, где он до этого успешно воевал и в роли начальника штаба фронта, и в роли командующего армией. У нас на Первом Украинском фронте он начал боевые действия в Висло-Одерской операции. При освобождении Силезского промышленного района его армия очищала от немцев всю северную часть этого района. Гусев действовал при этом образцово, очень организованно, умело, близко к сердцу приняв необходимость сохранить Силезский промышленный район от разрушения. И надо сказать, что именно действиям его армии мы в значительной мере обязаны тем, что это удалось сделать.

С такой же тщательностью, основательностью, упорством Гусев действовал и в Верхне-Силезской операции, опираясь на хорошо подготовленный и хорошо сработавшийся штаб армии, роль и значение которого он превосходно понимал. Гусев отличался умением отлично организовать управление своей армии сверху донизу.

По своему характеру это был человек одновременно и активный и неторопливый. Это был рассудительный и твердый начальник, трезво взвешивавший всю обстановку в целом, но при этом не выпускавший из поля зрения и те особенные и неповторимые частности, которые оказываются характерными именно для той или иной операции или боя.

Я не раз бывал в армии, и мне всегда было приятно чувствовать дружную, сплоченную работу Военного Совета этой армии. Гусев прошел большую боевую дорогу вместе со своими командирами корпусов и дивизий, и установившиеся с ними отношения давали ему возможность рассчитывать на безусловное выполнение не только буквы, но и духа его приказаний.

Этот прибывший к нам с Ленинградского фронта дружный, сплоченный коллектив 21-й армии, так много до этого испытавший и переживший, лично мне очень нравился, производил самое хорошее впечатление.

Хочу добавить к этому, что, придя к нам на фронт, эта новая армия попала в совершенно иную, непривычную для нее обстановку, отличавшуюся от обстановки Ленинградского фронта большей широтой, оперативным размахом, глубиной операций, маневренностью. Гусев как командующий очень быстро переключился с одной обстановки на другую и оказался на высоте положения.

Кроме того, это был человек, с самого начала нашего знакомства всеми своими действиями вызывавший большое уважение и доверие к себе. Я и по сей час сохраняю о нем самую светлую память.

Возвращаюсь к своему рассказу.

Теперь мне предстояла встреча с П. С. Рыбалко. Принимая свое решение, я с известной тревогой думал о том, как поймут меня «наверху», в Ставке. Но это была не единственная моя тревога. Думал я и о том, как поймут меня мои подчиненные, в данном случае — Рыбалко, который в течение нескольких дней совершал сложнейший маневр с боями именно для того, чтобы замкнуть кольцо вокруг силезской группировки немцев, а теперь услышит от меня, что немцам надо оставить коридор для выхода.

Когда я прибыл в район расположения, или, в данном случае точнее сказать, в район движения армии Рыбалко к Глейвицу (Гливице), сам Рыбалко был на передовом наблюдательном пункте, по существу говоря, на поле боя. Там я его и застал и отдал ему приказ не окружать силезскую группировку противника, а повернуть главные силы танковой армии на юго-запад, на Рацибор, громя отходящего противника в открытом поле.

Конечно, за мной как за командующим фронтом оставалось последнее слово, но я понимал, что генералу Рыбалко нелегко выслушать этот приказ. Вначале Павлу Семеновичу было не понятно, как это так — я вдруг отворачиваю его армию от цели. Чем вызвано такое неожиданное решение? Почему мы не можем использовать исключительно благоприятную обстановку для окружения, а затем и уничтожения противника?

Он откровенно высказал мне эти сомнения. Но когда я в дальнейшем коротком разговоре — коротком, потому что на длинный времени не было — объяснил ему все значение, которое будет иметь для Польши освобождение и возвращение ей Силезского промышленного района целым и невредимым, Павел Семенович, человек достаточно зрелый не только в военном, но и в политическом отношении, в конце концов правильно понял меня, хотя ему это и стоило немалых душевных колебаний и известного насилия над собой. И можно его понять: ведь он же буквально нацелился, вопрос замыкания кольца был для него вопросом

всего, быть может, нескольких часов боя. И вдруг приходилось еще раз поворачивать уже развернутые в боевые порядки танковые корпуса.

Восстанавливать по памяти диалоги, имевшие место двадцать лет тому назад, трудное дело. Но как раз этот разговор с Рыбалко был одним из тех, что не забываются, и если понадеяться на память, то выглядел он примерно так.

Он: Товарищ маршал, чтобы выполнить ваш приказ, мне надо вновь поворачивать армию.

Я: Ничего, Павел Семенович, вам не привыкать. Ваша армия только что совершила блестящий поворот. Давайте сделаем еще один доворот. Кстати, у вас целый корпус еще не развернут, идет во втором эшелоне. Давайте его сразу и выведем на Рациборское направление, а эти два заступорим, тем более что связь по радио у вас со всеми корпусами, насколько я понимаю, отличная.

Он (поморщившись и еще, как я чувствую, внутренне сопротивляясь): Да, это, пожалуй, возможно.

Я: Связь у вас хорошая, я не ошибаюсь? Со всеми есть связь?

Он: Да, связь есть со всеми. Радио работает безотказно.

Я: Так передайте тогда сейчас же приказ этим двум корпусам «стоп», а тому корпусу: «Вперед, на Рацибор».

Машины с радиостанциями были здесь же — и моя машина, и машина Рыбалко, — и он, уже не теряя ни минуты времени, пошел отдавать по радио этот приказ.

Кстати сказать, при этом разговоре присутствовал и боевой соратник Рыбалко член Военного Совета 3-й танковой армии С. И. Мельников, человек, имевший обыкновение большую часть своего времени проводить в войсках, в боевых порядках наступающей армии.

Когда вспоминаешь боевое прошлое, то для того, чтобы тебя лучше поняли, порой некоторые моменты хочется передать зрителю, попросить в меру своих сил восстановить перед глазами читателя ту картину, которую тогда видел ты сам. Что такое был передовой наблюдательный пункт 3-й танковой армии, на котором происходил весь этот разговор? Это был не дом, не блиндаж, а просто удобная для обозрения местности высотка, на которую выскочил командующий армией, а вслед за ним и я. Обзор исключительно широкий. Впереди лежит поле боя, и мы оба видим это поле боя, видим движение танковых соединений Рыбалко. Его бригады маневрируют перед нами, как на хорошем плацу, под обстрелом противника двигаясь к Силезскому промышленному району. Вдали виден и сам промышленный район, дымящиеся трубы продолжающих работать заводов.

Слева от нас, там, где ведет бой 21-я армия Гусева, слышна непрекращающаяся артиллерийская стрельба и видно продвижение пехоты. А в тылу вдали из глубины выдвигаются новые танковые массы — тот корпус, который Рыбалко сейчас по радио заворачивает на Рацибор.

Современная война — это большие расстояния. Действия больших войсковых масс чаще всего не уместаются в твоём поле зрения, даже если ты находишься на наблюдательном пункте. Чаще всего они обозрими только по карте. Тем большее удовлетворение я испытывал там, на передовом наблюдательном пункте Рыбалко, когда по условиям местности и сосредоточения войск мог наблюдать стремительное продвижение вперед боевых порядков танковых бригад, смелое, напористое, несмотря на огонь и сопротивление немцев. На танках — десантники, мотопехота, причем на некоторых — с гармошками и баянами.

Кстати сказать, многие танки в этой операции были замаскированы тюлем. Танки и тюль — сочетание, на первый взгляд, странное, но в нём была своя логика. Была зима, на полях лежал снежок, а танкисты нака-

нуне как раз захватили склад какой-то текстильной фабрики. Там нашлось много тюля, и маскировка оказалась неплохой.

Так и стоит сейчас перед глазами как живая эта картина со всеми ее контрастами, с дымящимися трубами Силезии, с артиллерийской стрельбой, с лязгом гусениц, с тюлем на танках, с играющими, но не слышными гармошками десантников.

Рассказывая о дальнейших операциях фронта — Берлинской и Пражской, мне еще не раз придется возвращаться к имени и к боевым действиям командующего 3-й гвардейской танковой армией Павла Семеновича Рыбалко. Но я испытываю потребность рассказать об этом незаурядном человеке несколько подробнее, чем это можно сделать по ходу изложения боевых действий. Мне хочется представить его читателю таким, каким он остался в моей памяти, попробовать дать нечто вроде портрета его; причем, разумеется, по роду моей деятельности портрет этот будет прежде всего и главным образом военным портретом.

На войне я встретился с Рыбалко впервые только в 1944 году. До этого в качестве командующего 3-й танковой армией он провел уже ряд крупных операций по освобождению Украины, форсированию Днепра, освобождению Киева, наступлению на Западной Украине. Я встретился с ним 15 мая 1944 года, принимая командование Первым Украинским фронтом.

Наша первая встреча на войне была далеко не первой в жизни. Я знал Рыбалко с начала двадцатых годов по учебе на курсах высшего начальствующего состава при Академии имени Фрунзе. Впрочем, тогда она еще так не называлась, Фрунзе был жив, и именно он послал целую группу старых боевых комиссаров — человек тридцать — учиться на этих курсах. Хоть я и говорю — «старых» боевых комиссаров, но было этим комиссарам тогда лет по двадцать шесть — двадцать семь.

И Рыбалко и я на гражданской войне были оба комиссарами, и оба оказались в этой группе.

После окончания курсов Рыбалко пошел уже не на комиссарскую, а на командную должность — командиром полка. Командовал полком, дивизией, потом был некоторое время военным атташе в Польше. Потом — вновь на командной работе. В ходе войны, как я уже сказал, стал командующим танковой армией. В этой роли я его и встретил — почти через двадцать лет после Академии.

Павел Семенович Рыбалко был человеком широко образованным и в общем, и в военном отношении. Он окончил не только те Высшие курсы командного состава, о которых я упоминал, но — несколько лет спустя — еще и Академию имени Фрунзе, где мы опять учились вместе. И на курсах и в Академии учился он превосходно, был в числе первых — и это характерно для его натуры.

Теоретическая подготовка в сочетании с разносторонним командным опытом делали Рыбалко сложившимся, уверенным в себе военачальником. Его характеру была свойственна большая выдержка, сочетавшаяся с энергией и волевым началом, ярко выраженным во всех его действиях.

В дружеских беседах он бывал остроумен, находчив, любил и умел полемизировать. Но главным положительным качеством Рыбалко, я бы сказал, высоким психологическим его достоинством как военачальника было умение сплотить коллектив, который его окружал и которым он командовал. Он действовал не методом уступок и поглаживания по головке, задабривания или всепрощения. Напротив, он всегда предъявлял — и в условиях армии это было необходимо — самые суровые требования, но при этом умел оставаться справедливым и заботливым. Он имел ту далеко не всегда встречающуюся особенность, которую я глубоко ценю в военных людях. Полною мерою взыскивая со своего подчи-

ненного за любой промах, он потом, когда за тот же промах подчиненного приходилось отвечать ему самому, — не давал его избить, снять, уничтожить. Большую часть ответственности он всегда брал на себя.

Военный Совет армии Рыбалко был хорошим, сплоченным руководящим органом, работал дружно — разумеется, при неоспоримом приоритете командующего во всех военных вопросах.

Член Военного Совета С. Мельников, о котором я уже упоминал, хорошо сработался с Рыбалко, и это, по справедливости можно сказать, было их обоюдной заслугой. Мельников не только занимался партийными вопросами, вопросами политико-морального состояния и политического воспитания, но и дополнял Рыбалко в целом ряде других армейских дел, скажем, таких, как материально-техническое обеспечение, значение которого вообще огромно на войне, а в танковой армии тем более. Мельников постоянно бывал вместе с Рыбалко на передовой и умел, если это требовалось, воздействовать на подчиненных примером личного мужества. В этом смысле оба эти человека были схожи друг с другом.

Павел Семенович Рыбалко был вполне бесстрашным человеком, в то же время никак не склонным к показной храбрости. Он умел отличать действительно решающие моменты от кажущихся. Он точно знал, когда именно и где именно ему нужно быть. А это необыкновенно важно для командующего. Он не суетился, как некоторые другие, не метался из части в часть, но, если это было продиктовано обстановкой, неукоснительно, невзирая на опасность, появлялся в тех пунктах и в тот момент, когда и где это было нужно. И в этих случаях его ничто не могло остановить.

У нас было немало хороших танковых начальников, но, не уменьшая их заслуг, я все-таки хочу сказать, что, на мой личный взгляд, Рыбалко наиболее глубоко понимал характер крупных танковых объединений, танковых армий. Он любил, ценил и хорошо знал технику, хотя и не был смолоду танкистом. Он знал, что можно извлечь из этой техники, знал, что достижимо и что недостижимо, и помнил об этом, ставя задачи своим войскам.

Во второй половине Великой Отечественной войны танковые войска были передовым родом оружия, задававшим тон в операциях. И Рыбалко, полной мерой используя силу своих войск, умел задать этот тон, определяющий темп всей операции. Разумеется, это было непростым делом, и каждую свою операцию он готовил с ювелирной тщательностью. Я не раз бывал у него, когда он на ящике с песком, или на рельефном плане, или на карте крупного масштаба предварительно проигрывал боевые действия танковых соединений, корпусов, бригад с разбором действий командиров. Присутствовал при том, как он в армейском масштабе готовил Львовскую операцию. Присутствовал и при подготовке Висло-Одерской операции.

Но тщательная подготовка командного состава была только частью его забот. С такой же тщательностью занимался он и с инженерно-техническим составом, вникал во все, что было связано с обеспечением танков, с их ремонтом, эвакуацией, восстановлением, — превосходно понимая, что наибольший эффект в бою он получит только при технически правильном использовании танков.

Не мудрено, что такой генерал-танкист был для нас на войне исключительно дорог. И не случайно 3-я танковая армия под его командованием была передовой армией, подававшей своими действиями пример того, как много можно получить от наших танковых армий в условиях большой маневренной войны, если правильно и дальновидно ими командовать.



Что касается наших личных отношений с Пазлом Семеновичем, то, коротко говоря, мы были с ним друзьями. Поскольку речь идет о войне, скажу точнее — боевыми друзьями.

В чем ценность дружбы на войне между командующим фронтом и его командармом? Главная ценность этой дружбы — в доверии. Мы взаимно доверяли друг другу, как самому себе. А доверие это — вообще основа основ всей нашей командной деятельности. Это доверие сложилось постепенно, явилось результатом большой совместной трудной работы в трудной и сложной обстановке. Оно было предметным, я бы сказал, результатом наших служебных отношений, результатом, завоеванным взаимно как с той, так и с другой стороны. И я бы добавил, что такое взаимное доверие тем более важно, что оно не ограничивается отношениями двух человек, а как бы по цепочке передается вниз, подчиненным. Атмосфера, при которой в войсках складывается ощущение: в нас верят, на нас надеются — на наш полк, на нашу дивизию, на наш корпус, на нашу армию, — это атмосфера, крайне необходимая на войне, влияющая на ход военных действий.

И вообще, если угодно, трудно переоценить наличие или отсутствие взаимного доверия в любой военной инстанции: между командующим фронтом и командармами, между командармом и командирами корпусов и так далее, по цепочке ниже. Война связана с таким количеством непредвиденных обстоятельств, с такой постоянной необходимостью вносить коррективы и искать новых решений, что как заранее ни планируй, всего не распишешь, не прикажешь и по каждому поводу заранее всего не укажешь. Вот тут-то и решает дело доверие.

Павел Семенович Рыбалко был человеком, которому я беспредельно верил. Когда речь шла о нем, то я знал, что там, где я как командующий фронтом не все предусмотрел, там предусмотрит он. Предусмотрит, дополнит от себя и в итоге делает даже лучше, чем я предполагал.

У меня всегда вызывало чувство внутреннего протеста, когда в моем присутствии кто-нибудь из старших начальников ставил задачи своим подчиненным формально, как сухарь, не понимающий, что перед ним сидят живые люди, и не понимающий этих людей. Такой начальник начинал диктовать, не глядя людям в глаза: «Первый пункт — о противнике, второй пункт — о наших войсках, третий — ваши задачи. Приказываю вам...» И так далее и тому подобное. Формально все вроде верно, а души нет, контакта со своими подчиненными нет. Встречались у нас и такие начальники. Я вспомнил о них по закону контраста, потому что Рыбалко был как раз полной противоположностью подобным людям. Ставя задачу, отдавая приказ, он, разумеется, формулировал это по всем правилам военной науки, но при этом и души не терял. И в других людях чувствовал личности, а не просто человеческие объекты, которым он отдает приказ.

Ведь это очень важно, когда, взваливая на плечи подчиненному порой тяжелейшую задачу, говоришь с ним при этом не формальным приказным языком, а доверительно, по-человечески: «Товарищ Петров, ваша задача такая-то. Это, мы знаем, нелегкая и ответственная задача. Но я надеюсь, товарищ Петров, что именно вы эту задачу выполните, я знаю вас, я с вами не первый день и не первый год воюю. Ну, а кроме того, помните, что вы можете всегда в трудную минуту рассчитывать на мою поддержку. Хотя я уверен, что вы справитесь и без этой поддержки. Вы должны к исходу дня выйти туда-то и овладеть тем-то. Справа от вас будет действовать Николай Павлович, а слева — Алексей Семенович. Это люди, которые вас не подведут, вы это знаете не хуже меня. Так что нажимайте вовсю, без излишнего беспокойства за свои фланги».

Я не пытаюсь восстановить какой-то конкретный разговор, я говорю

просто о стиле обращения к подчиненному, который был характерен для таких военачальников, как Рыбалко. Причем стоит добавить, что этот стиль отнюдь не исключал самой жесткой требовательности.

Таким был Павел Семенович Рыбалко. К его боевым делам я еще буду не раз возвращаться по ходу своего повествования, а здесь хочу сказать, что и после войны, когда мне в роли главнокомандующего сухопутными войсками пришлось работать вместе с Рыбалко, командовавшим нашими бронетанковыми войсками, я лишь утвердился в своем высоком мнении об этом человеке. Был сложный период перехода от войны к мирному положению. Перед Рыбалко стояла задача извлечь весь боевой опыт, который мы получили, наметить планы развития бронетанковых войск в мирное время с перспективой на будущее, правильно разработать всю техническую политику такого важнейшего рода оружия, как танковые войска.

Это была последняя должность Рыбалко. Он умер, находясь на этом посту, умер в расцвете сил, и это была тяжелейшая утрата не только для всех его боевых товарищей, но и для всех наших Вооруженных Сил.

В дальнейшем я постараюсь в меру своих сил дать краткие военные портреты и некоторых других своих соратников по Первому Украинскому фронту.

Возвращаюсь к своему изложению.

Наше решение не завершать окружения силезской группировки врага привело к положительным результатам. Под сильным натиском с фронта и в связи с глубоким обходом немцам пришлось поспешно отходить в оставленные нами для этого ворота. Это привело к тому, что к 29 января весь Силезский промышленный район был очищен от противника и захвачен неразрушенным, на полном ходу.

Когда я говорил раньше, что, находясь на наблюдательном пункте у Рыбалко, видел, как впереди дымили трубы Силезии, это было не фигуральное, а совершенно точное выражение. Многие предприятия, когда мы ворвались туда, работали и продолжали работать и выпускать продукцию после того, как весь этот район оказался в наших руках.

Под сильным и быстрым натиском наших войск немцы понесли серьезные потери уже в тот период, когда, пытаясь оторваться от нас, выходили из промышленного района в оставленный нами коридор. Но главные потери они понесли уже после выхода — на открытой местности, под ударами танкистов Рыбалко и 60-й армии Курочкина.

Судя по данным, которыми мы располагали, после ряда ударов, нанесенных им в открытом поле, от группировки немцев в Силезии осталось не более двадцати пяти—тридцати тысяч человек из различных разбитых и разрозненных частей. Это все, что вышло у немцев из того предполагаемого котла, от создания которого мы в последний момент отказались.

Кроме того, мы, очевидно, упустили нескольких немецких генералов, которых, замкнув кольцо, могли бы взять в плен. Но я не жалел об этом. То, что мы выиграли, не шло ни в какое сравнение с тем, что мы проиграли.

Я все последнее время говорил о наших действиях в Силезии на южном крыле фронта. Следует напомнить, что действия фронта в этот период, при всей важности операции по овладению Силезским промышленным районом, отнюдь не ограничивались только одной этой операцией. От левого фланга фронта, где мы граничили с Четвертым Украинским, и до правого, где мы граничили с Первым Белорусским, было около пятисот километров, и бои шли на всем этом огромном пространстве.

Как я уже упоминал, на центральном участке фронта, используя благоприятную обстановку, созданную поворотом армии Рыбалко, продвигавшейся на юг по тылам немцев, 5-я гвардейская армия Жадова захватила плацдармы, которые впоследствии сыграли очень важную роль при проведении новых операций — Нижне-Силезской и Верхне-Силезской.

Правее Жадова 4-я танковая армия Лелюшенко тоже форсировала Одер и вышла в район Штенау. Однако еще правее, на правом крыле фронта, наступление 13-й армии Пухова и 3-й гвардейской армии Гордова шло медленно. Их войска вели ожесточенные бои с остатками немецких 24-го танкового и 42-го армейского корпусов, а также с соединениями 9-й немецкой армии, которые раньше действовали перед войсками Первого Белорусского фронта, а теперь под их ударами сместились к югу и вышли в район восточнее Лиса, в полосу действий армии Гордова.

В эти дни мне пришлось выехать в танковую армию Лелюшенко. Его командный пункт был уже на том берегу, за Одером, и, добравшись туда и выслушав его доклад, я поставил ему задачу нанести удар на северо-запад, наступая одновременно и по восточному и по западному берегу Одера с тем, чтобы совместно с наступающей с востока армией Гордова окружить и уничтожить отходившую группировку противника и не дать ей перейти Одер.

Вспоминаю об этом без удовольствия, но из песни слова не выкинешь — необходимо признать, что полностью выполнить эту задачу войскам 4-й и 3-й армий не удалось. Немцы сманивировали и прошли севернее намечавшегося мешка. Хотя нашим войскам и удалось сначала окружить, а потом уничтожить в районе Лиса около пятнадцати тысяч вражеских солдат, однако значительной части группировки немцев, хотя и с крупными потерями, все-таки удалось переправиться на западный берег Одера. И если на левом крыле фронта у нас все вышло именно так, как было задумано, то о действиях правого крыла этого сказать нельзя.

Говоря о выводах и обобщениях, которые напрашиваются после этой операции, я остановлюсь только на самых существенных моментах. Война — это непрерывное накопление и непрерывное обобщение опыта. Причем обобщение предыдущего влияет на последующее, на дальнейший ход войны. И именно в этой связи, прежде чем переходить к нашим дальнейшим действиям, я и коснусь наиболее важных итогов Висло-Одерской операции.

Главная особенность прорыва, с которого началась операция, заключалась в том, что мы обеспечили большую глубину огневого подавления, по существу на полную артиллерийскую дальность. Для тяжелых калибров — на глубину двадцать—двадцать два километра.

Успех прорыва следует отнести также за счет правильного определения ширины участка прорыва. Ширина прорыва в сорок два километра сразу обеспечила и его развитие в оперативную глубину, и возможность его развития в стороны флангов.

Операция отличалась высокими темпами продвижения войск. Прорвав в первый день оборону противника на глубину в двадцать—двадцать пять километров, армии Жадова, Коротеева, Пухова в последующие дни наступали по двадцать пять — тридцать километров в сутки, а танковые армии делали по сорок — пятьдесят километров, а в отдельные дни по шестьдесят—семьдесят километров в сутки, на ходу грома подходящие из глубины резервы врага.

Танковые армии в ходе операции показали образцы смелого и быстрого маневра. К ним можно отнести маневр армии Рыбалко с севера

на юг, предопределивший участь силезской группировки противника, а также маневр танковой армии Лелюшенко, которая, в начале операции выйдя в район западнее Кельце, обеспечила войскам армий Гордова и Лухова быстрое взятие города Кельце и разгром кельце-радомской группировки немцев.

Характерной особенностью операции было широкое маневрирование не только танковых соединений, но и общевойсковых армий. При этом вошло в норму, что наступающие войска смело шли вперед не сплошным фронтом, а с разрывами.

Успешный захват Силезского промышленного района тоже представлял принципиальный интерес, напоминая о том, что на войне бывают такие положения, когда, казалось бы, наиболее эффективное завершение той или иной операции с точки зрения оперативного искусства не соответствует высшим политико-стратегическим интересам.

При изучении Висло-Одерской операции встретятся и классические формы окружения противника, и борьба на окружение, и уничтожение движущихся неприятельских группировок, находящихся в тылу наших войск. Выбирая в ходе операции те или иные формы оперативного маневра, мы всякий раз исходили из конкретно сложившейся обстановки, а она давала большое разнообразие действий как со стороны немецких, так и со стороны наших войск, потому что и та и другая стороны маневрировали и на поле боя возникали совершенно неожиданные ситуации, требовавшие смелых творческих решений.

Операция интересна и с точки зрения опыта стремительного форсирования крупных рек в условиях малоснежной теплой зимы, когда реки почти не замерзали. Надо сказать, что наши войска хорошо усвоили основное оперативное требование — выходить на реки широким фронтом раньше, чем по ним займет оборону противник. И это, как правило, приводило к хорошим результатам.

Если взять Висло-Одерскую операцию в целом, то за двадцать три дня наступления войска Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов, при активном содействии войск Второго Белорусского и Четвертого Украинского фронтов, продвинулись на глубину до шестисот километров, расширили прорыв до тысячи километров и с ходу форсировали Одер, захватив на нем ряд плацдармов. Причем Первый Белорусский фронт, захватив Кюстринский плацдарм, оказался в шестидесяти километрах от Берлина.

В ходе операции войска Первого Украинского фронта очистили от врага Южную Польшу с ее древней столицей Краковом, овладели Силезским промышленным районом и, захватив на западном берегу Одера оперативные плацдармы, создали благоприятные условия для нанесения последующих ударов по врагу как на Берлинском, так и на Дрезденском направлениях.

По нашим подсчетам, за время этих боевых действий войска Первого Украинского фронта нанесли поражение двадцати одной пехотной, пяти танковым дивизиям, двадцати семи отдельным пехотным, девяти артиллерийским и минометным бригадам, не говоря уже об очень большом числе различных специальных подразделений и отдельных батальонов.

За время операции было взято сорок три тысячи пленных и уничтожено, по нашим подсчетам, больше ста пятидесяти тысяч солдат и офицеров. Среди захваченных в боях трофеев насчитывалось более пяти тысяч орудий и минометов, более трехсот танков, более двухсот самолетов, не говоря уже об очень большом количестве всякого иного вооружения и боевой техники.

Все эти успехи стали возможны потому, что солдаты, офицеры, генералы в ходе этой длительной, напряженной, охватившей громадные пространства операции проявили большое мужество, выдержку, неутомимость. А за всем этим стояла глубокая преданность своей социалистической родине и столь же глубокая вера в уже приближающуюся окончательную победу над фашизмом.

Операция изобиловала примерами личного героизма и самопожертвования, решимости людей выполнить свой долг до конца, не считаясь ни с чем. И я сейчас, через двадцать лет, как бывший командующий Первым Украинским фронтом, еще раз снимаю шапку перед всеми, кто пролил свою кровь и отдал свою жизнь в этих боях. А жертв нам пришлось принести немало.

Однако, если взять эту операцию в целом и соотнести понесенные нами потери с достигнутыми успехами, надо сказать, что на этот раз наши победы достались нам меньшей кровью, чем в ряде других предыдущих операций. И это определялось и нашей возросшей технической мощью, и нашим возросшим военным мастерством.

Вот что на эту тему писал впоследствии военный историк Западной Германии, бывший генерал немецко-фашистской армии Ф. Меллентин: «Русское наступление развивалось с невиданной силой и стремительностью. Было ясно, что их Верховное Главнокомандование полностью овладело техникой организации наступления огромных механизированных армий. Невозможно описать всего, что произошло между Вислой и Одером в первые месяцы 1945 года. Европа не знала ничего подобного со времени гибели Римской империи».

Здесь, собственно говоря, можно было бы поставить точку на Висло-Одерской операции и перейти к другим операциям, если бы не участвовавшие фальсификации в области военной истории, которыми на Западе с каждым годом занимается все более широкий круг лиц. В некоторых исторических сочинениях, даже в таких, казалось бы, солидных, как книги американского историка Ф. С. Паотью, английского военного историка Д. Фуллера, французского историка С. Ж. Тарси, тщетно искать хотя бы упоминания о том, что советские войска на Восточном фронте начали Висло-Одерскую операцию на восемь дней раньше намеченного срока для того, чтобы оказать содействие союзникам, попавшим на западе в тяжелое положение в канун нового года и, несмотря на некоторое улучшение обстановки, продолжавшим и в начале января оценивать ее достаточно нервозно.

Для того, чтобы, заканчивая повествование о Висло-Одерской операции, покончить с этим вопросом — о том, какое значение она имела с точки зрения общих интересов и взаимодействия союзников, — приведу две короткие цитаты из двух достаточно известных документов:

«На Западе идут очень тяжелые бои, и в любое время от Верховного Командования могут потребоваться большие решения. Вы сами знаете по Вашему собственному опыту, насколько тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий фронт после временной потери инициативы... Я буду благодарен, если Вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января... Я считаю дело срочным».

Это писал 6 января 1945 года Черчилль Сталину.

«Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако, учитывая положение наших союзников на западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с пого-

дой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему центральному фронту не позже второй половины января...»

Это писал Сталин Черчиллю на следующий день, 7 января 1945 года.

Итоги этой переписки известны. Не во второй половине января, а меньше чем через пять суток после отправки письма Сталина, на рассвете 12 января началась Висло-Одерская операция.

В свете этих документов то замалчивание непреложных исторических фактов, к которому прибегают некоторые западные историки войны, выглядит, мягко говоря, несолидным.

Но часть этих историков идет еще дальше. Они пытаются доказать, будто бы декабрьское наступление на Западном фронте в Арденнах вынудило немецкое командование не только бросить в этот район все свои резервы и маршевые пополнения, но и снять значительные силы с Восточного фронта. И именно это обстоятельство ослабило силы немцев на Восточном фронте в такой мере, что позволило Советской Армии достичь столь больших успехов во время ее январско-февральского наступления 1945 года.

Тенденция, стоящая за этими высказываниями, ясна. Удивляет другое: легкость, с которой прибегают к подобным фальсификациям люди, которые превосходно знают, что существуют, никуда не делись и никуда не денутся официальные документы германского генерального штаба, при сличении с которыми от всей этой ложной концепции остаются рожки да ножки.

Разумеется, наступление в Арденнах вынудило германское командование бросить в этот район свои резервы и маршевые пополнения, как вынуждает к этому любое командование любое крупное наступление. Но если обратиться к данным немецкого генерального штаба, то мы увидим, что с октября по декабрь сорок четвертого года, то есть в период подготовки и проведения Арденнской наступательной операции, немецкое командование перебросило с Восточного фронта на Западный только пять с половиной дивизий. И одновременно с этим за этот же период оно усилило свои войска, действовавшие на Восточном фронте, двадцатью пятью дивизиями и одиннадцатью бригадами, переброшенными с разных других фронтов и направлений,—набранными буквально отовсюду.

Если же взять общие цифры, то на «усиленном» немцами Западном фронте к началу Висло-Одерской операции действовало семьдесят пять с половиной дивизий, а на «ослабленном» ими Восточном фронте против нас действовало сто семьдесят девять дивизий. Цифры достаточно выразительные.

И наконец в заключение для полной ясности еще раз предоставим слово самим немцам.

«Влияние январского наступления советских армий с рубежа Вислы немедленно сказалось на Западном фронте. Мы уже давно с тревогой ожидали переброски своих войск на восток, и теперь она производилась с предельной быстротой». Это писал участник операции в Арденнах, бывший командующий 5-й немецкой танковой армией генерал фон Мантейфель.

Начинался февраль месяц 1945 года. Немцы «с предельной быстротой» перебрасывали войска с Западного фронта на Восточный на выручку своим армиям, разбитым в Висло-Одерской операции. А мы готовились к новым операциям и боям<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Публикую свои воспоминания в «Новом мире», я по условиям места опускаю две главы, посвященные проведению Нижне-Силезской и Верхне-Силезской операций.

Первая из них — Нижне-Силезская, являвшаяся непосредственным продолжением Висло-Одерской операции, проводилась с 7 по 24 февраля. Она вывела нас на рубеж

### Берлинская операция

Первого апреля 1945 года в Москву, в Ставку Верховного Командования, были вызваны командующий Первым Белорусским фронтом Маршал Советского Союза Г. К. Жуков и я. Сталин принял нас, как обычно, в Кремле, в своем большом кабинете с длинным столом и портретами Суворова и Кутузова на стене. Кроме Сталина, в кабинете присутствовали члены Государственного комитета обороны: начальник Генерального штаба А. И. Антонов и начальник Главного оперативного управления С. М. Штеменко.

Сталин, едва мы успели поздороваться, задал нам вопрос:

— Известно ли вам, как складывается обстановка?

Мы с Жуковым оба ответили, что по тем данным, которыми мы располагаем у себя на фронтах, обстановка нам известна. Сталин повернулся к Штеменко и сказал ему:

— Прочтите им телеграмму.

Штеменко прочел вслух телеграмму, существо которой вкратце сводилось к следующему: англо-американское командование готовит операцию по захвату Берлина, ставя задачу захватить его раньше Советской Армии. Основная группировка создается под командованием фельдмаршала Монтгомери. Направление главного удара планируется севернее Рура, по кратчайшему пути, который отделяет от Берлина основную группировку английских войск. В телеграмме перечислялся целый ряд предварительных мероприятий, которые проводились союзным командованием: создание группировки, стягивание войск. Телеграмма заканчивалась тем, что, по всем данным, этот план — взять Берлин раньше Советской Армии — рассматривается в штабе союзников как вполне реальный и подготовка к его выполнению идет вовсю.

После того как Штеменко дочитал до конца телеграмму, Сталин обратился к Жукову и ко мне:

— Так кто же будет брать Берлин, мы или союзники?

Так вышло, что первому на этот вопрос пришлось отвечать мне, и я ответил, что Берлин будем брать мы и возьмем его раньше союзников.

— Вон какой вы, — слегка усмехнувшись, сказал Сталин и сразу в упор задал мне вопрос по существу: — А как вы сумеете создать для этого группировку? У вас главные силы находятся на вашем южном фланге и вам, по-видимому, придется производить большую перегруппировку.

Я ответил на это:

— Товарищ Сталин, можете быть спокойны, фронт проведет все необходимые мероприятия, и группировка для наступления на Берлинском направлении будет создана нами своевременно.

Вторым отвечал Жуков. Он высказал соображение, что ко взятию Берлина готов. Первый Белорусский фронт, густо насыщенный войсками и техникой, был к этому времени прямо нацелен на Берлин, и притом с кратчайшего расстояния.

Вслушав нас обоих, Сталин сказал:

— Хорошо. Необходимо, чтобы вы оба здесь, прямо в Москве, в Генштабе, подготовили свои планы и по мере готовности, через сутки-двое, доложили Ставке — с тем чтобы вернуться к себе на фронты с уже утвержденными планами на руках.

---

реки Нейссе, на уровне с Первым Белорусским фронтом, непосредственно на стратегические подступы к Берлину.

Верхне-Силезская операция проводилась нами между 15 и 31 марта. В ходе сражения была окружена опельская группировка противника. Противник был отброшен в предгорье Судет, и тем самым была исключена возможность контрнаступления немцев на Силезский промышленный район.

Мы работали несколько более суток. Все основные соображения, связанные с предстоящей операцией, у Жукова как у командующего Первым Белорусским фронтом были уже готовы. У меня тоже ко времени вызова в Ставку уже сложились соображения о том, как перегруппировать войска Первого Украинского фронта с Южного на Берлинское направление.

Меня сопровождал в Москву начальник оперативного управления фронта генерал В. И. Костылев и офицеры его управления.

Работали мы в Генштабе над своими планами каждый отдельно, но некоторые возникавшие и требовавшие согласования вопросы обсуждали, обменивались мнениями между собой и с руководящими работниками Генштаба. Речь шла, разумеется, не о деталях, а о вещах сугубо принципиальных — об основных направлениях, о планировании операции во времени и о сроке ее начала. Срок начала операции привлекал наше особенное внимание.

В связи с вопросом Сталина, кто будет брать Берлин — мы или союзники, и в связи с тем, что согласно прочитанной нам телеграмме у союзников уже шла подготовка к Берлинской операции, мы оба понимали, что сроки готовности надо максимально приблизить. По этому вопросу о сроках мы несколько раз обменивались соображениями с Жуковым. Его главная группировка была уже в основном готова и нацелена, а у меня дело пока обстояло сложнее. После только что закончившейся Верхне-Силезской операции значительная часть наших сил все еще была стянута к левому флангу фронта. И это требовало срочных и усиленных перебросок.

Когда мы 3 апреля утром явились с готовыми для доклада планами, первым был рассмотрен план Первого Белорусского фронта, доложенный маршалом Жуковым. Никаких существенных замечаний со стороны Сталина по этому плану не было.

Потом я докладывал план операции Первого Украинского фронта. По этому плану тоже не было существенных замечаний.

Очень внимательно были обсуждены сроки начала операции. Я, со своей стороны, предлагал срок максимально жесткий для нашего Первого Украинского фронта — с учетом того, что нам, как я уже говорил, предстояло совершать большие перегруппировки.

Сталин согласился с этим сроком. Выдвигая свои предложения, я просил Ставку, учитывая большую пространственный размах операции и противостоящую нам группировку противника, выделить Первому Украинскому фронту дополнительные силы для развития операции в глубину. Сталин охотно согласился на это и сказал:

— В связи с тем, что в Прибалтике и Восточной Пруссии фронты начинают сокращаться, могу вам выделить две армии за счет прибалтийских фронтов.

И сразу же конкретно назвал, какие армии он может выделить:

— Двадцать восьмую и Тридцать первую.

Тут же было прикинуто, смогут ли эти армии прийти в распоряжение Первого Украинского фронта к тому сроку, на который мы установили начало операции. Выходило, что армии прибыть к этому сроку не смогут — железные дороги не успеют их перевезти. Тогда я выдвинул предложение начать операцию до подхода этих двух армий, наличными силами, имеющимися во фронте. Это предложение было принято, и окончательным сроком, согласованным между командующими и утвержденным Ставкой, было установлено 16 апреля. Срок этот устраивал как Первый Белорусский фронт, так и нас.

Так как наши предложения, по сути дела, были утверждены без поправок, то здесь же вслед за этим были прочтены проекты директив



Ставки обоим нашим фронтам. Эти проекты директив были выработаны с нашим участием — одновременно с составлением планов.

Пожалуй, уместно будет сказать вообще о той практике, которая прочно сложилась в Ставке в этом отношении. Как правило, командующий фронтом не только докладывал свой план, свои соображения по карте, но и сам со своим штабом готовил проект директив Ставки. Почти все операции планировались именно во фронтах. Исходя из общего стратегического замысла Верховного Командования, командование фронтом само полностью планировало операцию во всех аспектах, связанных с ее проведением, одновременно выделяя вопросы, которые выходили за пределы компетенции фронта и были связаны с той или иной помощью, необходимой фронту со стороны Ставки Верховного Командования.

Одновременно готовился и проект директивы, который в своем первоначальном виде отражал взгляды самого фронта на проведение предстоящей операции и предполагал, что фронтом будет получена от Верховного Главнокомандования та помощь, о которой он намерен просить.

Количество и характер исправлений и дополнений, которые вносились в такой проект директив, зависели от того, как происходило в Ставке обсуждение предложений фронта и насколько близки они были к окончательному решению.

Этот выработавшийся в ходе войны метод планирования как тогда, так и сейчас представляется мне разумным и плодотворным.

В директивах фронтам было сформулировано, что овладение Берлином возлагается на Первый Белорусский фронт. Что касается нашего Первого Украинского фронта, то и состав его ударной группировки, и общее направление ударов предполагало разгром противника в районе Коттбуса и южнее Берлина.

В последующем, наступаая в Западном и Северо-Западном направлениях, мы должны были не позднее десятого—двенадцатого дня операции овладеть рубежом Беетлиц—Виттенберг, то есть рядом пунктов южнее и юго-западнее Берлина, и выйти на Эльбу.

На этом направлении фронт должен был наносить главный удар силами пяти общевойсковых и двух танковых армий. Здесь, на правом крыле фронта, предполагалось создать на участке прорыва плотность не менее двухсот пятидесяти стволов на один километр, для чего фронт усиливался семью артиллерийскими дивизиями прорыва.

В центре фронт должен был силами двух армий нанести удар на Дрезден, также выходя к Эльбе.

На своем левом крыле фронт должен был занимать оборону. Левофланговая 60-я армия Курочкина передавалась в состав Четвертого Украинского фронта, действовавшего, если можно так выразиться, на Чехословацком направлении.

Надо сказать, что, кроме этих основных, принципиальных решений — о направлении удара, о составе группировок, о плотности артиллерии, — каких-либо дополнительных вопросов к тому времени в Ставке не возникало. Вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением операции — усилением танками, авиацией, обеспечением боеприпасами, — проходили в обычном порядке, без специального обсуждения, и так как, в общем, мы всем этим были к тому времени обеспечены в достаточном количестве, вопросов у командующего фронтом к Верховному Командованию к тому времени тоже не было.

В целом, если сформулировать задачу Первого Украинского фронта самым кратким образом, она сводилась к тому, чтобы, наступая южнее Берлина и содействуя его взятию, разгромить берлинскую группировку врага, рассеять фронт немцев надвое и соединиться с американцами.

Как известно, впоследствии, в ходе Берлинской операции, дело сложилось так, что армии Первого Украинского фронта не только содействовали взятию Берлина, но вместе с войсками Первого Белорусского фронта непосредственно участвовали в его штурме.

Задним числом возникает вопрос: рисовалась ли в перспективе такая возможность во время утверждения плана Берлинской операции в Ставке, и если рисовалась, то кому рисовалась и в какой мере?

Мои размышления того времени сводились к следующему.

По первоначальному проекту разграничительной линии между Первым Белорусским и Первым Украинским фронтами — Берлин должен был брать Первый Белорусский фронт. Однако по этой же разграничительной линии наше правое крыло, на котором сосредоточивалась наша главная ударная группировка, проходило в непосредственной близости от Берлина, южнее его, и кто мог сказать заранее, как будет разворачиваться операция, с какими неожиданностями мы столкнемся на разных направлениях и какие новые решения или коррективы к прежним решениям придется принимать по ходу дела.

Во всяком случае я уже тогда в своих мыслях допускал возможность, что при успешном продвижении войск правого крыла нашего фронта мы можем оказаться в выгодном положении для маневра и удара по Берлину с юга.

Высказывать эти соображения заранее я не считал для себя возможным, хотя у меня и сложилось впечатление, что Сталин, тоже не говоря об этом заранее, допускает такую возможность. Это впечатление сложилось у меня, когда, утверждая состав группировок и направление ударов, Сталин стал отмечать карандашом по карте разграничительную линию между Первым Белорусским и Первым Украинским фронтами, указанную в проекте директив. В проекте эта линия шла через Люббен и далее, несколько южнее Берлина. Ведя эту линию карандашом согласно проекту директивы, Сталин вдруг оборвал ее на городе Люббен, находившемся примерно в восьмидесяти километрах к юго-востоку от Берлина. Оборвал и дальше не повел. Хотя он ничего не сказал при этом, но для нас, военных людей, — для меня и, думаю, в такой же мере для маршала Жукова, — в том, что Сталин не повел разграничительную линию между фронтами дальше, в глубь Германии, был весьма серьезный смысл. Разграничительная линия была оборвана примерно там, куда мы должны были выйти к третьему дню операции. Далее, — очевидно, смотря по обстановке — молчаливо предполагалась возможность проявления инициативы со стороны командования фронтов.

Для меня во всяком случае остановка разграничительной линии на Люббене означала, что стремительность прорыва и быстрота и маневренность действий на правом крыле нашего фронта могут впоследствии создать обстановку, при которой может оказаться выгодным наш удар с юга на Берлин.

Был ли в этом обрыве разграничительной линии на Люббене со стороны Сталина как главнокомандующего адресованный обоим фронтам негласный призыв к соревнованию? Допускаю такую возможность. Во всяком случае не исключаю ее. Это тем более можно допустить, если мысленно вернуться на двадцать лет назад и представить себе, чем тогда был для нас Берлин и какое страстное желание испытывали все, от солдата до генерала, увидеть этот фашистский Берлин своими глазами, овладеть им силой своего оружия.

Разумеется, это было и моим страстным желанием. Не боюсь в этом признаться сейчас, двадцать лет спустя. Было бы странно изобра-

жать себя тогда, в последние месяцы войны, людьми, лишенными страстей. Напротив, мы были переполнены ими.

На определении разграничительной линии, собственно говоря, и закончилось планирование операции. Директивы Ставки были утверждены, и нам с Жуковым предстояло ехать обратно на свои фронты.

Кстати сказать, впоследствии — в печати и в некоторых художественных фильмах, поставленных еще при жизни Сталина, — была допущена историческая неточность. В эти дни в Ставку вызвали только нас с Жуковым, а Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский, командовавший Вторым Белорусским фронтом, был в Ставке позднее нас — 6 апреля. Второй Белорусский фронт, так же как и наши фронты, участвовал в разгроме берлинской группировки на Северном Приморском направлении, тем самым активно способствуя захвату Берлина, но утверждение той части плана Берлинской операции, которая относилась к действиям Второго Белорусского фронта, состоялось на несколько дней позже, уже в наше с Жуковым отсутствие.

Я вылетел из Москвы на фронт на следующее утро после утверждения директив Ставки. День и ночь ушли на то, чтобы завершить ряд дел, связанных с предстоящим наступлением, и решить ряд вопросов, касающихся боеприпасов, горючего, авиации, танков и многого другого.

Кроме всего прочего, я был занят еще некоторыми проблемами, связанными с планированием переброски 31-й и 28-й армий, уходивших к нам на Первый Украинский с Третьего Белорусского фронта. Внимания к этому требовали и сами масштабы переброски, и те большие расстояния, на которые перебрасывались обе армии.

И маршал Жуков и я — оба спешили и вылетели к себе на фронты из Москвы, с Центрального аэродрома, с двухминутным интервалом. Теперь нам обоим предстояло, каждому на своем фронте, проводить ту часть Берлинской операции, которая каждому из нас была утверждена директивами Ставки.

Погода в полете была исключительно неблагоприятная. Над землей висели низкие апрельские туманы. Видимости никакой. Летели всю дорогу сплошь слепым полетом. К концу дня, когда уже казалось, что мало надежды добраться засветло, летчик все-таки пробился сквозь туман и посадил самолет в районе Бреслау, недалеко от командного пункта фронта.

Когда перед людьми ставится задача совершить очень большое и трудное дело и они принимаются размышлять над тем, как лучше сделать это дело, им свойственно стремление трезво оценить — с какими препятствиями и трудностями будет связано для них решение этой задачи.

Думал об этом и я, вернувшись к себе на фронт из Ставки. Думал об этом так же, как, наверно, думали и все другие — каждый на своем месте.

Цель Берлинской операции заключалась в уничтожении группировки немцев, действовавшей на Берлинском стратегическом направлении. Советским войскам предстояло разгромить в этой операции две группы армий — «Висла» и «Центр». В ходе операции советские войска должны были взять Берлин и, выйдя на Эльбу, соединиться с нашими западными союзниками.

Выполнение этих задач, по нашим представлениям, должно было лишить Германию возможности дальнейшего организованного сопротивления. То есть конечный результат операции связывался с победоносным завершением войны в Европе.

Готовясь к проведению этой крупнейшей стратегической операции, следовало учитывать ряд особенностей, и прежде всего вероятную силу

сопротивления немцев. Немецкое командование сосредоточило против советских войск для обороны имперской столицы и подступов к ней крупные силы, подготовило глубоко эшелонированную оборону с целой системой укреплений и всякого рода препятствий и на Одерском рубеже, и на рубеже Шпрее, и на всех подступах к Берлину — с востока, юго-востока, юга и севера.

Сам характер местности вокруг Берлина создавал немало дополнительных препятствий — леса, болота, множество рек, озер и каналов. Это, как и все, что могло затруднить действия наших войск, тоже надо было заранее учесть.

Не могли мы не считаться и с тем обстоятельством, что немецкое командование и немецкое правительство упорно вели политику на раскол антигитлеровской коалиции, а в последнее время прибегали к прямым поискам сепаратных соглашений с нашими союзниками, надеясь в результате этих соглашений перебросить свои войска с Западного фронта на Восточный — против нас.

Как теперь известно из истории, попытки Гитлера и его окружения добиться сепаратных соглашений с нашими союзниками не увенчались успехом. Мы и тогда, во время войны, не хотели верить, что наши союзники могут пойти на какие бы то ни было сепаратные соглашения с немцами. Однако в атмосфере того времени, изобилующей не только фактами, но и слухами, мы как военные люди были не вправе абсолютно исключить ту возможность, о которой я сказал. Это обстоятельство придавало Берлинской операции, я бы сказал, особую остроту. И уж во всяком случае нам приходилось считаться с вполне реальной возможностью, что, встав наконец перед необходимостью испытать до дна горечь военного поражения, фашистские руководители все-таки предпочтут сдать Берлин не нам, а американцам и англичанам — перед ними будут открывать путь, а с нами будут жестоко, до последнего солдата, сражаться.

Планируя предстоящую операцию, мы трезво учитывали эту перспективу, которая потом на наших глазах превратилась в реальную действительность. Впоследствии об этом свидетельствовали, например, действия 12-й немецкой армии генерала Венка, которая была просто-напросто снята с участка фронта, занятого ею на западе против союзников, и перебросена против нас для деблокирования Берлина.

Фельдмаршал Кейтель, давая показания на Нюрнбергском процессе, раскрыл карты. Он заявил, что уже с сорок четвертого года они вели войну на затылку, ибо считали, что события в конце концов сработают на них. Им казалось возможным возникновение таких неожиданных ситуаций, которые при военном союзе нескольких государств с разными системами, с разными направлениями в политике, с полководцами разных школ должны рано или поздно вызвать трещину в их коалиции.

Тогда, в начале апреля сорок пятого года, карты немецкого командования еще не были раскрыты, но что немцы сделают все, чтобы заставить нас как можно дольше застрять под Берлином, было для нас очевидным.

Говоря о противнике, нужно добавить, что к политическим расчетам на затылку присоединились и чисто военные соображения, надежды, исторические аналогии. Немецкое командование действительно проделало огромнейшую работу по укреплению подступов к Берлину и считало, что наша армия долго не сумеет преодолеть всех этих мощных инженерных барьеров, сочетавшихся с естественными препятствиями.

Подступы к Берлину трудные. Взять хотя бы те же Зееловские высоты. Рубеж сам по себе крайне тяжелый, даже если мысленно отбро-

силье все то, что понаделала там немецкая военная инженерия. Да и сам Берлин — огромный, капитально построенный город, в котором почти каждый дом по существу — готовый опорный пункт с кирпичной кладкой стен в метр-полтора.

Словом, немецким войскам, оборонявшим Берлин, еще хотелось верить в то, что они нас остановят под Берлином так, как мы их остановили под Москвой. И не только хотелось верить — эта вера всячески подогревалась пропагандой.

Итак, мы должны были понимать, что немцы для защиты Берлина ничего не пожалеют и ни перед чем не остановятся. Мы должны были ждать сильнейшего сопротивления и хорошо сознавали, что Берлинская операция окажется крайне напряженной для нас.

Нам предстояло сломать оборону противника, стоявшего перед Первым Белорусским и Первым Украинским фронтами, северо-восточнее и юго-восточнее Берлина, то есть войска 9-й полевой, а также 3-й и 4-й танковых армий немцев. По ходу операции имелось в виду отрезать 4-ю танковую от 9-й армии, рассечь немецкий фронт на две части так, чтобы лишить противника возможности маневрировать и подавать резервы с юга на север — к Берлину и от него.

Немцы строили свои планы на затяжке действий. Мы, напротив, стремились к предельной скорости. Продолжительность операции планировалась всего в двенадцать — пятнадцать дней, чтобы не дать противнику возможности получить передышку, затянуть операцию или уйти из-под наших ударов.

Так рисовалось в моих глазах то будущее, к которому нам предстояло готовиться. А на подготовку оставалось всего двенадцать суток, в течение которых требовалось провести большую и сложную перегруппировку войск.

Как уже, очевидно, заметили читатели, я в своих воспоминаниях стремлюсь свести к минимуму цитирование документов. Но в данном случае, говоря о такой операции, как Берлинская, необходимо познакомить читателей с некоторыми документами, чтобы внести полную ясность в то, как и когда родились некоторые дополнения в планах Первого Украинского фронта и какую роль это потом, по ходу операции, сыграло в овладении Берлином.

Вот что говорилось в директиве Ставки Верховного Главнокомандования, подписанной Сталиным и Антоновым 3 апреля 1945 года:

«Ставка Верховного Главного Командования приказывает:

1. Подготовить и провести наступательную операцию с целью разгромить группировку противника в районе Коттбус и южнее Берлина.

Не позднее 10—12 дня операции овладеть рубежом Беетлиц — Виттенберг и далее по реке Эльба до Дрездена. В дальнейшем, после овладения Берлином, иметь в виду наступать на Лейпциг.

2. Главный удар силами пяти общевойсковых армий и двух танковых армий нанести из района Триббель в общем направлении на Шпремберг — Бельциг. На участок прорыва привлечь шесть артиллерийских дивизий прорыва, создав плотность не менее 250 стволов от 76 миллиметров и выше на один километр фронта прорыва.

3. Для обеспечения главной группировки фронта с юга силами Второй Польской армии и частью сил Пятдесят второй армии нанести вспомогательный удар из района Кольфурт в общем направлении Бауцен — Дрезден.

4. Танковые армии и общевойсковые армии второго эшелона ввести после прорыва обороны противника для развития успеха на направлении главного удара.

5. На левом крыле фронта перейти к жесткой обороне, обратив особое внимание на Бреславльское направление...

6. Установить 15.IV.45 следующую разграничительную линию с Первым Белорусским фронтом: до Унруштадт — прежняя и далее — озеро Эннсдорфер-Зее, Гросс Гастрозе, Люббен...

7. Начало операции согласно полученных вами лично указаний». То есть 16 апреля 1945 года.

Для сопоставления этой директивы Ставки Первому Украинскому фронту с директивой, полученной Первым Белорусским фронтом, приведу первый пункт из этой последней.

«Подготовить и провести наступательную операцию с целью овладеть столицей Германии городом Берлин. Не позднее 12—15 дня операции выйти на реку Эльба».

Таким образом, из текста обеих директив следовало, что непосредственный захват немецкой столицы возложен на стоявший перед Берлином Первый Белорусский фронт. Но то обстоятельство, что разграничительная линия между нашими фронтами была сознательно остановлена на городе Люббен и дальше не проводилась, означало для меня — я уже говорил об этом, — что по ходу операции, если того потребует обстановка, в Ставке молчаливо предполагается возможность проявления инициативы фронтов в интересах общего успеха операции.

Оценивая перспективы предстоящей операции, я считал, что при условии успешного и стремительного прорыва наш Первый Украинский фронт в дальнейшем будет иметь более благоприятные возможности для широкого маневрирования, чем Первый Белорусский фронт, наступавший прямо на Берлин.

Когда мы на основе и в развитие директивы Ставки планировали предстоящую операцию уже у себя на фронте, то я счел необходимым с самого начала заложить в наш план идею возможности такого маневра. Повторяя в нашем плане первый пункт директивы Ставки: «Не позднее 10—12 дня операции овладеть рубежом Беетлиц — Виттенберг и далее река Эльба до Дрездена» — я добавил после этого: «Иметь в виду частью сил правого крыла фронта содействовать войскам Первого Белорусского фронта в овладении городом Берлин».

В последующем это дополнение целиком оправдалось ходом боевых действий, и нам пришлось не часть сил, а несколько армий — 3-ю и 4-ю танковые, 28-ю и часть сил 3-й гвардейской и 13-й армий — повернуть на Берлин и использовать для овладения им.

В плане фронта задача содействия в овладении Берлином была поставлена в общей форме, а в приказе, отданном 3-й гвардейской танковой армии, получила дальнейшую конкретизацию. Не буду цитировать весь приказ, приведу только его конец: «На 5-й день операции овладеть районом Треббин — Цаухвитц, Тройенбритцен, Луккенвальде... Иметь в виду усиленным танковым корпусом со стрелковой дивизией 3-й гвардейской армии атаковать Берлин с юга».

Таким образом, уже перед началом операции один танковый корпус, усиленный стрелковой дивизией, был предназначен для атаки Берлина с юга.

Обрыв разграничительной линии у Люббена представлял мне возможность для такой инициативы. Наступая по существу вдоль южной окраины Берлина, заведомо оставляя его у себя нетронутым справа на фланге, да еще в обстановке, когда не известно наперед, как все сложится в дальнейшем, мне казалось странным и непонятным. А решение иметь в виду возможность удара по Берлину с юга и быть готовым к этому удару казалось мне ясным, понятным и само собой разумеющимся, если создастся соответствующая обстановка.

Четвертой гвардейской танковой армии Лелюшенко, которая действовала левее армии Рыбалко, ставилась задача на пятый день операции овладеть районом Нимегк, Виттенберг, Арнсдорф, Денневит... Армия Рыбалко вводилась в прорыв на правом фланге, на участке 3-й гвардейской армии Гордова. Лелюшенко по плану вводился в центре, на участке прорыва 5-й гвардейской армии Жадова. Это много южнее Берлина, но если посмотреть по карте, то и 4-я гвардейская танковая армия после ввода в прорыв поворачивала на северо-запад, и это соответствовало общему замыслу удара главной группировки фронта, которая после прорыва имела тенденцию к повороту на северо-запад.

Так что, в сущности, когда впоследствии перед нами встал вопрос о необходимости поворота танковых армий на Берлин, то практически нам пришлось делать не поворот, а лишь «доворот».

Времени на подготовку операции, как я уже сказал, у нас было мало, так что всем нам — и в штабе фронта, и в нижестоящих штабах — приходилось быстро поворачиваться. Как говорят в народе, некогда было шапку и рукавицы искать.

Итак, мы сознательно пошли на то, что операция должна начаться еще до полного сосредоточения всех сил, предназначенных для участия в ней. Я имею в виду 28-ю и 31-ю армии, части которых еще только прибывали в распоряжение нашего фронта в те часы, когда на передовой уже шла артиллерийская подготовка.

Прогнозы погоды были более или менее благоприятные, и при подготовке операции мы планировали широкое использование авиации. Вторая воздушная армия генерала С. А. Красовского должна была прикрыть с воздуха сосредоточение войск наших ударных группировок, в особенности танковых армий. Ей была поставлена задача массированными ударами бомбардировочной и штурмовой авиации содействовать войскам фронта в форсировании реки Нейссе и прорыве обороны противника на всю тактическую глубину. Это была первая задача, поставленная авиации.

Вторая задача, которую мы ей ставили, — массированными ударами по противнику помочь танковым армиям в быстрейшем преодолении реки Шпрее. Я тревожился, что река Шпрее окажется серьезной преградой, особенно для танковых войск.

Третья задача, которую мы возлагали на авиацию, — не допустить подхода резервов противника к полю боя со стороны Берлина и Дрездена.

Четвертая задача — сопровождать действиями истребительной, штурмовой, а в случае необходимости и бомбардировочной авиации движение наших танковых армий на всю глубину, на которую они продвинулись.

И наконец на плечи авиаторов легла еще одна особая задача. Им было поручено в день прорыва поставить дымовые завесы не только перед теми участками фронта, на которых мы будем форсировать Нейссе, но и почти по всей линии фронта для того, чтобы ввести противника в заблуждение. Постановка этих дымов должна была ослепить и наблюдательные пункты, и районы ближайших огневых позиций противника.

Мне пришлось столкнуться с встречающимися в западной печати заблуждениями, из которых следует, что в первый день Берлинской операции на обоих фронтах — Первом Белорусском и Первом Украинском — атака была проведена по единому плану. Это не соответствует действительности. Координация действий обоих фронтов осуществлялась Ставкой, а фронты, как обычно, взаимно обменивались информацией и оперативно-разведывательными сводками. Естественно, что в

первый день операции каждый из двух фронтов избрал свой собственный метод атаки, исходя из своей оценки обстановки.

На Первом Белорусском фронте было решено проводить ночную мощную артиллерийскую подготовку и атаку при свете прожекторов. У нас, на Первом Украинском фронте, был избран совершенно другой метод. Нам предстояло форсирование реки Нейссе, и у нас была запланирована более длительная, чем у соседа, артиллерийская подготовка, рассчитанная на обеспечение двух этапов — форсирование реки Нейссе и прорыва главной полосы обороны противника, проходившей по тому, западному, берегу Нейссе. Для того, чтобы форсирование реки проходило как можно более скрытно, мне невыгодно было освещать полосу прорыва. Напротив, мне было выгоднее, насколько это возможно, удлинить ночь. Всего артиллерийская подготовка должна была длиться два часа тридцать пять минут, из них час сорок минут давалось на обеспечение форсирования и еще сорок пять минут — на подготовку атаки уже на другом, западном, берегу реки Нейссе.

Расчет был тот, чтобы подавить у немцев всю систему управления и наблюдения, их артиллерийские и минометные позиции. Авиация, действуя на еще большую глубину, должна была довершить разгром противника, концентрируя удары по его резервам.

В ночь перед началом наступления я приехал из штаба фронта, из-под Бреслау, на наблюдательный пункт генерала Пухова в 13-ю армию. Наблюдательный пункт был отличный, с хорошим обзором; он был расположен в старом сосновом бору, ниже, прямо перед нами, — обрыв к реке, за обрывом видны Нейссе и тот берег, тоже обозримый на довольно далекое расстояние. Наблюдательный пункт состоял из небольшого блиндажа и щели. В стереотрубу было превосходно видно все, что происходило впереди.

Правда, за удобства такого рода на войне приходится платить. Наблюдение с этого пункта было особенно эффективным, потому что он находился близко к противнику, а это в свою очередь делало его уязвимым для ружейного и пулеметного огня. Но, в общем, все обошлось благополучно, если не считать одной пули, скользнувшей по штативу стереотрубы.

Этой подробности я тогда в горячке, впрочем, не заметил и прочитал о ней лишь недавно в воспоминаниях покойного Николая Павловича Пухова.

К концу первого периода артиллерийской подготовки были поставлены дымы. В той полосе, которая была доступна обозрению, дымовая завеса оказалась очень удачной — мощная, хорошей плотности и как раз такая, как нужно, по высоте.

Дымовую завесу устанавливали наши летчики-штурмовики. Они — мастера полета на низких высотах и, ставя дымовую завесу на бреющем, не пронесли ее, поставили именно там, где это было нужно — на рубеже Нейссе. А надо сказать, что вся ширина фронта, на котором ставили дымовую завесу, равнялась ни мало, ни много тремстам девяноста километрам. Такой широкий фронт установки завесы в известной мере дезориентировал противника относительно пунктов наших переправ через Нейссе.

В сочетании с мощной артиллерийской подготовкой дымы создали для немцев большие затруднения в управлении войсками, расстроили их систему огня и ослабили устойчивость обороны. Уже к середине дня из показаний пленных, захваченных в глубине обороны, выяснилось, что и отдельные солдаты, и мелкие подразделения немцев, находившихся на переднем крае, в ряде случаев, используя нашу дымовую завесу, покидали свои позиции и отходили в тыл.



Нашей артиллерийской подготовке дымы не мешали. Огонь велся на основе полной топографической привязки к местности, все основные цели были заранее засечены, и собственные дымы, как правило, не создавали для нас трудностей.

В ходе дальнейшей переправы дымы возобновлялись еще несколько раз. Стоял штиль, скорость ветра была всего полметра в секунду, и дымы медленно ползли в глубину неприятельской обороны, затягивая всю долину реки Нейссе, что нам и требовалось.

С наблюдательного пункта была хорошо видна вся эта картина. На той стороне Нейссе, прямо против нас, стоял молодой, но уже довольно высокий и густой сосновый лес. Бросалось в глаза большое количество пожаров. Сознательно мы, конечно, не поджигали лес, отлично понимая, что это будет для нас только препятствием. Очевидно, пожары происходили отчасти от артиллерийских разрывов, отчасти от ударов авиации.

Некоторые пожары могли произойти и от самой дымовой атаки. Впереди весь лес заволкло тройным дымом — от разрывов, от дымовой завесы и от пожаров. Все это скрывало наше продвижение вперед, но, с другой стороны, создавало и трудности. Воевать в лесу вообще трудно, тем более в горящем. Но, как впоследствии показали события, артиллерийская подготовка была проведена настолько эффективно, что нам удалось быстро взломать главную полосу обороны немцев на западном берегу Нейссе и, прорвав ее, пойти вглубь.

Началось с того, что в 6 часов 55 минут, в конце сорокаминутного артиллерийского удара и под прикрытием дымов передовые батальоны начали форсировать Нейссе. Переправа первого эшелона главных сил была закончена стремительно — в течение одного часа. Немедленно после захвата плацдармов на западном берегу Нейссе на всем участке прорыва приступили к наводке мостов. Передовые батальоны переправлялись на лодках, таща за собой штурмовые мостики. Как только один конец такого штурмового мостика закреплялся на том берегу, тотчас же по нему бегом начинала переправляться пехота.

Наплавные легкие понтонные мосты были наведены через пятьдесят минут. Мосты для тридцатитонных грузов — через два часа, а для шестидесятитонных грузов, на жестких опорах, способные пропустить танки всех типов, — через четыре-пять часов. Часть полевой артиллерии перетаскивалась на канатах вброд одновременно с переправой передовых батальонов. Солдаты брали пушку на канат и перекатывали ее на ту сторону прямо по дну реки.

Через какие-нибудь десять — пятнадцать минут после того, как первые солдаты оказались на том берегу, туда уже были перетянуты и первые восьмидесятипятимиллиметровые орудия для стрельбы прямой наводкой по немецким танкам. Это сразу создало ощущение устойчивости на первых захваченных нами маленьких плацдармах, и дальнейший ход операции развивался без всякой задержки.

Кроме мостов, переправа осуществлялась на паромов. Буквально через час после начала переправы на паромов были уже переброшены на тот берег первые группы танков для непосредственной поддержки пехоты.

Успеху форсирования Нейссе мы были обязаны энергичной и самоотверженной работе инженерных войск. Можно сказать без малейшего преувеличения, что они потрудились на славу. Только на главном направлении удара они оборудовали за 16 апреля сто тридцать три переправы. Только в полосе наступления 3-й гвардейской и 13-й армий 16 апреля действовало двадцать мостов, девять паромов,

двенадцать пунктов десантных переправ и семнадцать штурмовых мостиков.

Имея в виду, что танковым армиям придется потом, войдя в прорыв, действовать в глубине, преодолевая ряд рек, я до наступления категорически запретил использование каких бы то ни было переправочных средств танковых армий для форсирования Нейссе. Танковые армии, по нашему плану, должны были форсировать Нейссе на специально подготовленных для них переправочных средствах, а собственные переправочные средства в полном и даже усиленном комплекте иметь при себе при подходе к следующему рубежу — к реке Шпрее. Таким образом, форсирование Нейссе целиком легло на плечи инженерных войск фронта.

Расчет с самого начала строился на быстрое и глубокое продвижение танковых армий. И эта, если можно так выразиться, дальнбойность их удара обеспечивалась всесторонне.

Прорыв фронта как на главном направлении, так и на вспомогательном, Дрезденском, прошел успешно. В результате ожесточенных боев, форсировав Нейссе, части 3-й гвардейской, 13-й и 5-й гвардейской армий прорвали оборону противника на фронте в двадцать девять километров и за этот же день продвинулись вперед, на запад, на глубину до тринадцати километров.

Успешно наступала в этот первый день и наша вспомогательная ударная группировка на Дрезденском направлении — войска 2-й Польской армии и 52-й армии. Они тоже форсировали Нейссе и, отбив несколько жестоких контратак немцев, продвинулись на запад на глубину шесть—десять километров.

Войска главной группировки уже в первый день, прорвав первую полосу обороны, подошли ко второй полосе и завязали бои за овладение ею, но развитие прорыва в этом тяжелом лесистом районе происходило с затруднениями и требовало большого упорства. Немцы почти сразу же начали предпринимать настойчивые, а в некоторых случаях яростные контратаки. Уже в первый день против нас были двинуты не только тактические резервы противника, но и его оперативные резервы из глубины.

Складывавшаяся обстановка ясно давала понять, что именно на этом, главном, Нейссенском рубеже обороны немцы намерены дать нам решающее сражение. Чувствовалось, что они наращивают силы и не теряют надежды столкнуть нас обратно за Нейссе. Уже 16 апреля немцы, стремясь удержаться и восстановить положение, ввели против нас на главном направлении прорыва части 21-й танковой дивизии, танковую дивизию «Охрана фюрера», танковую дивизию «Богемия», противотанковую истребительную бригаду и целый ряд других частей.

Мы заранее знали, какое значение придает немецкое командование Нейссенскому оборонительному рубежу, и предполагали возможность ожесточенных, в том числе и танковых, контратак в первый же день прорыва. Предполагая все это и планируя свои действия, мы вместе со стрелковыми дивизиями первого эшелона общевойсковых армий переправили через Нейссе передовые бригады танковых армий. Эти бригады, оставаясь в подчинении у командования соответствующих танковых корпусов и армий, на первом этапе прорыва воевали вместе с пехотой на основах взаимодействия и поддержки. Они создавали нашей пехоте дополнительную устойчивость в условиях танковых контратак немцев и в то же время по существу были передовыми отрядами танковых армий, призванными подготовить условия для последующего ввода в прорыв и развертывания главных танковых сил.

Для того, чтобы у читателя создалось правильное представление об обстановке, сложившейся в районе нашего прорыва на главном направлении на второй день наступления — 17 апреля, — ему надо представить себе сложный характер действий большой массы войск, в том числе танковых, маневрирующих и прорывающихся все дальше и дальше в глубь обороны противника.

Первая полоса немецкого оборонительного рубежа тянулась вдоль реки Нейссе. Она была прорвана утром и днем 16 апреля, в первый день операции, но в то же время на обоих флангах прорыва еще продолжались ожесточенные бои. Мы стремились расширить прорыв, немцы контратаковали и бросали навстречу нам свои резервы. К исходу первого дня — 16-го — наши корпуса первого эшелона уже вели бои на второй оборонительной полосе немцев, находившейся примерно на середине расстояния между реками Нейссе и Шпрее.

Утром 17 апреля на участке 13-й армии Пухова и на правом фланге 5-й гвардейской армии Жадова вторая полоса обороны немцев была прорвана и наши войска устремились вперед, к третьей полосе немецкой обороны — к Шпрее. В этот период, в середине дня 17 апреля, бои шли на всех трех полосах немецкой обороны и в промежутках между ними. На первой полосе мы продолжали раздвигать направо и налево плечи своего прорыва. На второй полосе происходили бои за целый ряд еще не взятых участков, а там, где она была уже прорвана, войска стремительно продвигались вперед через эту брешь, отражая контратаки немцев, стремившихся во что бы то ни стало задержать нас хоть здесь, на второй полосе.

Одновременно со всем этим передовые части 13-й и 5-й гвардейской армий вместе с передовыми частями танкистов, отразив немецкие контратаки, уже вырвались вперед, к Шпрее.

Нельзя представлять себе все эти боевые действия как фронтальные, от рубежа к рубежу. В условиях стремительного маневра войска наступали с разрывами, далеко не всюду плечом к плечу, — да такая задача и не ставилась перед ними, — поэтому и между первой и второй полосами немецкой обороны, и между второй и третьей — повсюду происходили ожесточенные бои и с отступавшими, и с пытавшимися контратаковать нас немецкими частями. Сложность и запутанность этой обстановки усугублялась еще лесистой местностью и продолжавшимися бушевать в разных местах лесными пожарами.

Обе наши танковые армии — 3-я и 4-я гвардейские, — своими передовыми бригадами переправившиеся через Нейссе еще с утра 16-го и двигавшиеся вместе с первыми эшелонами общевойсковых армий, вечером 16-го начали переправляться через Нейссе своими главными силами, за ночь закончили переправу и 17-го утром, войдя в прорыв уже в полном составе, рванулись вперед, к Шпрее, вслед за своими передовыми бригадами.

Характеризуя, я бы сказал, неповторимые особенности этой операции, хочу отметить, что форсирование Нейссе, захват плацдармов на ее западном берегу, прорыв первой полосы немецкой обороны, наступление на вторую полосу и прорыв ее, дальнейшее движение к Шпрее, форсирование ее и прорыв третьей полосы немецкой обороны — все это осуществлялось как единый и непрерывный процесс.

Мне во всяком случае впервые за время Великой Отечественной войны пришлось без всяких пауз форсировать реку; сразу вслед за этим прорывать оборону противника с хорошо развитой системой огня, инженерных сооружений, укреплений и минных полей; вслед за этим прорывать вторую полосу обороны и третью — опять-таки с форсирова-

нием реки. Думаю, что этот единый сплошной процесс заслуживает внимания с точки зрения оперативного искусства.

Боевой подъем войск был в этой операции исключительно высок. Трудности солдатам и офицерам пришлось переносить невероятные. Но я бы сказал без всякого преувеличения, что силы людей буквально удваивало сознание, что в результате этого последнего огромного физического и морального напряжения мы можем добиться наконец полной победы над врагом. У людей было твердое ощущение, что на этот раз мы поставим точку.

Пора сказать и о противнике. В период прорыва перед нами оборонялась немецкая 4-я танковая армия. В результате наших ударов и на основном, и на вспомогательном направлениях эта армия была разорвана на три изолированные части. Одна ее группировка оказалась отрезанной на нашем правом фланге, в районе Коттбуса, — мы потом так и называли ее коттбусской группировкой. Вторая ее часть — в центре — продолжала воевать против нас в лесном массиве района Мускау, а третья часть оказалась отрезанной на левом фланге в районе Герлица. Эту группировку мы впоследствии называли герлицкой.

Таким образом, вся заранее запланированная стройная система обороны противника, предусматривавшая соответствующую систему ввода резервов, была нарушена. И это было очень важно. Именно такое нарушение целостности группировки противника, нарушение системы управления ею и есть важное условие успешного развития операции на большую глубину.

Пока что я еще рассказываю о втором дне наступления — о 17 апреля, о том дне, к середине которого мы вышли на Шпрее, а к концу переправились через нее передовыми танковыми частями, прорвав таким образом все три полосы обороны немцев на всю глубину. Но для того, чтобы уже не возвращаться к этому при характеристике действий противника и некоторых итогов этих действий, печальных для него, рассмотрим в масштабе не двух, а трех первых дней.

В ходе трехдневных боев были разгромлены четыре немецкие дивизии, стоявшие в обороне на первом рубеже вдоль Нейссе, — 342-я и 545-я пехотные, 615-я особого назначения и моторизованная «Бранденбург». От этих четырех дивизий фактически мало что осталось.

Пытаясь остановить наше наступление, немецкое командование в боях 16, 17 и 18 апреля на второй и третьей полосах обороны бросило против нас из резерва 4-й танковой армии и из резерва группы армий «Центр», а также из резерва главного командования шесть танковых и пять пехотных дивизий. Всего, округляя, можно сказать, десять дивизий, потому что одна из этих одиннадцати дивизий была неполнокровной и ее можно не принимать в расчет.

Бои были жестокие. Немцы бросали в контратаки по шестьдесят — семьдесят танков, направляли против нас все, что было у них под руками. И это не удивительно. Осуществляя успешный прорыв на этом направлении, мы наносили удар по самому их чувствительному месту, и они если и не предвидели конца в полном объеме, то во всяком случае предчувствовали грозящие им неприятности.

Самые ожесточенные бои, в том числе и танковые, развернулись на второй полосе немецкой обороны и сразу же после ее прорыва — за ней. В этих лесистых местах не было условий для таких массированных действий танковых войск обеих сторон, какие мы видели, например, во время Курской битвы. Таких громадных батальных картин здесь не было. Но общее насыщение танками и с той и с другой стороны было очень высокое. Средний темп наступления войск фронта в период прорыва

всех трех полос Нейсенского оборонительного рубежа оказался несколько ниже запланированного.

Но что значит «планировать» — на войне? Планируем мы одни, а выполняем свои планы вместе с противником, то есть с учетом его противодействия. Чем дольше идет сражение, тем больше в первоначальные планы вносятся коррективы — в ту или иную сторону. Они связаны не только с преодолением всякого рода препятствий, в том числе и таких, которые невозможно учесть заранее, но и с поведением противника, и прежде всего с тем, когда, как и в каких масштабах он вводит против тебя оперативные резервы, с которыми надо драться и которые надо расколотить, прежде чем пойдешь дальше.

Конечно, в ходе сражения хочется выполнить первоначальные планы, в том числе и выдержать запланированный темп наступления. Но при всем том нервном напряжении, в котором я находился в разгар операции, некоторая замедленность темпов нашего наступления в глубине обороны противника не вызывала у меня ощущения неблагополучия или начинающей складываться неудачи. Почему? Во-первых, потому, что на протяжении трех первых дней операции вся тридцатикилометровая глубина неприятельской обороны была прорвана силами нашей пехоты и танков первого эшелона общевойсковых армий при поддержке танковых частей первых эшелонов танковых армий. Корпуса вторых эшелонов общевойсковых армий и вторые эшелоны танковых армий Рыбалко и Лелюшенко так и не были нами введены в бой за прорыв всей этой тридцатикилометровой немецкой обороны.

И, заглядывая в будущее, добавлю, что именно это и обеспечило нам успех в дальнейшем, дало возможность, введя свежие силы, свободно маневрировать в оперативной глубине. Весь оборонительный рубеж немцев был уже прорван на всю глубину, а в руках нашего армейского и фронтового командования еще оставалось несколько свежих стрелковых и механизированных корпусов, то есть огромная сила. Это — во-первых.

Во-вторых, я отдавал себе отчет в том, что резервы немцев не безграничны. Получая донесения о вводе новых и новых немецких пехотных и танковых частей в глубине второй полосы обороны, я все яснее видел, что немцы ставят главную ставку именно на эти свои удары и вводят в бой одну дивизию за другой, постепенно исчерпывая их в боях с войсками нашего первого эшелона. Громя их резервы на этом рубеже, мы впоследствии получали возможность бросить вперед свои вторые эшелоны; когда все призванные нас остановить немецкие оперативные резервы будут уже перемолоты и разбиты.

В итоге так оно и вышло. Пытаясь во что бы то ни стало удержать нас на второй полосе обороны, немцы потом уже не имели достаточно сил, чтобы посадить их на третью полосу обороны, на Шпрее. К концу второго дня третья полоса обороны немцев была проткнута нами с ходу, а на третий день — прорвана на довольно широком фронте, и река Шпрее была форсирована на плечах отходящих разбитых частей противника. Все десять дивизий, брошенных немцами против нас из своего резерва, были частью отброшены за Шпрее, а частью оттеснены на правый фланг нашего прорыва — к Коттбусу, и на левый фланг — к Шпрембергу.

Надо отметить и роль нашей авиации, оказавшей наземным войскам большую помощь в овладении рубежом Шпрее. На второй и третий день наступления погода улучшилась, и наша авиация работала всю, нанося бомбовые удары по всем основным узлам сопротивления на реке Шпрее и по укрепленным районам на флангах нашего прорыва, по Коттбусу и Шпрембергу. Авиация разыскивала в лесах и громила с воз-

духа танковые группировки немцев. За первые три дня наступления, 16, 17, 18 апреля, авиация фронта сделала семь тысяч пятьсот семнадцать вылетов и сбила в воздушных боях сто пятьдесят пять немецких самолетов. Урон для немцев тем более чувствительный, что с авиацией к этому времени у них уже было не густо.

Анализируя впоследствии ход событий в первые дни нашего наступления, я думал над тем, почему немцы так поспешно, уже на второй полосе Нейсенского рубежа обороны, ввели в дело свои оперативные резервы вплоть до некоторых соединений из резервов главного командования. Думаю, что на них психологически действовало то, что теперь Берлин был у них совсем близко за спиной. Пространство, которое оставалось позади них и где можно еще было попытаться задержать нас, было не так уж велико.

Кроме того, думаю, что воевавшие против нас немецкие генералы догадывались, что наш успешный прорыв юго-восточнее Берлина может закончиться охватывающим маневром на Берлин. Их справедливо пугал выход такой крупной группировки войск, в том числе танковых армий, на оперативный простор с возможностью маневра на Берлин. Как бы мы там ни дымили — хотя дыма в начале операции было достаточно, — но полагаю, что немецкая авиационная разведка не могла не засечь скопления наших танков.

Эта опасность в соединении с приказом Гитлера во что бы то ни стало удерживать Нейсенский рубеж и толкнула немцев на использование основных оперативных резервов уже на второй полосе обороны. По существу они облегчили нам нашу дальнейшую задачу.

Анализируя действия немецкого генералитета на Восточном фронте в этот период, я думаю, что немецкие генералы, несомненно, были к этому времени в состоянии психологического надлома и — как мне кажется, особенно поначалу — еще с большим трудом улавливали, что кризис уже налицо и обстановка по существу создалась безнадежная.

Их и без того тяжелое положение усугублялось тем, что Гитлер до самого конца объяснял все неудачи на фронте предательством. В том числе и предательством тех генералов, которые были разгромлены войсками Первого Украинского фронта на Нейсенском рубеже. Когда ему доложили, что советские войска прорвались в районе Коттбуса, это сообщение потрясло его, и он прямо заявил, что это результат предательства.

Хочу задним числом засвидетельствовать, что его генералы на Нейсенском рубеже служили ему до конца верой и правдой и, начиная уже понимать надвигающуюся катастрофу, все-таки стремились если не предотвратить, то хотя бы отодвинуть ее.

Семнадцатого апреля с утра передовые танковые части, набирая темп и начиная отрываться от пехоты, ломая сопротивление немцев, все ближе подходили к Шпрее. Я, все еще находясь в штабе фронта, утром дал приказание, как только позволит обстановка, подготовить мне передовой наблюдательный пункт где-то недалеко от Шпрее, в районе предполагаемой переправы 3-й танковой армии Рыбалко. Дал приказание и сам выехал в том же направлении.

К середине дня я без особых осложнений добрался до Шпрее. Теперь, когда уже на довольно широком участке был прорван и второй рубеж немецкой обороны, я получил возможность увидеть и его.

На этот раз то, что я видел на протяжении всего пути до Шпрее, не представляло собой какого-то особенного зрелища для привычного ко всему этому человека. Конечно, бывают на войне такие картины, которые и хочешь забыть — не забудешь, настолько они страшны с точки зрения общепринятых человеческих понятий. Такую картину я, например, видел

зимним утром 1944 года после завершения Корсунь-Шевченковской операции. Пожалуй, такого большого количества трупов на таком сравнительно небольшом участке мне не пришлось видеть на войне ни до, ни после. Немцы предприняли там ночную безнадежную попытку прорваться из котла, стоившую им страшных потерь. Это кровопролитие не входило в наши планы — мною был отдан приказ пленить окруженную группировку. Но в связи с тем, что командовавший ею генерал Штеммерман в свою очередь отдал приказ пробиться во что бы то ни стало, мы вынуждены были противопоставить силу силе. Немцы шли ночью напролом, в густых боевых колоннах. Мы остановили эти колонны огнем и танками, которые давили на этом страшном зимнем поле гусеницами напугивающую и, я бы добавил, плохо управляемую в ночных условиях толпу. И танкисты тут неповинны: танк, как известно, плохо видит ночью. Эта кровавая каша происходила среди ночи, в буран, а под утро, когда буран прекратился и я проехал через поле боя на санях, потому что ни на чем другом передвигаться было невозможно, то зрелище, несмотря на нашу победу, было такое тяжелое, что не хочется вспоминать его во всех подробностях.

Здесь, в условиях Берлинской операции, когда я ехал к Шпрее, то потери и с той и с другой стороны не сразу бросались в глаза. Лесная, сильно пересеченная местность скрывала их. Гораздо больше, чем людские потери, обращало на себя внимание большое количество сгоревшей, разбитой, подбитой, застрявшей в реках и на болотах техники. Чувствовалось, что здесь только что прокатилось крупное сражение, в котором и с той и с другой стороны участвовало большое количество танковых и механизированных войск.

Впрочем, сражение напоминало о себе не только зрелищем разбитой техники, но и непрерывными звуками боя — и впереди, там, куда я ехал, и слева, и справа, по обеим сторонам пробитого нами коридора. Земля вся была в воронках от артиллерийских снарядов, а кое-где на лесных просеках виднелись груды исковерканного металла — все, что осталось от некоторых наших взорвавшихся, когда они пробивались сквозь лесные пожары, танков и самоходок.

Ехать вперед можно было беспрепятственно, хотя и требовалась известная аккуратность. Саперы, шедшие вместе с передовыми частями, уже расчистили проходы в минных полях и разминировали многочисленные лесные завалы по всем основным маршрутам движения.

Надо заметить, что личному составу каждой части было разрешено двигаться вперед только по определенному, проложенному для нее маршруту. И войска проявляли разумную дисциплинированность.

Великое дело — опыт войны. Те бывалые солдаты, которые, начав войну в сорок первом — сорок втором годах под Москвой, в степях Украины, под Сталинградом, теперь подходили к Берлину, — на мой взгляд, по своему опыту превосходили чудо-богатырей времен Суворова. Конечно, они не провели на солдатской службе столько лет, как это было в суворовские времена, но если взять весь опыт боев за эти три-четыре года, взять все, что они видели, сосчитать все тяготы и невзгоды, перенесенные ими, — то с такими солдатами можно было не только брать Берлин — с ними можно было штурмовать небо.

Вспоминая войну, оценивая и сравнивая различные ее этапы, мы, как мне кажется, подчас недооцениваем дистанцию, пройденную в овладении воинским искусством за четыре военных года. На четвертый год войны для нас считалось само собой разумеющимся выполнение таких боевых задач, которые — если бы мысленно перенести их в первый период войны — считались бы невероятно трудными, стоящими на грани невыполнимого. А обращаясь к началу войны и оценивая соотношение

сил, мы в какой-то мере все еще недоучитываем такого усилившего в тот период немцев фактора, как их, так сказать, втянутость в войну, их наступательный порыв, сложившийся в результате непрерывных двух-летних побед на полях Европы.

Теперь, в апреле сорок пятого года, мы своими ударами отбросили эту сильнейшую армию мира почти до Берлина. И все те препятствия, которые еще были нагромождены немцами на путях нашего движения, уже не составляли непреодолимой трудности для нашей армии, зрелой, полной наступательного порыва и твердой решимости раз и навсегда покончить с фашизмом.

Я стремился вперед, к Шпрее, на тот участок, где к реке выходила 3-я гвардейская танковая армия, потому что своими глазами хотел видеть, как начнется переправа. Мы просто не имели права потерять на этом водном рубеже выигранного темпа. От быстроты переправы через Шпрее танковых армий, а вслед за ними и общевойсковых зависела не только стремительность нашего дальнейшего маневра, но и мера организованности сопротивления, которым дальше встретят нас немцы. Чем меньше успеем мы, тем больше успеют они, и наоборот. Я хотел, чтобы переправа через Шпрее оказалась в моем собственном поле зрения. Хотел в случае необходимости использовать и те меры воздействия, и те средства помощи, которыми располагал как командующий фронтом, чтобы войска не задержались на переправах через Шпрее ни одного лишнего часа.

Подъехав к Шпрее на участке вышедших к реке передовых частей армии Рыбалко, я по донесениям разведчиков, да и по собственным непосредственным наблюдениям понял, что дело складывается, в общем, неплохо для нас. Нам пришлось пробиваться к Шпрее с непрерывными боями, и поэтому не удалось предупредить противника, выйдя к реке раньше него. Но хотя немцы успели посадить по берегу Шпрее кое-какие свои части, которые вели по нас огонь, однако чувствовалось, что огонь этих частей еще разрозненный, недостаточно организованный. Плотной мощной системы огня перед нами не было. Точнее говоря, пока не было. Подарить немцам время на организацию этой системы огня было бы с нашей стороны непростительной ошибкой.

Я вызвал к себе Рыбалко, который был здесь же рядом, в одной из своих бригад, и мы вместе с ним вслед за передовым отрядом подъехали к самой реке. Чуть-чуть пониже того места, где мы очутились на берегу Шпрее, по моим впечатлениям, которые совпали с впечатлениями Рыбалко, был раньше брод. Мы не стали ждать наводки мостов и проявили настойчивость, продиктованную желанием во что бы то ни стало выиграть время.

Было принято решение попробовать форсировать реку прямо на танках, защищенных от того главным образом автоматного и пулеметного огня, который вели немцы с западного берега. Выбрали в передовом отряде лучший экипаж, самый смелый и технически подготовленный, и приказали ему: «Прямо с ходу — вброд — на ту сторону!»

Река достигала в этом месте метров сорока—пятидесяти в ширину, может быть шестидесяти. Во всяком случае не больше.

Танк на наших глазах рванулся на ту сторону и проскочил реку. Оказалось, что в этом месте ее глубина не превышала метра.

Лиха беда начало. Танки пошли на ту сторону один за другим, немецкий огонь был подавлен, немцы отброшены со своих позиций, и через два-три часа — раньше, чем наведены были первые мосты, — несколько передовых танковых бригад было уже на той стороне Шпрее.

Один из корпусов Рыбалко нашел правее еще один брод и тоже переправлялся через Шпрее полным ходом. 4-я гвардейская тан-



ковая армия Лелюшенко, которая вышла к Шпрее южнее и столкнулась с сильным сопротивлением немцев, — тоже повернула сюда и переправлялась, найдя еще один дополнительный брод и построив мост на этом же участке армии Рыбалко.

В это время мне доложили, что мой передовой командный пункт уже оборудован в каком-то баронском доме, немножко позади нас. С того места, где мы стояли с Рыбалко и Лелюшенко, наблюдая за переправой, этот баронский дом был виден. По нему откуда-то из глубины била очередями немецкая артиллерия, но не точно, все время давала перелеты. Очевидно, немцы запеленговали работу уже развернутой там радиостанции, а может быть, просто били по этому приметному, отдельно стоявшему в лесу строению.

Хотя передовой командный пункт был уже развернут, я пока что не спешил туда. Меня притягивало к берегу не только радостное для моих глаз зрелище быстрой и успешной переправы, на которой уже начал ходить паром и заканчивалась наводка моста. Меня удерживала на берегу необходимость разговора с обоими командирами танковых армий, которым после переправы предстоял решительный и глубокий маневр по тылам немцев.

Я мысленно видел конец этого маневра на южных и юго-западных окраинах Берлина. Так подсказывала складывавшаяся обстановка. Хотя отдавать прямой приказ о последующем повороте танковых армий в глубине немецкой обороны на Берлин было преждевременно — для этого нужно было пройти еще через определенный этап развития событий и получить разрешение Ставки, — но я хотел, чтобы оба командующих танковыми армиями почувствовали мое настроение, ощутили мою уверенность в том, что им в дальнейшем предстоит именно такая перспектива.

Мы стояли на берегу Шпрее и обсуждали сложившуюся обстановку. Их обоих беспокоили горящие леса впереди. Надо сказать, что вид горящих лесов производит на танкистов весьма неважное впечатление. И это не удивительно. Пожары для танков очень неприятны. Они ограничивают видимость, и без того в боевых условиях небольшую. И движение через зону пожаров — это опасность подрыва в любой момент. У входящих в глубокий прорыв танков чего только не навьючено сверху, на броне — особенно для преодоления такого маршрута, как здесь, изобилующего реками, речками и болотами. На броне и всякие штурмовые средства для переправ, а у более запасливых — дополнительный запас горючего в канистрах или специальных бочках.

Но главным поводом для тревоги были, конечно, не пожары. Главная проблема, остроту которой понимали и они и я, состояла в том, что им предстояло идти вперед, а совсем близко, на обоих флангах, продолжались бои. Танкисты входили в глубокий прорыв на фронте 13-й армии, а справа 3-я гвардейская армия Гордова и слева 5-я гвардейская армия Жадова, продолжая напряженные бои, все время отражали ожесточенные контратаки немцев на флангах.

Разговор наш касался главным образом этой проблемы. А вернее, того, что это не должно быть и не будет проблемой для уходящих вперед танковых армий. Независимо от того, будут они повернуты на северо-запад, на Берлин, или не будут повернуты, я так или иначе благословлял их на смелый отрыв от общевойсковых армий, на движение на большую оперативную глубину. И, разумеется, в таких обстоятельствах у танкистов могли возникнуть вопросы: позвольте, вот вы вводите нас в эту горловину, заставляете идти, не оборачиваясь, отрываться, а на обоих флангах коридора идут жестокие бои. Не выйдет ли немец на наши тылы, не пережет ли наши коммуникации?

Надо отдать им должное, оба командарма этих вопросов напрямую мне не задавали. Но я сам считал своим долгом сказать им, что они могут не беспокоиться. Я потому и оказался со своим передовым наблюдательным пунктом здесь, в самой середине пробитого коридора, чтобы держать и справа и слева угрожаемые фланги нашего прорыва, что называется, на своих плечах. Я даже в разговоре с ними хлопнул себя по плечам, так сказать, продемонстрировал в натуре, как я буду своим присутствием здесь, в центре прорыва, распирать в обе стороны фланги: беспокоиться не за что, можете действовать смело, стремительно, на предельную глубину!

Хочу повторить то, что уже говорил раньше. Здесь, в этом разговоре, решающую роль играло взаимное доверие, выработавшееся у нас в ходе ряда крупных операций, которые мы провели вместе с Рыбалко и Лелюшенко. Они верили своему командующему фронтом, я верил им. Они верили, что, посылая их в смелый маневр на большую оперативную глубину, я не бросаю слов на ветер, когда говорю, что в тылу у них будет все обеспечено, что я сам нахожусь и буду находиться здесь и как командующий фронтом приму все меры к тому, чтобы слово не разошлось с делом.

Я пока еще рассказываю о том, что происходило 17-го числа, на второй день наступления, но если заглянуть вперед, в 18-е — в третий день наступления, — то станет очевидным, что и у танкистов в свою очередь слово не разошлось с делом.

Переправившись через Шпрее и оторвавшись от нее, танковая армия Рыбалко уже 18-го числа к концу дня прорвалась вперед еще на тридцать километров, а армия Лелюшенко, оказавшаяся в тот день в более благоприятных условиях в смысле силы немецкого сопротивления, продвинулась на сорок пять километров. И то, что оба командарма, несмотря на всю острогу обстановки, были спокойны за свои тылы, могут сказать по опыту, тоже играло немалую роль в скорости их продвижения.

Тринадцатая армия Пухова, начавшая переправляться через Шпрее еще 17-го числа, 18-го переправилась на ту сторону целиком. К ней справа примкнули тоже переправившиеся через Шпрее части Гордова, а слева — части Жадова.

Попытки противника оказать нам организованное сопротивление на рубеже Шпрее 18-го числа окончательно провалились. Самые ожесточенные бои по-прежнему шли справа и слева, в районе Коттбуса и Шпремберга, на левом фланге армии Гордова и на правом фланге армии Жадова. И если говорить о 18-м числе, то именно этот момент сильного давления на северном и южном флангах нашего еще сравнительно узкого коридора прорыва больше всего беспокоил меня и заставлял принимать решительные меры для разрядки положения.

Возвращаюсь к событиям, происходившим 17-го числа.

Я был на переправе примерно до шести часов вечера. Последний мой разговор с Рыбалко и Лелюшенко перед их отъездом был как бы сжатым выводом из всего того, что мы обсуждали раньше: товарищи командующие, смелее вперед, в оперативную глубину, не оглядывайтесь назад, не ведите с немцами боев за их опорные пункты, обходите, маневрируйте, ни в коем случае не берите их в лоб, берегите боевую технику, все время помните, что вам нужно подойти с запасом неизрасходованных сил к выполнению конечной задачи.

Прямо опять-таки не было сказано, но они отлично понимали, что им, очевидно, придется драться за Берлин, что это и есть и конечная цель, и конечная задача.

Уезжая, я оставил обоих в хорошем настроении. Неплохое настроение было и у меня самого.

Добравшись до замка, я оттуда, со своего командного пункта, связался по телефону со всеми, с кем это было необходимо. Надо сказать, что вообще управление войсками фронта с самого начала операции проходило бесперебойно, все виды связи работали устойчиво. Тут следует отдать должное генералу Булычеву — начальнику войск связи фронта, который в этой операции показал себя с самой положительной стороны. Командармы, командиры корпусов, командиры дивизий вместе со своими оперативными группами, как правило, в эти дни осуществляли управление войсками с наблюдательных пунктов, вынесенных вперед, в боевые порядки войск, и имели бесперебойную связь и вниз и вверх.

Я поговорил со штабом фронта, выслушал доклады нескольких командующих армиями, переговорил еще раз с танкистами, докладывавшими об уже начавшемся успешном продвижении их частей на запад от Шпрее, и, подытожив для себя картину всего происходящего, позвонил по ВЧ в Москву, в Ставку, и доложил о ходе наступления нашего фронта и успешном развитии прорыва.

Доложил о переправе через Шпрее и о том, что наши танковые армии начинают отрываться от общевойсковых и выдвигаться глубоко вперед в северо-западном направлении.

Одна дежурная немецкая батарея продолжала откуда-то издалека все с той же методичностью и с той же неточностью, что и весь день до этого, стрелять по замку, а я сидел в нем и говорил с Москвой, и слышимость была превосходная. Надо вообще сказать, что эта связь — ВЧ, — как говорится, нам была богом послана. Она так выручала нас, была настолько устойчива в самых сложных условиях, что надо воздать должное и нашей технике, и нашим связистам, специально обеспечивавшим эту связь ВЧ и в любой обстановке буквально по пятам сопровождавшим при передвижениях всех, кому было положено пользоваться этой связью.

Когда я уже заканчивал доклад, Сталин вдруг прервал меня и сказал:

— А дела у Жукова идут пока трудно. До сих пор прорывает оборону.

Сказав это, Сталин помолчал. Я тоже молчал и ждал, что будет дальше. Помолчав, Сталин спросил:

— Нельзя ли, перебросив подвижные войска Жукова, пустить их через образовавшийся прорыв на участке вашего фронта на Берлин?

Выслушав вопрос Сталина, я доложил свое мнение.

— Товарищ Сталин, это займет много времени и внесет большое замешательство. Перебрасывать в осуществленный нами прорыв танковые войска с Первого Белорусского фронта нет необходимости. События у нас развиваются благоприятно, сил достаточно, и мы в состоянии повернуть обе наши танковые армии на Берлин.

Сказав это, я в дальнейшем уточнил направление, в котором будут повернуты танковые армии, и назвал как ориентир Цоссен — городок в двадцати пяти километрах южнее Берлина, известный нам как место пребывания ставки немецкого генерального штаба.

— Вы по какой карте докладываете? — спросил Сталин.

Я ответил, что по двухсоттысячной. После короткой паузы, во время которой он, очевидно, искал там, у себя в Москве, на карте Цоссен, Сталин ответил:

— Очень хорошо. Вы знаете, что в Цоссене ставка немецкого генерального штаба?

Я ответил:

— Да, знаю.

— Очень хорошо,— повторил Сталин.— Я согласен. Поверните танковые армии на Берлин.

На этом закончился наш разговор.

Я считал принятое решение единственно правильным в сложившейся обстановке. В условиях, когда Первый Белорусский фронт, наступая на Берлин с запада, с таким трудом пробивал глубоко эшелонированную, тщательно подготовленную оборону немцев, было бы странным отказать от столь многообещающего маневра, как удар по Берлину танковыми армиями в обход, с юга, через уже осуществленный нами прорыв. Сталин первоначально выдвинул громоздкую идею ввода танковых армий одного фронта через прорыв, осуществленный другим фронтом. Выполнение этой идеи было затруднительно не только из-за потери времени и той сумятицы, которая неизбежно возникла бы при ее выполнении, но и потому, что эти танковые армии могли понадобиться — и впоследствии понадобились — самому Белорусскому фронту после взлома немецкой обороны на другом направлении. А обе танковые армии нашего фронта, войдя в прорыв, по существу уже были готовы к удару на Берлин, их оставалось только повернуть, а вернее, повернуть в нужном направлении. Армии фактически уже выходили на оперативный простор, и такой доворот не составлял большого труда, тем более что и командование танковых армий, и командование фронта были внутренне подготовлены к постановке именно такой задачи.

Должен сказать, что еще до начала операции я считал, что удар Первого Белорусского фронта на Берлин будет происходить в очень трудной обстановке и стоить больших усилий. Первый Белорусский фронт прорывал немецкую оборону прямо перед Берлином, в непосредственной близости к нему. Этого немцы больше всего ждали, к этому они больше всего готовились, перед возможностью этого больше всего трепетали и делали со своей стороны все, чтобы этого не случилось.

Наш прорыв происходил сравнительно далеко к юго-востоку от Берлина. На участке нашего прорыва немцы держали группировку тоже сильную, но все-таки относительно менее сильную, чем перед Кюстринским плацдармом. Возможность маневра, который мы осуществили танковыми армиями после прорыва обороны немцев, была для противника только одним из возможных вариантов.

Реальность нашего удара по Берлину с юга стала возникать для немцев в полном объеме только после того, как, осуществив неожиданный для них по стремительности прорыв, мы сразу ввели в него танковые армии. Это, как я уже говорил, произвело в ставке Гитлера тяжкое впечатление, но на перегруппировку войск, а тем более на строительство каких-то дополнительных рубежей, которые задержали бы нас между Нейссенским рубежом и внешним обводом Берлина, у немцев оставалось слишком мало времени. И практически получилось так, что когда мы, прорвав их оборону с востока на запад, вслед за этим круто повернули на север к Берлину, то наши войска в целом ряде случаев уже не прорывали новых оборонительных полос, расположенных фронтом на восток, а спокойно шли на север мимо них и между ними. Конечно, только вплоть до внешнего обвода Берлина, который был создан немцами, как круговой.

Как только Сталин положил трубку, я сразу же позвонил по ВЧ командармам обеих танковых армий и дал им боевые указания, связанные с поворотом армий на Берлин. Эти основные указания потом в более развернутом виде вошли в директиву фронта, которая примерно три часа спустя была отправлена и вверх — в Ставку, и вниз — в вой-

ска. Танкистам нельзя было терять времени, пока составлялась, отправлялась и получалась директива; им надо было действовать всю ночь, не теряя ни минуты и не дожидаясь оформления полученных от меня указаний.

После разговора с танковыми начальниками я занялся директивой. Так как она была для войск Первого Украинского фронта поворотным пунктом в ходе Берлинской операции, я приведу ее полностью, в том виде, в каком она была дана в ночь с 17 на 18 апреля 1945 года:

«Во исполнение приказа Верховного Главнокомандования приказываю:

1. Командарму 3-й гвардейской танковой армии: в течение ночи с 17 на 18.IV.45 форсировать реку Шпрее и развивать стремительное наступление в общем направлении Фетшау, Гольсен, Барут, Тельтов, южная окраина Берлин. Задача армии в ночь с 20 на 21.IV.45 ворваться в город Берлин с юга.

2. Командарму 4-й танковой. В течение ночи с 17 на 18.IV.45 форсировать реку Шпрее севернее Шпремберг и развивать стремительное наступление в общем направлении Дрепкау, Калау, Дане, Луккенвальде. Задача армии к исходу 20.IV.45 овладеть районом Беетлиц, Тройенбритцен, Луккенвальде. В ночь с 20 на 21.IV.45 овладеть Потсдам и юго-западной частью Берлина. При повороте армии на Потсдам район Тройенбритцен обеспечить 5-м мехкорпусом. Вести разведку в направлении: Зенфтенберг, Финстервальде, Герцберг.

3. На главном направлении танковым кулаком смелее и решительнее пробиваться вперед. Города и крупные населенные пункты обходить и не ввязываться в затяжные фронтальные бои. Требую твердо понять, что успех танковых армий зависит от смелого маневра и стремительности в действиях.

Пункт 3-й приказа довести до сознания командиров корпусов, бригад.

4. Отданных распоряжениях исполнении донести.

Командующий Первым Украинским фронтом Конев.

Член Военного Совета фронта Крайнюков.

Начальник штаба Первого Украинского фронта Петров.

№ директивы 00215, 17.IV, подано 18.IV в 2 часа 47 минут».

В ночь с 17-го на 18-е осуществился поворот 3-й и 4-й танковых армий Первого Украинского фронта на Берлин, приведший впоследствии, в результате совместных действий Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов, к окружению всей берлинской группировки немцев и падению Берлина. Поворот танковых армий Первого Украинского фронта на Берлин с юга был в моих глазах естественным и закономерным маневром, рассчитанным на то, чтобы громить противника в положении самом для него невыгодном и в значительной мере неожиданным.

Я глубочайшим образом верил в успех этого маневра.

*(Продолжение следует)*



---

КОНСТ. ФЕДИН

★

## КОСТЕР\*

*Роман*

КНИГА ВТОРАЯ

### ЧАС НАСТАЛ

Глава шестая

1

**К**огда Анна Тихоновна, выйдя на перрон тульского вокзала, увидела бегущего Кирилла, который искал ее в окнах вагона и по сторонам, в толпе, она не могла сойти с места. Она крикнула:

— Я здесь! — и не услышала себя.

Он был совсем не таким, каким она ждала его встретить. Он бежал, точно из прошлого, — молодой, быстрый. И вот тоже увидел ее, и она, одолевая внезапную слабость, раскрыла навстречу ему руки.

— Кирилл!

— Еще минута — опоздал бы.

— Ты задохнулся, — выговорила она, едва только сама перевела дыхание.

— С машинами беда. А вещи?

— Какие?

— Ах, совсем ничего?

— Вон, тетя Лика дала нам гостинцев.

Она обернулась.

Цветухин стоял позади — правая рука все еще на перевязи, в другой — набитая свертками авоська. Он кивал Извекову.

— Узнаешь? О ком я тебе в телеграмме? — спросила Аночка.

— Как же, очень рад, — улыбнулся Кирилл. — Давайте, я понесу.

— Нет, мне не тяжело.

— Дайте сюда, Егор Павлыч, — сказала Аночка.

Он отдал ей сумку. Они пошли в вокзал. Аночка пригнула и немного подержала голову на плече Кирилла.

— Ты другой. Как тогда.

— Нынче много чего похоже на тогда, — сказал он шутливо, но оставил взгляд на ее щеке, спросил тихо: — Что это у тебя?

— Пустяки. Потом скажу... А твой френч, как уложила в сундук мама, так и лежал? Правда? Он все хорош тебе.

— Он счастливый, — усмехнулся Кирилл.

---

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

Они усадили Цветухина рядом с шофером и, только тронулась машина, взяли друг друга за руки и не выпускали их. Из клочков непрерывного разговора Аночка спустя минуту знала все, что было главным.

— Словом, завтра Надя дома,— повторил Извеков.

— А Павел?

— Я говорю, он привезет ее.

— Мог бы и сегодня, негодник!

— А командировка? Чудо, что как раз эти дни он оказался в Москве.

— Чудо, что он к тебе дозвонился. Меня довели до слез: не соединяют, и только!

— Я как сказал — ты вернулась, слышу — Павел подпрыгнул.

— Хорошо, я догадалась телеграфировать в исполком.

— Ты умница. Новожилов велел откопать меня из-под земли. И видишь — как по писаному.

— А Павел заслужил хорошую взбучку. Не мог разыскать меня!

— Когда? Он же звонил мне во втором часу ночи.

— Захотел бы, нашел меня утром.

— В поезде?

— Я знаю, ты его союзник! — засмеялась Аночка. — Понравились тебе молодые?

— Представь, я... (у Кирилла чуть не вырвалось словечко — «тоже», но сравнение было бы жестоко, и он кончил с улыбкой неловкости) я не попал на свадьбу!

Она недоверчиво отодвинулась от него.

— Условимся давай,— сказал он,— ты рассказываешь о себе первая. Все-все! После тебя я — о чем захочешь. И прости, пожалуйста. Буквально на минутку мне надо в жилотдел, подписать бумагу — она там уже подготовлена. Вот тебе ключи, поезжай... езжайте. Машина вернется ко мне, и я сейчас же...

Аночка глядела на него удивленно. Шофер тормозил — стало быть, знал что делать. И стало быть, правда — Кирилл был как тогда, в юные годы, да ведь и потом всю жизнь: радость свиданья не переспорит в нем долга.

— Ну, что так смотришь? — с укором, но будто и виновато сказал Кирилл. — Через десять минут приеду.

Улыбнувшись, она пожала плечами. Машина уже стояла. Он вышел, захлопнул дверцу, кивнул Цветухину:

— Извините. Я — следом.

Анна Тихоновна весело сказала:

— Видите, какой он.

Для Егора Павловича ее слова могли прозвучать и похвальбой и сетованьем. Он наклонил голову. Ответ для нее мог сойти и за одобренье, и за простой знак, что он слышит,— машина тарыхтела по булыжнику, слышно было плохо. Они промолчали до дома.

И вон уже этот дом, наполовину обнятый лапами ясеней, наполовину окаченный светом полдня; дом с кривым козырьком обшарпанного, но чем-то уютного русского крыльца; дом, который стал во сто раз милее, чем казался Анне Тихоновне всего какой-нибудь десяток дней назад.

Она легко взбегает по лестнице, оглядываясь и крича, чтобы Егор Павлович не спешил. Она гремит ключами. Она влетает в переднюю, заглядывает во все двери, отворяя и прихлопывая их. Она бежит назад и у самого входа встречает гостя:

— Устали? Идемте, идемте. Господи, какое счастье! Идемте же!

Она ведет за руку Егора Павловича по комнатам и не перестает говорить.

— Это то, что мы называем залой. Столовая, собственно. Надя даже говорит о ней неуважительно — столовка. Немного темновато. А здесь я с мужем. И спальня, и его рабочий стол. Но я гораздо больше за столом, чем он. Ему ведь некогда... Пойдем, я покажу, где будете вы, — мне уже сказал Кирилл. Вот здесь. О, глядите-ка, все приготовлено. И книги на тумбочке. Почему-то Гёте?! Странно, а?... Все свежее. И постелено хорошо. Руки нашей домработницы. У нас она приходящая. Удивительно порядливая, вы увидите. Нравится вам диван? На каникулах и по праздникам это Надина комната.

— Как же Надя теперь? — спросил Цветухин слегка оробело.

— Надя вот где... Идите сюда. В этой светелке жила ее бабушка. Моя свекровь. Тут пока не совсем убрано. Завтра мы с Надей устроим, будет, право, мило. Она любила бабушкину комнатку.

— Мне бы тут очень удобно. Зачем выселять дочь?

— Это дело не нашего ума. Решил Кирилл Николаевич, — в тоне непререкаемости выговорила Анна Тихоновна. Первый раз пристально взглядывая на Егора Павловича, она сразу утишила голос:

— Вы очень утомлены?

— Немножко, — ответил он и, поглаживая спинку полинялого кресла, сел в него, лениво сказал:

— Наверно еще бабушкино.

Анна Тихоновна прижала ладонь к его лбу. Она успела привыкнуть в обращении с ним к некоторой решительности и не возражала, когда он однажды посмеялся: «Ты, Аночка, становишься вроде моей мамки».

— У вас жар, — уверенно сказала она, отняв руку. — Пойдемте, я покажу, где у нас умываются. И надо поставить градусник.

Градусник был поставлен и действительно показал жар. Егор Павлович согласился прилечь. И едва хозяйка затворила комнату, уже ставшую в ее мыслях цветухинской, как пришел Кирилл.

Он спросил глазами — где гость, и Аночка глазами же ответила — там.

Тогда Кирилл, ступая осторожно, подошел к ней и, обняв, прижал к себе. Они стояли не шевелясь. Он не отпускал ее и все молчал. Потом, не ослабив ни на капельку стиснутых вокруг нее рук, тихо повел ее в спальню, и они вместе опустились на край кровати, так же не произнося ни слова, как будто неразомкнутое объятие говорило все, что они должны были сказать. Они побыли так долго и все не двигались. Потом Аночка начала медленно перебирать волосы Кирилла.

Его руки стали мягче и тоже медленно поднялись к ее голове. Он поцеловал ее и, со счастливой нежностью осматривая каждую черту ее лица, улыбался в каком-то возрастающем удивлении.

— Что же со щекой?

— Это долго. Может быть — целую ночь.

— А если коротко?

— Когда разговарюсь, — сказала она и закрыла глаза. Подождав, он спросил:

— Набралась страху?

— А ты? Ты ведь был один, когда я исчезла... Могла исчезнуть.

— А ты? — переговорил он ее вопрос.

— Много было людей. Много. И Егор Павлыч. Он очень помог мне.

— перевязка его оттуда же? (Кирилл все смотрел на ее щеку.)

— Нет. Раньше. Под самым Брестом. Был обстрел. Ему разрезало осколком вену. В локте. И уж эти перевязки — где они только не делались!.. Знаешь, у него температура, он мне не нравится, — заговорила она быстро. — Я его уложила. По-моему, нужен наконец порядочный доктор.



— Само собой. Вызовем сейчас. Я с докторами на короткой ноге,— сказал Кирилл и поднялся.

— Новая должность?

— Превняя. Но с добавкой. Новожилов... Кстати: он велел тебе кланяться. А меня освободил до вечера. По случаю твоего возвращения. Я у него нынче правая рука.

— Был разве левой?

— Скорее — никакой. А теперь я... Сейчас на мне госпитали. Гоним что есть силы. Приспосаблием школы — парты долой, койки на смену... Значит, кого вызывать? Хирурга?

Он уже держал руку на телефоне.

— погоди,— остановила Аночка.— Предупредим Егора Павлыча. Он шепетил. Боялся — будет нас обременять. Насилу уредила его поехать к нам. Раненый, совершенно одинокий, не бросить ведь его где придется.

— Кто же кому помогал? — ласково усмехнулся Кирилл.

— Друг другу! — ответила Аночка так просто, будто как раз это и подразумевала, говоря, что Цветухин ей очень помог.— Идем, скажем ему.

У цветухинской комнаты они постояли, прислушались. Там было тихо. Кирилл поднес к двери согнутый указательный палец — постучать, но не постучал, а вопросительно взглянул на Аночку. Она отвела его руку, шепнула:

— Может, уснул?

Он так же шепотом сказал:

— Поставим его... перед фактом.

Они вернулись в спальню, и как только вызван был врач, вступила в действие цель, которая, все сильнее овладевая ими, стала заботой каждого часа.

Уже не нужно было выпрашивать у Аночки, что она испытала во время своего бегства под огнем. Заговорив о том, как был ранен Цветухин, она вдруг перешла на рассказ о бомбежке под Жабинкой, загорячилась, чаще и чаще прикладывая к глазам платок, но не могла остановить слез.

— Ты понимаешь, понимаешь, он меня спас! — восклицала она, показывая, как часовой-красноармеец в налет бомбардировщиков держал ее, чтоб она не свалилась с ног.— Понимаешь, спас мне жизнь!

Кириллу казалось — ему надо тоже держать Аночку, и он держал, успокаивая ее, уговаривая сесть, перебивал ее речь, убеждая, что лучше она доскажет, когда пройдут слезы. Но она говорила, говорила, а потом вперемежку со слезами начала смеяться, будто в самом деле было смешно, как она упала на кучу мусора и после беспамятства пощупала лицо, и пальцы у нее склеились от крови. Наконец Кирилл заставил ее выпить воды. Понемногу она стихла, и это было ко времени, потому что явился врач.

Пока она переодевалась, у Кирилла с врачом нашелся разговор о госпитальных делах. А ей непременно надо было привести себя в порядок после волнений, после плача, после дороги: тетя Лика только кое-как могла приодеть ее, отправляя из Москвы, и все на ней было чужое, ношеное, если не стариковское, то старившее. Дом ей открывался приютом чистоты, устроенности. Неизменный шкаф с платьями; нетронутая расстановка флаконов, скляночек, щеточек, гребней на туалете; распахнутое окно и застывшая крона ясеня за ним вплотную. Аночка торопилась — ее ожидали. Но и медлила — хотелось ничего не пропустить из приятного ритуала переоблачения. А тут — невольные возвраты только что разбереженных напоминаний. Перед пустыми вешалками и плечиками в шкафу:

каких платьев недостает? Брошены в Бресте. И пауза. Затем перед хрустальной пудреницей: какая красивая! Да, пудреница! Что за пудреница была у смешной Пышки, поделившейся с Аночкой пудрой? (Пинский вокзал.) И опять пауза. Затем главное — еще не отболевшие жесткие корки на щеке. (Жабинка, жуткая Жабинка, а за нею снова пинский вокзал.) Пауза. Разглядывание, ощупывание, смазывание, припудривание щеки. И все время неотступно — Цветухин, бедный Цветухин...

Когда она, собрав платье в кольцо, вскинула его на себя и ее руки пробирались рукавами над вынырнувшей из кольца головой, в комнату вошел Кирилл.

— Доктор спешит, Аночка.

Она обтягивала себя платьем, он смотрел на нее. Платье было то самое, оливковое, которое ему нравилось, и он знал, что его любит жена, им восхищалась Надя.

— Вот ты и настоящая, — сказал он медленнее, чем обычно.

— Правда? — ошарашенно изумилась она и чуть не игриво показала на щеку: — Если бы не это!.. Ты сказал Егору Павлычу?

— О докторе? Лучше бы ты.

— Да, ты прав.

Она пошла легко, тою поспешной, заинтересованной походкой, которой умелая хозяйка выходит к гостю, заставив его дожидаться. Врач уже знал, что заболевший был ранен. Знал, что у него жар. Оставалось предупредить больного. Врач стоял, ждал, чтобы его пригласили к постели.

Тут легкость изменила Анне Тихоновне. Не исчезла, нет, но осталась только снаружи, как в неосвоенной роли, — движения верны, а веры нет. Постучала, позвала, приоткрыла дверь и еще позвала, заглядывая в комнату. Цветухин спал на диване. Не входя, она потянула за собой Кирилла — он стоял близко позади. Они вместе шагнули вперед.

— Егор Павлыч!

Цветухин открыл глаза, тяжело повел ими вокруг.

— Лежите, лежите! Мы, Егор Павлыч... Мы решили показать вас доктору.

Он помолчал немного. Вздохнул.

— Что ж, милая мамка... Дитя послушно.

Все трое постарались улыбнуться. Задачи как не было. Врач вошел, поклонился, вычеканил свое бодрое «здравствуйте», и Аночка с Кириллом очень тихо удалились.

Новый акт начинался с этой тишины. Они сидели за столом, прислушиваясь. Ни звука не раздавалось в цветухинской комнате, а через открытую дверь спальни доносилось с мерными интервалами воробьиное «чик-чик-чик», точно капля падала в стоячую воду.

— Как ты находишь Цветухина? Изменился очень? (Чик-чик...)

— Изменился?.. Плохо вспоминаю его. Не с чем сравнить.

— Конечно. Но вообще?

— Вообще?

— Да.

— Вообще довольно стар.

— Что ты! — мигом возразила Аночка. — Он заболел, это ясно. А так, если б ты видел... он просто неугомонно-молодой!

Они надолго смолкли. Потом поднялись, услышав, как за дверью двинули стулом. Неторопливо вышел врач, сел к столу, поглядел на дверь в спальню (воробей словно опрокинул капельницу, зачирикал что есть духу и, наверно, умчался от окна).

— Мы одни, — перехватывая взгляд врача, сказал Кирилл, и Аночка, усаживаясь, поддакнула ему головой.

— Мы слушаем вас, доктор.

Он заговорил. Остановки были длиннее отрывистых, рассудительных фраз. Он будто складывал про себя вывод, а вслух только подсчитывал предпосылки. Да, налицо воспалительный процесс... Травма, видимо, была незначительна... Занесена ли инфекция?.. Исключить нельзя, но... Скорее, все дело в перевязке... Последний раз перевязывали вчера?.. Чрезмерное давление на ткани... Воспаление интенсивно... Барьер его совершенно отчетлив... Если, однако, все-таки токсины...

Вдруг Анна Тихоновна подалась к нему. Он ближе увидел ее лицо, перестал рассуждать.

— Вы опасаетесь... гангрены? — спросила она едва слышно.

— Я ничего не сказал об опасениях, — ответил он холодно. — Каковы бы опасения ни были, нужны предупреждающие меры...

— Против?.. — не утерпела Анна Тихоновна.

— Сейчас не столько против, сколько за... за облегчение фортисы, которую уже ведет организм. Против чего — покажут анализы... Меры будут пока следующие. Во-первых...

— Кирилл, пожалуйста, бумажку и карандаш.

Она наклонилась над столом, нацелилась глазами на доктора, карандашом — в страничку блокнота. После же первого продиктованного пункта ни разу не подняла взгляда. Сидела пристальная, строгая, дожидаясь, когда последует докторское «во-вторых», «в-четвертых» и до конца — «в-седьмых».

Проводила она доктора очень обязательно, но Кирилл видел ее возбуждение.

— Сухарь! — досадливо пожаловалась она.

— Один из лучших у нас докторов.

— Даже не поставил диагноза!

— Отличный диагност. Здравотдел посылает его на самые ответственные консультации.

— Ты, кажется, правая рука и у докторов?

— Пока ждут от меня госпиталей — само собой.

В неожиданном порыве Аночка обняла его.

— Мы вылечим его, Кирилл! Вылечим, да?

Улыбка, с какой она близко смотрела ему в глаза, была тревожной — он хорошо знал это чуть заметное вздрагивание тонких Аночкиных ноздрей.

— Разумеется, вылечим, — сказал он убежденно. — Что там написал эскулап? Давай я схожу в аптеку.

Она пересчитала — для верности — лекарства на двух узеньких рецептах и так же быстро, как ушел Кирилл, принялась за работу первого, странного дня, встретившего ее угрозой, едва она переступила порог дома.

У нее самой вылетело испугавшее слово «гангрена» и возвращалось, как она его ни гнала, — за хлопотами в кухне (диета, прежде всего диета!), за отборкой белья (не так-то просто: Егор Павлович высокий, Кирилл, можно сказать, низенький). Потом наступило труднейшее. Надо было входить к больному. Входить каждый раз веселой, чтобы не заронить подозрения, будто существует какая-то опасность (доктор умолчанием только подтвердил, что она несомненна). И Аночке удавалось быть приветливо уравновешенной, хотя, перед тем как войти к Цветухину, ей приходило на ум, что выход на сцену куда менее страшен, и она проделывала сначала небольшое упражнение, чтобы снять неестественность, и проверяла себя у зеркала. Но гораздо больше упражнений ей помогало спокойствие, которое вносили с собой являвшиеся лаборантка, медсестра. — с ними Аночка становилась чем-то вроде необычно деятельной больничной нянечки.

И вот вечером вновь прибыл врач. Во время дневного визита он не обмолвился, когда придет, и внезапность его появления была всполохом всех чувств Анны Тихоновны. Несмотря на его заверение, что выполненные анализы не показали ничего плохого, страх перед самым плохим не улегся. Она то присаживалась, то ходила, то замирала у цветухинской комнаты. Выскивая утешения, она уговаривала себя, что ошиблась в докторе — он вовсе не сухарь, каким ей показался, и как раз отзывчивость привела его опять к больному. Но утешение тотчас отвергалось: кто же не знает, что и заурядный врач никогда не позабудет своего долга обнадеживать, успокаивать больных. Недаром он все не выходит и не выходит от Цветухина... Она снова принималась бродить, не зная, куда девать отяжелевшие руки, не в силах остановить подергивания холодных пальцев.

Она оказалась у телефона, когда он зазвонил. Сняв трубку, Аночка побоялась поднести ее к уху: что, если вызывают доктора? Что, если ему сообщат, что новый анализ обнаружил нечто непоправимо страшное? Позвать ли к телефону Кирилла? Она позвала его и все-таки поднесла трубку к уху — там слышался настойчивый голос.

И вдруг у нее сжалось горло. Тепло хлынуло острым приливом к голове. Это был первый беззвучный момент ее ответа на то единственное в мире слово, которое извечно творит на земле чудеса.

— Мама! — услышала Аночка.

Уже когда она собрала силы и начала говорить, Кирилл подошел к ней сзади и поцеловал ее коротко остриженную, мягковолосую голову, всегда казавшуюся ему необыкновенно красивой.

## 2

Первые часы после приезда Нади домой ни ей, ни матери не пришло бы на ум спросить себя: кто из них счастливее? Они не считали, сколько раз подступили слезы, и повторились вопросы, и забылись, а потом вспомнились второпях прерванные рассказы. Любящие не ведут счет своей любви.

Все казалось Наде исключительным. Ни с чем в прошлом нельзя было сравнить то, что происходило в доме теперь. И не потому ли она непрерывно сравнивает происходящее с ушедшим? Наверно, так. Вчера и сегодня должны бы жить в мыслях порознь — так они не похожи одно на другое. Но они живут вместе. Как двойня.

Прежде Надя не слышала от мамы имени Цветухин. Теперь мама назвала его своим давним другом. Он был ее первым учителем на сцене, сказала она. Бывало, бабушка рассказывала Наде о молодости мамы, но никогда не говорила об ее первом учителе. Конечно, у мамы множество друзей. Надя не могла бы уверенно перечислить театры, в которых играла мама. А ведь в каждом, наверно, найдется актриса или актер, с которыми она дружила. Правда, учитель — куда больше, чем обыкновенный друг. Но не странно ли, что и у папы с Надей ни разу не заходила речь о Цветухине?

— Папа его знал? — спросила Надя осторожным голоском.

— Само собой! — негромко воскликнула Анна Тихоновна. — Они как-то даже поссорились.

— Поссорились?

— Папе не понравилось, как он играл.

— Он плохо играл?

— Такого не могло быть! — с решимостью ответила мать. — Я тогда была ребенком и знаю о приключении со слов Егора Павлыча. Он смеялся, рассказывая.

- Они помирились?
- О, конечно. Они вчера так дружелюбно встретились!
- А сколько тебе было лет, когда ты стала у него учиться?
- Сколько тебе сейчас.

Ответ уводил в дебри. О столь отдаленных эпохах подружки Нади говорили, что «нас, девочки, тогда еще не запроектировали». Надя появилась на свет после гражданской войны, о которой написано столько книг, сколько не писалось ни о Греции, ни о Риме. А мама была уже актрисой. Что же такое был тогда Цветухин? Неважно. Важно — что такое он сейчас, когда мама говорит о нем, удивительно притишая свой распевный голос. Она часто сдерживала увлечение разговором и поглядывала на дверь, где лежал больной. Потом быстро-быстро начинала опять вспоминать что-нибудь о пережитом, почему-то больше останавливаясь не на себе, а на Егоре Павловиче. Разумеется, он был опасно ранен. Но ведь она тоже пострадала. Они перенесли одинаковый ужас. И какое же сравнение? Если он такой храбрый, то мама еще храбрее — она женщина!

— Сейчас познакомлю тебя с ним, — говорила мать и тихонько подходила к двери. Прислушивалась, возвращалась.

— Кажется, спит. Подождем. Сон ему очень нужен.

Это повторялось, пока не пришло время давать больному какие-то таблетки. Заглянув к нему, мама позвала будто издали наплывшим праздничным голосом:

— Надюша! Егор Павлыч тебя ждет.

На постели Нади (да, да, к полной неожиданности, на ее постели!) лицом к окну лежал необыкновенный человек. Разящий свет полдня приподнял над белизною подушек с простынями его лицо и тонкопалую кисть правой руки. Кисть виднелась совсем особо, как бы отделенная от человека. Неподвижные пальцы с полоской пятки, точно из норки, выглядывали из тонкого кокона бинтов, доходившего до плеча. Распушенной по наволоке гривой, светящимся нимбом окружалось лицо табачного оттенка в седой скобе небритой щетины. Необыкновенный человек был стариком. Но глаза старика горели, и он не спускал их с Нади.

Войдя, она сразу же отвела от этих глаз свой взгляд и остановила на перебинтованной руке и все смотрела на нее напуганно-почтительно, может быть потому, что это была рука раненого. Она не видела, но почувствовала, как он перевел глаза на мать, и тут услышала его первое слово, твердое и нежное.

— Ты! — сказал он.

— Но больше в отца, — сразу отозвалась мать.

— Вижу пока тебя, — возразил он и, высвободив из-под простыни левую руку, неудобно подвешивая ее в воздухе над перевязанной, полуспросил Надю:

— Познакомимся?

Она притронулась к его пальцам, почти неслышно назвалась:

— Надя.

— Цве-ту-хин, бывший ар-тист, — выговорил он по слогам и усмехнулся точно бы шутливо, но не без горечи.

— Егор Павлыч! — вспыхнула Анна Тихоновна.

— Какой же лицедей из безрукого?

— Не смейте так говорить! Прошу вас! Ведь вам сегодня легче, да? Надо строго выполнять, что велел доктор. Вот, примите, — спешила она, наливая воды, игравшей в граненом графине солнечной россыпью. — Примите таблетки. Сейчас придет сестра. Ступай, Надя. Егору Павлычу должны сделать уколы.

— Заходите... или заходи? Как лучше? — спросил он Надю.

Он глядел на нее все теми же горящими глазами, но показалось — его голос ослаб. Ее охватила жалость к нему. Она ответила уже без растерянности, которая сперва мешала.

— Лучше, как вы с мамой.

— Ну, и славно. Приходи же.

Ей хотелось улыбнуться, но она только сказала:

— Если будете поправляться.

— Слыхала — мне легче!

— Ступай, ступай, — повторила мать и заслонила собой больного, налепляя ему на высунутый язык таблетку и поднося воду.

В бабушкиной комнате Надя, отворив окно, долго смотрела на улицу. Босоногие мальчишки играли в бабки, победно вскрикивая, когда кто-нибудь метко попадал битком в кон и козны искрами разлетались по тротуару.

По дороге маршем прошли молодые ребята — человек десять, парно. Рюкзаки, мешки за плечами. И позади нестройных пар, как отделенный командир, шагал красноармеец с тощим портфелем под мышкой. Игра в бабки остановилась. Мальчишки, не двигаясь, во все глаза глядели вслед молчаливому маршу, с недетским пониманием провожая парней, когда они уже исчезли за окном Нади.

Она смотрела на мальчишек и думала об их игре, которая внезапно оборвалась. Вот так же оборвалась ее игра. Только бы замахнуться, прицелиться, кинуть битком в кон и вскрикнуть от радости: попала! Студентка! Московская студентка! И впереди целое лето, которое она — студенткой! — проведет неразлучно с мамой. Но разжались пальцы, выпал биток, и занесенная рука опустилась.

Надя смотрела на марш парней и думала о мешках на их спинах, думала о том «мешке для укладки собственных вещей», который собирала с Женей для Бориса. Наверно, Борис уже оставил позади свой марш от сборного пункта в казарму. Что будет делать пианист в армии со своими фугами? Пошла ли нынче Женя копать щели? Или осталась с матерью, которая, может быть, грузно сидит в кресле, вытирая красные от непросыхающих слез глаза? Все стало по-новому у милых Комковых, и грустно-новой виделась Наде любимая ее Женька.

Но сама-то Надя — почему она опять, словно прикованная, стоит у окна, как стояла, глядя в беззвучный сад Комковых? Так же светилось белесое от жары небо. Так же ничего не двигалось в доме. Но тогда сковывал Надю страх за маму, а теперь мама рядом, за стеной. Почему же Надя по-прежнему не знает, какую быть ей в новой жизни и с чего начать эту новую, непонятную жизнь?

Однажды, девочкой лет шести, бабушкапустила Надю побегать по берегу Волги, и она подошла к маленькой кучке таких же девочек. Они были босиком и месили ногами грязь на той рыжей полоске пены, которую намывает волна к берегу. Грязь чавкала, пузырилась и шоколадными ошметками облепляла ноги до коленок. Надя со жгучей завистью глядела на месиво грязи и не сходила с места. Одна из шалуний, курносенькая и, видно, первая зачинщица, крикнула Наде:

— Девочка, ты зачем только стоишь? Идем с нами играть!

— Мне нельзя. Я хорошая, — ответила Надя.

Курносая рассмеялась, а за нею смех подхватили все до одной озорницы, припевая и ладно чмокая ногами по грязи: «Хо-ро-ша-я, хо-ро-ша-я!» Чуть не плача, Надя убежала к бабушке. С кем еще было поделиться обидой — это ведь бабушка все хвалила ее, и называла хорошей, и внушала, чего «нельзя». На горькую жалобу Нади она сказала, что, конечно, нельзя было играть с девочками: «Ведь на тебе тупельки». Надя тотчас спросила: «А если разуться?» Нет, по-бабушкиному нельзя

было и разуваться — месить грязь опасно, можно порезать ножки. А нехорошие девочки тем и плохи, что обижают хороших.

Но после истории на волжском берегу Надя перестала называть себя хорошей.

В школьные годы делались открытия, то исключают, то подтверждают друг друга. Самым изумительным было то, что нехорошие девочки часто поступали прямо-таки замечательно, вызывая у Нади восторг. Привязанности возникали не потому, что было задано — дружить непременно с хорошими, а сами собой. Ни бабушка, никто другой не могли тут ничего изменить. Хорошие девочки изредка оступались. Тогда Надя проникалась сочувствием к ним и помогала выпутаться из беды: «они не нарочно ведь», — защищала она их. Но чего не выносила она, так это злорадства, и ей казалось — оно свойственнее как раз самым хорошим. В отличие от прочих самые хорошие обычно были одинаковы, точно бусинки, и как бусинки холодны. Надя считала их просто-напросто никакими. С ними было скучно. Весело бывало с девочками, которых Надя, как и себя, находила обыкновенными. И это стало убеждением, окончательно сложившимся у ней много лет спустя — уже в Ясной Поляне.

Обыкновенными были Маша и Лариса. Сильнее тянула, глубже заставляла в себя Лариса. В ней все-таки таилось что-то не совсем обыкновенное, может быть, неровность нрава — полная замкнутость сменялась у нее порывами откровенности. Но признания свои она делала обдуманно, так что разговор с нею получался в такие минуты серьезным. Надя любила говорить с ней, особенно если наскучивала болтовня с Машей. Три года прожив в одной комнате, можно и без болтовни узнать друг о дружбе все сокровенное, а узнав — как не пошучить? Маша была для Нади по-настоящему своя. А в своих не так-то много заманчивого — с ними легко, и только. Маша нуждалась в дополнении, каким и была Лариса. Обе они давно соединились в воображении Нади как половинки целого: придет на ум одна — сразу выплывает другая.

Теперь, у окна, не успела мысль коснуться подруг, как несвязные чувства Нади стали собираться возле них. «Мечты, мечты! — сказала бы сейчас Лариса. — А кто будет прибирать в комнате?» Кровать стояла непостеленной, белье, подушка, одеяло высились на ней горкой. Мать обещала привести комнату в порядок вместе с Надей. Но нельзя же было оставить без присмотра раненого. Мама ни словом не обмолвилась, что боится, как бы ему не отпилили руку. Но Надя без слов поняла это. Почему бы маме так зардеться и почти вскрикнуть, когда раненый назвал себя безруким? Она полна страха за него. И разве не страшно? Та самая рука, замотанная бинтами, с теми самыми тонкими пальцами, которые выглядывают из бинтов, — да, та самая рука... И ее отпилят! Руку Цветухина. Маминого друга. Нет! Этого нельзя допустить! Мама отдаст всю себя, чтобы выходить и спасти друга. И пока не спасет, принадлежит одному ему.

— Принадлежит ему? — вдруг изумившись, спросила себя Надя шепотком и остановилась, держа перед собой насученную до локтей наволочку. Наволочка была не по мерке огромной бабушкиной подушки. Подушка не влезала. Наверно, второпях мама не подумала, что Надя будет спать на бабушкиной подушке, и приготовила наволочку с Надиной. А на небольших Надиных подушках лежит мамин друг. И мама больше всего занята им одним. Ясно.

Все стало ясно в этот момент — и почему мама не приехала встретить Надю с Павлом на вокзал, и почему лишь мельком спросила брата о его женитьбе, а про Машу и не справилась. Правда, в первые мгновения свидания все шло кувырком. Павел, обнявшись с мамой, что-то

повосклицал, кинулся звонить Маше, начал, по своей манере, хохотать, неожиданно смолкнул, даже смутился и, отойдя от телефона, с напускным смехом объявил:

— Первый нагоняй от супруги!

— За что?

— А так. Входит в курс.

Надя тоже поговорила с Машей, но тут же забыла, о чем. Запомнила только обещанье поскорее к ней забежать. Все это было в первый момент счастья снова видеть, целовать, всем телом слушать маму — момент, который с непонятной скоростью удалился, и Наде кажется: с ним удалился прежний ее дом и она живет в другом доме — в доме раненого.

Она достелила постель, кулаками втиснув в наволочку подушку и перекатив тугий пуховый шар к изголовью. Потом она вышла из комнаты. В кухне стучал нож. Она заглянула туда. Мама резала на доске морковь.

— А, Надюша! — сказала она любовно. — Морковку хочешь? Молодая.

Надя взяла тонкохвостый, с прожелтью корешок и, похрустывая им на зубах, спросила:

— Я, мама, хочу сбежать к Маше, а?

— Конечно, сбегай, — ни капельки не раздумывая, ответила мать. — Мне бы гоже посмотреть, как они там? Но это потом... Ты не опоздай к обеду. Попробуешь моей вегетарианской стряпни. Егор Павлыч на строгой диете, знаешь?

Да, Надя знала это. Больше — она знала, что мама непременно напомним о Егоре Павловиче, но очень, очень хотела узнать, отпустит ее от себя мама в первый же день встречи или нет. И вот узнала. Может идти куда угодно. Ясно. Поцеловав маму, она деликатно спросила — не надо ли чего-нибудь в городе?

— Нет, — сказала мать, потянувшись вбок от доски с морковью и отвечая поцелуем. — Пока все есть. Пospеть бы с кухней. Скоро придет доктор.

— А папа скоро?

— Он не мог сказать. Такое время, Надюша!

— Да, правда, — помолчав, согласилась Надя. — Он позвонит?

— Нет, он твердо назначил час.

— Кто?

— А, ты про папу? Позвонит, если найдет минутку.

— Я пошла, мама...

Дорога по Жуковской скатывалась книзу и сама диктовала шаг. Но и там, где покатошь кончалась, Надя не убавила скорости. Чем ближе была цель, тем ровнее становилось у нее на душе.

Жилье Павла она хорошо знала. Довольно большая комната за единственным широким окном открывала неподалеку зрелище екатерининской надстройки Одоевских ворот кремля. Тяжкая луковица со шпилем казалась татарским сооружением, под грузом которого осела в землю и без того грузная башня. Надя любила смотреть на эту память времен. Она рисовалась ей как неуклюжая, но привлекательная буква летописи, напоминая прочитанные рассказы о стратотерпной истории Тулы.

Не то чтобы Надя не могла оторвать глаз от Одоевской башни, — просто не доставляло удовольствия видеть перед собой беспорядок в комнате Павла, о котором он пренебрежительно говорил как о невинной слабости холостяков. Но то, что Надя увидела в комнате своего женатого дядюшки, заставило попятиться перед самым порогом.

Маша выскочила из развороченной постели в чем была, бросилась



к подруге, потащила ее за собой. Отодвигая голой ногой стулья, навьюченные всякой одежкой, она тискала Надю в кольце своих крепких, таких знакомых рук.

— Ты спала?

— Нет.

— Нездорова?

— Да нет! Лежала.

— Днем? В сорочке?

— Какая женщина не любит ходить в белье? Полюбуйся. Хорошенькие, правда?

Маша погладила на себе кружевца сорочки и заставила Надю тоже погладить, схватив ее пальцы и обводя ими глубокий ворот.

— Привез Павлик. И еще вот, смотри. Последняя мода. Правда, они смешные? Но очень приятные, да? Представь, узковаты? Я уж сколько раз примеряла. Напялишь — и как-то мешают. Вот тут, понимаешь? Совсем, совсем маленький запас, гляди. Но немножко все-таки удастся припустить. Вот по этому шву. Как ты думаешь? Хотела распороть и боюсь. Распорем с тобой, хорошо?.. А блузка? Примерь. Тебе тоже пойдет, я уверена. Мне очень идет! Дай, я надену.

— И все Павел? — удивилась Надя.

— А кто еще? Конечно!

— Чего ж ты на него озлилась? Не пришла на вокзал. Почему?

— Мне это нравится! Я еще и виновата! Я сплю — приносят телеграмму: «Приезжаю завтра утреним». Завтра — это сегодня. А поезд уже подходит к вокзалу. Не мог послать вовремя! Ей-богу, Надюха, я разрыдалась! Смотри, вот она, телеграмма... Где же она?..

Маша откинула одеяло, пошарила в разбросанном белье, провела рукой под кроватью.

— Завалилась, наверно... Вся подушка мокрая, не поверишь. Лежу, реву, и в это время...

— Ты не знаешь, Маша, как в Москве Павлик был занят.

— Знаю! Позвонил всего два раза. А обещал... Ну, ладно. Лежу, реву, и вдруг — звонит... Откуда же? От тебя! Из твоего дома.

— Странный ты человек! Уж это ты действительно, знаешь, что моя мама родная сестра.

Маша выпрямилась, слегка подымаясь на цыпочки, медленно откинула белую, вескую, свалывшуюся косу за плечо, взглянула исподлобья и тихо, будто о чем-то тайном, спросила:

— Но я — его жена?

Надя ответила резко:

— Мама чуть не погибла. Спаслась чудом. Понятно? Что было с нами, с Павликом в прошедшие, жуткие... — не кончив, оборвала она и отошла к окну.

Вдруг Маша заговорила просто:

— Надюха, я счастлива, что мама твоя вернулась! Я столько думала о тебе! И люблю ее очень, маму. И папу твоего тоже.

Она неслышно приблизилась к Наде, стала за ее спиной.

— Ну, что ты сердиться? Я ведь от тебя не скрывала, что больше чем кого хочешь на свете люблю Павлика!

Надя повернулась, оглядела ее с ног до головы. Немного выше ростом, тонкая, в светлой сорочке. ровным столбиком опускавшейся до шиколоток. Маша похожа была на свечку, и коса, опять перекатившись на грудь, сползала с головы восковым светлым опльвом. Лицо ее тоже светилось и было трогательным и вместе смешным.

— Ты хоть туфли надень. — улыбнулась Надя. — А еще зовешься женщиной! Шлепаешь босая по грязным половицам.

Маша засмеялась, взяла Надю за локоть, обвела вокруг раскрытого на полу, заваленного всякой всячиной чемодана, потом мимо кучи рассыпанных книг и, остановив перед шкафом, постучала в стекло дверцы. Там расставлен был синий с золотой полосочкой чайный сервиз.

— Папа твой с запиской прислал. Пишет — это от мамы и от тебя, — пробормотала она, носом и ртом быстро прижимаясь к Надиной щеке.

— Ну, хорошо. Скажи, Лариса заходила?

— Ни слуха ни духа.

— В Ясную ездила?

— Ужасно хотелось, но когда же? И днем и ночью у телефона — вот-вот вызовет Павел. А ты говоришь — почему злюсь!

— Знаешь, Машуха, что мне кажется? Мне кажется, ты с какой-то другой планеты. Слышала ты, по крайней мере...

— Понимаю, все понимаю! — перебила Маша. — Дура я, что ли? Если хочешь — поняла раньше тебя. Только что по радио услышали с Павлом первый раз это слово... Ведь ты о войне, да? Только услышали, вижу — он побледнел, как... не знаю... Ты не замужем, а у меня муж. Муж-оружейник. И все. Если хочешь знать.

Надя вернулась к окну. С минуту обе молчали.

— У тебя есть часы? — вдруг спросила Надя.

— Будильник я сломала. Живу по радио. Включить? Но неужели...

— Не обижайся, Маша. Я еду в Ясную.

— Свинство. Даже не поговорили. Я все время одна! После свадьбы Павел не был со мной и четырех дней. Даже обедаем врозь. А нынче вернулся — и прямо на завод. Выпил вон со мной две бутылки лимонада. Вот тебе и с другой планеты!

Маша села на постель, уткнула лицо в подушку. Надя подошла, погладила ее пышную голову.

— Не надо, милая. Не надо, товарочка ты моя, — чуть слышно сказала она. — Должны же мы узнать, почему не заходит к тебе Лариса. Узнаю — сразу к тебе. Как так — не знать о Ларисе? Не надо, — повторила она громче и, оторвавшись от Маши, быстро вышла из комнаты.

## Глава седьмая

### 1

Дом Осокиных на краю яснополянской, как нитка, прямой улицы Надя привыкла считать своим. Войдя в сени и обнаружив дверь на замке, она сразу потянулась к притолоке и нащупала пальцем хорошо известный тайничок. Ключа в нем не оказалось. Секунду Надя постояла, не опуская руки. Зашла она в дом потому, что не могла пройти мимо, и замок на двери ее не удивил — день был рабочий. Елена Ивановна, мать Маши, служила экскурсоводом в музее Толстого, застать ее в дневные часы дома можно было только случайно. Но в тайничке не было ключа. Это означало небывалую перемену: Елена Ивановна не ждала больше ни дочери, ни Нади — они не придут из школы, не забегут нечаянно и на каникулах. Мысль хотя бы оставить в доме записочку мелькнула понапрасну.

Надя тихо притворила за собой сени. Дворовая лужайка ей показалась все еще примятой после топтанья танцоров на свадьбе. Огород, с помощью Маши и Нади прежде всегда ухоженный, давно не поливался. Надя пошла торопливее — до деревни Грумант, где жила Лариса, оставалось добрых полчаса хода.

Перебравшись через овраг, она взяла подъем к лесному клину Заказа, срезала угол клина и вышла на тропу, обнимавшую лес. Тут развер-

тывалась милая сердцу окрестность, и с яркостью вдруг поплыло перед Надей воспоминание об одном дне ее последней школьной осени.

...С Ларисой и Машей она возвращалась после уроков домой, любясь сентябрьскими гроздьями рябины, приложенными к синему небу, точно сургучные печати. Было дано слово Ларисе, что на другой день, в воскресенье, зайдут за ней в Угрюмы, как звалась по округе деревня, Маша с Надей и все втроем отправятся гулять в Засеку.

Но утром, проснувшись, Надя увидела, что от синего неба остался только просвет — как раз над Грумантом, а с востока наплзали низкие тучи. Надя разбудила Машу, они посердились на погоду и потом все выбежали за дверь или высовывались из окошка, ожидая, что разъяснится.

Когда стало накрапывать, Маша уселась в комнате матери за книги, а Надя не могла успокоиться — ей было чуть не до слез обидно, что так скоро наступают нестерпимые месяцы, когда надо шлепать в калошах по черной улице либо еще более черным перекопанным участкам, на которых загнивают плети порыжелой картофельной ботвы.

Наскучив горевать, Надя снова вышла на крыльцо. Далеко за толстовской усадьбой сверкала полоса света такой чистоты, будто лето и не думало уходить. Она промурлыкала себе что-то веселое и вбежала в дом.

— Il ne pleuvra plus! — распахивая дверь к Маше, крикнула она со смехом.

— Что такое? — испугалась Маша и выронила книгу из рук. Она не поняла и слова из короткой французской фразы. В то же время после тишины, помогавшей ей вникать в таинственные понятия производительных сил и производственных отношений общества, ей показалось, что в доме что-то случилось, хотя Надин смех тут же успокоил ее.

— Il ne pleuvra plus!

— Ты с ума сошла!

— Der blaue Himmel! — хохотала Надя.

— По-каковски наконец ты? — продолжала спрашивать Маша, уже поняв немецкие слова «синее небо» и увидев в окно, что посветлело, но делая вид, будто сердится.

Надя вскинула над головой руки:

— Товарищ дорогой! В какой школе ты обучаешься?

— Ладно, ладно, понимаю. Идем к Ларисе, да?

Надя примостилась к Маше на краешек стула и, покачивая ее, стала говорить на ухо, как говорят маленьким сказку:

— Неужели не догадалась, откуда это? Как все дети, мальчики и девочки, собирались на прогулку в Грумант, и как вдруг пошел дождь, и как все выбежали на балкон смотреть — расчистится небо или нет, и потом радовались, что блеснуло солнце, и кричали, чтобы немец Федор Иванович вышел тоже посмотреть — *blauer Himmel!* А тетеньки повторяли за детьми по-французски, что дождя нет. Неужели не знаешь? Это же Толстой о своем детстве!

— Отстань, — говорила Маша, и ей казалось — она тоже припоминает эту описанную Толстым сцену. — Не тараторь! Ты ведь известный толстовец! — смеялась она, высвобождаясь из рук Нади.

— Да, толстовец! — воскликнула Надя. — Я тебе когда-нибудь скажу, что это такое, — серьезно прибавила она и сейчас же опять повеселела. — Теперь — собираться. И давай, знаешь?.. Я сейчас придумала. Пусть будет такая игра. Нарочно мы еще маленькие. Хорошо? Как те самые дети, о которых все это написано. Мы едем в Грумант. С тетушками, с Федором Ивановичем, всем домом! И дождя больше нет, смотри, смотри — солнце!

Она начала подталкивать Машу к окну, показывая туда, где высоко вдали стоял белый дом с мезонином и перед ним тянулась приземистая усадебная конюшня.

— Видишь, уже заложена парой линейка. Сейчас подадут. Одевайся скорее, скорей!

Так завязалась эта игра, унесшая обеих девушек в столетней давности прошлое, однажды восстановленное любовью глубокого старика к своему детству и теперь переиначенное их фантазией.

Через несколько минут деревня, овраг остались позади. Надя и Маша шли вдоль опушки Заказа. То и дело они принимались смеяться, рисуя друг другу подробности поездки, участницами которой себя воображали. Маша понемногу заразилась Надиной выдумкой, но рассудительный склад ее ума мешал вполне отдаться игре, и она подшучивала над мнимыми тетушками, будто бы все время донимавшими кучера: «Лошади дурно пахнут, когда ты гонишь, Николай, фи!» Или: «Тише, Николай, можно задохнуться от пыли, фи!»

— Ах, откуда же пыль?— чуть не досадовала Надя.— Тетушки едут под балдахином!

— Ну, если балдахин, то тетушки собирают всю пыль юбками.

— Никакой пыли. Прошел дождь. А юбки закрыты фартуком.

— Ты скажешь, Надя! Барыни носили фартуки?

— Никто не носил. А были такие на линейках кожаные фартуки, которыми покрывались ноги. Ты никак не можешь себе представить старых дворян. Неужели тетушки не могут слова сказать без глупого «фи»?.. Держись за меня крепче. Федор Иваныч сейчас пустит лошадь вовсю!

— Как Федор Иваныч? Ведь на козлах Николай?

— Ты все время путаешь! Николай везет на линейке тетушек и девчонок. А мы с тобой мальчики, братья, понимаешь? Пусть ты — Николенька, а я, я — Левушка. И нас везет чудесный немец Федор Иваныч, в кабриолете. Я же объяснила тебе, что значит кабриолет!.. Держись! Бежим! То есть едем! Несемся! Федор Иваныч пустил вожжи!

Они схватились за руки и побежали с той горки, почти обрыва, которым кончается лесок по имени «Подкапустник». Покрикнув друг другу: «Держись!.. Тише!..» — смеясь и невольно все ускоряя бег, они домчались до мокрой низины с визгом от удовольствия и страха упасть. Солнце по временам укрывалось остатками туч. Девушек веселила смеяна яркого и смягченного света, радовало возбуждающее чувство движения и шалость придуманной игры.

Запыхавшиеся, они промчались по Груманту и вбежали в избу к Ларисе с криком:

— Сметаны, сметаны и творога!

Лариса встретила их с тем недоумением, с каким только что Маша смотрела на Надю, вбежавшую к ней с известием о синем небе.

— Мы — Толстые!— требовательным взглядом ответила Надя на изумление подруги.— Понимаешь? Я — Левушка, а это — Николенька. Мы приехали к тебе на скотный двор с нашими тетушками из Ясной есть творог со сметаной. Только, прости, мы забыли, как тебя зовут. Ведь ты скотница, правда? Накрывай на стол.

Лариса в малиновых спортивных брюках и в сорочке на скрученных лямках стояла над тазом с мыльной пеной. Она опустила руки, держа в одной недостираемый, похожий на раздавленного ужа чулок, с которого мутно струилась на пол вода. Чуть-чуть усмехаясь, как взрослые, разговаривающие с баловниками, она сказала:

— Так вот, милые тетушки или — как вас?— Левочки и Коленки. Извольте-ка развесить на дворе мою постирушку. Пока не уберусь, мне не до ваших забав... Это все твои причуды, Надежда?— договорила она

ласково и, откинув волосы согнутой в локте рукой, выпятила губы — поцеловаться с подругами.

Все время до полдня прошло затем в особенном душевном ключе, заданном игрой Нади, только веселье постепенно сменилось оживлением, оживление — раздумьями, раздумья — серьезностью. Девушек связывало товарищество, но к Ларисе у Нади прибавлялась тяга нежности и восторга, вызываемая любовью. Любовь пришла в тот момент, когда они впервые заметили общее, вдруг их соединившее переживание. В классе однажды читалась сцена ночного прихода Наташи Ростовой к раненому Болконскому в Мытищах. Когда кончилось чтение и весь класс сидел притихший и недвижный, глаза Нади и глаза Ларисы нечаянно столкнулись, и в одинаковом блеске взглядов они увидели такую боль и такое счастье, что в тот же миг поверили друг в друга и отвернулись, чтобы не заплакать от восхищенья. Лицо Ларисы, прежде казавшееся Наде ничего не значащим, почудилось ей в ту минуту потрясенного воображения прекрасным. Потом она всегда им любовалась. Оно было лицом женской крестьянской красоты — довольно крупное, округлое, с чертами, будто выверенными на полное соответствие между собою. Ему очень шли медленные движения этих черт. Рядом с Надей Лариса по виду была спокойнее и при всей любви к Наде привыкла останавливать ее, точно старшая.

Дружно окончив уборку в горнице и приняв подробное участие в переодевании Ларисы, девушки отправились гулять. Так как надо было успеть по домам к раннему воскресному обеду, они решили отказаться от Засеки и пойти в парк заповедника.

## 2

Раз начавшись, воспоминания не оставляли Надю. Отчетливо видела она с собою подруг. Только сейчас, в действительности, она шла одна в Грумант, а в воображении ее они шли втроем из Груманта.

...Они шли тогда вдоль Старого сада яснополянской усадьбы с многолетними, прошедшей зимой побитыми морозом яблонями. Все было объято светом. Но рядом с радостью его пятен по левую руку — в лесу, по правую — в саду солнце только ужаснее выхватывало из омертвелого пространства черные сушья яблонь. Не верилось, что годом раньше в такой же светлый сентябрь тут каждое дерево золотилось и рдело плодами; что пирамидами высились в междурядьях раздвижные лестницы; что громко пересмеивались женщины, подтаскивая к возам скрипевшие прутьями корзины с урожаем.

— Не могу смотреть на наши сады,— сказала Маша с неожиданной досадой и грустью, отвернувшись, пошла скорее.

Чем ближе подходили к развилине дорог в центре заповедника, тем больше встречалось людей. В одиночку и парами или семьями с детьми они то разбредались, а то сучивались и настороженно слушали что-то рассказывающих экскурсоводов. Все это были приезжие — почти такие же разные, пестрые, как разны и пестры были листья и травы лужаек, и, однако, такие же одинаковые, как эта зелень, составлявшая одно цельное благодатное ложе тихого парка.

Одинаковыми делала людей праздничность их состояния, которая ничуть не была похожа на праздничность толпы где-нибудь на городском бульваре. Даже нечаянно прорвавшееся веселье молодежи — школьников или студентов — не нарушало благоговейного вслушивания людей в рассказы о том, что их окружало. Красочно сверкая на солнце, природа будто сообщала гостям, какой необыкновенной жизни была она сверстницей в прошлом и как счастлива своим непрерывным с тех

пор существованьем. И гости старались прочесть во всяком старом дереве, и в полутенях аллей, и в разворотах дорожек еще один знак, одну букву этой жизни, ради приобщенья к которой сюда явились.

— Правда, Надя, — осень, а народу по праздникам больше, чем летом, — сказала Лариса.

— А знаешь, что случилось с мамой прошлое воскресенье? — спросила Маша, останавливаясь перед Ларисой. — Мама только что провела подряд две экскурсии, страшно устала...

— По заповеднику? — спросила Лариса.

— По дому, а не по заповеднику, слушай! — сказала Надя.

— Слушай, тебе говорят, — повторила Маша. — Страшно устала и пошла на кухню, к Марь-Петровне, отдохнуть. Не успела сестра — за ней прибегают: душенька, Елен-Иванн, приехала экскурсия из Москвы, важная-преважная — какие-то академики, какой-то нарком, ну, словом... проведите, пожалуйста!.. Да что вы, говорит мама, дайте хоть дух перевести! И слушать не думают: другие экскурсоводы заняты, ведут экскурсии — не бросать же! А потом никто, кроме вас, Елен-Иванн, такой экскурсии не угодит: там даже известный критик приехал, старый-престарый. И потом — нарком!.. Делать нечего, мама выпила стакан воды, пошла. Поднимается с этой знатной экскурсией в зал, начинает говорить: «В этой комнате обычно собиралась вся семья Льва Николаевича с его друзьями и близкими, здесь принимали гостей...» И вдруг — грох!

— Что грох? — не удержалась Лариса.

— Не что, а Елена Ивановна, — сказала Надя тоном наставника, но улыбнулась и закрыла лицо рукой.

— Мама! В обморок! Подкосились ноги — и прямо на пол! И, можешь себе представить, сам нарком первый кинулся ее поднимать.

— Возмутительно! — воскликнула Лариса.

— Что возмутительно? Что нарком ее поднимал? — спросила Надя, все улыбаясь своей фразе об Елене Ивановне.

— Что за глупости, Надежда!

— Вовсе не глупости, — вдруг с жаром возразила Надя. — Кто у нас, по-твоему, лучше всех рассказывает о Толстом? Разве не Елена Ивановна?

— Никто не спорит. Но разве не возмутительно, что с Еленой Ивановной так обращаются?

— Это совершенно другой вопрос, — убежденно сказала Надя.

— Ничуть не другой.

— Нет, другой. Все дело в том, что работа экскурсоводов у нас ужасно плохо организована.

— Я про это и говорю.

— Нет, не про это. После каждой экскурсии экскурсоводам должны давать отдых. И они должны выпить — например, сладкого чая.

— Как бы не так — чаю! Хорошо, что Елена Ивановна успела воды напиться. Возражаешь самой себе.

— Ну и выслушай, пожалуйста, до конца. Елена Ивановна сама рассказывала нам с Машей эту историю. Она все равно не могла бы отказать от таких экскурсантов, сказала она. Ей только надо было четверть часа отдохнуть. И надо было заявить наркому, что экскурсовод будет через четверть часа, и попросить подождать.

— Наркома-то? Подождать?

— Да, наркома! Объяснить, что Елена Ивановна устала, и он бы понял. А если не понял бы — значит, он не нарком. Нарком должен лучше всех понимать.

— А если у него нет времени?

— Пусть приезжает в другой раз. На балет небось время находит-

ся? Там он не торопит, чтобы скорей оттанцевали,—сидит и ждет. Ясная Поляна поважнее балета.

— Чудачка, Надя,—сказала Маша, внимательно слушавшая спор.— Когда столько народу, надо успеть всех провести. Нарком или не нарком. Вон какие толпы понаехали. А ты — отдыхать!

— Надо по-другому организовать работу,—упрямо сказала Надя, чувствуя, что немного запуталась.— Надо, чтобы Елене Ивановне давали такие экскурсии, которые... Ну, кто более подготовлен. Кто уже хорошо знает Толстого.

— Сортировать народ или как?—спросила Лариса.

— Почему же не сортировать? Подростков водят ведь отдельно? А почему не спрашивать экскурсантов — кто знает, например, биографию Толстого и кто нет?

— Все знают,—сказала Маша.

— Знают одни хорошо, другие едва-едва. С академиками, конечно, должна идти Елена Ивановна, а для школьников даже я была бы хороша!

— Ну, ты уже покраснела. Сейчас рассердишься,—сказала Маша.

— Потому что противоречит сама себе,—снисходительно добавила Лариса.

— Вот назло вам возьму и не рассержусь! — отговорила Надя и, раскинув во всю длину руки, обернулась вокруг себя на одной ножке, точно заглавное «Т», и побежала вперед.

Они уже вошли в Чепыж — старую рошу, веками растившую свое величие. Тут осень почти не угадывалась. Ночные холода едва начали пятнать липу отдельными поблекшими листьями. Дубы совсем еще не поддавались заморозкам. Огромные кроны их были темно-зелены, и только когда дуло ветром, казалось — они звенят суше, чем летом.

Девушки уселись на траве под дубом, под которым и в прежние прогулки не раз отдыхали. Лариса прислонилась спиной к стволу, Надя вытянулась на земле. Положив голову на колени Ларисы, она глядела ей в глаза, будто спрашивая — поговорим еще или лучше помолчим?

Иногда вершинные ветви лениво раздвигали маленькие просветы. Наде становились видны то белый гребень облака, то его свисающий дымчатый край, то лоскуток лазури. На тяжелом нижнем суку, простертом под прямым углом к стволу, листья слегка вздрагивали, отзвываясь движению вершины. Надя начинала думать, что, наверно, каждая жилка дерева прекрасно ощущает свое участие в его жизни, как, может быть, и все дерево, вся дубрава ощущают себя частью большого мира с лесами, ветром и с беспредельной глубиной далеко над облаками.

Никогда Надя не забывала своего первого приезда с отцом в Ясную Поляну. В Чепыж их тогда привела Елена Ивановна. Стояла тихая погода. На могучих, в два-три обхвата деревьев листья свисали, как один, и сначала Надю больше всего поразила эта их полная неподвижность. Они были словно бы срисованы с самих себя. Но удивление перед неподвижностью деревьев исчезло у Нади так же, как явилось. На смену пришло волнение странных чувств, когда Елена Ивановна в своей размеренной манере сказала, что Надя находится среди тех самых дубов, которые ей наверно известны, если она уже начала читать Толстого. Именно под этими дубами пережидала в смятении ужасную грозу Анна Каренина. (Отец вдруг воскликнул: «Да может ли это быть?!» Запрокинув голову, чтобы лучше рассмотреть макушку дуба, он стал теревить по привычке затылок. А Надя только покраснела: ей тогда еще не исполнилось пятнадцати и «Анну Каренину» она читала потихоньку от папы и бабушки.) А вот там, подальше, говорила Елена Ивановна, я покажу вам дуб, который увидел князь Андрей Бол-

конский, уезжая из своего имения к Ростовым. («Не может быть!» — подражая отцу, воскликнула Надя: она тогда еще и не думала братья за «Войну и мир».)

В тот первый яснополянский день для Нади начался внутренний ход восторженного и немного причудливого одушевления всего, что ей встречалось в усадьбе. Фантазия гнала ее от одного предмета к другому, и она непрестанно гадала и по-своему разгадывала, какую мысль могли вызвать эти предметы у Толстого. Со временем, поселившись в Ясной, она стала, что ни шаг, повсюду видеть Толстого и, читая его книги, населять описания картинками садов, полей, пастухов, деревень, которые могли стоять перед его глазами, когда он писал.

Сейчас, вспомнив свое первое посещение Чепыжа и осязая связь с этой почвой, с этим зеленым покровом над ней, Надя опять поглядела в лицо Ларисы. Ее встретили улыбающиеся глаза, и она приняла сердцем этот милый, спокойный взор. Она посмотрела потом на Машу, сидевшую поодаль с обвитыми одной рукой коленями, почувствовала так много раз испытанный прилив влечения к подругам, широко, свободно вздохнула.

— Я очень люблю Елену Ивановну! — сказала она.

Ей не ответили, и она как будто ничего не ждала в ответ. Но ей хотелось объяснить то, чего не удалось высказать, пока шли. Она поднялась и заговорила так, словно разговор не прекращался.

— Прошлый год я слушала, как по дому вел экскурсию один толстовец. Не совсем по-прежнему толстовец. Но, в общем, у него что-то осталось... Елена Ивановна с ним тоже ходила, чтобы послушать. Конечно, очень интересно. Столько подробностей о всяком закоулке, о любой вещице. И вот я слушала, слушала, и мне стало тоскливо. Я никак не могла понять — почему? Только ужасно тоскливо. Я тогда сказала про это Елене Ивановне. Она мне говорит — подумай, почему. Я подумала.

Маша с любопытством покосилась на Надю.

— И что придумала?

— Мне кажется, мало говорить о вещицах. Получается, как будто показывают коллекцию. Собрано, расставлено, занумеровано. И что-то такое рассказывается о номерках.

— Но ведь это музей! — возразила Маша.

— Конечно.

— Почему вдруг пренебрежительно — «вещицы»? Это экспонаты. Как же о них не говорить?

— Важно, Маша, как говорить. Вот когда музей показывает твою мама — смотришь на вещи, но думаешь о самом главном. Не об одних вещах. Понимаешь? О том, ради чего они хранятся, зачем это все надо — беречь картинки на стенах, и сами стены, и что вокруг. Все время как-то живешь с главным.

— Ну, а толстовец, про которого ты... Он разве не так?

— Он все-все знает! И уж если начнет про карандашик какой, — пошел! Кем карандашик подарен, в каком году и как потом пропал, а его нашли, и кто нашел, какой замечательный человек, и о похвальной деятельности его, о его семье, и опять — в каком году, какого месяца, числа. Заговорит, заговорит... пока из толстовского дома не исчезнет без следа сам Толстой.

Надя всмотрелась в Ларису, точно спрашивая — права ли, и сразу же кончила решительным заключением:

— Экскурсоводы должны работать, как Толстой. Его произведения — это множество подробностей. Но он никогда не забывал о главном — зачем он пишет.



Лариса засмеялась и, обнимая Надю, притянула ее к себе.

— Ты сказала это маме? — живо спросила Маша.

— Да.

— И что она?

— Елена Ивановна похвалила.

— Известно! Ты у мамы любимица!

И снова в разговор вплелась веселость, которая озарила тот осенний день общим счастьем подружек.

...Сейчас, когда с небольшой высотки открылась перед Надей деревушка Грумант, она вдруг задала себе вопрос: почему с такою ясностью ожили подробности прошлого? Ответ был быстрый: она бесконечно рада, что вот-вот опять увидит Ларису и как же не думать о самом хорошем, что в жизни испытано обеими вместе? Но — вечная история! — в ответе скрывался другой вопрос. Существует ли вообще настоящее без прошлого? Что такое прошлое? То, что было сто лет назад? Или десять? А если всего год? Если один день? Нынче народ поднимается на защиту своей земли. Она своя, потому что была ею много сот лет, и год, и день назад. И она своя сегодня, в настоящем. Построены новые заводы, новые каналы, созданы новые машины. Они новые, нынешние. Но в то же время они уже вчерашние. Странно. И, может быть, неверно?

Надя решила непременно говорить об этом с Ларисой. Рассказать обо всем, что было в Москве и что встретила она дома. О своей маме. И тогда о том, кто теперь лежит в Надиной комнате. О раненом. Это тоже из прошлого, которое стало настоящим.

Уже виден в Груманте белый каменный дом с красивым маленьким крыльцом. Из-за него выглянула изба тети Агаши — матери Ларисы. На скамейке у палисадника, по своему обычаю, сидела слепая бабушка. Все по-старому.

Она узнала Надю по первому звуку голоса — сухонькая старушка в застиранном ситцевом платье, как в просторном мешке. Ее голова дернулась куда-то к небу. Застланные голубоватыми бельмами глаза стали перекатываться из стороны в сторону, забегая кверху, словно выискивая и все еще надеясь что-нибудь увидеть. Она гладила и обирала дрожащими пальцами платье.

— Нету, — улыбаясь, сказала она, — нету Ларисы... Не знай, когда придет... Поди, поди в избу, спроси у матери, мать аккурат прибежала.

Горница наполнена была сердитым шипеньем примуса. Около него тетя Агаша перетирала помытые тарелки. Оглянувшись на дверь, закивала Наде, шагнула к ней.

— Заходи, Надюша, заходи. А мы думали, ты в Москве... Вернулась? Когда? Да никак с лица спала? Что это ты?.. Утомилась? Садись-ка, попьешь со мной чайку. Я полчаса с тобой побуду — идти надо в правление. Вызвали. Колхоз лихорадка забила. На свете-то что только делается, а?.. Садись вот сюда.

Она говорила приветливо, не переставая орудовать развевающимся полотенцем, пока речь не дошла до Ларисы. Здесь тетя Агаша присела, бойкий голос ее стихнул.

— Ничего от нее толком не дознаешься, от Ларисы моей. Не поймешь, где и пропадает. Уйдет с утра раньше меня, а домой — то к вечеру, а то наперед в полночь. В Туле, скажет, была, и все. Один только раз говорит: что, мол, ты меня спрашиваешь — знаешь, говорит, сколько ребят наших в армию ушло? Я ей: девчонки-то, говорю, при чем? Их, чай, не забирают? Это еще как знать, говорит. Вижу, она что-то таит про себя. А станешь выпытывать — молчок. Может, ты чего знаешь, Надюша?

— Могут, конечно, и девочек мобилизовать на разные работы,—

ответила Надя и сказала, как сама под Москвой копала с молодежью щели.

— У нас тоже слышали. Оборону будто готовить заводы начали. Про Косую Гору рассказывали. Да коли война до Косой Горы дойдет — какая там оборона, — махнула тетя Агаша рукой и тихонько тронула Надино плечо.

— Лариса-то у вас в последнем классе комсоргом была. Так ведь говорю? — сощурилась она и покачала с укоризной головою. — Вот оно, думаю, пошло откуда. Небось ты тоже голосовала, как ее выбирали?.. Натворили себе беду, девоньки!

Вместе со вздохом тетя Агаша хитрее поглядела на Надю.

— Ты бы попридержала малость Ларису, а? Хоть бы она сама-то не лезла в полымя.

Надя улыбнулась в ответ. Опять что-то новое начало ей видется впереди, до сих пор глубоко скрытое. Но ее мучила усталость. Путь от станции до Груманта, пройденный почти незаметно, теперь ее пугал, и она тешила себя надеждой, что в Ясной подвернется автобус. Как могло случиться, что чуть не весь первый день желанной и счастливой встречи с мамой она пробежала по подружкам, было ей сейчас непонятно. Какой стыд! И что скажет Надя отцу, с которым даже не повидалась?

— Тетя Агаша, пожалуйста, дайте мне поскорей чаю. Я должна бежать.

## Глава восьмая

### 1

С отъездом Юленьки к Пастухову вернулось давно не испытанное им состояние: рой чувств снова шумел в его жилах. Полной грудью вдыхал он утренний воздух, насыщенный током обильно политых с вечера рабатов и клумб. Розы распускались в полную силу. Горьковатый их аромат минутами смягчался медом, пряность которого слали издалека уже зацветшие липы. Чтобы заставить голову работать (убеждал он себя), надо опереться на природу. Иной ведь раз на дуновенье ветра лес отзовется такою песнью, что задаст мыслям и тон, и ритм, и строй. Дня два он нарочно не подходил к своему столу, пока потребность что-то делать не усадила его.

Чем было «что-то» — Пастухов еще не знал. Ему хотелось идти, и он шел, но шел ощупью, угадывая мысли по обрывкам, попадавшим в темноте суждений. Толчком к неясным планам была та встреча с театральными друзьями, когда они сюрпризом поднесли ему известие, что репетиции его новой комедии прекращены. Тяжесть обиды начала уступать место интересу к предложению, от которого он тогда раздраженно отмахнулся и которое теперь показалось неожиданно заманчивым. Это был замысел какой-то пьесы, сейчас ему думалось — сатиры, может быть даже буффонады, нечто злободневное или просто злое. У него еще не складывалась фабула, а только мелькали в воображении сонмы уродищ, вырожденков, гномов с жестокой претензией на величие, с бесстыдными повадками шаманов. Где-то в гуще этих карлов должен был обретаться и предмет их ненависти — прекрасное утро человечества, зовущее к себе и себя утверждающее.

Главным своим оружием Пастухов считал иронию. Но ирония не годится в друзья пафосу. Прекрасное же всегда патетично. И драматург очутился перед задачей — не обуздывая себя, пробить дорогу к пафосу. Этот незнакомец путал карты и завел искателя к размышлениям о героическом начале высокой драмы. Чтобы выпутаться из достаточно позабытых теоретических истин, он предпочел блуждать по истокам героизма в жизни и обнаружил их необозримые качественные различия. Ему ри-

совались типы побуждений, руководящих поступками героев. Он варьировал качества этих побуждений, сопоставляя их. Любые сходные между собою героические действия, по его рассуждениям, могли иметь совершенно несходные истоки — добрые и безжалостные, хладнокровные и гневные, неосознанные, тщеславные, вытекающие из убеждений, из товарищества, из ненависти, из удачи, мести или страха. Героев много. Их столько, сколько повторяется героическое в жизни. Но истоков героики больше, потому что к общему благородному мотиву героических поступков прибавляются частные, для каждого героя в отдельности. Поднять на сцене поступок героя до патетической высоты — еще не значит объяснить природу самого героя. Она заложена в нем глубоко, не всегда понятна ему, и он действует как личность, а не только в подражание себе подобным. Пафос, если он не присущ характеру, всегда символичен. Но выставить пафос на сцене как символ — значит уравнивать его с уродами, которые тем и пригодны в сатире, что символичны. Если же представить патетическое не больше, как чертой характера, оно лишится всеобщности и станет тем же уродством.

По всему выходило, что Пастухов чувствовал злость и мечтал о сатире. Но что было очевидно, ради чего он ополчается против вызванных им из тьмы тьмы уродов, он должен подавить их образом прекрасного. Этого можно достичь единственно силою пафоса, который заложен в героизме. Но на сцене герой лишь тогда убеждает, когда наделен качествами своей личности. Его не обозначишь формулой. Он — жизнь. И так...

— И так? — спросил себя вслух Пастухов, откидываясь на спинку кресла. — И так, следовательно, реальный человек в недрах сатиры? Человеческое сердце среди надутых пузырей?

Он медленно обвел глазами поле битвы. Стол теперь не казался ему пустыней. Следы работы налицо. Но много ль сделано? Две-три надорванные записки с неконченными фразами. Поломанные карандаши. И два листа добротнейшей бумаги, один — невинной белизны, другой, что ближе, — весь исчеркан вкривь и вкось: слова, слова!.. Чертежики, рисунки. И даже начатый стишок (как пауза — лишь шутки ради). Вот репка пучеглазая на козых ножках. А вот подкрашенная красным роза, похожая на ту, которая остановила взор на себе в саду. Какое было утро!.. Слова, слова! Еще рисунок. О, сколько уж столетий витии тоненько выводят на своих рукописях обольстительную эту ножку...

— Тьфу, черт! — опять вслух пробормотал Пастухов. — Плету стишки не хуже Ергакова... Ах, Карп Романыч, незаменимый дружище! Потолковать бы с тобой. Иль, может быть, с Доростковой? Умнейшее создание... Чего же я сижу квашней?

Пастухов поднялся с решимостью. Переоделся. Запер дом. Сказал Нырку, что к вечеру вернется, — надо в город.

В город, к людям, может быть в толпу. Но прочь, скорее прочь от холостого бега мыслей.

## 2

Дул ветер, обжигая жаром раскаленного чистого неба. Все окна поезда были открыты. Стенки и крыши вагона пылали. Пассажиры томилась. С пустыми сумками, мешками, кошельми ждали Москвы-кормилицы, чтобы набить их доверху добычей, пропитаньем и — отяжелевшими — потащить назад, на нивы, огороды, в сады, деревни Подмосковья. Так складывалась жизнь: чем дальше от города лежат земли, тем больше они в нем нуждаются.

Все медленнее движется поезд. Свистки воспрещены. Молчаливо подкрадывается он к перронам, как зубья гигантского гребешка выдвигаются

нутым ему навстречу Белорусским вокзалом. Перекатываясь со стрелки на стрелку, он вползает в гребешок между двух зубьев.

Глаза всех пассажиров, уже готовых выходить, обращены к окнам на перрон слева. И Пастухов глядит туда со всеми вместе.

Там, как в строю, тесно друг к другу, медленно проплывают спины стоящих на месте красноармейцев. Снятые с плеча скатки шинелей грузно топырятся на согнутых в локте руках. Пилотки заломлены на затылок. Гладкие, влажные виски, загривки, шеи поблескивают на солнце. Выглядывают, играя зайчиками, стволы винтовок, поставленных к ноге. Пикою висится одетое в чехол знамя. Над древком его звезда, слепящая позолотой. И опять плечистые, одна под стать другой спины, спины, иные с потемневшими от пота заплечьями гимнастерок.

Бойцы не оборачивались взглянуть на подходящий пригородный поезд. Почти не шевелясь, они смотрели на другую — свою — сторону перрона, откуда подавался им тот особый — свой — поездной состав, которому назначено было везти их на запад от Москвы. Его подавали короткими осторожными толчками, и бойцы ждали: вот-вот последний толчок и тогда — команда к посадке.

Пригородный остановился первым, но за ним тотчас стал и воинский. В тот же момент весь перрон, из конца в конец, зашевелился, задвигался, и движение с каждой секундой делалось беспокойнее, превращаясь в толкотню. Больше и больше выходило на перрон приехавшего народа, и казалось, ему не будет конца, а красноармейцы сучивались у дверей своих вагонов и простенками перегораживали перрон поперек.

Пастухов был твердо подхвачен горячими телами. Каждому нужно было выйти в город, и тысяча одинаковых желаний, скрепленных в одно, составили волю толпы, властно вязавшую всех. То, что не слышно было пререканий, Пастухову показалось особенно странным. Молчали все, кто протискивался к вокзалу. Молчали красноармейцы. Если что долетало до слуха, так это стук ружейных прикладов по вагонным ступенькам и с площадок, на которые непрерывно взбирались бойцы.

Несколько раз Пастухова повертывало то одним боком, то другим, когда толпа совсем переставала двигаться, а затем, под напором, вдруг подавалась вперед, прорвав или сдвинув затор. Изредка он вплотную видел взгляды людей, скрестившиеся на мгновение, и прочитывал то, что должно было сказаться и не сказывалось на словах. «Ну, стало быть, прощай, мать!» — говорило пухлое, краснощекое, со строго опущенными бровями лицо бойца. «Дай бог тебе, счастливо, сынок!» — отвечали вдруг часто замигавшие на него, наверно много раньше заплаканные глаза женщины.

Только однажды услышал Пастухов короткий разговор, происшедший, как ни удивительно, почти у него на груди. В какую-то раскачку толпы прижало к нему спиной девушку. Черные, пышные ее волосы, взбитые ветром, защекотали его подбородок. Лица ее он не видел. Рядом очутился монгольского типа молодец в лихо скособоченной на ухо пилотке. Он был рослый, на полголовы выше Пастухова, и сверху в упор смотрел на девушку прицельными узкими глазами. Она громко рассмеялась.

— Ты чего мне мигаешь?

У бойца потянулись вверх тоненькие синеватые губы.

— Эх! Когда еще теперь опять мигнешь! — сказал он с веселым сожаленьем.

Тут новая волна толкнула и стала двигать людей.

— Ну, так будь здоров! — успела пожелать девушка.

— Гляди, и ты не хворай! — воскликнул он, стреляющим взором отыскивая уже заслоненную народом черноволосую девичью голову.

То, что говорилось молчанием, расслышал Пастухов и в этом смешливо-грустном разговоре. Проводов не было, и проводы были. Остающиеся простились с отъезжающими. У него сжалось сердце — он тоже простился с ними, и прощание незаметно заставило его позабыть о самом себе. Было душно в людской давке, но он будто освободился от мешавших ему мыслей и ждал новых, еще неуловимых.

Когда последний вагон воинского поезда остался позади, толпа разрядилась. Но и по широкой платформе, на которую выходили вокзальные двери, идти было нелегко — народ сновал по всем направлениям, сбиваясь в пробки у входов в здание.

Здесь донеслась до слуха какая-то песня — наверно, самый ее конец. Похоже было на концерт по радио — так слаженно, уверенно прозвучал хор. И, как постоянно в передачах, слышались аплодисменты и стали нарастать быстрее и все громче, громче. В это время поток поднес Пастухова к двери, протолкнул через нее в вокзал и повлек дальше. Уже понятно было, что никакой радиопередатчик не мог произвести гула, раскатами гулявшего под потолками здания. В массе вооруженных, с походной выкладкой бойцов силком просачивались ручки людей, но вся громада стояла недвижно. Только крыльями рябили над нею взлетавшие и бившие в ладоши руки да гудели зычные голоса, пронзаемые отдельными вскриками.

— Что ж он тебе, каждый батальон провозать будет? — спросил кто-то над самым ухом Пастухова.

— А вот увидишь — повторит! — с задором мальчишки отозвался другой голос. — Ребята говорят, он уже четыре раза пропел. Спойт и пятый!..

Как ни настойчиво напирала на Пастухова, продвигая его вперед, он в конце концов остановился будто перед стеной. С трудом поднявшись на цыпочки, он увидел, что стена эта удерживается одной своею силой, образуя овальный фронт, против которого выстроен скобкой хор в такой же, как бойцы, военной одежде, но в фуражках вместо пилоток. Внезапно шум взмыл, потом стал падать и стихнул, точно гром, что грянул, откатился, и кругом смолкло. Тогда Пастухов заметил маленького человека, стоявшего, вероятно, на стуле: он виден был по пояс — в белом кителе, без фуражки. Вскинув, он остановил над головой казавшиеся коротенькими руки. Это был дирижер снискавшего славу хора, известный всей армии не меньше ее маршалов. Короткие руки содрогнулись, упали. Хор запел.

Пастухов, знавший меру своей музыкальности, был все же памятливым на доходчивые напевы и с первых тактов песни признал ее новой, никогда не слышанной. Да и не стали бы армейцы так бушевать, требуя повторения песни, коли она была бы давно знакома. Не стали бы ее так слушать. А слушали они жадно, словно припали к роднику иссохшими губами.

Лица их Пастухов ясно видел на изгибе кучных рядов, который освещался окнами. Лица эти были розны. Большинство смотрело на хор, но многие кверху, совсем куда-то оторвавшись, улетев. Губы были сжаты, кое у кого даже стиснуты либо закушены, а другие будто что-то лепетали.

Минуту не отрываясь, вглядывался Пастухов в стоявшего ближе всех юношу со вздернутым женственным лицом, открытым ртом и настолько туго зажмуренными глазами, что переносье, надбровье сморщились и побелели. Всего раз в жизни видел Пастухов на концерте одно женское лицо, похожее на этого юношу, — женщина подпирала тогда

свой подбородок белыми кулачками. И что вдруг глубоко тронуло теперь Пастухова — юноша, скомкав свою пилотку в кулаках, прижимал их к груди под самым горлом. Голова его на длинно высунутой из воротника шее была чуть наклонена к винтовке, прихваченной в локте. Он был выражением боли — боли жданной и жаркой, как тогда, у женщины на концерте.

Но наперекор розности лиц было в них нечто единящее, и оно вспыхивало общим отзывом, когда хор начинал повторять припев. Он был торжествен, как гимн, призывен, как походный марш. По залу пролетало едва приметное шевеление в ответ на музыку голосов, и все больше ртов неслышно вторило ей.

Слова песни чаще убежали от Пастухова, чем схватывались им. Напев вел его с тою же властью, что и всех людей, которых он видел. Но не в напеве и не в гармонии голосов чудилась ему сила музыки. Она кровью сердца билась в ритме. Отдаваясь ему, Пастухов невольно ловил памятью слова с детства близких стихов, а они все ускользали от него вместе со словами хора. Он был уверен, что ритм, родивший песню, сам рожден могучим давним стиховым тактом. И вдруг, когда вновь зазвучал припев, он поймал давно любимые слова:

Есть сила благодатная  
В созвучье слов живых...

Да, да, это было самое возвышенное, что когда-нибудь сказалось русским поэтом о человеческом слове мольбы, о его власти, его обаянии. Пастухову уже казалось, что он поет вместе с хором, вместе с залом — поет с Красной Армией, повелительно чеканящей от слова к слову новую песню:

Идет война народная,  
Священная война...

А душа его в такт повторяла, как ребенок, замороженный сказкой, — «и дышит непонятная, святая прелесть в них»...

Опять ударили громы от стены к стене. Хор кончил петь. Его крепкая скобка была сломана. Певцов разбирали по рукам, и слушатели не спрашивали, кто попадет к ним в объятия — тенор или бас. Где-то над головами мелькнул белый китель и коротенькие руки взмахнули в воздухе, но взмах их уже лишен был общего послушанья: дирижера качали.

Пастухов не помнил, как очутился снова на платформе. Он был будто пьяный. Иль, может быть, опять подступало головокружение, раз уложившее его в постель? Он прислонился к фонарному столбу. По-прежнему сновал вокруг народ.

- Запомнил мотив?
- Слова бы достать...
- Раздобудем!

Нет, со слухом было все хорошо. А как с глазами? Не чудится ли ему все это круговращение людей, как было в лесу с деревьями? Надо проследить на каком-нибудь одном человеке. Вон проталкивается, обгоня товарищей, приземистый командир. Он полнотел, грузноват для бега — и пот на лбу обтереть надо, и портупея с плеча съехала, — а он знай мельтешит сапожками, да еще обернулся, крикнул кому-то к слову:

— Песня есть — все есть!..

«Воистину, — подумал Пастухов, — все есть. Все во мне живо, все, что есть сильного, прямого, доброго. Что же теперь делать? Идти разыскивать приятелей? Зачем? Толковать с Доростковой? О чем? Нет, нет. Все должно быть иначе».

Оставалось три минуты до отхода обратного пригородного. Пастухов успел протиснуться к хвостовому вагону. Народу было не так много, зато много мешков. Какой-то мешок подвинули, и место освободилось.

## 3

Ко второй остановке поезда Александр Владимирович отдышался, стал разбираться в мыслях. После третьей он решил, что прежде всего изорвет написанное поутру с рожцами и розочками вместе.

Что за чушь — начинать с выкладок, какой должна быть пьеса! Она будет — и все тут. С каким это гением в искусстве бывало, чтоб он до тонкостей предусмотрел, как разовьется замысел? Побольше чувствовать — вот в чем соль. («Поменьше понимать, — скользнула впару другая мысль, но Пастухов с усмешкой, как приятельницу, придержал ее: — Ну-ну, заехал!»)

К пятой остановке, как раз когда с озорным присвистом заскрипели тормоза, он увлеченно сказал себе, что надо возвратиться к молодости. Нет ничего плодоноснее на свете, чем дерзание. Смелость неуменья — вот богатство молодых. Опыт — преимущество возраста. Преимущество опасное, потому что опыт — это контролер дерзаний. Дай этому надзирателю волю, и он отучит тебя от прыжков. Втиснет в раму законченного уменья — и уже раз навсегда. Тогда смерть. Разве не в отсутствии исканий все пороки академизма? «Нет, нет, если хочешь идти с жизнью, с ее радостью, ее трагизмом — назад к молодости!» — почти смеясь нежданному приволью размышлений, думал Пастухов.

С легким чувством он вышел на своей станции и отправился лесом домой. Он любил ходить здесь по утопанной, прямой, как аллея, тропе. Солнце жгло милостивее, ветер не опалял своими порывами. Но по вершинам леса он шумно распевал на разные лады, и один такой лад — глубокий, торжественный — вернул Пастухова к песне и лицам вокзала.

Он вспомнил юношу, с такою жаркой болью слушавшего хор, и понял, что все время, пока пелась песня, а он всматривался в этого юношу, похожего на женщину, и во множество других лиц, — все то время он словно выискивал одно-единственное лицо, которое затаилось в его воображении. Сейчас в лесу, наедине с собой, когда взгляду не мешали сотни незнакомцев, он живо увидел это единственное лицо — лицо Алеши.

После несостоявшегося свидания с сыном Пастухов думал о нем все чаще, а в эту минуту готов был поверить себе, что думал постоянно. Его легкое чувство отступило перед озабоченностью. Внезапно, точно в незапамятную пору юности, ощутил он краску стыда на щеках. «Свинья! До сих пор не спросил мать — что же с Алешкой?! И что с нею самой?» — пробормотал он, осматриваясь, будто не узнавая дорогу. Только что миновав боковую тропинку, которая вела в поселок, он вдруг вернулся и зашагал по ней.

Он пришел на почту, купил бланк для денежного перевода, устроился за столиком в присохших разводах фиолетовых чернильных клякс. Но взявшись за перо, он остановился.

Не оскорбится ли Ася непрошеным пособием, которое он собрался препроводить ей после стольких лет молчания? («Гробового молчания», — подсказала вдобавок непокойная совесть.) Алексей просил помочь матери, когда его призовут в армию. И надо проставить на бланке сумму перевода. А сколько наберется в кармане? Дай бог, сотня целковых. Чего доброго, Ася просто вернет ему эту сотняшку. Нечего сказать — отвалил Александр Владимирович за шесть-то лет! Но пусть даже она примет деньги. Тогда это будет означать, что и впредь она рассчитывает на помощь. Это обяжет его. А разве он в состоянии принять такое обязательство? Одна комедия зарезана, другая брошена неоконченной, третья не завязалась. А старые? Кое-какие еще в репертуаре. Вчера они шли, завтра их уже сняли. Авторская доля капризнее злобы дня — она злоба часа. Если же что и отложишь про черный день, то —

вот он, уже нагрянул. В судороге страха все кинулись к сберегательным кассам. И Юленька, рачительница, в числе первых. С чем же она пришла домой? Лучше не вспоминать ее лица, с каким она положила на стол двести рублей, и побелевшими губами прочитала приговор: «Извольте с сего дня уложить ваши ежемесячные домашние, личные и прочие расходы в эту сумму». Да, не иначе. Юленька всего лишь озвучила своим певучим голосом объявление, которым ее встретила сберкасса. Вкладчики должны быть дисциплинированными гражданами: двести рублей в месяц, ни копейки больше. Война — и все сказано. Понятно? Разумеется, понятно. Не тупицы. И не какой-нибудь отсталый элемент. Гражданин, готовый показать пример высокой сознательности. Двести — значит двести. Александр Владимирович так и сказал. «Юленька, — сказал он, — ведь не закрыты, в самом деле, счета вкладчиков, а только разумно ограничена сумма ежемесячных выдач». В ответ она взялась пересчитывать по пальчикам статьи пастуховских расходов и когда пальчиков не хватило, воздела руки к милосердному небу. Но в конце концов и ей ничего не оставалось, как показать пример сознательности. «Слава богу, — сказала она, — про запас в доме кое-что осталось. Месяца на два. Но, милый Шурик! Как бы так сделать, чтобы твои авторские переводили не через сберкассу, а прямо из театров нам домой?» «Отчего же, — сказал тогда милый Шурик, — я непременно это сделаю, как только меня назначат на должность господина-бога всевышнего», — и он тоже воздел руки к небу. Жест вышел у него излишне театральным. Юленька слегка надулась, и новый вопрос ее прозвучал требовательнее: «Допустим, мы протянем, говорю я, месяца два. Но что потом?» Его взорвало: «Вся Россия задает себе вопрос — что потом?! И будет задавать его два месяца, иль двадцать два, иль целых сто два — почему я знаю! Мы должны, мы будем жить, как все!» Юленька пожала плечами: «Не понимаю, что значит — все!» — и молча ушла из кабинета, оставив лежать перед носом мужа двести рублей. Он долго не брал их, пока не успокоился. Затем небывало почтительно устроил деньги в ящике стола. Они переставали быть сотняшками. Они становились уважаемыми сотнями, даже сотницами — чем-то суггестивно всеобъемлющим, как некий владыка будущего.

Сейчас, за столом поселковой почты, память Пастухова молнией скользнула по недавнему милому диалогу, который добавил свою каплю яда к тревогам трудных дней. И что же? Навалить на себя обузу за чем-то придуманного долга? Взять обязательство, никем не прошенное, совсем невыполнимое, лишь только сотняшка станет драгоценностью (если — по историческому опыту судя — не превратится в грош), — зачем? И наконец всего смешнее: ведь Алексей, быть может, и не призван? Вот в этом главное. С этого надо начинать.

Александр Владимирович вложил в бумажник незаполненный бланк перевода и снова подошел к окошечку. Купил листок бумаги с конвертом и, уже пристроившись с пером на прежнее место, опять застыл.

Шесть лет ни слова, ни строчки, и вот начать — с чего? Неужели же — «уважаемая»? Пошлость. Естественнее, проще — «дорогая». Ах, сударь, если б вы на самом деле дорожили этой дорожкой! Но разве нет? Конечно, дорожил. Как нераскаянный грешник невольно дорожит всем добрым, чем обладал до своего грехопадения... Не время теперь — в эти дебри. Пусть будет общепринято, корректно: «Анастасия Германовна». Ужасно. Мерзко. Лживо! Говорит же он с нею про себя по-человечески? Говорит. Говорил все шесть лет. За чем же стало? Ну же, скорей! Непринужденнее, проще. Вот так: «Будь добра, Ася, ответь мне сразу, как получишь письмо, что с Алешей?» — и дальше все само собою. Дальше легко. Она ведь знает, что Алексей оставил отцу записку, просил помочь матери, если будет призван. И Александр Владимирович отвечает. Зна-



чит, готов исполнить просьбу. Значит, готов помочь. А уж там сотняшкой или полсотняшкой — будет видно потом. Вся Россия не может сейчас сказать, что будет потом. Письмо написано, подписано, брошено в ящик и — с плеч долой.

Пастухов выходит на воздух облегченно. Опять он шествует вольной волей с бугра на бугор, овражками, зигзажками. Опять перед ним стрела тропы, как аллея, а над ним распевает вершинами лес. Дышится сладко смоляным ароматом. Думается складно, как будто знакомыми, а все еще не исхоженными думами. Об Алексее думы опустились на глубину. О труде, который вечно ждет, — поднялись из глубины на поверхность.

Откуда черпнуть прекрасного? Наверно, из слов, запавших в душу с детства, из песни, которую запел нынче народ, провожающий свою армию за славою и за победой. Но ведь Пастухов не собирается писать гимна. Он задумал сатиру. Откуда же прийти злomu, нещадному и едкому, как соль? Ну, за солью ли быть нужде? Только загляни поглубже в себя. Ангелы и черти уживаются в сердце поэта испокон веков. «Великое дело — вера в себя!» — усмехнулся Пастухов, чем увереннее, тем все плавнее шагая под баюкающие распевы леса.

Домой он возвратился едва ли не совершенно счастливым. Давно знакомое, но так редко балующее нетерпенье — скорее за рабочий стол! — желанно и до боли телесно сосало под ложечкой.

Когда он отпирал дверь, к крыльцу не спеша подошел Нырков.

— Скоровато обернулись, Александр Владимирович.

— А что?

— Да так. Приягней, когда кто дома.

— Иль одному страшно?

— Какой страх! — улыбнулся Нырков. — Слухай себе радио, и все... Вы, чай, в городе про Смоленск тоже слыхали?

— Про Смоленск?

Лицо Тимофея казалось Пастухову в каком-то особом роде значительнее постоянного его плоского вида.

— Да неужели! — удивился Нырков, не то сочувствуя, не то посмеиваясь. — Немец, передавали, Смоленск воевать начал.

Пастухов глядел на него молча. Странно, в самом деле, вилась ухмылка Тимофея — точно человек раздвоился: нижняя губа простодушно отвисла грибной шляпкой, а верхняя так и поигрывала над нею тонким шнурочком. Выбрит Тимофей был чисто, как брился по праздникам.

— Что значит начал воевать? — осерженно спросил Пастухов. — В осаде, что ли, Смоленск?

— Да-ть сразу ништо объявят?.. По сводке по нашей указывают, бои очень крупные... Под Смоленском... На Смоленском, передавали, направлении...

Нырков выбирал слова осторожно, сдерживал себя и на всякой остановке примеривал глазом — как принимается новость. Вдруг он жалостливо закачал головой.

— К родным самым местам проникают...

— Подлец какой! — тихо сказал Пастухов.

— Это... про немца вы?

— Про тебя! — краснея, крикнул Пастухов и, круто отвернувшись, вошел в сени.

Нырков, совсем было потерявшись, быстро превозмог свою неловкость:

— Неизвестно, это самое... кто подлец-то!

— Убирайся на все четыре стороны! — опять закричал Пастухов.

— Зачем на все? Мы себе дорогу найдем! — отозвался ему вослед негромкий, но уже с торжествующей угрозой тенорок.

Александр Владимирович со всего размаха захлопнул за собою дверь и в доме тоже хлопал всеми дверьми, пока не поднялся в свою комнату.

И день и ночь он не мог найти себе покоя. То брался за книгу, то ложился, пробуя заснуть, вскакивал, готовил чай, но не пил, а расхаживал по комнатам либо старался что-то писать и рвал написанное.

Уже перед рассветом он забылся в кресле. Ему увиделось, что он стоит перед садовой скамейкой и до опасливости робко просит Тимофея, чтобы тот вкопал новые бревнышки под сиденье на место сгнивших. Он слышит излюбленный нырковский ответ: «Это можно», и спрашивает себя — чего же он робеет и опасается, когда Тимофей так готовно-исполнителен? Но тут он обнаруживает, что перед ним — одна голова Тимофея, а самого его нет. Узкое, гладенько побритое лицо растет в воздухе, близится больше и больше, перекашивается в улыбку, подмигивает, повторяет: «Это можно». Все ближе, ближе искаженные губы, все слышнее — «это можно».

Александр Владимирович очнулся в приступе непонятного страха, с мыслью, что он во власти Ныркова.

Бросившись к окну, он увидел, как медленно отворяется дверь сто-рожки. Он отскочил вбок, прикрыл себя занавеской. Высоко из двери высунулся мешок, под ним спина Тимофея, сума в одной руке, в другой палка. Пятясь, Тимофей старательно притворил дверь, повернулся лицом к дому, побыл секунду в неподвижности. По-праздничному одетый, при галстукe, в новой кепочке, он плохо был слажен с дорожным мешком на горбу и с базарной сумою. Но он бодренько встряхнул своим, как видно, приятным грузом, раздал пошире плечи и пошел.

Пастухов перебежал к другому окну. Отсюда хорошо просматривалась дорога к воротам. Поперечные длинные тени нежно стлались по ней — солнце уже принялось сверкать. День приветствовал всех путников равнодушно и прекрасно. Наверно, и Нырков счел красный этот денек благим для себя знаком: он семенил бойко, помахивая палкой и только чуточку пригнувшись наперед — своя-то ноша не так уж тяжела.

«Не унес бы чего чужого», — подумал Пастухов, прислушиваясь, закроет ли беглец калитку.

Нырков закрыл ее аккуратно, и тогда Александр Владимирович пробормотал вслух:

— Немцы аккуратность любят... Приделся! С-сукин сын!..

Страх прошел, волнение утихло, и лишь одно усилие оставалось сделать, чтобы вытащить назойливую занозу из головы.

«Крысы бегут, бегут, — думал он. — Но что же это? Мыслимо ли, что корабль пойдет ко дну?..»

Он перебирал в уме пережитое за сутки. Багрово-красным всплыло слово: «Смоленск». Он закрыл и потом вдруг открыл глаза. Пространство за окном слепило блеском.

— Нет, — сказал он. — Никогда. Пусть даже Смоленск. Госпоже Истории не вырваться из наших рук. Корабль будет плыть.

Он спустился вниз, включил радио, хозяйски осмотрелся, и тут же его потянуло на кухню. Чертовский голод начал воцаряться над всеми его чувствами.

*(Продолжение следует)*



---

---

М. СВЕТЛОВ

★

## ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

### *Два признания*

1

Что-то странное ночью случилось —  
Будто рамы сорвались с гвоздей,  
И общественность вдруг разделилась  
На отдельных влюбленных людей.

Где взяла ты курносое личико?  
Трудолюбие где ты взяла?  
Чистый фартук белеет приличненько,  
И во взгляде отсутствие зла.

Мы не будем с тобою в разлуке,  
Я, поверь, твой жених навсегда,  
Я люблю эти милые руки  
В несмываемых пятнах труда.

И чтоб нам не привыкнуть к потерям  
(Ты с начальством знакома в цеху),  
Сделай так, чтобы стать подмастерьем  
Моему молодому стиху!

Неужель ты уходишь, Надежда?  
Я стою, я смотрю тебе вслед —  
Где же, где же твоя прозодежда?  
Мне вечерние платья во вред.

Брошу все, увезу тебя за море,  
Пусть огонь умирает в золе!  
Разве золото ищется в мраморе?  
Мы найдем его в грязной земле.

Ты всегда у меня на примете,  
Ты — попутчик в тяжелом пути.  
Умирая, спрошу: «Где бессмертье?»,  
Чтоб улыбку твою донести.

Вечно в должности человека,  
Доживу до счастливого дня,

И любовь двадцать первого века  
У калитки обнимет меня.

Пусть же правнук поймет незнакомый,  
Как мы были с тобой влюблены,  
Как для взлета аэродромы  
Нашим горным орлам не нужны!

## 2

Цветы шептали, как живые,  
Луна скользила меж ветвей,  
И вот в истории впервые  
Не спел, а молвил соловей:

«А может, воевать придется?..»  
И, доверяя, как врачу,  
Измученные полководцы  
Прильнули к моему плечу.

Ну, ладно, ладно, полководцы!  
Пускай техничнее беда,—  
Что русской доблестью зовется,  
Не побеждали никогда!

Мне не страшна опасность эта —  
Любовь моя со мною тут,  
Ее ни пушка, ни ракета,  
Ни сто ученых не убьют!

Покинув лунную аллею,  
К победе я опять готов,  
Я не себя в бою жалею,  
Мне очень жаль моих врагов!..

Всегда с тобой, влюбленный в солнце,  
Со злом привыкший воевать,  
Так не хочу я слово «стронций»  
Под нашим солнцем рифмоваг!

Мне нелегко расстаться с песнею...  
Мой друг! О, если бы я смог,  
Как сталевар, уйдя на пенсию,  
Выращивать живой цветок!

## *Время*

Время одинаково течет  
В Африке и у моих ворот,  
Там и тут четверг немолодой  
Между пятницею и средой.

Времени мы платим не полтиной,  
Платим вместе новою плотиной,  
Платим созданными городами,  
Платим прожитыми годами.

Время — наших действий соглядатай...  
 Высятся сады и интернаты,  
 И кварталы новые встают,  
 Но, как наводнение, плывут  
 Пятница, суббота, воскресенье...  
 Нет у нас от старости спасенья!..

Мне понятны старики и дети,  
 Мне История ясна вполне —  
 По старушке каждое столетье  
 Присылает с жалобой ко мне.

Может, есть для стариков игрушки,  
 Только баловаться не хочу...  
 В дверь мою стучатся две подружки —  
 Пенсия и старость... Не впущу!

Ты состарилась, судьба? Ну, что же,  
 Постарайся выглядеть моложе!

\*.\*.\*

Живешь ты, ничего не ожидая,  
 Ну, разве может людям быть близка  
 Мечта твоя, такая молодая,  
 Заснувшая в объятьях старика.

Какие б тучи снова ни нависли,  
 Ты слышишь среди вспышек грозových  
 Негромкое посапыванье мыслей  
 На жестких койках клеток мозговых.

Будь тишиной в обыкновенном громе  
 И громом стань в зловещей тишине!  
 Ты не считай, что счастья нету, кроме  
 Всего того, что уж давно в цене.

Не две любимые — одна необходима,  
 Две радости все ж меньше, чем одна.  
 Не половинчатость, не двойственность. Ты мимо  
 Пройди, и станет жизнь тебе ясна!

1963.

## *Арена*

Мыслю юность, как цирковую арену,  
 Мыслю взрослость свою, как арену борьбы.  
 Так мы созданы все. Нужно нам непременно  
 Столкновение наших мечты и судьбы.

Всю-то юность мечтал я прожить с циркачами.  
 Вот судьба! Вот сплошная моя благодать!..  
 А пришлось мне трудиться глухими ночами  
 И какие-то стихотворенья писать.

Если я одинок, я взываю к арене:  
 Дай ты мне покружиться на виду у людей,  
 Я завидую комплексу всех впечатлений  
 Акробатов, и клоунов, и лошадей.

Я состарился. Мне уж не нужно трапещий,  
 Пенсионное время застлало мой путь,  
 С цирковыми артистами снова бы спеться,  
 Песню силы и ловкости вновь затянуть.

Циркачи! С вами буду всегда непременно,  
 Вы — волшебный, хороший и сильный народ.  
 Все мерещится мне цирковая арена —  
 Колесо моей юности мчится вперед.

Каждый год ожидают нас перемены,  
 Ожидает весна за жестокой пургой.  
 Приходи ко мне в гости, работник арены!  
 Дай бог счастья тебе, мой циркач дорогой!

1962.

## *Соловьи*

Будь прострелена наша мишень,  
 Здравствуй, мой наступающий день!  
 Мы, все войны прибравши к рукам,  
 Аплодируем мирным векам.

Сколько можем мы людям пропеть,  
 Соловьям сосчитать не успеть...

Для того, чтоб героями быть,  
 Человечество надо любить.  
 Я живу — и любые вопросы  
 Я вношу, как партийные взносы.

Беспартийные думы мои  
 В большевистские входят бои.  
 Если враг пред тобой — все равно  
 Это Гитлер или Махно!

За свободного иль за раба,  
 Здравствуй, ты, дорогая борьба!  
 Я — солдат. И покуда я цел.  
 Здравствуй, мой драгоценный прицел!

1962.

## *Песня слепцов*

*(Из вариантов к пьесе «Двадцать лет спустя»)*

1-й слепец: Ох, поет соловей на кладбище,  
 Над могилой шумят тополя...  
 Сосчитай — сколько сирот и нищих  
 Навсегда схоронила земля.

- 2-й: Я стою перед близкой могилой,  
Я давно свое счастье забыл...  
Хоть бы где-нибудь, где-нибудь, милый,  
Хоть какой-нибудь родственник был!
- Оба: Ты живого меня пожалей-ка,  
Ты слепого обрадуй во мгле.  
Далеко покати́лась копейка  
По кровавой, по круглой земле!
- 1-й: Ни угла и ни теплой постели,  
По ослепшей земле мы идем,  
Нашу долю заносит метелью,  
Заливает осенним дождем...
- 2-й: Все богатство — клюка да веревка,  
Все богатство — считай не считай...  
Разменяй же, господь, сторублевку,  
По полтинничку нищим подай!
- Оба: Ты живого меня пожалей-ка,  
Ты слепого обрадуй во мгле.  
Далеко покати́лась копейка  
По кровавой, по круглой земле!

1939.

## *Весна*

Старик какой-то вышел на крыльцо,  
Под бременем годов своих шатаясь,  
И, как официальное лицо,  
Стоит на белорусской крыше аист.  
Желаниями грудь моя полна,  
Пришел апрель. Опять весна опознана,  
Опять она пришла — моя весна,  
Но слишком поздняя,  
Но очень, очень поздняя.



---

---

В. ТЕНДРЯКОВ

★

## ПОДЁНКА—ВЕК КОРОТКИЙ

*Повесть*

1

**И** крик в голос, ни слезы не помогли — Кешка Губин, муж недельный, собрал свой чемодан, влез в полушубок, косо напялил на голову шапку, кивнул на дверь:

— Ну?.. Не хошь?.. Тогда будь здорова. Сама себя раба бьет. В свином навозе тонуть не хочу, даже с тобою!

И дверь чмокнула, ударило Кешке по валенкам тугим морозным паром,— ушел.

Ни крик в голос, ни мольбы, ни слезы... Стояла посреди неприбранной избы, валялся на лавке клетчатый шерстяной шарф, забытый Кешкой.

С печи, шурша по-мышинному, сползла мать, встала напротив, сломанная пополам, зеленое лицо в сухих бескровных морщинках, в глазах — тоскливая накипь, знакомая с детства.

— Да покинь ты меня, каргу старую. Никак помереть не могу. Жизнь твою заедаю, дитяtko.

Настя вцепилась в волосы, рухнула на лавку, затряслась:

— Не везучая я, ма-монь-ка-а! Проклятая моя жи-ызнь!

Мать присела, гладила трясущееся плечо легкой ладонью, повторяла:

— Покинь, право... Мне все одно скоро...

Настя выплакалась, поднялась с опухшим лицом, раскосмаченная, сказала спокойно:

— Давай спать укладываться. Завтра опять вставать ни свет ни заря.

Направилась в боковушку к кровати с никелированными шарами, на которой еще вчера спала вместе с Кешкой, добавила:

— Жили ж мы без него.

2

Насте Сыроегиной шел шестой год, когда началась война. Она хорошо помнит — в избу ворвалась мать, тревожная, суетливая, тормоша накинула на Настенку оболоч, укутала платком:

— Идут же, идут! Господи! Може, в последний раз увидим... Да шевелись ты, Христа ради, квелая!

Бегом тащила ее мать от деревни через поле к тракту. Стоял ненастный осенний день, раскисшая стерня лежала по сторонам грязной дороги. По дороге двигались подводы, забросанные туго набитыми котомками, за подводами неровным строем шагали мужики, кто в брезентовом плаще, кто налегке в ватнике, кто в пальто. Шагали из райцентра, от военкомата к вокзалу на станцию, в армию.



Из растянувшегося строя выскочил отец, краснолицый, широкий, оступаясь в колеях, бросился к ним... Он поднял Настю и поцеловал, от него пахивало водкой. Мать повисла на его плече, а отец легонько, ласково ее отталкивал, оглядываясь на своих деревенских, говорил с непривычной, неуверенной удалью:

— Чего зря мокроту разводить. Ты меня знаешь — иль грудь в крестах, иль голова в кустах...

Поглядывал браво по сторонам. Он никогда прежде не пил, считался самым тихим мужиком в деревне.

— Грудь в крестах иль голова в кустах... Ты меня знаешь.

Среди мокрой, темной стерни — грязная дорога, ровным войлоком небо, шагающие за подводами люди, бабы всхлипы, бабы вздохи, мелкий дождь... Последний раз видела Настя отца — голова в кустах...

Война. Ушли из деревни на фронт не только мужики, но и лошади. Бабы сговаривались по пяти дворов, пахали усадьбы — четверо впрягались в плуг, пятая шла по борозде, налегала на ручки. Все равно хлеба не хватало — хлеб нужен фронту. Муку с осени берегли к весне, весной — тяжелые работы, надорвешься без харчей. Летом Настя заготавливала траву, ее сушили, толкли мелко, дважды ошпаривали кипятком, заправляли яйцом и пекли оладьи. Они выходили буро-черные, тяжелые, напоминали коровьи лепехи, на них сверху картошка, нежная, на молоке, поджаренная, политая янтарным маслом. Корова-то своя, молоко было и маслицем баловались. От лепех пучились животы, сколько ни ешь — все не сытно. Ели еще и куглину — сухую шелуху с головок льна. До древесной коры не доходило. На усадьбе рос ячмень, но его всегда сжигали зеленым — невтерпеж сидеть на траве.

Но и трава Насте шла на пользу — росла крепкой, а мать горбилась, хирела. Она отрывала от себя последние куски: «Ешь, Настя...» После колхозной работы она бежала за восемь километров в заболоченный Кузькин лог, там, стоя по колено в воде, ночи напролет махала косой среди кочек, по берегам бочажков: корову-то надо кормить, сохранишь корову — и Настя будет жить. К матери подкатывался Иван Истомин, на фронте он оставил в кустах не голову, а только ногу, хоть и на костылях, а руки целы — пимокатничал. «Давай завяжем узелок, в паре-то ладней лямку тянуть. Степана твоего ждать нечего...» Мать и не ждала мужа, где уж, коль голова в кустах, но отказала наотрез. Как-то Иван к Насте повернет — не родная кость, нет уж, дочь дороже своей судьбы.

Настя выровнялась — не так уж и высока, но крепко сбита, прочна в кости, плечи налиты полнотой, грудаста, щеки румяны, вздрагивают на каждом шагу и глаза в клюющих редких ресницах. Настя выровнялась, а мать сломалась, года три уже не вылезает дальше завалинки, греется на солнышке, сложив руки на коленях, в ситцевом платочке, с линялым, ссохшимся лицом. Но дома по хозяйству она еще шевелилась — печь топила, обеды варила, а дров от поленицы или воды с колодца уже не принесет. Матери всего пятьдесят шесть, учительница Митюкова ей ровесница, никому и в голову не придет величать ту бабушкой.

Настя не хуже других девчат, поди лучше многих. Но в последнее время мать, глядя на нее, вздыхала: «Твоего батьку старый цыган облаял...»

Отец еще мальчишкой вместе с другими ребятами как-то увязался за проезжавшим мимо деревни цыганом. Прыгали вокруг, бесновались:

Цыган, цыган!  
Почем кобыла?  
Без рубля четвертак,  
А с хозяином — за так!

Дразнило много ребяташек, но цыган с коршунным носом из дикой бороды почему-то направил на одного Степку Сыроегина крючковатый палец, брызгая слюной, проклял, как взрослого:

— Не будет тебе удачи в жизни! На суху тебе оскальзываться, на ровном спотыкаться! И родня твоя, и дети твои счастья не узнают! До пятого колена в коросте будут ходить, слезами солеными умываться!

Это почему-то так поразило всех, что уже много лет спустя, если у Настиного отца случалась неприятность, сразу же вспоминали: «А правду, зная, цыган плел: на суху оскальзываться, на ровном спотыкаться...» И вот на войне — споткнулся...

За Настей стал увиваться Венька Прохорёнок, тракторист, молод, а зарабатывал неплохо, и по характеру тихий, и к водке увлечения не имел. Брала в армию — говорил: «Ужо срок кончится — мимо своего дома пройду, прямо к тебе, свадьбу играть». Но из армии он так и не вернулся, слух дошел — получил хорошую специальность, работает на экскаваторе где-то под Челябинском.

А идет время, и в деревне женихов не густо, и новые девки подрастают косяком. Ты же, того гляди, прокукуешь до седых волос. И вздыхала мать: «Старый цыган все. Будь он...»

Кешка Губин приехал из Воркуты при деньгах — шапка пыжиковая, зуб золотой. Надоел ему Север, не встретишь дерева живого. Он был братом Павлы, что из деревни Дор, вышла за Сеньку Понюшина. Соседки, подруги, по утрам бегали друг к другу закваску занимать, по вечерам сумерничали, перемывали косточки всем, кто попадет на язык. У Павлы и встретила Кешку, сошлись как-то быстро. Ему — за тридцать, пора семьей обзаводиться. Собрал пожитки, перешел проулок, и тут оказалось: «В свином навозе тонуть не хочу...» Метит снова в город. «Бросай все, едем...» И ничего слушать не хочет. А бросать-то нужно большую мать, ту, что вынынчила, ту, что от себя кусок отрывала. С большой матерью по общежитиям не проживешь, а когда-то еще устроятся на стороне, квартиру получают. Да и что Насте делать в городе? Она одно умеет — свиней накормить.

«На суху тебе оскальзываться, на ровном спотыкаться...»

Кешка Губин ушел, хлопнув дверью. А старалась удержаться, слезы лила, упрашивала, уламывала, жизнь тихую расписывала — в колхозе-то давно не бедуют. Остался от Кешки только клетчатый шарф на лавке. И одно успокоение: «Жили же без него».

### 3

Над забуренным черным лесом сочился, растекаясь, водянисто бесцветный зимний рассвет. Деревня Утицы была окутана синими снегами. По этим угрожающе синим снегам промята дорога, связывающая деревню с трактом, с селом Верхнее Кошелево, где стоит колхозная контора, с районным центром Загарье, с маленькой станциюшкой Ежгодка, со всем великим и далеким миром.

За деревней на отшибе — длинное, придавленное к земле тяжелой, заснеженной крышей здание, свинарник, где изо дня в день хозяйничала Настя Сыроегина.

Деревня Утицы еще спит, еще не светится ни одно окно, ни из одной трубы еще не тянется вверх вялый дымок, только кричат петухи, глухо — за бревенчатыми стенами сараев. Спит деревня Утицы, Настя встает раньше всех, сейчас закутанная в платок, в потасканном ватнике спешит к околице, синий снег скрипит под большими резиновыми сапогами — в валенках-то по свинарнику не потопчешься, промокнут.

Скрипит снег и кричат петухи. Скрипит снег, и тревожной синевой налитан воздух, и жиденько расплзается утренняя зорька на небе, из-под нахлобученной крыши навстречу хитренько, как в прищуре, поблескивают узкие окна свинарника. Так было позавчера, так было вчера, так сегодня и так будет завтра. И Насте кажется, что она живет на свете не двадцать семь лет, а долгие-долгие века — так заучена ее жизнь.

Сейчас пройдет по утопанному выгону, снимет тяжелый замок с дверей, навстречу мягко ударит в лицо теплый, спиртово перекившийся воздух. Она растопит печь под котлом, а пока котел закипает, засыплет мешок мелкой картошки в барабан картофелемойки. Начинается рабочий день.

В девять часов с воли донесется скрип санных полозьев и треснутый стариковский голос:

— Н-но, необутая, шевельсь!.. Эй, пустынноца, жива аль нет?

Настя распахнет дверь:

— Жива, Исай!

Старик Исай Калачев привезет мешки с картошкой, пахнущие погребным тленом мякниных высевок, муки... Отпускают не очень скупно, но Настя не удержится, чтоб не поворчать:

— Сколько раз говорила: коль картошка прихвачена — пусть дадут с надбавкой. А муки ты бы еще в картузе принес, одни высевки. С мутной водицы не зажируют.

А старик Исай будет слюнявить толстую сигарку, напустив важность, начнет рассуждать:

— Ныне ученые люди головы ломают — достичь жирок не с мутной водицы, а чтоб с чистого воздуха. Тогда Америку нагоним, так-то, кума.

Через час — через полтора зарычит мотор полуторки, шофер Женька Кручинин доставит с маслозавода бидоны с сывороткой и обратом:

— Как жизнь молодая? Погрела бы, прозяб в кабинке.

— Не погрею, а огрею. Помогай давай.

Плывет курица по пруду,  
Крылом гонит волну.  
Эх, девка с грудями по пуду  
Достанется кому?

— И охальник же ты, Женька. Как только Глашка с таким уживается?

— Ничего, терпит, должно нравлюсь.

Глашка — под стать Женьке, на язык остра, ни одного парня не пропустит, чтоб не зацепить. Они два года, как поженились, и уже двое детей, и живут вроде дружно.

Насте нужно бы счастье, самое незатейливое, такое, как у всех, как у Глашки, как у Павлы, чтоб муж, пусть даже вот такой зубоскал, чтоб дети, чтоб семейным теплом была согрета изба и мать на старости лет в приюте. Самое простое, как у всех. Всем достается как-то легко, у Насти заело... И ни ряба, ни кривобока, нынче в колхозе мало кто зарабатывает больше ее. Эх, Кешка, Кешка! В две пары рук устраивали бы семью!

Председатель Артемий Богданович Пегих на последнем собрании сказал при всех: «Еще услышит район фамилию Сыроегиной! Еще будет она гордым знаменем нашего колхоза!..» Артемий Богданович любил громкие слова.

И, пожалуй, дива нет, стала бы знаменем — Артемий Богданович всегда кого-нибудь пророчит в «знамена». Был Селезнев, была доярка Катька Лопухова из деревни Степаковская, была бы и она, Настя Сыроегина, если б не сам Артемий Богданович... «Гордое знамя...»

## 4

Настя сняла тяжелый амбарный замок, толкнула прилипшую дверь и... в лицо ударил не обычный сбродивший до спиртовой остроты запах здорового свинарника, а другой — удушливо едкий, кислый, мутящий.

Мимо холодной плиты с вмазанным котлом, мимо картофелемойки, в глубь, к клеткам. Нашарила на стене выключатель, вспыхнул свет, тяжело, по-стариковски вздохнул в углу хряк Одуванчик.

Грузная розовая Купчиха заворочалась, с усилием поднялась, навесив на глаза лопушистые уши, и в маленьких черных глазках под этими ушами — покорное, умное осуждение: «Что ж ты, мать, меня подвела?..» Вяло повизгивали у ног ее сосунки, им, считай, уже по месяцу, а каждый не больше рукавицы — вечно зябнущие, серые, жалкие, не растут, хоть плачь. Настя сразу заметила — двое не двигаются, лежат, напряженно вытянувшись, кажутся тоньше, длинней остальных.

Вот оно — ждала... Еще третьего дня среди сосунков начался понос.

Освещенный знакомый свинарник, он не нов, но добротен, его выстроили, когда колхоз «Богатырь» начал уже подыматься на ноги. Одну клетку от другой отделяют решетки, не простые, а затейливые, гнутые, им всякий удивляется, кто впервые входит сюда. Решетки сделаны из старой церковной ограды. Свинарник, как всегда, выглядит чинно, как всегда, чист, вздыхает в углу хряк Одуванчик, сопение, повизгивание, глухая возня. И спирает дух, настолько заражен воздух. Два подошли, сколько еще?..

Вот оно, виноват Артемий Богданович, а спишут на нее — не убежала, не управилась.

Артемию Богдановичу иногда приходят в голову великие затеи. Как-то он посидел у себя в кабинете, подсчитал на бумажке и пришел к выводу: свиньи поросются два раза в году — весной и летом, как раз в то время, когда в амбарах уже пусто, зато кругом начинает подрастать трава — корм подножный. А этим-то кормом и не пользуются — поросята малы, чтобы добывать травку из-под ног. А что, если запустить опорос на зиму, к весне поросята подрастут, можно выпускать на травку, пользоваться запаренной крапивой. За лето они нагуляют вес, осенью будут тяжелее весенних — двойной выигрыш, сколько мяса в колхозе прибавится.

Артемий Богданович обещал Насте: «Будешь получать рыбий жир — питай витаминами». Обещал, но рыбий жир по оптовым ценам достать не мог, появлялся он в аптеке маленькими пузыречками, и то рецепт от врача просили, покупать его для свиней — прогоришь, свининка колхозу влетит в копеечку. Артемий Богданович обещал еще давать сверх всяких норм проросшее зерно, в нем тоже, сказывают, есть какой-то витамин. Обещал, но предложили купить две пятитонки, за них нужно сдать на закуп хлеб сверх плана, не упускать же машины, подчистили все излишки, проросшее зерно уплыло мимо Настиного свинарника. Только вера в Настю у Артемия Богдановича осталась прежняя: «Будешь гордым знаменем нашего колхоза!»

Вот уж воистину — беда не приходит одна: вчера ушел Кешка, сейчас спозаранок — новая напасть. Настя прошлась от матки к матке, вытащила из-под них мертвых сосунков. Семь! За одну ночь! Вот оно — началось!

Вышла во двор за навозной тачкой, побросала всех, вывезла...

Сумеречная синева снегов стала прозрачней, воздух ясней, небо над дымчатым лесом порозовело, прижимал морозец. А в грязной тачке один на другом, как поленья, — поросята, окоченевшие пяточки, сквозь полуприкрытые веки — влажная муть мертвых глаз, взерошенная щетинка на острых хребтах... Вот оно... Болезнь, как пожар, займется, не потушишь — перекинется на откормочных, начнется повальная мор.

Настя стояла на морозе под розовым заревом и чувствовала — рассыпается жизнь. До сих пор хоть в одном была удачлива — в работе. Хвалили, слов не жалели и платили хорошо, в прошлом году пальто новое справила с мерлушковым воротником, больная мать ни в чем нужды не знала, загадывала летом купить Кешке мотоцикл. Теперь все разом покатылся. Попреков не оберешься, поносить начнут, за падеж выплату скостят, не постесняются. Девки завидовали, то-то будут подхихикивать: «Гордое знамя...»

Но убиваться да плакать некогда: нужно отобрать больных поросят, согнать в отдельную клеть, полы, стены, переборки в стойлах надо вымыть, ошпарить, бежать на склады за дезинфекцией... Болезнь, как пожар, — успевай вовремя схватиться. А из-за стены слышен дружный визг — бунтуют голодные, чтоб им пусто было. Разводи огонь, крути картофелемойку. Изо дня в день одно и то же — корми да навоз выгребай. «В свином навозе тонуть не хочу...» Уехать бы вместе с Кешкой, бросить бы все — опостылело! Бросила бы, если б не мать.

Совсем рассвело. Под потолком блекло горели невыключенные электрические лампочки. Как всегда, с воли донесся скрип саней:

— Шевелись, необутая!.. Эй, пустынноца, принимай гостя!

У деда Исаея жиденькая бородка курчавится инеем, мятые щеки свеклольного цвета, растер их рукавицей, кивнул на дверь облезлой шапкой:

— Урон, гляжу, у тебя. Целу тачку, накось, наворотила.

И снова закипели слезы на глазах:

— Будь все проклято! Толкнул меня, а я-то послушалась.

— Оно верно, послушный конь без копыт ходит.

— Ты сейчас в село, Исай? Захвати меня... Захвати с тем добром, что в гачке...

— А то зачем? Пока ни людей, ни поросят с того свету не возвращают. Не дано.

— Разложу у него на столе под носом, пусть любитесь.

Исай хмыкнул:

— Ну, кой-кого любоваться заставит. У плохого пахаря — кобыла-злыдня борозду криво ведет.

## 5

В старом ватнике, насквозь пропахшем свиарником, в резиновых, заляпанных навозом сапогах, платок сбился на шею, губы сведены в ниточку, в прищуре глаз злой блеск, прошла Настя мимо бухгалтерских столов, волоча грязный мешок за собой. Прямо к Артемию Богдановичу, носком отшибла легонькую дверь.

За ней, пряча остренькую ухмылочку в бородке, дед Исай — любопытно все-таки, как-то председатель поглядит на номер с поросятами, право, любопытно.

Отшибла ногой дверь...

Не только за гиблую затею, не только за то, что эта затея станет ее позором, влетит ей в копеечку, но и за ушедшего из дому Кешку, за хворую мать, которую нельзя покинуть, за всю свою нескладную судьбу — на тебе! Кто-то должен быть виноват, хоть тут, да отвести сердце, а то живут себе, ни до кого дела нет. Так — на тебе!

Без «здравствуй» вывернула мешок, об пол с тупым стуком ударились дохлые поросята, заочеченвшие, тощие, запачканные нечистотами.

У Артемия Богдановича сидел Костя Неспанов, председатель сельсовета, — просто покуривали перед началом хлопотливого дня.

Костя Неспанов — прост, жесткий зачес над чистым лбом, нос пуго-

вицей, щеки в веснушках, глаза в прозрачную зелень и большие уши. Он вскочил со стула, раскрыл рот, ошалело глядел на поросят.

— Ты что... Что это?..

Артемий же Богданович, видать, в одну секунду сообразил все, как сидел за столом, круглый, домашне добродушный, напустив на ворот рубахи пухлую складку у подбородка, так и остался сидеть — не дрогнул бровью, не раздвинул прищур глаз, только под веками блеснула настороженная искорка.

— Видишь?..— выдохнула на него Настя.— А это только почин. То ли будет еще!

Артемий Богданович пошевелил на столе переплетенными пальцами, покачал сокрушенно головой. Костя Неспанов растерянно переводил взгляд — с поросят на Настю, с Насти на Артемия Богдановича. А в распахнутых дверях прирос скулой к косяку дед Исай — любопытно.

— Что мигаешь? Ай не ясно? Дохнут твои зимние! Дох-нут!

— Как же ты? А? Не углядела? — мягко, сокрушенно вымолвил Артемий Богданович, и снова пошевелил пальцами, и снова покачал головой.

— Я?! Это я-то не доглядела? Так и знала! Так и знала, что на меня все свалишь... Кто настанвал? Кто толкнул меня? Не я ль тебя отговаривала? Не ты ль меня уламывал?.. Рыбий жир, витамины!.. О-о!..— И задохнулась.

Простодушное рыхловатое лицо, слобная складка под подбородком, приглаженные набок редкие волосы, и в щелках век осторожный умненький блеск, и мягкость, и сокрушение — ничем это сокрушение не пробьешь. Криком кричи, волосы рви, а он будет сидеть поглядывать, перебирать пальцами по столу, качать головой, ждать. Настя задохнулась, опустила на стул и закрыла лицо руками.

— Так что же ты хочешь? — мягко спросил Артемий Богданович.— Ась, красавица?

Настя вытерла глаза, отвернулась.

— Хочешь, чтоб я встал сейчас, пошел по улице, стал кричать: «Люди добрые! Сыроегина Настя не виновата, виноват я, подлец!» Так, что ли?

— Знаю, сам-то чист останешься, меня в грязь посадишь.

— Тебя? Я?.. Ой, Настя, не грехи, голубушка. Кажись, до сих пор я не в грязь тебя садил, а подсаживал, чтоб повыше куда.

— И подсадил... «Гордое знамя»...

— То-то и оно, хотел, чтоб — знамя, а ты мне — подарочек, да еще вон это добро, — Артемий Богданович кивнул на поросят на полу, — мне на шею вешаешь.

— Само собой, мне нынче одно осталось — умойся да молчи в тряпочку.

— Кричи, почему же, рот затыкать не буду! Кричи, сколько влезет, чтоб другие глупость твою видели.

— По твоей милости глупа, не по своей!

— Чужим умом жить хочешь. Ой, опасно, Настя.

— Ты ж руководитель наш! Как к тебе не прислушиваться? Ишь ты, что крест на церковной маковке, для красы торчишь?

— Руководитель не пророк, голубушка. Моей лысиной ты свою голову не заменишь.

— Ох, да хватит!

— Вот тебе и «ох». Есть порядочек, он одинаков и для тебя, и для меня. Когда у меня в колхозе, скажем, кукуруза не выросла, я что — бегу в район и кричу там: «Вы заставили сеять, вы, мол, и отвечайте!» Нет, мне скажут: «С больной головы на здоровую не вали». И правы

они! Надо было раньше мозговать. Поздний ум, что глупость — цена одинакова. Не сумел вовремя мозгами пошевелить — ответь.

Артемий Богданович встал из-за стола, невысок, широк, несмотря на полноту крепок телом, прочно стоит на коротких ногах, — такой вот встанет на дороге, лошадь с возом стороной обойдет.

— Ты в том виновата, — голос Артемия Богдановича отвердел, — что не настояла на своем тогда, когда нужно, не убедила меня. После драки, дружочек, кулаками не машут.

Настя сморщилась:

— Не настояла, не убедила... Ты — сила, а я кто? Ты всегда помнешь.

— Вся и заковырка в жизни, что против силы надо идти, а с бесильным-то всяк справится. Против силы умом. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Так-то, святые слова.

Костя Неспанов, слушавший колхозного председателя с уважительным вниманием, с подавленной серьезностью, сурово заговорил:

— Подводишь ты нас, Настя. Мы на тебя большую надежду имели. Я вот хотел заметочку в районную газету послать. Вот, мол, какие у нас передовики, не бедней других в этом плане. Даже начало уже в голове шевелилось, эдакое лирическое... М-да, Настя, Настя...

В голосе его не только суровое огорчение, но и искренняя обида: подвела Настя, пропало лирическое начало.

— Эхе-хе, — вздохнул у дверей дед Исай.

— Тебе чего? — спросил его Артемий Богданович.

— Да ничего, — ответил Исай. — Говорю: кобыла-злыдня борозду криво взяла.

Артемий Богданович кивком указал Насте на кучу грязных поросят посреди кабинета:

— Бери-ка свой мешок да сваливай эту падаль.

## 6

«Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет» — любимая приписка Артемия Богдановича.

Его выдвинули в председатели на укрупненный, разбросанный, отсталый колхоз в те дни, когда и в печати, и на собраниях, и в директивных бумажках вовсю славили торфоперегонные горшочки.

Уже и тогда Артемий Богданович был в возрасте, отличался дородством, успел поработать в районе каким-то начальником средней руки — тертый калач, но попался, потому что всей душой наивно поверил: только торфоперегонные горшочки могут поднять колхоз. Он с усердием, о котором сложена пословица «новая метла чище метет», перекрыл посевы, пересмотрел планы, сократил должности, отставных бригадиров, замов, счетоводов заставил лепить горшочки. Их лепили колхозницы, их лепили школьники с учителями, раздобыли специальный станок и штамповали на нем — горшочки, горшочки, горшочки! Горшочками забили все склады, они стояли рядами в сельском клубе, в этих горшочках к весне капустная рассада зеленела даже на подоконнике кабинета Артемия Богдановича. Горшочки, горшочки, горшочки — залог будущего, начало изобилия!

В соседних колхозах к ним относились наплевательски, они лежали сваленные в кучи на морозе, смерзались, оттаивали в оттепели, к весне совсем развалились, их вывозили на поля, как навоз, — с глаз долой, из сердца вон.

Но Артемий Богданович уже тогда показал характер: ругал, умолял, сулил золотые горы, добился — почти все горшочки с капустной

рассадой были высажены на поля. Не знал он, что это станет началом большой для него беды.

Горшочки, горшочки, горшочки!.. Нет, не зря их славили, рассада поднялась, Артемий Богданович не мог нарадоваться: «Только бы не побили заморозки... В прошлом году килограмм капусты стоил чуть меньше двух рублей, ну, ежели он опустится до рубля. За тонну — круглая тыща, а то и больше... Только бы не прихватило заморозками...»

Заморозков весной не было, к осени зрели тяжелые кочны.

Вместе с ними назревала беда...

Она грянула!

Много ли мало, капусту в торфоперегнойных горшочках посадили все. А областные заготовители не построили новых овощехранилищ — по смете не предусмотрено. На базаре капусту перестали покупать... Эх, горшочки! На этот раз сельский клуб забили до потолка белокочанной, на Артемия Богдановича писались жалобы: закрыл клуб, гноит овощи. За труд колхозников — лепили горшочки, рассаживали, поливали, таская на плечах воду за километры, — нужно платить, а чем? Бери капусту... Капустой все сыты. Эх, горшочки!

Колхозники клянут, из района, не шутка, страшат судом — погноил сотни тонн высококачественных овощей.

Брань колхозников на председательском загравке не висит, от суда Артемий Богданович увернулся, проработки, нагоняи вынес, получил лишь выговор с занесением в личное дело, похудел, издергался, но приобрел опыт, из колхозного руководителя-новичка сразу стал тем, кого обычно называют: «Хватаные». Кажется, в это время он и начал на все случаи жизни применять поговорку: «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет».

Долго висел выговор, но... «выговор не туберкулез, носить можно». Зато новое наступление — грозную кукурузу — Артемий Богданович встретил, как мудрый полководец.

Артемий Богданович любил громкие слова, поэтому, выступая на районных совещаниях, нисколько не хуже других славил «королеву полей». Сначала славил, потом громко каялся: вымерзла сразу, с ходу, пришлось, чтоб не пустовали поля, засеять овсом и ячменем. Но в районе слезам не верят: «Почему у тебя вымерзла, у других нет? Проверить! Припечатать!» Выехали проверять и... наткнулись — у самой дороги, так что любому ударит в глаза, — поле кукурузы, вовсе не мерзлой, раскустившейся, по району поискать такую. «А ты говорил: вымерзло?» Артемий Богданович вздыхает, разводит руками: «Только это и сберегли. Все силы бросили, чтоб остатки спасти. Видит бог — старались. Создавали передовое звено кукурузоводов...» Артемий Богданович умолчал лишь о том, что все звено состояло из одного человека — Сашки Селезнева, если не считать тракториста Хохлова, который подвез навоз. «Все силы бросили, старались, спасли только пять га...» И опять Артемий Богданович немного преувеличивал — пяти га под кукурузой не было, двух, если измерить, не наберется. И все-таки ему дали новый выговор, чтоб впредь не вымерзло, но... «выговор не туберкулез, носить можно». Зато осенью были с хлебом, расплатились с колхозниками. Артемий Богданович не кичился, наоборот приbedнялся, жаловался: того нехватка, там неудача, кругом прорехи. Не верили особо, но в передовые не посадили и зерна сверх плана не потребовали, хотя опять было пригрозили: «Вкатим выговор»... Эва, «выговор — не туберкулез». «А умный в гору не пойдет...»

По всей стране загремело «рязанское чудо», брали пример, выполняли и перевыполняли мясо на закуп, резали не только телят, не только дойных коров, но и коров стельных, быков-производителей. Артемий



Богданович на совещаниях опять лез на трибуну: «Догоним и перегоним!» Но свой скот не спешил резать: «Догоним и перегоним по свинине!»

В те годы в свинарниках его колхоза сновали длиннорылые, длинноногие существа с острыми хребтинами, заросшие колючей щетиной. Они отличались неумейной прожорливостью и резвостью.

— На что мы корм изводим? — спрашивал Артемий Богданович своих. — На свиное мясо? Нет! На свиную энергию. С нашими поросятами только бы зайцев травить — не поросята, а борзые собаки.

И вот этих-то «борзых» Артемий Богданович давно хотел вывести, заменить породистыми, которые бы вместо проворства наделены были степенной ленью, нагуливали не только щетину, но и пуды сала и мяса.

«Догоним и перегоним по свинине!» «Борзые» подчистую шли под нож — хряки, матки, сосунки. Мясо есть мясо, лишь бы шло в зачет.

Правда, не так-то просто выехать на одних «борзых», тем более что соседний Блинцовский район выкинул лозунг: «Блинцы — вторая Рязань!» А с блинцовцами соревновались. И опять Артемию Богдановичу вкатили выговор. «Выговор — не туберкулез», пусть... «Умный гору обойдет...»

Вскоре после этого Настю назначили свинаркой вместо Пелагеи Крынкиной. А свинарник был пуст, даже запах свиней выветрился, углы затянуло паутиной. И вот однажды к нему подкатил грузовик, сам Артемий Богданович выскочил из кабинки — шляпа из соломки сбита на затылок, плечи расправлены, пухлая грудь вперед.

— Племяши приехали, встречай, тетушка! — крикнул он Насте.

С кузова сняли две большие плетеные корзины, в каждой из них — по пяти поросят, замученных длинной дорогой. Их высадили на согретую солнцем молодую травку, они лезли друг на друга, повизгивали — розовые, тупоносые, беспомощные.

Артемий Богданович шупал их, восторгался:

— Гляди! Ты на уши гляди! У свиней порода в ушах. Раз висят — значит, благородных кровей, из дворян! — И вдруг стал строг: — Вот, девка, подыми. Колхоз на тебя смотрит. Всех до единого, слышишь?

И Настя подняла всех, это было не так уж трудно — поросята быстро обжились.

Из них выросли десять дебелих маток, каждой было дано имя — Роза, Канитель, Рябина, Купчиха... Они стали основой свинофермы, каждый год по два раза плодили ушастых поросят.

Артемий Богданович не мог нарадоваться на них:

— У свиней порода в ушах. Дворян вислоухих разводим!

Хвалил Настю:

— Золотой ты человек. Придет время — на руках носить будем.

И вот при первой же оплошке свалил все на нее.

## 7

По дороге, зажатой сугробами, шла Настя домой. В пухлых, белых полях тонули черные избы знакомых деревенок — Степаковская, Кочерыжино, Кулички... В них попрятались люди. Настя несла в себе воспаленное недоверие к ним.

Те, кому она больше всего верила, обманывали ее. Венька Прохорёнок — первый, к которому потянулась, без хитрости, открыто. Венька — тонкая шея с проклюнувшимся кадыком, узкие плечи, стянутые тесным пиджаком, тяжелые, раздавленные работой ладони. И ведь робел перед Настей, не нахальничал, как другие парни, можно ли подумать, что обманет?..

Кешка Губин не похож на Веньку, потаскался по жизни, знал баб, ему нужно было к кому-то прилепиться, а Настя — по соседству, чем плоха — не урод, люди уважают. Зажал в сенцах, когда выходила от Павлы, дыхнул табаком, блеснул золотым зубом, сказал: «Пережду к тебе, примешь?» И опять поверила, и опять обман.

Артемию Богдановичу, казалось, какая корысть обманывать, ни в мужья, ни в полюбовники не лез. Ловко он вывернулся: «Сумей против силы справиться». Против силы...

Весь мир Кешки, ты одна против всех. Так и не заметишь, как люди жизнь по кускам повыкрадут. Самой бы у других рвать, да не умеет...

Снег, снег, поля, поля — обширна заснеженная земля, утыканная пахнущими печным дымом деревеньками, перелесками в инее, рассеченная оврагами в путанице кустов. Обширна земля кругом, а куда в ней спрятаться одинокому человеку?

Дорога вела мимо свиарника. Настя свернула к нему. От девичьих неудач, от вида больной матери она привыкла прятаться здесь, забывалась в работе.

Из кормокухни распахнутая дверь вела внутрь, в стойловое помещение. Настя не зажгла свет, и животные не учуяли ее приход. Из темноты слышалось сопение, вздохи, шевеление, тек густой запах. Укрытая от белого заснеженного мира, здесь шла своя жизнь, — Настя впервые подслушивала ее со стороны. Обычно ее приход нарушал эту жизнь: подымалась возня, визг.

Темнота, густой спертый воздух, хряк Одуванчик вздыхает, и его вздохи напоминают натужно стариковское: «Охо-хо!» Тоже жизнь, радуются, когда приносят корм, спят, чешутся, поросются и не замечают, что над ними текут дни за днями, не замечают, что живут. И Насте вдруг стало страшно от неожиданного открытия — живут, словно спят, к чему являться на белый свет, когда свету не видят?

«Охо-хо!» — вздох Одуванчика.

Кешка звал Настю с собой, в города, освещенные по вечерам огнями, в города, где кипят улицы от народа, где сияют окнами магазины, где не похожие на нее, Настю, люди разъезжают в машинах, ходят в театры. Кешка звал, и стоило ей сказать «да» — как забыты были бы эти стариковские вздохи Одуванчика, забыта засыпанная снегами деревня Утицы, и нынешние беды казались бы смешными, и ругает или хвалит ее сам Артемий Богданович — нисколько не важно. Кешка ни разу не заглянул сюда в свиарник, а звал: едем, не топи себя в свином навозе. Стоило только сказать «да»... Кешка звал, и уговаривать его было напрасно — не прельстился, что построят новый дом, что купят мотоцикл...

Темный провал дверей, в густом, перебродившем сумраке живут туши сала и мяса, без мысли, без страсти, покорно. И Настя, чтоб перебить эту жизнь, стала торопливо шарить по бревенчатой стене, отыскивая выключатель.

Свет вспыхнул, разбудив свиней — заворочались, завизжали. И в этом сонливом мире бывают минуты радости, даже неистовства. Поросята лезли друг на друга, толкались в перегородки...

Отлученные от маток больные сосунки лежали кучей под рядом. Только один отпал в сторону, растянулся, припав по-собачьи мордой к полу. Он вяло приоткрыл белесое веко, проклюнулся черной маленький глаз, переполненный почти человеческой покорной тоской. И эта тоска в упор, в самую душу, и то, что не в куче, а сиротливо умирает в стороне, резануло Настю по сердцу. Она взяла его на руки, прижала к себе:

— Бесталанный ты мой...

Из кучи вынесла в подоле троих, выкинула в навозную яму. В куче оставалось еще около десятка, все они обречены, все подохнут, но Настя все-таки возилась с ними, кормила, подносила к маткам.

Того, сиротливого, засунула за пазуху, пошла домой, волоча от усталости ноги.

Спускавшаяся с потолка лампочка без абажура заливала избу ярким светом, на столе в деревянной чашке прикрыт полотенцем нарезанный хлеб. Мать сидела у стола, сутулилась, ждала ее, и, как всегда, лицо у нее какое-то немое, как всегда, прислушивалась, что происходит у нее внутри, к болезни.

— Щи в печи и селянку с яйцом сделала, должно, перестоялась,— сказала мать.— Достань, лапушка, сама...— И почему-то сняла со стола свою иссохшую, с набухшими суставами руку, стыдливо спрятала в юбку.

Настя вынула из-за пазухи поросенка, положила к порогу:

— Чем бы укутать его?.. Умрет, не выходим.

Клетчатый Кешкин шарф все еще лежал на лавке, Настя взяла его, заботливо завернула грязного поросенка.

— Ты чего? — удивилась мать.— Вещь-то совсем новая.

Настя сердито обрезала:

— Иль думаешь, я корыстоваться после него буду?

И представился Кешка с этим шарфом на шее, в городском пальто, в шляпе и с золотым зубом. Сейчас, поди, толкается где-нибудь под фонарями на людной улице, глазееет — в какой бы магазин зайти. Мать, как и этого свиненка, что сунула под порог, уже не выходишь, все равно умрет. Умрет, а время пропущено, к кому-то там прилепится Кешка?..

Сухие, текучие морщинки на бледном лице матери, глаза застывшие, глаза, для которых не так важно то, что они видят — изба, Настя, печь, поросенок,— важно внутри, туда вглядывается, тем живет.

— Собери, лапушка, сама, мне сегодня чего-то совсем... Ох, господи! Скорей бы смерть пришла. Молю, молю, никак не вымолю.

— Раньше бы молила, а теперь чего уж — поздно! — прорвалось у Насти.

Вот как складно у нее получается: мать умрет, когда уже нет нужды умирать, когда уже Кешка утерян, когда счастье проскочило мимо. И что толку, что мать когда-то тянула ее, выкармливала на крапиве да на кугеле, что толку, что вытянула — нянька при свиньях. И впервые к больной матери обида, впервые злоба: пусть не хотела, а ее, бабье счастье, переехала:

— Поздно! Не вымолишь!

— Доченька, господь с тобой! Что говоришь?

— А то, мне хоть вешайся, как подумаешь, что за житье впереди.

— Господь с тобой!

— Видать, не со мной ваш господь, с кем-то другим!

— Так я, что ж... Так ты б покинула меня... Право, чего уж жалеть.

— Покинула! Покинула! А после — корчись от совести. Тоже не жизнь! Ох, нет мне удачи! Скажи, за что я проклята, за какие такие грехи? Оглянись, кто из девок так обижен, как я?

— Я бы рада...

— Уж молчи! Что толку от твоей радости! Ты-то хоть немного да хлебнула счастья, хоть чуток да с мужем жила, семью имела. А я?.. Может, мне радоваться, что сейчас щи не пустые буду есть, что в сундуке пальто нарядное лежит? И в этом нарядном пальте никому не нужна!..

Мать сидела, подавшись головой вперед, скрученные руки дрожали на коленях. А Настя уже не владела собой, выкрикивала с клекотом:

— Для чего живу? Для чего? Для того, чтоб еще одно пальто заработать? Потом спрятать и не надевывать! Ломлю спину с утра до вечера — для чего? Для кого? Для себя? Не-ет, для свиней! Вот она дочка! Радуйся вместе со мной-то! Чего не радуешься?..

Мать тихо произнесла:

— Не руки же мне на себя наложить. Нету смерти-то, не вымолю.

И Настя отрезвела от ее глухих, виноватых слов, опустила на лавку, шершавой, жесткой ладонью провела ото лба к подбородку, сдирая с лица кошмарную одурь.

— Раньше, слышь, приемные дома для стариков были... Есть ли теперь-то?

Настя терла лицо:

— Чтой-то со мной?.. Дичаю...

— Разве не вижу я, что век твой заедаю.

— Молчи! Молчи! Забудь! С ума схожу!..

— У меня, гляючи-то, кровью по тебе сердце обливается.

— Ох, прости ты меня, непутевую. Молчи! Нянчить тебя буду, лечить буду! Да и как мне без тебя? Без тебя одна-то совсем с ума свихнусь. Хотя для тебя и жить-то, маменька...

— Добрая ты у меня, Настька.

— Сорвалась я сейчас...

— Этого-то...— Мать кивнула к порогу, где из широкого клетчатого шарфа высовывался поросячий нос.— Чаю надо круто заварить да отпаивать. Помогает.

— То стервлюсь, то в жалость бросает. И этого вдруг так-то жалко стало...

— Добрая ты... А шарф зря — новый.

— Ну и пусть этот бездоля в новом пофорсит.— Настя подошла к порогу, опустила на колени.— Лежи, Кешенька, лежи, болезный... Вот и имя ему, самое подходящее. Коль выживет — память о том. Другой-то не оставил.

## 8

На следующее утро выбросила еще пятерых поросят. Заболели новые. Болезнь, как пожар...

Приехал дед Исай, привез корм, сообщил, что кладовщик Михей отпустил муки самую толику, почти всю заменил высевками.

Все ясно, считали — «гордое знамя колхоза», как тут не задабривать, не идти навстречу — ей подбрасывали и получше и побольше. «Гордое знамя»... Ошиблись. И сразу вместо муки — высевки. И жаловаться не думай, ответ один — как всем, так и тебе. Как всем, ты не особая.

И с отчаянья решилась: «Еще посмотрим, может, и особая...»

Она зашла к Павле:

— Подкинь вечером моей прорве корму. В Загарье еду, до ночи задержусь.

Дома она достала из сундука пальто с мерлушковым воротником, то самое, что купила в прошлом году, на голову накинула пуховый платок...

Пешком до тракта, а там к райцентру ходил автобус.

Сушеной черники она достанет и в деревне, в аптеке надо взять каких-нибудь трав, бутылку риванола и, главное, как можно больше рыбьего жира, на что не захотел раскошелиться Артемий Богданович.

В ветлечебнице просить — пустое. Было бы у старшего ветфельдшера, было бы и в колхозе — Артемий Богданович с ним в дружбе.

Конечно, все влетит Насте в копеечку, да теперь ей деньги не так уж нужны, раньше думала купить Кешке мотоцикл «уралец».

В аптеку сразу не пошла. Без рецептов, без бумаг с печатями ей не отпустят, тем более что собирается закупать оптом: стадо лечить — не мать, все полки в аптеке опустошишь.

Настя с автобуса двинулась к Маруське Щекоткиной, та родом из их деревни да еще приходилась родней, хотя и не близкой — троюродная сестра. Работала Маруська буфетчицей в сплавконторе, ее все Загарье знало.

— Выручай, Марусенька, не то съедят меня...

Маруська — добрая душа, своих помнит, не раз выручала, когда сахар в магазинах было трудно достать, — сплавки-то снабжаются на отличку. Вся деревня Утицы не пивала чаю без сахару.

— Выручай, Марусенька...

Маруська — добрая душа, невысока ростом, конопата, бойка на язык. Вот таким-то и везет в жизни, муж у нее работает на сплаве и зарабатывает крупно, не пьет, на стороне не гуляет, Маруськи побаливается. Дом недавно свой поставили, а в доме в каждой комнате по кровати пружинной, на всех перины горой. При такой жизни и к другим можно быть доброй.

В аптеке Маруська никого знакомых не имела, но зато хорошо знала местного фотографа Исаака Куропевцева. Тот уж знает всех и ей, Маруське, ни в чем не откажет. Кроме того, он — стар, верно, часто ходит в аптеку.

Однако Исаак Куропевцев был хоть и стар, побаливал, но лечиться не любил, а беде помочь мог — хорошо знаком с Василием Леонтьевичем Мигуновым, тот много лет работал в райздраве, сейчас на пенсии, авторитет еще не растерял.

Василий Леонтьевич оказался «тот самый», который нужен. Он сходил к врачам, чтоб получить рецепты, — «аптека-то не частная лавочка, перед кем-то отчитываться должна», — свел Настю с Анной Павловной, она заведующая аптекой, провизор, командовала штатом — одной девицей, которая недавно ушла в декретный отпуск, — так что полная хозяйка.

Василий Леонтьевич попросил, Анна Павловна не отказала, выдала все, что нужно. На беготню от одного человека к другому ушел целый день. Но Артемий Богданович, если б решился сам раздобывать, вряд ли бы управился быстрее, ему бы пришлось ходить из учреждения в учреждение, составлять бумаги, подписывать их. Вряд ли быстрее, да и вообще вряд ли достал все, так как с бумагами чаще заедает.

С двумя тяжелыми сумками, набитыми бутылками, пузырьками, пакетами, Настя двинулась от Маруськи к автобусу. Все-таки Маруська — добрая душа, она и покормила Настю, и помогла уложить все, даже сунула гостинец — двести граммов недорогих конфет: «Старуху побалуешь...»

Насте везло, по дороге ее обогнал грузовик и с ходу затормозил. Открылась дверка, высунулся шофер:

— Домой, зазноба?

Женька Кручинин, возивший ей обрат и сыворотку.

— Садись. И мне веселей. Люблю женское общество... Да сидоры-то брось в кузов. — целы останутся.

— Не, — Настя стала пристраивать сумки на коленях. — Бутылки у меня — побьются.

- Бутылки? Уж не свадьбу ли гуляешь?
- В моем заведении один жених — Одуванчик, да и то у него невест много.
- Тогда именины?
- Иль поминки. Чай, слышал уже, болезнь на поросят напала, вот спасаю — рыбьего жира купила да еще отравы всякой.
- Вроде не твоя забота. Тебе должны на подносики поднести.
- Жди. Хоть бы раскошелились... На свои деньги все.
- Мне б такую женку заботливую, как у твоих поросят хозяюшка.
- А своя что? Сменяй на другую, коль не хороша.

Променял бы старую  
 На девку угарую,  
 На кобылу,  
 На козу,  
 На козулю в носу...

Прогадать боюсь. Все девки хороши, и откуда только жены-злыдни берутся.

Машину заносило на поворотах, из тьмы на стекло кабины бесновато летели освещенные фарами хлопья снега.

9

Веселый Женька Кручинин выболтал. На другой день, близко к полудню, серый рысак пронес по улицам дрожки, остановился у свинарника. Из дрожек выкатился упрятанный в черный полушубок Артемий Богданович, вошел к Насте, на исхлестанном морозным ветерком лице — доброе смущение, скинул шубную рукавицу, протянул теплую руку:

- Вот из Дору гнал, решил завернуть. Как здоровьечко?
- Чье? Мое? Или их? — Настя без платка, раскосмаченная, гневливая, розовая — только что подшевеливала печь.
- Твое, твое, молодая. Ты будешь здорова, и они выправятся.
- Твоими молитвами, Артемий Богданович.
- Эх, кусачая.

Подошел к окну, где на подоконнике рядом стояли опростанные пузырьки, взял один, поднес к носу, внюхался, озабоченно покачал головой, взял другой...

— Ладно, не сердчай, девка... А за эти снадобья мы тебе заплатим. Не сердчай. Я ведь тоже могу ошибаться. У каждого своя манера к делу подходить. Я, к примеру, люблю с обходцем — «умный в гору не пойдет...» А ты, может, из тех, кто как раз горы-то берет в лоб... Много еще пало после тех? А?

После тех семи, что Настя вывалила перед Артемием Богдановичем, пало много и еще, не миновать, будут падать — считай на всем зимнем опоросе крест. Но Настя ответила заносчиво и решительно:

— Один — и хватит!

Сам Артемий Богданович урок дал: не будь слишком доверчивой, доверчивому — синяки и шишки, обходчивому — колобки и пышки, теперь-то она всю правду ему не скажет. Один! Пусть проверит, пусть пересчитает по головам, для этого ему придется скинуть мягкие чесаночки да полазить на коленях вокруг маток, а при этом недолго и полушубочек запачкать. Пусть проверит.

Но Артемий Богданович и не думал проверять:

— Один?.. Ай, молодец! Характер у тебя, девка, гвардейский. Не растерялась, вовремя спохватилась. Ай, молодец!

Голос искренний, уважительный, лицо открытое, от глаз добрые морщинки, но Настя нутром почувствовала — вряд ли совсем верит, не так прост Артемий Богданович. Не верит, а соглашается: пусть будет «один — и хватит», пусть кончится напасть; раз она, Настя, так говорит — значит, знает, что потом вывернется. Ну, а коль не вывернется — он, Артемий Богданович, не ответчик. А в сводках и расчетах — полный порядок, никто сверху не попрекнет, что у тебя в колхозе падеж; председателя за неудачи по головке не гладят.

— Ворочай, Настя. Мы еще покажем с тобой, что не лаптем шти хлебаем. Ставь точку над этой канителью и бери вершины!

И опять теплой ладонью пожал ей руку, заглянул в глаза, вышел. Привязанный к ограде рысак рыл снег копытом. Настя знала: Артемий Богданович теперь снова начнет ее славить.

И не ошиблась.

Не от кого иного, как от Артемия Богдановича, узнал Костя Неспанов о подвиге Насти. На следующий день прибежал к ней пешком, озябший, прячущий уши в поднятом воротнике, конопушки на щеках тонули в густом морозном румянце. Выудил из кармана затрепанный блокнотик и вечную ручку.

— Хочу матерьялец подать в районную газету. Так сказать, вроде коротенького очерка о передовике...

Костя был председателем сельсовета. Когда-то на этой должности сидели солидные люди, под их управлением было несколько колхозов. Слово председателя сельсовета было тогда законом для колхозных руководителей, попробуй-ка ослушаться, коль говорит глава местной власти. Но уже много лет, как эти разбросанные колхозы слились в крупный, один на весь сельсовет. И председатель колхоза как-то незаметно поднялся над председателем сельсовета. Клуб отремонтировать — помоги колхоз, у него и тес, у него рабочая сила, в школе дров нет — у колхоза и кони, и машины, и леса вокруг колхозные, не сельсоветовские. Первая фигура на селе — Артемий Богданович, а при нем где-то Костя Неспанов, и если у Кости над головой будет протекать крыша, то на поклон ему идти к тому же Артемию Богдановичу. Ныне уже слово Артемия Богдановича — закон для Кости, да Костя и не лезет в главари, чувствует — молод.

Не так давно Костя писал стихи про любовь, под Есенина и под Степана Щипачева:

Любовь — это буря в душе,  
Любовь — это верность навеки!  
Скажите вы мне, человеки:  
Чего не хватает мне?

Ему чего-то не хватало, чтоб стать поэтом, потому он начал писать заметки в районную газету. И каждый раз, когда он читал напечатанное типографским шрифтом то, что недавно было написано его рукой, когда видел в конце заметки свою фамилию «К. Неспанов», от волнения краснели уши.

К тем, о ком он собирался писать, Костя заранее относился с почти-тельным уважением, доходящим до робости. Уж коль он пришел к человеку с надеждой увидеть его имя в печати — значит, этот человек особый, он, Костя, не имеет права называть его Ванькой, Сашкой, Настей, как звал их вчера, обязан величать по имени и отчеству.

Вот и сейчас он смущался, от смущения с деловой строгостью наспливая почти отсутствующие брови, выпрашивал:

— А скажите, Анастасия Степановна, что побудило вас?.. Ну, какая внутренняя причина?.. Я с точки зрения переживаний, психологически...

— Чудак ты, Костя. Какая точка зрения да психологически еще... Поросята же дохли, а в правлении, знаю, никто не почешется...

Костя с важным видом делал пометки в своем блокнотике.

Дома он в тот же вечер сел писать очерк, который начинался: «Мела свирепая метель, заносила дороги. Преодолевая напористый ветер, по сыпучему снегу шагала девушка...»

Дальше шел рассказ о том, как эта девушка сквозь пургу несет медикаменты больным поросьятам. Костя знал, что метели в тот вечер не было и что Настя к дому шла не пешком, ее привез в кабинке грузовика шофер Женька Кручинин, но недаром же Костя мечтал стать поэтом...

Свое произведение он показал Артемию Богдановичу. Тот пробежал его, нахмурился:

— Спрячь и никому не показывай.

— Почему?

— Да потому, что незачем, голубь, выносить сор из избы. Прочитают в районе, ухватятся: «А, мол, вы такие-сякие — поросята у вас дохнут, свинарки из своего кармана лекарства покупают, даже лошади не догадуются дать — словом, никакого внимания ни к людям, ни к поросьятам. Как мы, братец, будем выглядеть? Такие писульки у знающих людей называются очернительством, слышал? То-то. А вот про свирепую метель ты красиво загнул.

Костя как похвалу, так и критику переживал одинаково — краснел ушами.

— Ничего. Сейчас не попал, в следующий раз угодишь в самую точку, — успокоил его Артемий Богданович. — Ты к этой Насте приглядывайся, не раз тебе сочинять о ней придется. Ей рость и рость. Еще вырастет не без нашей с тобой помощи — по области, а то и по всей стране загремит.

Косте не впервой было переживать неудачи. Он спрятал свой очерк, но слова Артемия Богдановича запали ему в душу — к Насте стал приглядываться, и очень внимательно.

## 10

Поросенок Кешка, которого Настя подыхающим принесла домой за пазухой, выжил, вырос, отъелся, стал тугой, как барабан, давно живет в общем стаде. Но пока Настя нянчилась с ним, отпаивала крепким чаем, черничным настоем, рыбьим жиром, он так привык к ней, что теперь, едва выпускали из клетки, ходил за своей хозяйкой, как собака, терся о ноги, замирал в блаженстве, когда протягивала руку.

Косте Неспанову, частенько заглядывавшему на свинарник, Настя говорила, показывая на крутобокого Кешку, путавшегося у юбки:

— Вот — скотина, а верней не отыщешь. Добро помнит. Я в омут брошусь, он — за мной. Среди людей, поди, таких не бывает. У людей-то, у каждого — своя рубашка ближе к телу.

Костя косился на млеющего под Настинными руками Кешку, возражал:

— Ты это брось людей с поросьятами сравнивать. «Человек — это звучит гордо!» Горький сказал.

— Вот то-то, что гордо. Всяк своей гордыней живет. А у животных душа проста. Что, Кешенька, что, сизарь мой, вот я тебя, вот как... Ишь, лыбится...

— Золотой ты работник, Настя, а политически незрела. И на людей черства. Вот я, к примеру... — У Кости начинали наливаться багрянцем уши. — Вот я с открытой душой к тебе, а ты хоть раз мне слово ласковое бросила? Ласковые-то слова у тебя на поросят уходят. Иди навстречу людям... Вот, к примеру, я... Я, конечно, ничем других не лучше, но...



Костя замолчал. Настя, задумчиво почесывая млеющего Кешку, холодно и пытливо присматривалась к Косте:

— Лучше ты иль хуже — не пойму. Ты блаженный, стихи пишешь, статьи, речуги толкаешь на собраниях. Ни от твоих стихов, ни от твоих речей никому ни жарко и ни холодно.

У Кости сердито горели уши. Эта засидевшаяся в невестах рослая девка с крутыми плечами и самостоятельным характером, которого побаивался сам Артемий Богданович, не замечает его, глядит как бы сквозь. А Костя последним парнем никак себя не считал.

Зимой Настя бросила Артемию Богдановичу, словно отрезала:

— Один — и хватит!

А к тому времени подход уже не один, да и после выносила тайком в подоле. Тайком, утаила и — вот диво — страха не чувствовала, что открывают обман.

О каждом поросенке, как только родился, сообщи в колхозную контору — есть, мол, прибыль на голову. Эту голову сразу записывают в книгу, в графе «приход» цифра увеличивается на единицу. Сдох поросенок — спиши, акт составь, чтоб в другой графе «расход» была проставлена новая цифра, уже на единицу меньше. Учет, на то и существует бухгалтерия во главе с бухгалтером Сидором Петряевым. Сам он мужик тихий, покладистый, жена на нем верхом ездит, да законы возле него строгие. Попробуй не списать вовремя хотя бы одного подохшего сосунка — откроют книгу и цифра покажет: не сходятся концы с концами — на единицу меньше, где эта единица? Может, продала, может, во шах съела, и не думай доказывать на пальцах. На суд, скажем, не подадут, а оплатить из собственного кармана заставят.

Вынесла тайком в подоле добрый десяток... Казалось бы, прямо-хонько сама себя к беде ведешь и свернуть нельзя — дохлых поросят не оживишь. Но... «Умный гору обойдет...» А каким путем? Кого это интересует?

Весной — новый опорос, как бы его ни планировали там, в конторе, какие бы цифры ни писали, а угадать заранее никто не в силах: сколько матка Рябина вымечет поросят — может, пять, может, десять. Сколько ни скажи — поверят и уж, конечно, сломя голову не бросятся считать, с цифрами, записанными в книгах, сравнивать: «Не собираешься ли обжулить нас, голубушка?» Любая свинарка удивилась бы и обиделась такой проверке. Обычно документы на рожденных поросят оформляют в конторе, от которой до Настиной свинофермы добрых семь километров, верят слову, сразу подохших поросят даже не записывают, чтоб особо «не портить показатели».

Весенний опорос покрывает недостачу. Интересоваться поросятами начнут осенью, когда придет время рассчитываться с государством по мясу. Но и тогда всех по головам считать не станут, могут только спросить: почему не подросли, почему вес ниже нормы? Ну, тут отговорок полный мешок: «Поросята-то зимние, а вы бы хотели полный вес, спасибо говорите, что таких вытянула». «Умный гору обойдет...» Большого риска нет, а совесть... Что совесть? Артемий Богданович, ежели прижмет, не посовестится на нее, Настю, вину спихнуть. Почему она должна быть совестливее его?

Артемию Богдановичу приходилось отдуваться за зимний опорос. Настя как-никак, пусть с потерями, остановила падеж, сохранила часть поросят, у других же свинарок попередохли не только сосунки, но и откормочные, заразились матки. Свинаркам снижали оплату, и они на чем свет стоит костили Артемию Богдановича. И тут единственный ангел-хранитель — Настя. На все попреки, на все жалобы у Артемию Богдановича

один ответ: «Не справились, а почему Сыроегина справилась? Она что — дух святой, не такая же свинарка? Все дело в умении и добросовестности!» И фотографии Насти наклеили на Доску почета, ее имя постоянно склоняли на собраниях, о ней с уважением писали в районной газете. И становилось ясно каждому — на околице деревни Утицы зреет знатный передовик колхоза. А чтоб он быстрее зрел, нужно подкармливать. Кладовщик Михей по словесному указу Артемия Богдановича отпускал Насте на свиней лучшие корма, не заменял больше муку высевками. Лучше и больше, так как сдохшие поросята числились живыми, росли, крепили, им тоже отпускалось на прокорм.

Так прошла зима, из-под снега выползли прогретые проплешины, в оврагах копилась застойная зеленая вода. И Настя по утрам бежала на ферму уже при молодом солнышке — дни становились длиннее.

После зимнего опороса матки не набрались сил, и весенний приплод был мал. Рябина, самая плодovitая, меньше восьми никогда не метала, а тут принесла шестерых. И, как назло, где тонко, там и рвется. Хотя Настя не спала ночами, затемно вскакивала с постели, накидывая платок и ватник, мчалась к ферме, часами не отходила от маток, но все-таки не доглядела. Матка Роза, страховидно толстая, неуклюжая, ворочаясь с боку на бок, задавила сразу троих. А впервые запущенная под хрюка Голубка, на которую Настя рассчитывала — будет хорошей маткой, — оказалась со злым пороком. Голубка, крокодилком бы ее звать, — выметала четверых и тут же сожрала. И не обошлось без поштучного отхода: одного угораздило свалиться в навозную яму, другого искусал хряк...

Настя извелась, почернела лицом, мать дома пряталась от нее на печи — вдруг да вгорячах облает. А Настю продолжали славить, Костя Неспанов ходил вокруг с блокнотиком, он написал в областную газету, ждал ответа. И часто заскакивал тоже замотанный делами Артемий Богданович, топтался в проходе, заглядывал под маток, бодрил:

— Держи марку, Настя. На тебя глядит вся колхозная общественность.

Настя сердито пеняла ему на скудный приплод, но о потерях помалкивала. Задавленных Розой сосунков снова тайком вынесла в подоле...

Списать под этот опорос мертвые поросячьи души? Наверно бы, можно. У нее не красно, а у других и совсем из рук вон плохо. Другие-то не получали добавочные корма, не обиходили маток, как она обиходила, не вскакивали по ночам с кровати... Списать можно, грехи покроются, но тогда уж похвалы не жди — кисленькие попреки и, быть может, вместо чистой мучки высевки. «Что ж это ты, Настя, по показателям упала, на одной половице с Марией Ключиной стоишь?» А у свинарки Марии Ключиной пустые клетки паутиной затягивает. Нет, она ей не ровня!

Семь бед — один ответ. Раньше не испугалась проверки, а теперь-то и подавно бояться нечего.

Для виду Настя решила списать двоих на Голубку. Только двоих. Приплод невелик, но и процент отхода низок. Верьте!

Нежданно-негаданно нагрязнул носатый паренек в кожаной куртке, увешанный фотоаппаратами, заставил выгнать всех свиней под открытое небо, поставил посреди тучных маток Настю и строгонько покрикивал: «Не смотрите в объектив! Минуточку!» Хлопотливо шелкал, то забегая сбоку, то приседая, то забравшись на изгородь. Прославлена была на область не только Настя, но и ее любимец Кешка. Настя-то стеснительно смотрела в сторону, а Кешка, прижавшись к юбке, нахально уставился со снимка, он не считался со строгими приказами носатого паренька: «Не смотрите в объектив!»

После дождей, по расползшейся дороге, еле-еле пробрался к Утицам автобус, из него высыпали девчата и парни — все свой брат, колхозники из соседнего Блинцовского района. Они лазали по свинарнику, изучали свиней, расспрашивали:

— А каков рацион? А когда поишь? А собираешься ли еще проводить зимний опорос?..

Глядели в рот, ловили каждое слово.

## 11

А дома по-прежнему — пустынно и скучно. Мать держалась, ей не хуже и не лучше, лечилась травками. По-прежнему Настя заставляла ее сидящей на лавке с замороженным взглядом, направленным куда-то внутрь себя, вглубь.

Мать-то не считала Настю счастливой. Вот если б внуки по избе ползали да стоял бы в доме запах ядерного мужика, дымящего табаком, приходящего с работы в пропотелой рубашке, тогда бы — у дочери жизнь, как у людей. А так и с почетом, и с фотографиями в газете, а бобылка бобылкой, для бабы это последнее звание.

Потому-то Настя и не любила бывать дома, что каждую минуту чувствуешь немое сожаление матери.

Они с матерью сидели за столом, Настя хлебала из чашки, мать смотрела, придвигала то соль, то нож для хлеба. Молчали, обо всем давно переговорено. Корм в свинарнике задан, вечер свободный, как-то надо его убить. Обычно Настя убегала к Павле поболтать. Павла каждый раз сообщала новенькое о Кешке — живет в Соломбале, работает на лесозаводе, холостяжничает, как бы при одинокой жизни карусель у него не пошла, сама знаешь, от стопки никогда не отказывался, а дружков-собутыльничков везде хватает... Павла доносила не без задней мысли — вот, мол, хоть ты и в славе, и при деньгах, а мужики на тебя что-то не очень падки, нам-то Кешка пишет, а тебе даже и поклонны не велит передавать. Павла в эти минуты была неприятна Насте, но приходил вот такой свободный вечер — и тянуло к ней, послушать о Кешке.

И сейчас она, дохлебав бы щи, поднялась бы и ушла, но за окном раздался храп коня, стук ног на крыльце, знакомый голос:

— Дома хозяйка?

Артемий Богданович — что с ним? — синий бостоновый костюм, в каком выезжал только в область, не ниже — для района и обычный хорош,— рубашка белая, галстук, и лицо — что пятак, натертый о валенок. За Артемием Богдановичем бочком Костя Неспанов, тоже в глаженном костюме, отложной воротничок вокруг шеи, туфли начищены, щеки красны и глаза бегают где-то по потолку, выше голов.

— Здоровы будете?

— Здоров, коли не шутишь, — ответила Настя, чувствуя зябкость в спине и слабость в ногах: начинала догадываться. — К столу бы пригласить, да не сказались — стол-то не праздничный, а вы — как на именины. Может, порогом ошиблись?

— Нет, вроде, порог тот и люди те, что нам нужны. Правда, Костя? — Артемий Богданович решительно присел к столу. Костя на краешек лавки в сторонке.

Мать Насти с натугой поднялась, двинулась было к печке, но Артемий Богданович остановил ее:

— Нет, мамаша, останься. Не посторонний человек, а, так сказать, напротив — самый нужный в нашем деле. Правда, Костя?

У матери дрогнули морщины, она села, тревога и выжидание застыли на лице.

Артемий Богданович выбросил на стол руки, пошевелил пальцами, крикнул смущенно, исподлобья взглянул на Костю — тот густо покраснел.

— Ну вот, — начал Артемий Богданович, — я человек прямой, вилять не люблю. Обычаев старых тоже не знаю. Но, помнится, в прежние-то годы начинали: «У вас есть красный товар, у нас — купец молодой...» Так, что ли, мать? Настя, ясно?

Настя молча покосилась на свекловичную физиономию Кости.

— Я сват, Настя! Сам-то он хуже девки робеет, пришлось взять на себя. Впервые в жизни, значит, с этой должностью справляюсь, может, чего и не так, не обессудьте... Ну, Настя?

— Чего — ну?

— Эва, она еще спрашивает! Пойдешь за него замуж или какого там принца крови из заморских стран подождешь? Вопрос, так сказать, прочувствованно — ребром. Ну?

Настя сжала руки коленями, уставилась в стол, молчала. Артемий Богданович смущенно крикнул:

— Ну, не тяни! Иль он чем худ тебе?

— Худ?.. Пожалуй.

Костя тоскливо сцепил челюсти, поднял взор к потолку, проскулил:

— Пойдем, Артемий Богданович, отсюда. Что уж...

— Это как так пойдем? — У Артемия Богдановича гневливой темнотой налились подглазницы. — Уйдем, когда выясним, не раньше того. Уйдем и позор снесем. Выкладывай, чем он тебе худ?

— Одним только. Молод. Я уж в годах, наемни двадцать восемь стукнуло, что мне к себе детей припутывать?

— Детей? Костя, слышишь?.. Да обидься ты, чертов сын! Стукни по столу, чтоб чашки с ложками на пол посыпались!

— Пойдем, Артемий Богданович, чего уж...

— Эх, завел волюнку! Ты не можешь, так я стукну! — И Артемий Богданович действительно влепил тупой кулак в столешницу. — Тебе — двадцать восемь, ему двадцать пять в этом месяце выпадет. Три года разница. Как ты успела постареть за эти три года, чтоб он тебе дитем стал? Сколько Кухареву Гришке, помнишь? А сколько его Верке?..

— То-то и оно, — глуховато и спокойно возразила Настя, — иль слава о Гришке не идет? За любым хвостом волочится, юбку на козу одень — побежит, принюхиваясь. Такого не хочу!

— Ха! Он ли на Гришку похож? Да ты оглянись — с таким ли характером хвосты ловить? Не парня, а ярочку к тебе в дом ввожу.

— Артемий Богданович! — Костя вскочил, щеки пошли пятнами, зеленые глаза плавились, голос скололся на сипленький тенорок: — Не хочу! Баста! Можно только по... по любви! А раз нет... То чего уж. Я пошел, Артемий Богданович...

Артемий Богданович вдруг стал спокоен и суров:

— Ну, Настя, скажи ему, чтоб уходил. Ну-ка, скажи, я послушаю.

— Я пошел, Артемий Богданович! Я пошел... Раз нет, раз не лежит сердце... Чего уж...

— Что-то я, Настя, голосу твоего не слышу. Молчишь?.. Ну, тогда я скажу последнее слово, другого не будет. Цену себе набиваешь? Хвалю! Цену себе каждый знать должон. Но только помни: так и с товаром на руках остаться можно. А твой товар — скоропортящийся. вроде молока, поддержи подольше — там уж за бесценок никто не примет.

— Цена! Бесценок! — вдруг завопил Костя. — Что за слова? Не хочу! Не буду! Знал бы я да разве... Да ну вас!..

Он повернулся и пошел к двери. Мать, сидевшая за столом все с тем же тревожным выжиданием в глубине бесцветных морщинок, вздохнула, опустила глаза.

— Костя, обожди,— тихо сказала Настя.

И Костя застыл — одна нога в сенях, другая в избе.

— Неуж любишь? — все так же тихо спросила Настя, пристально глядя на застывшего на пороге Костю.

— Да теперь все! Теперь внутри перегорело. Не-на-вижу! Врага ты, Настя, во мне нажила во веки веков!

И Настя улыбнулась, оглянулась на Артемия Богдановича:

— Чай, принесли с собой чего-нибудь? А то ведь я не заготовила, не ждала таких гостей.

— А как же, как же,— колыхнулся Артемий Богданович.— Костя! Там в сено сунута, вынь поди!

Костя помялся в нерешительности и вышел. Вернулся хмурый, пряча глаза, поставил на стол поллитровку.

## 12

С Кешкой даже не успели расписаться, а о свадьбе даже и разговоров не было.

Артемий Богданович сам взялся за дело, решил устроить парад.

В троицын день, по старой памяти, гуляли все — и верующие старухи, и неверующая молодежь. На этот счет Артемий Богданович при-знался: «Бога легче выкорчевать, чем праздник». И потому он созвал правление, посовещался, выпустил приказ:

«Во имя ликвидации религиозных предрассудков правление колхоза «Богатырь» постановило:

1) отменить праздник святой троицы;

2) вместо него праздновать каждый год свой социалистический, колхозный праздник — «Встреча лета»;

3) в этом году во время праздника «Встреча лета» широко отгулять колхозную свадьбу К. И. Неспанова и лучшей нашей свиарки А. С. Сыроегиной;

4) на проведение свадьбы правление колхоза выделяет пятьсот рублей;

5) свадьба будет проходить на берегу реки Курчавки возле бывшей Редькинской мельницы, в случае плохой погоды — в сельском клубе;

6) на свадьбу приглашаются все члены колхоза «Богатырь».

Но и это не все. Артемий Богданович всегда считал: «Мало сделать похвальное дело — нужно добиться, чтоб за него похвалили». О колхозной свадьбе должен шуметь весь район и знать вся область.

Артемий Богданович скупил в магазине сельпо залежавшиеся пачки чертежной бумаги и с ними поехал в райком, беседа была недолгой, после чего в районной типографии раздался телефонный звонок:

— Тут к вам зайдет председатель колхоза «Богатырь», посодействуйте.

И Артемий Богданович не заставил себя ждать:

— Великая просьба — отпечатайте покрасивее.

Выложил на стол пачки чертежной бумаги, преподнес написанный своею рукою текст:

«Уважаемый товарищ . . . . . 2 июня, сего года, в селе Верхнее Кошелево Загарьевского района колхоз «Богатырь» выдает замуж знатную свиарку Анастасию Степановну Сыроегину за председателя сельсовета Константина Ивановича Неспанова. От лица молодых и от лица всего колхоза просим Вас, дорогой товарищ, быть желанным гостем на нашей колхозной свадьбе.

Начало в три часа дня».

Великая просьба... Как тут откажешь.

Приглашения были разосланы в область: секретарю обкома по сельскому хозяйству, председателю облисполкома, главному редактору областной газеты, начальнику сельхозснабжения... Посланы они были и в район: опять же первому секретарю Пухначеву, секретарю по пропаганде Кучину, председателю райисполкома Гаврилову, директору районного отделения госбанка Сивцову (нужный человек), председателю райпотребсоюза Тужикову (не менее нужный) и еще кой-кому по расчетам Артемия Богдановича.

Из района — сомнений не было — приедут, а из области — за двести километров, на свадьбу — ой, вряд ли. Но Артемий Богданович и не рассчитывал на высоких гостей из области. Важно, что там прочтается приглашение, лишний раз узнают, что в Загарьевском районе существует колхоз «Богатырь», который, по всему виду, живет на широкую ногу, дружно справляет свадьбы знатных людей. Артемий Богданович не без умысла поставил перед именем Насти слово «знатная».

Приглашения были разосланы, а Артемий Богданович развивал бурную деятельность, брал за бока приглашенного на свадьбу председателя райпотребсоюза Тужикова, закупал у него: селедку — бочками, постное масло — ведрами, водку, красное вино, шампанское — ящиками. А в деревне Степаковская сноровистая бабка Анфиса варила хмельную бражку и на меду и на солоде.

По всему колхозу из деревни в деревню шли возбужденные рассказы о приготовлениях, все ждали веселый день. Два гармониста, Павел Клешнев и Серега Рюхин, один из села, другой из деревни Кулички, вечные соперники — не известно, кто из них мастеровитей в игре, — были освобождены от работ «для репетиций» со строгим наказом, чтоб не ударили в грязь лицом.

Настя шила себе белое подвенечное платье. Костя на правах жениха приходил к ней каждый день, сидел на краешке лавки, напряженно вытянувшийся, с густым торчащим ежиком, который так и хотелось пригладить ладонью, спросить: «Кто тебя обидел, лапушка?» Он молчал, вздыхал, иногда ронял:

— Брошу свою должность, пойду в трактористы или в животноводы.

— Это почему?

— Бесперспективная у меня работа. Может, там смогу показать себя. Нет, бесперспективная.

— Зато чистая. В животноводах-то, гляди, ручки навозом испачкаешь.

— Навозом испугала. Я, может, за светлое будущее жизнь готов отдать.

И торчит мальчишеский непокорный ежик, под чистым лбом обижено зеленеют глаза, и Настя со зрелой бабьей жалостью думала: «Право, не на три года моложе, на все тринадцать, с кем судьба сводит — желторотенький».

И вот он — день.

На небе ни облачка, засасывает синий воздух колом взмывающих стрижей. Река Курчавка сквозь темную воду червонится камешковым дном. Березки на берегах задумчиво перебирают не потерявшей еще весенней яркости листвой — сочные, песенные березки троицына дня.

На зеленом берегу наспех сколочены длинные тесовые столы буквой «П», в челе — место для молодых и для начальства. Здесь стол покрыт белыми простынями, на остальных простыней не хватило. Вокруг стола хлопочут жинки-общественницы, уставляют закуску: холодное

мясо ломтями — свинина, баранина, говядина; райпотребсоюзская, крупно нарубленная селедка с вареной картошкой; квашеная капуста, щедро политая постным маслом; на противнях горы холодца, размякающего от жары; огурцы прошлогоднего посола; бордовые винегреты под тем же райпотребсоюзским постным маслом. Меж всем этим убранством — ясные бутылки столичной, сумрачно нарядные — шампанского. Ближе к молодым в стеклянных графинах, какие обычно украшают столы президиума во время заседаний, — мутно-янтарная бражка, налитая по самые пробки. Подальше от молодых — та же бражка, но только в разномастных эмалированных чайниках.

Народу на берегу, что пчел на летке перед роением, — топчутся, мнут траву, сходяются кучками, степенно беседуют о погоде, о яровых, о том, что неплохо бы дожидчек, нет, не сегодня — боже упаси! — как-нибудь на днях. Все в костюмах, в чистых рубахах, кой на ком пучится шляпа, кой-кого не сразу распознает и сосед, влажный речной запах нет-нет да и перебьет густая волна нафталина. Девицы ходят в цветистых платьях, при часах на запястьях, каждая держит в кулаке чистый носовой платочек. Дед Исай мученически морщится — жмут ни разу не надеванные ботинки. Все стараются углубиться в беседу, чтобы не глазеть зря на стол — неприлично выказывать нетерпение.

Наконец гуляющей походкой подошли гости из района: невысокий, коротко стриженный Пухначев, рослый, начавший полнеть Кучин, осанистый Тужиков из райпотребсоюза, тихий, в очках директор из банка... Подошли, растворились среди масс, примкнули к разговорам о яровых.

А молодых нет. А уже четвертый час и солнце клонится вниз, и кой-кто стягивает с себя шерстяные праздничные пиджаки. Молодых нет, ~~не~~ видать и Артемия Богдановича.

И тут раздался крик:

— Б-бе-ре-егись!

Храпящая тройка, пританцовывая от нетерпения, несла бричку, за кучера, заваливаясь на спину, багровея лицом, — Артемий Богданович.

— Бе-ере-егись! Люди добрые, дорогу молодым!

Ветер играет белой накидкой невесты, жених в черном костюме, как скворец, задрал вверх подбородок — душит тугой галстук.

И сразу берег беспокойно зашевелился, одни расступались перед конями, теснили других, эти другие поднапирали, чтоб поглазеть поближе, — толкотня, смех, выкрики:

— Богданыч-то, словно Илья Пророк.

— Вместо бороды бы веник приклеить.

— Жаль, бубенцов нет, по-старому-то с бубенцами.

— Вывелись бубенцы...

— Люди добрые! Дорогу!

И визгливые бабьи голоса:

— Гости дорогие! К столу прьсим! Гости дорогие! Пожалте к столу! Не обесудьте — чем богаты, тем и рады!..

Упрашивать никого не пришлось, хлынули, приступом беря скамьи, потирая руки. Оказывается, как ни длинны столы, а гостей больше, чем нужно. Тесно сдвигались, особенно охотно парни к девкам, смех, советы:

— Прижми-ко Нюрку — сок потечет.

— И так стараюсь.

— Отцепись, банный лист! Василья крикну!

— Твой Василей, глянь, на Дашке сидит, ножки свесил.

Какая-то компания парней развалилась в сторону, развесив по сучьям пиджаки:

— Механизаторы, сюда давай! Дед Исай, ты когда-то прицепщиком был!

— У него теперь своя механизма на четырех ногах.

— Нет уж, браточки, я и здесь ладно угнезвился.

Тошная, костистая спина деда Исаия — между двух пухлых бабьих спин.

— Тут меня греют.

Во время этой суматохи появились еще два гостя, их заметили только тогда, когда один из них начал выплясывать перед молодыми, целиться из фотоаппарата.

— Кто такие?

Оказывается — область не забыла, из газеты прислали, чтоб описать, фотографировать, — знай все, как гуляют в колхозе «Богатырь»!

Костя — с растерянно задранной подбородком, потный, в черном костюме. Настя — вся белая, горбится от страха, от лютого смущения, кажется — вот-вот сползет под стол. И рядом мать, страдающая от беспокойно крутящегося на своем месте Артемия Богдановича. И почетные гости с невнятными, чуть смущенными улыбочками...

У Насти на голове рюшечки, покрывало, заполненное речным воздухом, спадает на плечи. Невестин наряд Насте не очень-то идет, лицо из белого газа — круглое, широкое, с крутыми скулами, как деревянная чаша, и буйная плоть — плечи, груди — слишком решительно выпирает сквозь тонкую ткань. Настя чувствует взгляды, смущается до одеревенения, прячет под стол раздавленные, красные, заскорузлые от работы руки.

Бригадиры за столом и правленческий актив, исполняя волю Артемия Богдановича, шепчут направо и налево:

— Передай-ко, чтоб тут особо не наливались. Как бы при гостях-то какой конфуз не вышел. Особо Егорке Митюхину накажите, он же дурной, когда хлебнет... Вот гости уедут, бражка останется, вечерком возьмем свое...

И всяк, кто бы ни получил такое наставление, понимающе кивал:

— Само собой, раз зазвали — держи марку...

Но сильнее всяких уговоров трезвило начало пира.

Первым поднялся со стопкой в руке Артемий Богданович, ему по обязанности положено произнести вступительную речь о том, что колхоз идет в гору — святая правда, давно ли получали триста граммов на трудодень, — что лучших своих людей колхоз умеет ценить, что Настя Сыроегина — прощенья просим за оговорочку, уже Неспанова, — была ничем, а стала всем, что такие, как Настя, — хозяева жизни, что спасибо дорогим гостям, что приехали... Артемий Богданович говорил до тех пор, пока не занемела рука, державшая стопку, и только тогда провозгласил:

— За здоровье молодых!

Поднялся первый секретарь райкома Пухначев, в жизни он был прост, скор на слово, но тут случай особый, быстрота и простота неуместны. Он тоже долго говорил, держа стопку, что растут кадры, что поднимается экономический и культурный уровень, что вот вам наглядный пример — знатная свинарка...

Второй секретарь по пропаганде Кучин долго увязывал свадьбу Насти с международным положением, с посягательствами империалистов...

Однако дальше пошло быстрее, так как Тужиков, председатель райпотребсоюза, речей гладко говорить не умел: колупнул международное положение — спутался, завязал было речь о светлом будущем — и тут спутался, махнул рукой и рявкнул:



— Горька-а!!

И столы охотно подхватили:

— Го-орь-ка-а!!

Костя, путаясь в невестинной газовой накидке, послушно потянулся к Насте, клюнул носом в щеку.

— Э-що горь-ка-а!!

Снова клюнул.

Тут кончилась организованность, начался разброд, чекались кто с кем хотел:

— Эй, кум, будь здоров!

— Пашка, едрена-матрена! Забыл? Дотянись!

Пробовали говорить речи в честь гостей, но не получилось, хотя за их здоровье охотно пили.

Грянули дружно две сыгравшиеся гармошки, молодежь зашевелилась, полезла танцевать, но танцы сбил шофер Женька Кручинин со своей Глашкой. Женька выскочил и начал выкаблучивать — мелькали начищенные голенища, летали ладони, моталась разлохмаченная голова, с разгону врал в землю перед Глашкой:

Эх, хватъ да похватъ —  
Я в прямом расстройстве!  
Надоть бы свинарку сватать —  
Ту, что попородистой!

Глашка, чернявая, узкобедрая — сама в невесты годна, хотя и двое детей, — каменея в бровях, вихляя плечиками, плыла, потрясая скомканным платочком в руке:

Ой, мил соколок,  
Не держу за локоток:  
Приживи свинарочке  
Свиночек три парочки...

А их, припадая на колено, фотографировал репортер из областной газеты.

— Товарищи! Граждане! Упустили!! — надрывался Артемий Богданович. — Товарищи! Выпить забыли!

— Не забыли — пьем!

— За здоровье забыли выпить! За мать Насти! За ту, которая родила нам, которая для нас вырастила...

— Ура-а Анне Егоровне!

— Ур-ра-а!!

Для всех неожиданно вынырнула пригнувшаяся к столу старушка. Фотограф из газеты сломя голову кинулся к ней... Вынырнула и снова канула, снова куролесил Женька, сверкая начищенными голенищами.

До самого вечера было шумно и весело над рекой Курчавкой, но праздник не дорос до того горячего уровня, когда враги нежно мирятся, а друзья ссорятся. Только деда Исая вывели из-за стола — слишком ослаб, — уложили под ближайший куст, сняли тесные ботинки, чтоб не жали. Да председатель райпотребсоюза Тужиков вдруг вспомнил, что он несчастлив в жизни, и пошел было к реке топиться, но и его отговорили вовремя.

Настя была трезва, сидела за столом, как связанная, а Костя обнимал за плечи Артемия Богдановича, втолковывал ему:

— Первый человек у нас — она! — и указывал на Настю. — Второй — ты. А третий — я!

Артемий Богданович, красный, маслянистый, довольный всем, ухмылялся:

— Может быть, может быть... Я ведь, сам знаешь, в гору-то не ползу, могу и без номера походить.

— Нет, ты второй человек. Признаю! Она — первая! А третий — я!

На берегу реки вечер кончился, начинался по деревьям. Далеко за полночь надрывались гармошки во славу Насте в девичестве Сыррегина, ныне Неспановой. Далеко за полночь кипел праздник — и враги мирились, и друзья ссорились.

## 14

Ранним утром бежала сломя голову на свинарник, затапливала печь под котлом и, пока котел закипал, опять сломя голову мчалась домой, чтоб успеть накормить Костю, проводить его на работу.

А дома ее встречал музыкой пущенный на полную силу приемник, и Костя, уставясь в зеркало, гримасничая, брился, и мать словно бы жила, воевала с ухватами, тащила к столу топленое молоко.

Костя, робкий, нескладный, какой-то ломкий, и Настя рядом с ним чувствовала себя грубой, сильной, с каждым днем все ощутимей материнская ответственность за него и, когда уходил из дому, почему-то боялась — а не случится ли там на стороне с ним беды, хотя знала: какая беда, занимается, как и занимался, сельсоветовскими делами. Мало-помалу приходила вера, что не случайно к ней потянулся Костя, что без нее ему трудно, а значит — прочно, значит — надолго, не упорхнет.

До сих пор бабью жалостливость тратила на какого-нибудь полудохлого поросенка, больше некуда, кто ее примет эту неизбывную жалостливость, кому нужна? Сейчас ее принимает, по ночам, косноязыча от удивления, шепчет:

— Жару в тебе, что в печи, право.

И Настя бешено крутилась между домом и свинарником — ни минуты свободной, некогда оглянуться по сторонам. Вот это жизнь! Даже загадай раньше — не смогла бы представить лучше.

А давно уже газеты из номера в номер печатали статьи и заметки под общей шапкой: «Навстречу областному совещанию животноводов!» Давно уже в колхозной конторе подбивали итоги: за такой-то квартал надоено, выращено, продано... И где-то в незнакомом Насте Густоборовском районе жила соперница, тоже свинarka, тоже знатная, знатнее Насте, потому что гремела по области давно, потому что и теперь приплод у нее больше, потому что в свое время была награждена орденом, — Ольга Карпова! С полгода назад Настя и думать не думала с ней сравняться — высока, рукой не достанешь. А теперь Артемий Богданович сказал без обиняков: «Вызывай ее на соревнование, не робей, воробей!» Помог составить Насте письмо.

И, как всегда, Артемий Богданович не остановился на полдороге: «Мало сделать похвальное дело — надо добиться, чтоб за него похвалили...» И он добился, что Настеино письмо напечатали сразу в трех газетах: у себя в Загарье, в незнакомом Густоборье и в области.

— И наши утки по верхам летают. — Артемий Богданович потирал руки.

Он поднимал Настю, а сам-то говорил: «Умный в гору не пойдет...» И Настя смутно понимала — хитер, удобно для него посылать в гору кого-то другого, попробуй только попрекнуть: с молоком невыполнил, с зерном заминка — ан нет, обождите, мы другим славны, все разом не охватишь. Под горой сиди, а на горе-то свой флажок поставь, без этого никак нельзя.

Этот человек все сделал для Насти — вознес, прославил, даже мужа нашел. Должна бы отцом родным величать, благодетелем, но почему-то боялась Артемия Богдановича. Как ни растет вверх Настя, а над ним не вырастет, попробуй только поперек пойти — мягонько эдак ссадит, и славу сдует, и знатность слетит... Ох, Артемий Богданович, Артемий Богданович, благодетель!

Тем свирепей Настя орудовала на свинарнике. Что она без него? Простая баба, каких много. Сорвись, Костя потерпит, потерпит, да и возьмется за шапку. Он-то с образованием — книжки читает, статьи пишет, политические моменты в докладах освещает...

Прошел летний опорос, он был куда обильнее весеннего. Рябина родила одиннадцать поросят, даже неприметная раньше Канитель удивила — девятирех, все крепкие, здоровые, любо-дорого глядеть. Тут-то бы и снять грех с души, покрыть старые прорехи, но уж время очень неудачное — перед совещанием-то животноводов, когда пришлось вызывать на соревнование знатную Ольгу Карпову. У всех свинарок — удача, у тебя одной провал, на белом черное сразу заметят, каждый пальцем ткнет, позлорадствует — эге, мол, оплошечка у знатной. Нет уж, назвалась груздем — полезай в кузов. У Насти до областного рекорда не хватало несколько голов. Всего несколько, чтоб перешагнуть Ольгу Карпову. Все ждут этого, пуше всех ждет Артемий Богданович. Всего несколько, чтоб «знамя колхоза» стало «знаменем» всей области. И эти головы выросли. Опасно, с огнем, Настя, играешь.

По первой зорьке заспанная, едва успевшая ополоснуть лицо, мчалась к свинарнику. Со свинарника — иноходью домой. Дома включенный приемник играл бодрые утренние марши. Костя-аккуратист брился за столом, перебросив через плечо чистое полотенце.

С огнем играешь, — тревожило. «Навстречу совещанию!» — газетные заголовки. На это совещание Настю собираются проводить с почетом — значит, она кому-то должна сдать с рук на руки свой свинарник со всей живностью. С рук на руки той же Павле, и тут — мало ли что может случиться?

Павла была всего на год старше Насти, крупнокостная, плоскогрудая, из тех, кого называют — неладно скроена, да крепко сшита. Лицо грубое, голос с сипотцой, замужем не столь давно, а успела обложиться детишками. В свое время ее сватали в свинарки — отказалась. Работа хлопотная, с утра до вечера торчи на ферме, порой и ночами нет покою, забудь дом, а заработаешь или нет — это еще бабка надвое гадала. А за мужней спиной Павлу нужда не особо подпирала.

Она одно время считала себя удачливой Насти — без отца выросла, мать больна, суженый да гаданый на стороне где-то застрял, как не пожалеть. И жалела, и за Кешку сватала. Но теперь-то жалеть нет причин, теперь сама Павла возле Насти крохи подбирает. Настю-то частенько в район вызывают, иногда целыми днями приходится сидеть по совещаниям, нельзя свиней без присмотра оставлять. Павле за случайный догляд приплачивают, но, конечно, не густо, обнов с этого не нашьешь и ребятишек не накормишь, работай в поле, как все.

Одно дело оставить на Павлу свинарник на день, на вечер, другое — на неделю, на две. За неделю она так освоится, так приглядится, что откроет — под крышей-то не одни живые души живут, но и мертвые. А уж коль откроет, в секрете держать не станет, не-ет, Павла — не святая, не утерпит ковырнуть знатную соседку.

Пришел с работы Костя, жесткий ежик торчит внушительно, на лице выражение со строжинкой: или только что председательствовал на собрании и еще не остыл, или принес какие-то новости — портрет Насти в газете напечатали, правление премию выделить собирается...

— Командируют тебя.  
— Куда?  
— Хватит сидеть на месте, такой человек должен делиться с другими опытом.

— Значит, уезжать?  
— А ты хочешь быть в командировке да дома на печке лежать?  
— Никуда я не поеду.  
— Поедешь. Решение бюро райкома партии. Сперва едешь в Густоборовский район для обмена опытом с Ольгой Карповой. Раз! Блинцовский район просит побывать у них. Два! Ну, наверное, еще кой-куда вернуться придется...

— На кого я брошу свинарник? Запустят! Изведут! Никуда не поеду!

— Найдем людей, чтоб присмотрели. В десять глаз, в десять рук славу колхоза станем беречь.

Что говорить с Костей — надут, как индюк, горд, что жена будет разъезжать по другим районам, учить людей уму-разуму.

Легла спать в тревоге. «В десять глаз, в десять рук...» Это пострашнее, чем на одну Павлу довериться. Как начнут заглядывать да вникать кому только не лень, — беды не миновать. А одна Павла, что ж... О Павле, пожалуй, напрасно тревожилась. Павла и сейчас, считай, все стадо знает, каждого сосунка по рылу угадает, как соседского парнишку в лицо. Стадо знает, да не дано знать, что в книгах про него записано. А книги эти бухгалтер Сидор Матвеич Петряев держит в конторе, в шкафу под замком. Смешно даже думать, что Павле в голову ударит в эти книги залезть. А ежели б и ударило, то все равно не столь уж грамотна, чтоб понять. Правда, Сидор Матвеич, хоть ночью раскачай, любую цифру назовет. Но опять нужно догадаться спросить его. До сих пор это Павле на ум не приходило. Вот ежели «в десять глаз, в десять рук...».

Утром после кормежки Настя была уже у Артемия Богдановича.

— Ладно, уеду, раз уж так нужно, — согласилась она. — Хотя, что говорить, боюсь бросать свиней. Павла — баба верная, но все ж не свои руки.

— Приглядим за ней. Не оставим без внимания, — пообещал Артемий Богданович.

Этого-то от него и ждала Настя.

— Нет уж, просить хочу, чтоб не совались без нужды. Разве не наказание — сам посуди, когда работаешь, а за тобой десять глаз в спину глядят, десять рук под локоть толкают. Слышь, Богданыч, не вели путаться никому. Я сама с Павлой уговорюсь, сама с нее и спрошу, когда приеду.

— Ну, ну, накажу. Никто не сунется.

— И платить Павле будете, как мне. Слышишь?

— Заплатим, не волнуйся.

— И корм пусть возят по-прежнему, как возили. Знаю этого Михея-ключника — кому-то готов скатерку постелить, а кому-то рогожку...

В тот же день она привела Павлу на свинарник:

— Старайся, любая, никого не пускай к себе, греха не оберешься с распорядителями-то. Гони каждого в шею, пусть не указывают.

— Окорочу, — успокоила Павла. — Это у меня быстро.

Кешка, как всегда, терся о голенища сапог, ждал, когда Настя протянет руку, поскребет за ухом. повизгивал просяще. И Настя склонилась:

— Ненадолго, чадушко, расстаетеся. Не скучай, любый... Павла, ты не жалей ласки на него. Чего уж скрывать, он у меня заласканный.

Павла хохотнула:

— Под подолом держать буду.

— И смотри, Павла... Чуть что — дай знать Артемию Богдановичу, он сразу меня телеграммой вызовет.

— Авось, сойдет и без телеграммы. Детишек на соседские руки оставляют, не боятся, а тут — поросята. Эка...

Кешка терся о сапоги, не отходил ни на шаг. А Настя с тоской думала, что рано или поздно придется оторвать от себя этого Кешку, ему, как и всем свиньям, конец приписан один — под нож. «Господи! Сердце теснит, словно расстаешься с родней кровной, а не со свиньями...»

Светлое платье в голубых мелких цветочках, с отделкой по вороту, темный жакет со вздернутыми плечиками, через руку — песочного цвета легкое пальто, ткань «метро», подкладка в глянец; на ногах туфли на высоком каблуке — жмут проклятые, авось разносятся. Настя садилась в поезд.

Артемий Богданович не поленился, сам провожал до станции вместе с Костей. Махали руками в окно, пока вагон не тронулся. А Костя — эх, дурачок! — лицо расстроенное, а перед поездом все искоса поглядывал на Настю, сказал дважды:

— Ну и шикарная ты женщина.

Артемий Богданович подхмыкивал:

— Гляди, еще кого новенького со стороны привезет. Очень просто.

— Нет, она верный человек.

Эх, дурачок родной...

## 15

Попала не в заморские страны — в другой район. А все районы похожи: такие же желтеющие поля, такие же обветренные крыши деревень, такие же, как в Загарье, дороги с выбоинами и ухабами, с ветхими мостиками, держащимися на честном слове. Все знакомо, вроде бы нечему удивляться, а каждый час одаривал Настю новизной.

Едва сошла с поезда, как подскочил человек:

— Простите, вы не Анастасия ли Степановна будете?

— Она самая.

— Пожалуйста, вас ждет машина.

Настя раз пять в жизни ездила в гости к двоюродной сестре, вышедшей замуж на стороне за начальника лесопункта, случалось-таки сходиться с поезда и на своей станции, и на чужих, и каждый раз забота — как не упустить автобус, как уломать шофера-левака... А тут: «Пожалуйста, машина ждет...»

А от машины спешит женщина, морщит в улыбке и без того сморщенное бабье лицо. Вот так-так, выехала встречать Настю сама Ольга Карпова! Первая тянет руку, вроде чуточку смущается:

— Здравствуйте. Как доехали?

Знаменитая Карпова, невысока, жилиста, тяжелые в мослах руки, спеченное лицо с доброй, несмелой улыбочкой. Настя по сравнению с ней в своем нарядном платье, в туфлях на высоком каблуке — артистка из столицы, не меньше. Потому, видать, и смущена Карпова.

Все ново, даже номер в районном Доме колхозника. Никогда не останавливалась в номерах — уезжая из дома, всегда ночевала у родных или знакомых. А тут отдельная чистая комнатка с картиной трех богатырей на стене и с графином воды на белой салфеточке.

Все ново, утром вежливый стук в дверь:

— Разрешите? Я за вами.

Парнишка-шофер, на Женьку Кручинина похож — глаза с нахалинкой, так и ждешь, что пропоет:

Девка с грудями по пудику  
Достанется кому?

Где там, другой мир, другие люди...

Знаменитая Ольга Карпова, знаменитый укрупненный колхоз имени XX партсъезда, знаменитый председатель Чуев Афанасий Парфеныч. Этот знаменитый председатель высок, тощ, басист, над крупным носом — дремучие брови, прячущие глаза.

— Знакомьтесь. Критикуйте.— Ладонь сунул, широкую, словно лопата.

Ох, как хотелось посмотреть да раскусить, что из себя представляет Ольга Карпова. С виду куда как проста, баба бабой, чуточку смахивает на Настину мать, когда та была помоложе. А на самом деле так ли проста эта прославленная Ольга Карпова? Что-то подозрительно — много лет обходит громадное стадо, получает небывалые приплоды. Настя ее перескочила, но как? Своей-то победе Настя цену знает. Но Ольга обещает и ее побить! Что у нее вместо пары рук — пять, десять? Настя надрывается, с темна до темна пропадает на свинарнике, а показатели хороши, что сумела обратить мертвые души, они-то ухода не требуют. Ох, нетерпится... Может, все кругом пыль пускают, обычное это дело? Тогда все ясно — без хитрости не проживешь. И не пытайся, Ольга Карпова, навести тень на плетень, мы — не начальство, мы — дошлые.

«Знакомьтесь. Критикуйте»... Карпова привела Настю в свой свинарник. И Настя оробела.

Настя больше видывала на своем веку свинарники — смрад, теснота, темнота, в потолке продушины, на полу болото. Потому ей и свой свинарник всегда нравился: цементная дорожка, поработай рычагом — вода льется в котел, а решетки даже с затеями, с церковной оградой сняты... Здесь котла нет, есть какие-то запарники — ручки никелированные, что шары над кроватью, бока выкрашены в белую краску, что-то внутри пытит, клокочет, а ни дыму, ни пару, ни запаха. Прямо к запарнику — лента, транспортер. Нажал на рычажок — корм теплый порцией на ленту, и эта лента по лотку с бортиками везет корм к клетям: каждой свинье отмерянное — ешь, наживай жирок. Не таскайся взад-вперед с грязными ведрами. А клетки чистить?.. Сколько времени, сколько труда уходит, а не успеваешь — свиньи в навозе валяются. Тут взял резиновый шланг, из шланга струей навоз в лоток, той же струей по лотку прогонишь к колодцу. Смыл, закрыл крышкой колодец — чистота, лопат даже нет. И просторно, и светло, и все в белое выкрашено — больница. Полдела в таком свинарнике работать, тут и лежебока в знатные выскочит.

«Знакомьтесь. Критикуйте»... Послали опытом делиться. Что ж, могла бы поделиться опытом...

После того, как Настя выбросила перед Артемием Богдановичемдохлых поросят, после того, как услышала: «Вся и заковырка в жизни, что против силы надо идти... Против силы умом...» Умом да хитростью. Настя хитрила и не угрызалась совестью — не зря же говорят: простота хуже воровства. Одного боялась — ее хитрость не мудрена, могут и раскусить...

И вот: «Знакомьтесь. Критикуйте»... Как порядочной. Никому невдомек, что случайно попала в святые угодницы. В нарядном платье, в туфлях на высоких каблуках... Да если б ей, Насте, самой с такой привелось столкнуться — плюнула бы вслед. Нарядное платье — обман, голос вальяжный — обман, даже мужа в дом обманом заручила. Вся жизнь — обман, все счастье на обмане держится. Надолго ль такая жизнь? Надежно ль такое счастье? От самой к себе уважения нет: не настоящая ты, Настя, фальшивый камушек в дорогой сережке.

«Знакомьтесь. Критикуйте»... Настя ходила по просторному свиарнику вместе с Ольгой Карповой и ненавидела Ольгу. Простая баба, как и она, еще более дремучая, а повезло. Нет нужды ей обманывать да изворачиваться при такой справе. Разве Настя хочет обманывать, почему у нее счастье, что жеребец в сапу — на вид здоров, шея дугой, а внутри-то гниль, пристрелить не жалко. Почему? Кто в том виноват? Настя ненавидела Ольгу.

Вечером было собрание всех животноводов колхоза имени XX партсъезда, Насте пришлось выступать, попросили из-за красного стола пройти к трибуне, похлопали в ладоши. «Критикуйте». И Настя смекнула — умней будет не критиковать, начала расхваливать и Ольгу, и ее свиарник, и ее породистое стадо:

— Великая наука для меня лично, товарищи. Много хорошего у вас рассмотрелась. Прямо скажу: далеко нам до вас... Спасибо вам всем...

И все сидели довольные, и Ольга Карпова румянилась спеченными морщинками, и сам Афанасий Парфеньч Чуев, мужик суровый и, видать, дошлый, из тех, кто в землю на аршин узреть может, сидел именинником. Лесть душу вынимает, кто перед ней устоит. Это Настя поняла нутром, с усердием хвалила Ольгу Карпову.

Ее проводили с почетом.

## 16

Она проехала по нескольким районам, кружным путем вернулась на родину.

У поезда ее встретил Костя. Увидел, вздрогнул и странно присмирел, поглядывая исподлобья.

— Ты чего? Случилось что? — спросила Настя.

— Да нет, ничего... Ты какая-то... Не та...

То же платье, та же жакетка, пальто через руку, но круглое лицо стало угловатым, сильнее выпирают скулы, от глаз заметней морщинки и сами глаза беспокойные, бегающие, в складках полных губ — горчинка. Не та...

Костя же ничуть не изменился — густой щетинистый бобрлик над чистым лбом, возбужденно краснеют большие уши, в зеленых глазах растерянность и ожидание.

Не та... Настя это и сама чувствовала. Что ни день — то новая ступенька вверх, что ни день — то на шаг выше, а когда-то будет и конец... Притворялась спокойной, уверенной, а по ночам не могла уснуть. Никогда не бывало, чтоб не спала по ночам, обычно едва положит голову на подушку — как кричат уже утренние петухи, пора вставать.

А Костя разве поймет. Прост слишком, и как только такой сидит в председателях сельсовета, да и что — за него все дела устраивает Артемий Богданович.

Обняла Костю, прижалась к его щеке скулой, сорвалась, провела по-бабьи:

— Золотко ты мое непутевое!.. Ой, здравствуй, бедолажный! Как ты без меня?

У Кости повлажнели глаза — гляди ж ты, любит, гляди ж ты, рад, ждал небось.

— Едем скоренча. Домой хочу.

— Домой сразу нельзя. Просили заехать в район. Там актив собрали — выступишь, отчитаешься.

— О-ох!

В загоне перед свиарником лежали разморенные на солнце свиньи. И одна вдруг забила, встала, кинулась навстречу, тугая, розовая, на-

литая пружинящей силой. Кешка чуть не сбил с ног Настю. Задирая рыло, повизгивая, поплясал вокруг и вдруг припал к юбке, притих, устало и сладко смежил веки.

У Насти даже слезы навернулись на глаза:

— Гляди ты, признал. Голубь мой сизый, кровинушка моя. Ох, ласковый, ох, дурачок непутевый...

Скребла жесткую, шелушащуюся кожу. Кешка млеет.

И Павла шумно высморкалась в конец платка:

— Пропади ты пропадом! Вот уж любовь зла... Ко мне небось так не подкатывал.

Палило солнце, знойный, застывший воздух был густо пропитан знакомыми запахами — перебродившим, пьяным навоза, острым, плотским от распаренных свиных туш. Над полями, над упрямой в ивняк речкой, над плавающимися в зное лесами и над безлюдной деревней — дремотный покой. В привычном Настином мире все по-старому, нет перемен.

Ничего Настя теперь так не хотела, как вставать рано по утрам, шагать короткую дорогу от избы к свинарнику, шагать лицом к ясной утренней заре, засучив рукава приниматься за работу, с любовью, с лаской обхаживать скотину, знать, что ни один из дней не пропадет даром, каждый приносит пользу — сало, мясо, деньги колхозу, знать, что у тебя за спиной твой дом, семья, ждут детишки (рано ли, поздно они появятся), у этих детишек судьба краше, чем у тебя, — не узнают лепешек из куглины и крапивы, тяжелых, как камни, черных, как созревший навоз, и отцам не придется провожать на войну, и не услышат они отцовское с горьким наигрышем: «Иль грудь в крестах, иль голова в кустах...» И будут в семье маленькие праздники, маленькие радости, такие, как сегодня...

А сегодня Костя возится с новым мотоциклом. Вчера в районе купила Настя. Мотоцикл с коляской, такую вещь не сразу достанешь, если и появляются в магазинах, то нарасхват. Выручил Тужиков: он помнил хлеб, соль да крепкую бражку на свадьбе, едва Настя проговорила: «Хотелось бы...» — как по шучьему велению... Прими, Костя, в подарок машину. Тоже, поди, мечтал...

Никакой другой жизни не хочет Настя, только такую — без шума, без славы, в мире, в радостях, с ломотцой в костях к вечеру, с крепким сном, с чистой совестью. И начать бы эту жизнь сейчас не откладывая, но нет...

К вечеру снова придется надеть праздничное платье и ехать в другой конец района, в колхоз имени Второй пятилетки, там запланировано выступление. Ей, знатной свинарке, некогда заниматься сейчас своими свиньями. Павла, о которой не пишут в газетах, кого не посылают в командировки, не встречают с почестями, должна кормить и холить ее свиней. А ей, Насте, нужно славить свои животноводческие подвиги. И скоро начнется долгожданное совещание в области...

А пока оттолкни жмущегося к тебе Кешку, спешу в село — там тебя ждет Артемий Богданович, ему нетерпится потолковать с глазу на глаз: что видела, что узнала, как принимали колхозного посла? Услышишь, ей есть что сказать.

Артемий Богданович при параде, потеет в темном костюме. Встречая, сиял распаренным лицом, жал руку, похлопывал по плечу, придвигал стул, заглядывал в глаза. Но когда начался разговор, притих, посерьезнел, шевелил короткими пальцами на столе.

Настя рассказывала о механизированном свинарнике Ольги Карповой. Артемий Богданович не перебивал.

— Хошь не хошь, — говорила Настя, — а рано ли поздно придется строить такой. А коли нет, то пошумим, побурлим, пыль в глаза пустим,



а потом скиснем. На «ура»-то долго не продержишься, Артемий Богданович. Они при механизации — хоть лопни от натуги — нас быстро обскачут. Вижу, считаешь да прикидываешь. А ты не прикидывай — дорогонько стоит такой свинарник, узнавала, но за год, за два, ручаюсь, оправдает себя с лихвой...

Артемий Богданович не перебивал, слушал и соображал.

— А коль решаться, то надо решаться теперь, чтоб к весне, в крайнем случае к лету стояло новое помещение. Только тогда марку выдержим...

— К весне иль к лету?.. — подал голос Артемий Богданович. — А что ты, Настя, скажешь, ежели я тебе этот свинарник спворю к зиме, к самому началу?..

— Ежели б к зиме, то куда лучше. С таким-то свинарником я бы, пожалуй, снова на зимний опорос рискнула.

— А почему бы и нет, — Артемий Богданович оживился, начал жмуриться. — Мы, сама знаешь, наметили строить новый скотный, уже фундамент заложили. Тоже с водопроводом, с колодцами, с навозохранилищами внизу... Но вот поставили не умно, скот на выпасы придется гонять через поля — значит, устраивай прогон специальный или посевай топчи... Не перекроить ли нам этот скотный в показательный свинарник, пока не поздно?

— И окупится быстрее. Свиньи-то у нас породистые, а коровы местные — корма на навоз переводят.

— И окупится... Добро. Покумекаем. Только тебе на работу-то ходить придется за семь километров. Как тут?

— А я дом свой перевезу поближе к свинарнику. Поможете, чай?

— Как не поможем... Ладно, буду ставить вопрос на правлении.

«Буду ставить вопрос», а это почти значило — вопрос решен. Раз Артемий Богданович поставит, правление не возразит.

## 17

Областной театр драмы и комедии сияет огнями. Областной театр — здание с колоннами, ставленное еще в прошлом веке, с тех пор несколько раз перестраивавшееся. Архитекторы и строители сделали все возможное, чтобы человек здесь чувствовал себя празднично. Ковры на полах, искрящиеся люстры под потолком, мрамор стен, обширные зеркала...

И сейчас празднично в фойе, толкотня, суета, раскинуты пестрые лотки с книгами и брошюрами, в толпе мечутся как угорелые газетные репортеры. Празднично, но собрались не на праздник — на деловое совещание. Да и оснований для празднования нет.

Когда-то эти места на всю Россию славились заливными лугами, особой породой коров; на масле, мясе, кожах местные купцы наживали миллионы. Одно время область повернули на зерно: стране нужен хлеб, распахивай, что можно. И заливные луга распахали. Потом спохватились, да поздно — луга заболотились, зарастали кустарником, породистые стада захирели, в колхозах появилась мелкая непривередливая скотинка, которая обходилась жестким сеном с лесных покосов. Но и эти лесные покосы год от году затягивало мелколесьем. Пора бить тревогу, — совещание собралось не для торжества, многие на нем получают крутые нагоняи.

Но Настя-то прибыла сюда не для нагоняев и проработки, нет, еще до начала совещания ее нарахват: «Просим зайти в областной отдел сельского хозяйства»... «Просим побывать на курсах зооветтехников»... В обкоме партии с ней разговаривал сам первый секретарь, корреспон-

денты газет, радио с утра дежурили у дверей номера гостиницы. И номер ей дали особый, с ванной, с телефоном, с солидным письменным столом и с видом из окна на центральную городскую площадь. Артемий Богданович жил в номере по соседству вместе с секретарем райкома Пухначевым. Артемий Богданович очень заботился о Насте, даже вместо нее принимал газетных репортеров, чтоб не надоедали лишка.

А на совещании Настю выбрали в президиум. Шла через весь зал на сцену, а на нее смотрели: Неспанова-Сыроегина из Загарья, не шути.

Стол под красным сукном. Рядом с Настей бок о бок седой человек в очках, профессор, руководит кафедрой в институте, даже Настя — образованна, что скрывать, не шибко, — даже она читала брошюры по кормовым рационам, написанные этим профессором. И вот она рядом с ним за почетным столом. Из темного зала — сотни лиц, среди них где-то затерялся и Артемий Богданович, и секретарь их райкома Пухначев, и много других председателей колхозов, секретарей райкомов, все они там — ниже, Настя над всеми. И докладчик несколько раз назвал с уважением фамилию Насти. И когда объявили перерыв, все стали расходиться, на лесенке, ведущей со сцены, седой профессор вежливо придержал ее за локоть:

— Осторожно, не упадите.

А потом заговорил:

— Много о вас слышал. Рад познакомиться.

Они вместе вышли в фойе, под горящие люстры, а там на них набросились фоторепортеры:

— Одну минуточку! Всего минуточку! Не задержим!

А утром Артемий Богданович принес ей свежую газету:

— Союз науки с практикой, так сказать.

Подо руку — две знаменитости.

А на следующий день ее попросили непременно выступить. «Нет, нет, никаких отговорок, без вашего выступления невозможно...»

И она пробиралась по сцене под ярким светом к трибуне, потная рука сжимала бумажку с написанной речью. И на нее смотрел из загадочной, страшной полутьмы многоголовый, многолицый, многоглазый зал. Не перед своим братом колхозником выступать, от страха подгибались колени. Но выступила:

— Мы, животноводы колхоза «Богатырь» Загарьевского района, даем обязательство и впредь...

Ей аплодировали.

Настя почувствовала — она нужна, очень нужна. Ни Артемий Богданович, ни Пухначев, никто другой так не нужен, как она. Даже Ольга Карпова... Ольга примелькалась, ее давно все знают, повторять имя Ольги — значит, признаваться себе: никто из новых не выдвинулся, топчется на месте. А тут новая, не так уж и плохи дела в области, выходит — растет новое, хорошее, обнадёживающее, вот доказательство.

«Мы, животноводы колхоза «Богатырь» Загарьевского района, даем обязательство и впредь...»

Простая свинарка, которую недавно видели в газете, стоящая рука об руку с известным профессором. Союз науки с практикой — раз так, то дела наладятся в области.

До сих пор Настя со страхом и подозрением глядела на людей: а вдруг раскусят, что тогда? Ненастоящая, случайная, фальшивый камушек в сережке. И вот сейчас не умом, а нутром уловила — люди хотят верить в нее, людям это нужно. И фальшивые камушки вставляют в оправу, когда нет под рукой настоящего. Великое дело поддержать бодрость, а все сидящие в зале нуждаются в бодрости. Нуждаются! Настя нужна! И уж Артемий Богданович изо всех сил станет стараться, чтобы

она не свалилась с высоты. Считала — одна, кругом враги. Нет же, не одна, а раз так — ничего не страшно. Вот построят новый свинарник, такой, как у Ольги Карповой, еще, быть может, даже лучше. В нем-то Настя развернется, добьется больших приплодов, рано ли поздно покроет мертвые души, очистит совесть, переродится наново, не будет на свете честнее человека, чем Настя Неспанова!

«Умный гору обойдет...» С такой высоты, на какую сейчас взобралась, разве страшны горы, даже самые крутые?

«Мы, животноводы колхоза «Богатырь» Загарьевского района, даем обязательство и впредь...»

Аплодисменты в ответ. Ей верят. Она и сама в себя верит — выдержит все обязательство, не подведет. Верит — все силы отдаст на пользу людям, от нее ждут этого!

И слезы на глазах, и благодарность к тем, кто в ней нуждается. Счастливые слезы.

Над поясом черных лесов, как всегда по утрам, сочится сквозь плотные облака зыбкая зорька. Ее ловят темные оконца спящих изб. Настя по-прежнему встает раньше всех в деревне Утицы.

Все хорошо в меру — блины на масляной и пост за веру. Настя от торжеств, от заседаний устала, с охотой скинула туфли на высоких каблуках, влезла в резиновые сапоги, в потрепанный ватник.

Зыбкая зорька над лесом, протоптанная тропинка, печь под котлом, барабан картофелемойки...

Как всегда, стучат колеса телеги, голос деда Исаия окликает:

— Эй, пустынноца, жива аль нет?

Теперь Насте возят корм какой попросит и сколько попросит, попробуй-ка отказать — зоб вырвет.

Свиньи под доглядом Павлы — все-таки не свои руки — поосунулись. Настя раскармливает, старается.

Любимец Кешка растет и пухнет, по-прежнему бойкий и ласковый. Он первым подает голос, когда Настя открывает дверь, будоражит весь свинарник, научился рылом выбивать задвижку, сам выскакивает из клетки, крутится под ногами, тычется, мешает.

А под селом на окраине полным ходом идет строительство нового, образцового свинарника. Погребные ямы для навозохранилища выложены кирпичом, возведены уже стены под крышу, кладутся стропила. Артемий Богданович крутится — все дни в хлопотах, срывается то в райцентр, то в область, со всех концов ему звонят, телефон в конторе надрывается. Подняты на ноги доставалы, такие, как Тужиков, — их в приятелях у Артемия Богдановича не один десяток. Не так-то просто найти водопроводные трубы, чугунные крышки для сточных колодцев, электромоторы, запарники. Но Артемий Богданович, как меч-кладенец, держит наготове громкое имя Насти, кто заупрямится, начнет крутить волоки-ту — того рубит с плеча:

— Для знатной свинарки возводим! Гордость нашей области! Стыдитесь!

И свинарник растет, как на дрожжах, — водопроводные трубы в земле, кабель проложен, начали класть стропила...

Похоже, с первыми морозами Насте сниматься с места, отбить поклон родной Утице, праздновать новоселье. Старую избу перенесут, подправят, расширят, крышу, верно, пскроют железом, стены обошьют тесом... Но тут Настя — сторона, неудобно для своей корысти давить авторитетом, улаживает все с Артемием Богдановичем Костя.

Костя завел кожаный шлем с большими очками, по утрам на рабо-

ту пешком не бегают — гоняет на мотоцикле. Каждое воскресенье возит-ся с машиной, разбирает, собирает, смазывает, заводит. Грохочет и воняет мотор, а Костя слушает его, как музыку, удовлетворенно сообщает:

— Великое дело — двадцатый век. Сплошная техника.

В последнее время Костя говорит на басовых нотах, держится солидно, как и Артемий Богданович — заводит знакомства в райцентре. Он не выносит Женьку Кручинина за то, что тот пустил по деревьям частушку:

Эх, чистый верняк —  
Свиночки с навозиком!  
Получил от вас за так  
Женку с паровозиком!

А кругом все шло своим чередом. Хлеба убрали раню, осень стояла погожая, чем дальше к зиме, тем суше, солнечней, золотистой. На полях по стерне индевела паутина. По вечерам над крышами деревень, над верхушками елей летели густые грачиные стаи...

В солнечный и ветреный полдень Настя нацепила на колья изгороди только что вымытые бидоны из-под обрата, поглядывала в поле, на дорогу — не затарахтит ли там мотоцикл Кости, время-то обеденное.

И не углядела, как из ложка вынырнул плотный мужчина, пошевеливая плечами, двинулся к свинарнику. По этой раскачке в плечах, по крутому наклону головы узнала — он, Кешка! Наверно, от неожиданности чуть-чуть екнуло сердце, подобрала волосы под платок, повернулась, стала ждать.

— Здорово, Настя, — издалека, еще не подходя.

— Здравствуй.

Подошел, остановился, расставив тяжелые сапоги, морща лоб под козырьком кепки, покусывая золотым зубом травинку. Повытертый какой-то — кепочка блином, кожанка старая, лицо одубело, складки на щеках врезались глубже — чужая сторона не родная мать, в прошлый раз пофорсистой приезжал. Но по-прежнему кряжист, по-прежнему от него тянет медвежачьей силенкой, той, какой не хватает Косте.

— А я думал: высоко взлетела, тут законно и не признать.

— Где там высоко, все вот в свином навозе копаюсь.

Видать, вспомнил прощальные слова, хмыкнул невесело, промолчал.

— Надолго ль сюда? — спросила Настя.

— На ночку. Мимо ехал, как не заглянуть. Да и чего задерживаться, коль приглубить некому.

— Поищи, может, кто и согласится приглубить. И здесь, как всюду, свет не без добрых людей.

Снова хмыкнул с угрюминкой:

— Ты хоть вспоминала?

— Тебя? А как же. — Настя обернулась к распахнутым дверям свинарника, крикнула: — Эй, Кешка!

За дверями раздался шум, зазвенело порожнее ведро, выскочил Кешка, другой, привычный, тяжело налитый розовым салом, ринулся к ногам Насти — вот-вот собьет.

— Сдурел, вражина... Вишь, был у меня человек, стала свинья — не часто случается. Помню.

В это время затарахтел мотор, встряхиваясь на выбоинах, подкатил Костя в шлеме, в очках, с лицом, исхлестанным ветром. Застопорил, поднял очки, открыл зеленые настороженные глаза.

Кешка, покусывая травинку, с покойным вниманием оглядел Костю, мотоцикл, спросил:

— «Уралец»? Много прошел?

И Костя смутился:

— Нет. И трех тысяч не успел нагонять.

— Хорошая машина. Все целился купить, да куда бездомной собаке ремешок с бляшкой? Ну, бывайте покуда...

Повернулся, шагнул, раскачивая покатыми плечами, покосился на мотоцикл, еще раз похвалил без зависти:

— Хорошая машина.

— Кешка! Иди домой, паршивец! Иди! Иди! Вот я тебя! — погнала Настя тыкавшегося ей в колени поросенка.

Другой Кешка оглянулся, тряхнул головой.

— Что ему? — спросил Костя. В зелени глаз под вздрагивающими, вымоченно-белесыми ресницами — плавящаяся ревность.

Настя ответила грустно и задумчиво:

— Так... Блукает по свету, ищет, кто бы приголубил... Пошли обедать, Костя.

Неприкаянный Кешка напомнил Насте, что она согрета не только славой. Все есть, все, о чем только может мечтать человек.

## 19

Артемий Богданович, упрятанный по-зимнему в дубленый полушубок, старший среди плотников Егор Помелов, приезжий техник, долговязый парень в городской шапке пирожком, занимающийся монтажом механизмов, электромонтер Сеня Славин и Настя вошли в новый свинарник.

В широкие и невысокие оконца сквозь двойные рамы с только что вставленным ясненским стеклом вливался свет голубеющего дня. Со стен пахивало еще не просохшей штукатуркой, дощатые настилы медово желты, на цементной дорожке и в лотках — курчавая стружка. Длинные загородки с решетчатыми переборками уходят вдаль. Почти все кончено — установить транспортер, подключить электромоторы, покрасить, даже вода подана в водопроводные трубы.

— Магарыч с тебя, Настасья. Старались ребята, — подмигивал красным глазом плотник Егор.

Настя молчала.

— Вот дом ей перебросишь, тогда и магарыч, — отвечал Артемий Богданович.

— Если всю артель снарядишь — за недельку. Долго ли умеючи-то.

Артемий Богданович жмурится, как сытый кот, походя, похватывает стойки переборки, трогает ногтем влажную штукатурку на стенах, не хвалит, только жмурится — доволен.

— Разворачивайся, Настя. В твоём старом свинарнике Павла осядет. От тебя, так сказать, почечка.

А Настя разглядывала пустое, гулкое помещение и молчала. Знакомый, давний, полузабытый страх подпирал к горлу.

Артемий Богданович направо и налево помахивал ручкой:

— Здесь, значит, — откормочные, здесь — родилка, а здесь, так сказать, — комнаты матери и ребенка, опоросные матки лягут... Тут зелененькие, самый молоднячок, тот, что от титек оторван... Расписано, как на почте. Чуть стадо увеличишь — и стоп! Больше не надо. Устраивай круговорот, чтоб одни рожались, другие под нож — фабрика, цех-автомат с управлением одного человека. Выгоняй мясо центрами. Расписано, учтено... Иль не нравится? Чего молчишь?

Нет, Насте нравится свинарник, но — расписано, учтено, то-то и оно. Она только теперь поняла... А ведь сама настаивала, сама торопила, чтоб строили быстрее... Только теперь поняла — тут-то ее и погибель.

Матки, молодняк, откормочные, фабрика-круговорот, где все, как на полочках. А в старом свинарнике — теснота, суета, давка, попробуй разглядеть — сколько голов налицо. Фабрика-круговорот с полочками... Часть клетей окажется пустыми. Тут уж не только Артемию Богдановичу, не только членам ревизионной комиссии, не только председателю сельсовета Косте Неспанову, а любому и каждому, кто ни заглянет, хотя бы плотнику Егору, станет видно — у знатной свинарки знатная прореха. Фабрика, рассчитано, как на почте, на столько-то голов. А где эти головы, куда девалась часть стада? По дороге потерялась? Отчитайся, красавица! И начнут подсчитывать: столько-то голов не хватает, столько-то центнеров мяса — воровство, обман, надувательство. И не покроешь, и не спрячешь концы, пойдет новая слава, погромче прежней.

Сама настаивала... Думалось, только крышу сменит, а под новой крышей старые порядки. Сама настаивала, сама под собой яму копала.

Цементная дорожка из конца в конец, замусоренная стружкой, колодцы в навозохранилище с открытыми крышками — слов нет, отменный свинарник, не только в районе лучший, по области поискать. Артемий Богданович жмурится, как кот на сливки.

— Ай и вправду чем-то недовольна? — спрашивает плотник Егор. — Критикуй. Наша братва критики не боится, потому что — фирма!

— Нет, все хорошо... Очень.

— То-то. И не печалься, избушку твою перебросим быстренько, подновим, игрушечка будет, залюбуешься. У родни нагоститься не успеешь, как мы с шапкой у порога: гони магарыч!

Долговязый техник и электромонтер Сенька лазали вдоль стен, рассуждали о дополнительной проводке. У стойки из неплотно закрученного водопроводного крана капала вода.

— На будущей недельке кочуй сюда со всем племенем, — сказал Артемий Богданович.

«На будущей недельке...»

## 20

За окном ночь, полная луна висит над окоченевшими, бесснежными полями. Голова Кости лежит на ее руке. Костя уютно посапывает над ухом. Глаза Настя широко открыты. Ночь и луна за окном. Настя вспоминает другую ночь, наверно самую счастливую в жизни.

Та ночь могла бы быть такой, как все ночи августа, теплая и душистая, — пахнет осокой от берегов, пресно пахнет речной водой. Сама река, обморочно опрокинувшаяся под небом, смолисто-черная, вязкая, неподвижная, — не сморщится, не шелохнет прибережную былинку. И где-то за лесами низко над землей лежат тяжелые, набрякшие от влаги тучи, но небо над головой чисто, точеная луна обливает онемевший мир. И в тишине разносится скрип весел в сухих уключинах, скрип весел, как крик раненой птицы.

Эта ночь могла бы быть такой, как все ночи августа. За веслами сидел Венька Прохорёнок, ворот распахнут на груди, под спутанными волосами загадочно и тревожно блестят его глаза. Настя в новом штапельном платье горошком, косынка с блеклыми розочками лежит на плечах, Настя чувствует себя красивой. Ее волнуют глаза Веньки, волнуют и немного пугают. Надрывным птичьим криком кричат весла, лодка режет маслянистую гладь воды...

Ночь как ночь, как все ночи начала августа. Но нет... Спит река, а над сонной рекой в застывшем воздухе под луной бешено кружится снежная метель. Да, метель! Лодка движется сквозь белые хлопья, они порой затягивают даже близкий берег. И только луна, холодная и яростная, пробивает белую кипень, освещая пушистые хлопья.

Венька подымает весла и застывает на минуту, и тогда в тишине слышен сухой шелест, еле-еле уловимый, но в нем что-то судорожное, потаенно грозное. Сухой шелест — это бьются в воздухе легкие-легкие крылышки. Над сонной рекой в застывшем воздухе под луной пляшут прозрачно-белые мотыльки. Их несчетная тьма, над просторной рекой им тесно, они вылетели на свадьбу, вылетели, чтоб порадоваться минуту и... умереть.

В теплую августовскую ночь — снежная метель, немая и бешеная. Тьма несчетная, облака мотыльков. Одни кружатся в радостном угаре, другие уже откружились, падают в лодку, липнут к лицу в предсмертной усталости, запутываются в волосах, вся река припорошена ими. Этих мотыльков зовут подёнки, потому что все они живут по одному дню, не более.

По расплавленно смолистой реке скользит сквозь метель лодка, вскрикивают весла, блестят глаза Веньки, сыплются подёнки, чей минутный век кончился. И луна над головой, луна, точеная, яркая...

Настя радуется сказочной метели. Близко от Насти Венька. Осыпаются мертвые подёнки, а Настя верит в свою долгую жизнь, верит, что эта жизнь будет счастлива, — до этой ночи ее, Настю, никто никогда еще не обманывал. Что может быть лучше той лунной ночи?..

Сейчас тоже ночь лунная, яркая. Глаза Насти широко открыты. Свет луны сперва лежал на лоскутном половичке перед дверью, потом перебрался на дощатый пол, осветив узловатые сучки, поднялся вверх, просиял на никелированных шишках кровати, и наконец луна плоской мордой из угла окна уперлась в лицо Насти, осветила затылок спящего Кости. Костя уютно посапывал на Настиной руке...

У него на шее курчавится нежный детский пушок, сама шея белая, твердая, ребячьи упрямая. Настя кусает губы, чтобы не застонать. Вот он рядом, теплый, жарко дышащий, доверчивый, вот он на ее руке! И курчавится пушок, и плавится душа от нежности, от непоправимого горя...

Скоро он все узнает... Ох, Костя, Костя!.. Пусть бы весь мир знал, пусть бы смеялись, тыкали пальцами, сочиняли дурные частушки. Пусть бы весь мир знал, но лишь бы чудом не дошло до Кости... Чудес нынче не бывает, вымерли чудеса вместе со святыми угодниками. Ох, Костя, Костя! Пушок на шее, посапывание над ухом — не будет этого. Неделька — срок отмерян. Настя кусает губы, чувствует на них соленый привкус слез.

И ночь перед глазами, та счастливая ночь со сказочной метелью! Ночь, какая бывает одна на всю жизнь!.. Одна?.. А, наверно, могла бы повториться. Пройдет зима, появятся опять летние ночи, теплые, с лунной, и будут летать подёнки... Все может повториться, если б... Неделька — срок отмерен.

И от этого приговора, от щемящего душу Костиного затылка мысли Насти начинают слепо метаться в голове, искать выхода.

А что, если предложить правлению: беру несколько маток на расплод, в новом свиноматнике начинаю все сначала, начинала же когда-то с десяти сосунков. Пусть старый свиноматник остается как был...

Обжигает минутная надежда, обжигает и гаснет. Свиноматник-то сдавать придется той же Павле, кто ж примет без счету, без проверки, — все выплывет наружу...

А что, если просто уступить новый свиноматник другой свиноматке?.. Настаивала, подгоняла, ждала, а теперь — отказ. Сразу спохватятся — что-то тут не чисто. Выплывет...

А что, если сбегать вместе с Костей, все кинуть — пропади пропадом! Бежать?.. Куда, глупая? Кого уговорить собираешься?.. Костю?

Глаза ему на себя открыть?.. И мать больная. И что делать на стороне?.. И куда скроешься? Как бы через милицию искать не принялись...

Мечутся мысли — нет выхода.

Курчавится детский пушок в лунном свете, кровоточит сердце от нежности. Влезла в заговоренный круг — выхода нет. Пока еще Костя рядом, пока еще прижался к ее боку. Неделька — срок отмерен.

Эх, новый свинарник, надежда колхоза, добротнo построенный, размеренный, рассчитанный... Новый свинарник для лучшей свинарки, для той, что — «гордое знамя»...

Пальцы свободной руки тянутся к пушку на шее, луна освещает крупную, раздавленную работой руку. «Родной ты мой, срослась, не могу без тебя. Знал бы ты, как мучаюсь, знал бы — прости. Душа-то в тебе добрая...» Разбудить бы его, рассказать начистоту: «Прости, если можешь, ради своего счастья, ведь срослись. А уж простишь — на руках буду носить всю жизнь, нянчить и голубить до последнего вздоха...»

И опускается рука: простить-то он, пожалуй, с ходу и простит, да потом опомнится. Ему тоже придется хлебнуть горького от людей, не меньше, чем ей, Насте.

Тугая петелька — не вырвешься.

Тугая петелька, сама на себя накинула...

Не вырвешься?.. Нет, можно вырваться, и очень просто...

Для чего жить, коли все рушится? С работы скинут, муж бросит... Жить, корчиться от позора?..

Выход есть, и очень простой.

Слезы высохли на глазах, в грудь словно положили холодный кирпич.

Высвободить сейчас остороженько, с бережностью руку из-под Костиной головы, встать, выйти в сени, выйти на колышке висит веревка — летом траву носила... Выйти в сени и — на поветь... Можно и не сразу, можно и на крыльцо выглянуть, на небо полюбоваться. Над крышами — луна в полную рожу, кольца вокруг нее, морозец жжет... В последний раз на луну, на землю, где ей нет места. В последний раз вспомнить ту ночь, метельную, теплую, самую что ни на есть счастливую. Пушистые завитки на шее. В последний раз...

Нет слез, зреет решимость. Но уж очень тесно прижался Костя, очень жарко дышит, боязно разбудить его... И что торопиться, с этим всегда можно успеть...

А утром вместе с небом слиняла луна. Из-за леса, из глубин, перло вверх солнце, брызгало лучами. И старая изба покрякивала от мороза.

Нет, она еще обождет.

Костя так и не проснулся, лежит сейчас, укрытый ее руками. Скоро встанет, свежий, с ясными конопушками по щекам...

Нет, она еще обождет. Впереди неделя, хоть этой неделкой попользуется.

Без платка, с голыми икрами по морозцу — к поленице. Нахвatalа охাপку охолодавших, свинцово тяжелых поленьев, понесла в дом.

А мать уже сползла с печи:

— Беги, чадушко, по своим делам, управлюсь тут... Нынче сон видела: рыбу с твоим отцом, царство ему небесное, на Климовском перекате бродим. Все окуни, все окуни... Золотая рыбка — к добру это.

Умылась, обулась, не утерпела — прямо в сапогах и ватнике прошла к кровати, чтоб одним глазком глянуть, как Костя зорюет. И разбудила неуклюжая — половицы заскрипели. Поднял всклокоченную голову с заспанным, очумелым лицом. Жесткой ладонью пригладила ему волосы, сказала скупо, чтоб не выдать боль:



— Утро на дворе, сокол.

Вышла.

С полпути заметила — по дороге торопится к деревне полуторка Женьки Кручинина. Не к ней ли такую рань?

Оказалось — к ней.

Женька высунул из кабины нахальную физиономию, спросил:

— Пожар устраиваешь, знаменитость?

— Какой пожар?

— Вишь, меня ни свет ни заря выгнали. Артемий Богданович вчера толковывал: перевези барахлишко нашей славной знаменитости да не заставляй ее ждать. Подтвердишь потом мою исполнительность. Эх, ма! — Зевнул сладко. — И плотники уже к тебе собираются. Ну, прямо пожар.

— Вольно же Богдану... Костя мой только глаза протер.

— Может, обождать у порога прикажешь, начальница?

— Езжай, коли приехал, тряси Костю. У меня своя справа.

Настя направилась к свинарнику: нет, не дадут спокойно дожить эту куцо отмеренную неделю.

Как всегда, первым ее учуял Кешка, вышиб рылом задвижку, как всегда, кинулся навстречу, взახлеб негромко и радостно повизгивая, колыхаясь от нетерпения, ожидая ласки. Так было каждое утро. Кешка подавал голос, просыпался весь свинарник, стены заполнял требовательный визг проголодавшихся за ночь свиней.

Обычно гнала от себя назойливого Кешку:

— Кыш, дурак! Не липни! Погибели на тебя нет...

А сейчас преданная поросычья радость ударила в сердце, потрясла, словно гром над головой.

Слава да уважение, купалась в нем, как в хмельном меду, а что осталось? Одна живая душа на свете ее любит, не отвернется, не шархнет в сторону. Даже мать осудит, даже родная мать! Одна живая душа на всем свете и та поросычья. Ластится Кешка, лишь ему можно верить, лишь он надежен — не продаст.

И от лютой жалости к себе подкосились ноги. Осела на пол, обхватила Кешкину морду, уткнулась лбом в жесткое поросычье ухо:

— Ве-ер-ны-ый ты мо-ой!

Затравленный звериный вопль — жалоба на людей.

Егор Помелов со своими плотниками поработал на совесть. К вечеру избы не было, лежали кучи бревен, стояла раздетая печь, к ней прислонены входные двери со знакомой скобой и устало упавшей задвижкой...

Палал реденький сухой снежок, печь уставилась трубой в небо. Разрушено старое гнездо, мать и Костя выехали в село, в бывший Костин дом, где живет Костина мать и его замужняя сестра. Разрушены стены — это начало, остальное будет рушиться завтра... Стоишь, как на пожарище.

После того как Настя выплакалась возле Кешки, весь день зло думала о людях: они станут ее врагами, все до единого. Сейчас пока эти враги желают ей добра, потому и разгромили дом, негде преклонить головы. Кучи бревен и голая, зябнущая печь, взметнувшая трубу в небо, — вот оно, начало конца.

Разрушенная изба напоминает пожарище... Настя стояла, разглядывала ее, и морозец продрал по спине...

Как вырваться из петли?.. Оказывается, можно, дух захватывает. Но ей-то теперь терять нечего...

Ночь провела в доме Павлы, одна, без Кости и без матери. Так уговорились: те пока будут жить в селе, Настя эти дни перебудует в Утицах, не бегать же ей по утрам за семь километров к свинару.

Снова ночь провела без сна, снова думала...

Спозаранку, как всегда, была на свинару: растопляла плиту, чистила, скребла, разносила ведра с месивом. В углу под дощатым столиком стояла четверть с керосином, дрова порой были сырые, не сразу занимались — плескала на них. Четверть пыльная, давно не троганная, почти полная... Настя поставила ее под печь, поближе, чтоб была под рукой.

Перед обедом сказала Павле:

— В Загарье мне надо. Беда, дел полно. С Пухначевым нужна поговорить, в банк загляну — матери обещали пенсию пересмотреть. Поди, к ночи не управлюсь, придется у Маруськи переночевать. Ты подбрось моей прорве корму — вечерком и утром, ежели рано не поспею.

— Езжай, езжай, не впервой, сделаю, — согласилась Павла.

По свежему снежку прикатил на мотоцикле Костя — как тут без него Настя? Настя и ему сообщила:

— В Загарье еду...

Все вещи были увезены, все вещи, в том числе и Настино пальто с мерлушковым воротником. Не ехать же в райцентр в грязном ватнике, в каком щеголяла по свинару. Настя взяла у Павлы ее полушубок, шерстяную шаль, Костя свез ее на заднем сидении до автобусной остановки.

— Чего тебе валяться по чужим людям, управляйся там — да прямо к нам в село, с нами и переночуешь, утром в Утицы махнешь, — попросил Костя.

— Коль не запозднюсь, так и сделаю, — согласилась Настя.

В полушубке с чужого плеча, в чесанках с галошами она для Кости выглядела непривычно, словно бы и не своя, не родная.

Маруська в Загарье обрадовалась Насте. Старая дружба не вянет, помнит Маруська, как Настя к ней с бедой прибежала: поросята дохнут, выручай... Тогда Настя была простая свиарка, теперь — знатней по району человека нет, а вот ведь заходит, не забывает.

— Марусенька, любушка, тут у меня дел невпроворот — и в банке и в райкоме, до ночи задержусь, придется, видать, у тебя переночевать.

— Да господи! Место не заказано. Всегда рады...

Маруська — добрая душа, и дом у нее свой, и в каждой комнате кровать никелированная с периною...

— Только я могу и за полночь прийти. Знаешь, как у нас — толки-перетолки, заседания, конца не видно.

— Хоть к третьим петухам. Стучи в окно — открою. Постель тебе с вечера приготовлю, чистое постелю.

— Право, хлопот-то тебе со мной...

— Какие хлопоты? Полно-ко! Не чужие, чай.

Дни в начале зимы коротки, пока ехала да пока болтала с Маруськой — темно, напротив райисполкома и почты зажглись фонари.

Настя забежала в банк, стукнула в кабинет к самому Сивцову, тот был рад ее видеть, рад помочь Настиной матери с пенсией, но нужны справки из райсобеса, справки из военкомата. Сивцов загибал пальцы на сухонькой руке, ласково поглядывал сквозь толстые очки, а в голосе суровенькая вежливость — понимай: ты хоть и знаменитость, но и знаменитым законы писаны.

— Придется заночевать здесь, — со вздохом мирно сказала Настя. — Сегодня-то не успею достать...

В банке не задержалась, бросилась в райком. В райкоме не было ни Пухначева, ни Кучина — оба в разъезде: часть колхозов тянут с вывозкой хлеба. Говорила Настя с инструктором Лапшевым и ему сообщила: — Здесь нынче заночуло. Завтра утречком заскочу.

Из райкома направилась не к Маруське, а прямо к автобусной остановке, на ходу закуталась в шаль, подняла овчинный воротник, так что нос не виден, одни глаза. И неудивительно — морозец, чуть-чуть сыплет сухонький снежок.

Удачно рассчитала, автобус еще не ушел, иначе ждать бы часа два, не меньше.

Так и сидела укутанная до глаз в автобусе, делала вид, что дремлет. Почти все в районе ее знали в лицо, а тут еще впереди через два ряда горчал долговязый парень, техник-монтажник, что ставил механизмы в новом свинарнике. Он тоже не узнал Настю — попробуй-ка разглядеть, кто такая, когда полушубок чужой, а лицо укутано в шаль. Техник-монтажник сидел нахохлившись и читал книжку.

Он сошел в селе. Настя проехала еще три остановки, отсюда до Утиц прямая дорога через поля.

Дорога пустынная, кому придет охота в такую темень вылезать на холод из теплой избы. Настя, кутаясь в шаль, бежала почти бегом...

В Утицах избы теплились редкими огоньками — хорошие люди сидели за самоварами, на сон грядущий гоняли чай. Светилось и окно в доме Павлы — не ждет Настю, было сказано, что заночует в Загарье. А окна Настинного дома не светят — нет окон, нет самого дома, лежат кучей бревна да коченеет на морозе широкая печь.

Исхоженная тропинка, знакомая до последней выбоины, до последней вмятины — вслепую пробежишь, не споткнешься. Скорей, скорей... А за спиной вразброс — огоньки деревни, родной деревни, в которой уже больше не жить Насте — изба-то разобрана по бревнышку.

На дверях тяжелый амбарный замок, ключ от него из рук в руки днем передала Павле. Из рук в руки ключ с веревочкой... Скинула варежку, в варежке, в кулаке, давно уже грелся ключ, точно такой же... Кому знать, что их было два, один запасной все время лежал на полочке в кормокухне над дощатым столом.

Тяжелый замок послушно распался, толкнула дверь. Сквозь шаль ударило в лицо тепло и густой запах, привычный запах, с него у Насти всегда начинался рабочий день.

Плотней прикрыла за собой дверь, свет не зажгла. На минуту представила себе: во сне за стенкой вздыхает хряк Одуванчик, в густом воздухе сопение, шевеление — жизнь, скрытая от белого света, жизнь — сон да еда, тяжелеющие сутки за сутками туши сала и мяса. Сейчас обрушится на них беда, оборвется эта сонная жизнь...

И екнуло сердце — вспомнила Кешку. Самый верный, самый любящий...

Достала коробок спичек, рванула с лица душившую шаль. Пальцы тряслись, спички ломались.

— Ох ты, господи! Пропади все пропадом!

Вспыхнул огонек, испуганно закрыла его ладонью — вдруг да в окно увидят, — оглянулась... Под топкой охалка сухих дров, рядом охалка соломы, скамьи, шаткий столик, пустые ведра, лопата. А где же бутыль с керосином?.. Ах, вот она.

Спичка погасла. Темнота, тишина, жизнь за стеной, та жизнь, которую она, Настя, изо дня в день поддерживала своими руками. Матки Роза, Рябина, Канитель — ныне каждая гора горой, — их когда-то за пазухой носила, из бутылочек прикармливала. Не ели, тощали — горе; стали есть, резвиться — радость. Любой из поросят был ее ребенком,

оглаживала, обхаживала, ласковые слова находила. И теперь надо чиркнуть спичку. Одна спичка — и обрушится беда. Одна спичка — и смерть Розе, Рябине, Канители, Кешке. И Кешке тоже...

Коробок спичек в руках. Может, не чиркать эту спичку? Добро бы только судили, не суд страшен, поди, много не дадут, помилуют, но позор на веки вечные, всяк плюнет в ее сторону, от опозоренной жены муж уйдет, мать с горя в гроб ляжет, и даже дома нет, кучей бревна лежат... Пожалей свиней, они дороги, спаси их, а сама гибни. Что дороже — они или жизнь?

И дрожащими руками Настя нащупала впотьмах бутыль, вытащила тряпичную затычку. Веселенько забулькал под ноги керосин, его резкий запах заполнил кормокухню...

Помещение давнее, выстоявшееся. Стены бревенчатые, а крыша тесовая. Между тесом — пласты бересты, «скала». Если тес погниет, то скала-то останется целой, не пустит дождь. Такие «заскаленные» крыши стоят десятки лет... Керосинный запах, одна спичка в солому...

«Пожар устраиваешь, знаменитость?..» А что еще?.. На чужой повети в петлю голову сунуть? Она в Загарье, ее видела и Маруська, ее видел в банке Сивцов, видел в райкоме инструктор Лапшев, каждый от нее слышал, что остается ночевать. И это правда, ночевать-таки она будет в Загарье, через какой-нибудь час с небольшим подойдет автобус, она сядет — шаль до бровей, полушубок с чужого плеча...

«Марусенька, ох, закрутилась я...»

У Маруськи для нее разобрана кровать, перина застлана чистыми простынями.

А утром:

— Батюшки! Настя! Беда у тебя!

Беда!! Всполошится, бросится опретью, забудет про справки для матери, не дождется Пухначева, кого хотела непременно видеть. Беда! Скорей! На одну ночь только отлучилась! Что за растяпа Павла!..

Свиней жаль — нянчила, выкармливала. Не изверг же она, душа кровью обливается. Но или они, или ты, задави жалость, Настя. За мужа, за дом родной, за всю жизнь свою, если не хочешь потерять, — одна спичка...

Но рано... Не зря же Настя не спала всю ночь — продумала. Свинарник наглухо закупорен, огонь может и задохнуться. Настя ощупью добралась до окна, локтем в полушубке выдавила одно стекло, второе, легкий морозный воздух ворвался в керосиновую вонь кормокухни.

Одна спичка... Но Настя медлила, переминалась, наконец решилась. Толкнула внутреннюю дверь в свинарник, позвала сдавленно:

— Эй, Кешка!

Даже он, дурачок, спит, даже он не учуял, что пришла...

Кешка завозился в глубине.

Все свиньи заперты за загородками, один Кешка умеет рылом сбивать задвижку. Это каждому известно в колхозе. Кешка знаменит, как и Настя. Никто не подивится, что один Кешка вырвался из огня.

— Эй, Кешка!

И он выскочил, ткнулся, повизгивая, в колени — счастлив нежданной встрече. Настя приоткрыла дверь на волю, вытолкнула Кешку:

— Гуляй, лапушка, живее...

Теперь все. Одна спичка!

И спичка вспыхнула, плеснуло пламя, лихорадочно зарумянились бревенчатые стены, в глубине свинарника стариковски вздохнул не ведающий о беде хряк Одуванчик. Настя шарахнулась к двери, распахнула ее, еще раз оглянулась назад на освещенные в веселой трясучке

бревенчатые стены, выскочила, непослушными руками навесила замок, повернула ключ...

Пуста дорога, сыплет снежок. Пуста дорога, темна ночь, за спиной спокойно теплятся окна родной деревни, соседи Насти, знакомые Насти собираются спать. Пуста дорога, кто в такую ночь покинет перед сном теплую избу?

Можно бы и не спешить, не скоро подойдет автобус, но ноги несут.

Подойдет автобус, Настя сядет в него — чужой полушубок, закутано шалью лицо. Сядет и задремлет...

«Марусенька, ох, закрутилась я...»

У Маруськи приготовлена перина под чистой простынью. А утром: — Батюшки! Настя! Беда у тебя!

Пуста дорога... И вдруг вздрогнула — тяжелое посапывание сзади, кто-то нагоняет. «Ой, дурень, совсем испугал — ноженьки подкосились». Кешка бежит следом, верный Кешка, спасенный от огня. Все будут считать — ловкач, вырвался...

Кешка привычно ткнулся в колени.

— Кыш! Иди-ко, любимый, иди. Покуда сам живи. Авось, завтра встретимся...

Отогнала Кешку, снова побежала — счастье великое, что пуста дорога, навел бы дурень тень на плетень, долго ли...

Кешка — ни на шаг, бежит, повизгивает от страха. И до Насти дошло: ведь не отстанет, так и проводит до автобуса. Дорога-то пуста, а на тракте — люди, того же автобуса ждут. Даже если и нет никого по позднему часу, то из автобуса наверняка увидят — свинья на дороге, это ночью-то, за бабой увязалась, почему бы это? И узнают Настю, и все пропало!

— Кыш! Погибель моя! Кыш, дьявол!

А он врезался с разгону в подол.

— Кыш!! — мягким кулаком в варежке — между глаз, коротко взвизгнул, отскочил, Настя кинулась от него.

Сопение сзади, нет, не отстанет. И зябкий мороз охватил под полушубком — беда негаданная, как смерть по пятам. Сама выпустила, пожалела, расплачивайся опять за жалость-то.

— Ах ты, злыдень! Ах ты, отродье дикое! — Руки трясутся, под полушубком по потной спине гуляют морозные мурашки.

Увернулась от Кешки, бросилась с дороги, упала на колени, стала судорожно шарить варежками: «Камень бы покрупней... Отвадить бы сатану, ни дна ему, ни покрывки...»

Но под слоем снега руки нащупывали лишь комья мерзлой земли. Бросалась ими:

— Провались ты, треклятый! Сгинь!

Кешка вился вокруг большой тенью, повизгивал. Настя ползла на коленях, глотала слезы:

— Знать бы... Эх, знать бы... Да я б тебя, поганого!..

Наконец-то подвернулась булыга, крупная, тяжелая, в коросте снега смерзшейся земли. Сжала ее варежками, поднялась. Кешка маячил в стороне, уже пуганный, уже не доверяющий.

— Кешенька, иди, голубчик... Подь сюда, глупый... — Голос елейный, со слезой. — Да иди, сатана, поближе, иди!

И он бочком придвинулся. И грузный камень опустился на морду, и по темному полю пронесся морозащий кровь визг. Кешка исчез в темноте, а визг рвался в ночи, надрывный, оскорбленный, горестный.

И тут произошло невероятное. Настя словно проснулась от визга, вдруг увидела себя со стороны, отчетливо и безжалостно — среди серого заснеженного поля, накрытая глухой тьмою, преступница, прячущаяся

от людей, прячущаяся, потому что перестала быть похожей на них. Все на ласку отвечают лаской — она подымает камень, за почет, за уважение бросает спичку — нет ничего святого, гори ясным пламенем. И вопят сейчас в смертельном ужасе свиньи. Гори все, ее труд, ее прошлые радости и беды, гори все живое, поднятое ее руками! Вопят там сейчас свиньи. И перед лицом падает снежок, падают вялые хлопья, напоминающие умерших подёнок, августовскую счастливую ночь, реку, лодку, Веньку Прохорёнка, свою молодость. Сама себе страшна, сама себе противна — одинокий выросток среди ночного поля. Вопят свиньи...

Настя стояла так минуту, не больше, ровно столько, чтоб успел замолкнуть побитый Кешка. Сорвалась, бросилась обратно к деревне, туда, где люди, где пожар, где вопят свиньи. Туда, к своим!

Пот заливал глаза, сорвала на бегу шерстяную шаль, бросила. Дыхание спирает, ноги путаются, с остервенением рвала пуговицы на полушубке, скинула его. Бежала дальше, простоволосая, в одном платье, с хрипом дыша, не чувствуя мороза, спотыкаясь, падая, вновь подымаясь.

В деревне теплится чье-то одинокое полуночное окно. И не видно пока зарева. Мимо своей печи, своей усадьбы, кучи бревен, по тропе, пробитой своими ногами, — поспеет, должна поспеть! Свинарник издалика — сонный и темный, с одного конца снежком припорошена крыша. Нет беды, не померещилось ли?

Но, еще не добежав, услышала истошный визг, приглушенный стенами. И этот визг подхлестнул...

Дверь в кормокухню. На ней замок. И похолодела — ключа-то нет, ключ-то остался в брошенном полушубке. И визг свиней, и через дверь слышен какой-то блудливый, трескучий перепляс... Замок — ключа нет. Вторые ворота заложены изнутри.

И заметалась вдоль по стене от окна к окну. Но окна узки, рамы крепкие, без топора не выломаешь. Добежала до угла, завернула и ахнула... Со стороны деревни свинарник сонный и темный, но он собой закрывает розовый снег. Из окна кормокухни выплескивает кипящее, жадное, в темных чадных завитках пламя. Оно облизывает стену. И часть стены — золотая, яркая, выедающая глаза. А на крыше вдруг на пустом месте вырос сияющий чертик, пошел отплясывать. И осипший рев одичавших свиней. И ничего нельзя сделать.

Настя заломила руки и завопила:

— Спасите! Спаси-те!!

Не переставая голосить, кинулась к деревне. К первой избе, к первому окну, кулаками изо всей мочи:

— Спасите! Спаси-те!!

Ко второй избе:

— Спаси-и-те!!

Хлопнула дверь, другая, хриплые мужские выкрики, бабье аханье. В стороне над свинарником крепло зарево, тускловатое, с багрянцем, как освещенный под гаснущей печи.

Хлопали двери, и над деревней разносился надрывно зовущий, плачущий голос:

— Спаси-те!! Спаси-и-те!!

Люди добрые, спасите Настю.



---

---

Л. ПАНТЕЛЕЕВ

★

## ИЗ ЛЕНИНГРАДСКИХ ЗАПИСЕЙ

8 января 1944 г.

Сегодня в 17.50 наконец «убыл» из Москвы, как сказано в моем командировочном удостоверении. В Москве весь день шел густой святочный снег. Было тепло. На улицах обычная московская сутолока. На афишах — гастроль Виталия Лазаренко, эквилибристов Буслаевых, премьера в Государственном еврейском театре, концерты, лекции. В Колонном зале — по случаю новогодних каникул — детская елка. У Малого театра — очередь, осыпанные снегом толпятся болельщики, барышники...

Москва — почти мирная. С кремлевских стен смывают маскировочную размалевку. И это вызывает даже некоторое сожаление. Ведь привыкаешь даже к таким вещам. Песочком начисто протираются Дом Совмина и другие здания.

Поезд, в котором я еду, называется «Красная стрела». Вагон мягкий. Чистое белье. Подают чай и даже пиво (правда, лимитированное, по каким-то талончикам, которые разносит по вагонам начальник поезда). Всё, как в доброе старое время. Но нет, конечно, — далеко не всё. Поезд идет, например, не двенадцать часов, как бывало, а — тридцать шесть. В составе санитарный вагон с красным крестом на крыше.

Во всем нашем вагоне всего две женщины. А из мужчин — процентов тридцать военные, из них три четверти — морские офицеры. Что касается гражданских, то в большинстве это ленинградцы, едущие домой, в блокированный противником город.

В доброе старое время перед посадкой у вагона стоял проводник — и только. А сейчас железнодорожникам помогает милиция. Не успел поезд тронуться — в коридоре громкие голоса. Приоткрылась дверь, заглядывает и козыряет милицейский лейтенант:

— Прощу извинения. Наряд милиции. Просьба предъявить документы.

Проверка тщательная, придирчивая, как, впрочем, и должно быть, если помнить о маршруте, по которому следует наш поезд.

Расспрашиваю бывалых соседей о Ленинграде, о предстоящем пути. Поезд до Окуловки (или до Тихвина) идет нормальным ходом, а дальше — ползет, как улитка, по шаткому временному полотну.

Самое опасное место — где-то уже возле Шлиссельбурга. Называется «коридор смерти», потому что простреливается с обеих сторон.

Коридор очень узкий, несколько сот метров.

На первой стоянке паровоз перед отправлением громко и протяжно взревел.

— Эвона,— смеются братцы-ленинградцы.— Смотрите, как сильно орет! У нас там осторожненько так рывкнет: уй-уй—и все. А тут безбоязненно подает голос. Не боится небось, что он услышит.

Публика в вагоне очень приятная. Мягкая, вежливая, деликатная. Неужто и верно: ленинградцы — это особая порода? Да, ухо и глаз самым буквальным образом отдыхают. А ведь публика эта — не какая-нибудь там изысканная интеллигенция. Самый заурядный, средний советский служилый люд: техники, общественные работники, офицеры...

11 часов вечера. Калинин.

Когда-то этот путь (Москва—Калинин) «Стрела» проходила за три часа. Сегодня мы ползли эти первые сто пятьдесят километров 5 часов 10 минут.

Вышел на перрон. Тихо. Безлюдно. Слегка морозит. Лунный блеск на снежных сугробах в маленьком палисадничке с железной решеткой. И никаких зримых следов исторической битвы за Калинин. Ни одной новой царапины на знакомых стенах вокзала. Только буфета на вокзале нет.

Мой сосед — совсем юный, очень милый и чем-то очень похожий на молодого Чехова, ленинградец, инженер. Рассказывает, что он успел за десять дней посмотреть в московских театрах: «Пигмалион» в Малом, «Царь Федор» во МХАТе. Был в цирке...

— А вчера слушал нашу симфонию. Дирижировал Мравинский. Ах, вы бы слышали, как это здорово, как похоже... Все, все вспомнилось — и голодные дни, и темные ночи, и вой сирен, и грохот бомб. И погибших товарищей вспомнил.

«Наша симфония» — это Седьмая Шостаковича.

### 9. 1. «Красная стрела».

Ночь прошла спокойно. Спал крепко, почти не просыпаясь.

На дворе мороз. Окошко запорошило инеем. Жарко бьет в это ледяное кружево румяное зимнее солнце. А в вагоне прохладно. В тамбуре кипит самовар. Мягко шагают по ковровой дорожке проводницы, разносят чай в подстаканниках. А у окна в коридоре, расстегнув синие кителя, стоят, с аппетитом курят, громко и весело разговаривают моряки-офицеры...

12.30. Будогощь.

Вышел, накинув на плечи шинель.

И тут никаких разительных следов оккупации.

Крепкие дома. Никаких развалин. Может быть, это потому, что вокруг леса и леса. Восстанавливать нетрудно.

На деревянном скрипучем перроне много детей. Среди них две девочки лет по десять—одиннадцать. У обеих искусственные верхние зубы — из нержавеющей стали. Удивился, спрашиваю:

— Ты что это — молодая такая и беззубая?

Быстро захлопнула рот, натянув, как пожилая женщина, верхнюю губу на нижнюю.

— Немцы были здесь?

— Ага, были. Только здесь, у нас, не стояли. А вообще два месяца под ним были.



Угостил ребят сахаром. Все сказали «спасибо», но есть сахар не стали, а спрятали в карманы. Приличия ради потоптались немножко и заспешили домой.

И все-таки и война, и близость фронта очень даже чувствуются. Стоит грузовой состав, неряшливо для маскировки покрашенный мелом.

Обилие военных. Серые шинели, белые полушубки.

На путях — бессчетное множество банок из-под американской тушенки. И тут же тучи воробьев, клюющих канадскую пшеницу.

А в вагоне во всех купе одни и те же разговоры, одна и та же тема, одни и те же слова: война, сроки ее окончания, второй фронт, прогнозы, надежды, ожидания...

В сумерках подошли к Тихвину — городу, прославленному ныне побоищем, разыгравшимся у его стен.

Впрочем, и тут никаких явных, бросающихся в глаза следов. Потом вглядываешься и видишь, что и вообще ничего нет. Никакого города. Никаких стен. Бесформенное нагромождение деревянных одноэтажных и двухэтажных домов, редкие деревья. У вокзала полуразрушенная часовня. Здание вокзала изранено, стены исцарапаны пулями, осколками. Огромная брешь заделана кирпичом и не оштукатурена.

В стороне от вокзала вдоль запасного пути — обычный для наших железных дорог ландшафт: прилавочек, за ним стоят женщины и девочки, торгующие топленным молоком, клюквой, картофельными котлетами. Цены:

Молоко — 60 рублей пол-литра.

Клюква — 6 рублей стакан.

Лепешки — 10—15 рублей.

В буфете военным и командировочным отпускают какой-то мрачный суп из свеклы. К этому хлебу даже не каждый ленинградец решится притронуться. А ведь в свое время мы и столярным клеем не брезговали.

Что-то мешает нам выбраться из Тихвина. Тронулись было, стали, опять пошли, двинулись назад, стали, опять проползли немножко, опять назад.

За окном уже беспросветный мрак.

Морозит. А в вагоне стало тепло, почти жарко.

Волховстрой.

Вот тут действительно была война.

Вокзала нет. Зияющие дырами остовы зданий.

Сплошное нагромождение битого камня.

Глядеть на все это страшновато.

И все-таки — так хорошо, так тихо, как нежно морозит и так легко, бесшумно порошит, что не хочется возвращаться в свой душный и уже прискучивший вагон.

#### 10. 1. 44 г.

В нашем купе едет пожилая, седеющая женщина, «смольнянка», то есть работник Смольного. Говорит — из особого сектора, но думаю, что не больше, чем телефонистка или машинистка. Ужасно фасонит и гордится тем, что у нее «смольнинская броня», и тем, что на груди у нее медаль «За оборону Ленинграда». В общем, хоть и не ахти какая умни-

ца, а все-таки очень милая, уютная. В купе взяла на себя роль хозяйки, и о ней тоже заботятся. Единственный грех, который трудно ей простить,— это необузданная фантазия. Всю дорогу она без зазрения совести пугает меня «ленинградскими ужасами».

...О том, что делается в городе сейчас, соседка наша говорит, закатывая глаза. Послушать ее, так от Ленинграда ничего не осталось.

— Улица Восстания? Вы жили на улице Восстания? (Отворачивается и зловеще покачивает головой) Н-да.

— А что такое?

— Увидите.

— Нет, в самом деле!..

— Что же я буду вас пугать. Приедете — увидите.

— Но ведь там живут?

— Н-да. Живут.

— А Бассейная?

— Это какая Бассейная? Ах, Некрасова? От Некрасовой, если хотите знать, камня на камне не осталось. Там и на той и на этой стороне улицы — объявления: ходить при артобстреле опасно.

Невольно ловишь себя на том, что губы у тебя пересыхают, а голос несколько спадает и становится каким-то сиплым.

— Простите, а как же... кхе-кхе... люди ходят?

Снисходительно улыбнулась.

— Увидите, увидите, дорогой товарищ! — И по-матерински погладив мою руку: — Не волнуйтесь.

Через полчаса упомянул в разговоре, что мне нужно будет съездить на Васильевский остров.

— На Васильевский?! Съездить?! Ну, с этим придется несколько лет подождать. Трамвай идут только до набережной, дальше — сплошные развалины.

И так далее, в этом же духе. Правда, у меня есть маленькая надежда, что тетенька кое в чем пересаливает и привирает, но все-таки подготавливаю себя к худшему. Из памяти не выходят руины Волховстроя. Таким, или почти таким, представляется мне и Ленинград.

#### 14.1. Ленинград. «Астория».

Записываю коротко то, что осталось в памяти из путевых впечатлений.

Я уже упоминал о моем втором соседе — молодом инженере, работающем на Второй ГЭС. Очень милый, начитанный, интеллигентный. С каким волнением, с каким неподдельным гневом говорил он об артиллерийском обстреле жилых кварталов Ленинграда.

— Неужели они, идиоты, не понимают, что каждый снаряд, выпущенный по городу,— это счет, по которому придется платить?! Ведь уже должны понимать!

Рассказывал о судьбе станции зимой 41/42 года. Работала станция без перерыва (был перерыв на одну-две недели, когда замерзли котлы). Все, кто мог, приходили в положенное время, а уходили позже положенного. Работа заключалась «в охране и сбережении энергетического хозяйства». Ток не вырабатывали — не из чего было.

— Звонят из Ленсовета: «Дай сто киловатт». — «Не могу. Сами при копилках сидим».

Это в те дни, когда в городе не выходили газеты, молчало радио.

Потом — праздник. Раздобыли торф, отогрели трубы, осветили цех, выработав в первый день, кажется, пятьдесят или семьдесят киловатт-часов.

...Рассказывал о том, как в прошлом году немцы разбомбили один из агрегатов станции. Над районом долго крутился немецкий самолет. Батареи молчали, думали — разведчик. Внезапно он, «совсем как ястреб», спикировал и бросил бомбу — с очень большой точностью.

А совсем недавно дальнбойный снаряд разрушил новую столовую, над оборудованием которой долго и любовно трудился весь коллектив: столики с белыми скатертями, цветы и т. п.

...Тот же инженер, «по интуиции» угадав мою профессию, говорил:

— Что же вы нашего Тынянова не сберегли?..

«Наша Берггольц»,— говорил он и по-настоящему радовался такому бурному, такому заметному росту ее таланта...

...Ехал в вагоне лейтенант, молодой, красивый, нарядный, из штабных. Все стоял в коридоре и рассказывал анекдоты, большей частью армейские и большей частью похабные.

Инженер мрачновато слушал, потом прикрыл дверь в купе и тихо, как бы извиняясь, сказал мне:

— Незачем нашей дамочке просвещаться.

...Ехал в одном из купе высокий худощавый человек, очень скучный и задумчивый. Все видел в коридоре на откидной скамеечке, и поглядывал в окно, и постукивал косточкой пальца по деревянной раме.

Разговорился с ним.

— В Ленинград?

— В Ленинград... да.

— В командировку или возвращаетесь?

— Нет. Не возвращаюсь. В командировку.

— А в Ленинграде давно не были?

— Последний раз был месяца за два до войны.

— Н-да.

Вижу, что и сам он думает: «Н-да».

Страшно было смотреть, как волновался и «переживал» этот человек. Еще его счастье, что не было в их купе такой спутницы, как наша милая «смольнянка».

В Тихвине он в первый раз вышел из вагона. И даже объяснил, зачем это делает:

— Дети спросят: «Папа, ты Тихвин видел?» Надо посмотреть...

Ожил он и даже слегка повеселел только тогда, когда наш поезд шел уже в самом Ленинграде.

...Шлиссельбург и новый мост возле него мы миновали ночью. Просил проводницу разбудить — она пожалела. В предзвездных сумерках вторично перебрались через Неву — по Финляндскому мосту. Пресловутый «коридор смерти» прошли ночью, задавая храповицкого.

И вот — Ленинград. Знакомый перрон с «застекленной» (увы, ни одного стекла давно уже не осталось в ней) крышей. Крепкий мороз. Снег. Синие утренние тени. Суровая тишина на вокзале. Очень немного встречающих. Два-три носильщика. Дамы в валенках.

У входа в вестибюль несколько милиционеров в серых фронтовых шинелях проверяют документы.

У меня на руках командировка ЦК ВЛКСМ. Вероятно, оттиснутые на бумаге крупными буквами слова «центральный комитет» действуют магически. Бумаги мои просматривают мельком.

— Пожалуйста, товарищ... проходите.

Все до спазмов в горле, до слез, до сердцебиения знакомо.

Знакомые с детства своды Николаевского вокзала!

Хочу позвонить своим по автомату, но у телефонной будки огромная очередь, а ждать я не могу, не терпится. Ввалив на спину тяжелые мешки, спешу к выходу.

Ленинградцы в поезде хвалились, будто в Питере на улицах идеальный порядок — не то что в Москве: снег убран, лед с тротуаров сколот.

И вот — площадь Восстания. Еще темно (в Москве в этот час гораздо светлее). Чуть-чуть развидняется. Мигают синие лампочки у ворот. Площадь покрыта глубоким, выше колен, снегом. По узенькой — не разойтись со встречным — тропиночке пересекаю наискось площадь, иду к Знаменской.

Перспектива Невского тонет в предутренней мгле. Людей на улице очень немного, но, по-видимому, больше все-таки, чем в другое время. Спешат на работу.

Походка у всех бодрая. Дистрофических лиц не видно. И не видно на площади развалин. Силуэт города по первому впечатлению не изменился.

Улица Восстания цела.

За ночь намело целые горы снега. Даже по тротуару идти можно только по тропочке, которую протоптали первые утренние пешеходы.

Чтобы «приучить себя», иду нарочно по той стороне, где почти на каждом доме сделаны -- белым по синему — трафаретные надписи: «Граждане! При артобстрелах эта сторона улицы наиболее опасна!»

Рядом на стенах, заборах и на дощатых ящиках-ставнях (их осталось немного) такие же трафаретные призывы:

«Берегись гриппа! Сохраняй ноги в тепле!»

«Не оставляй топящуюся печь без присмотра!»

«Граждане! Не оставляйте зажженных светильников!»

В этом возгласе что-то даже античное или средневековое.

Я дома. Но жить мне негде. Большая комната заселена. У мамы тепло, уютно, да тесно. Третьему не поместиться. А в мою комнату страшно заходить. К приезду моему там навели порядок, но до чего же убогий этот порядок. Стены и потолок черны от копоти. В комнате шесть-семь градусов мороза! Стекла не вставлены. Фанера еле держится. А ведь я жил здесь всю долгую зиму 1941/42 года.

Избаловал я себя в Москве и на фронте!

Устроился в «Астории». Тоже убого, холодно, кое-как, на живую нитку, но — после улицы Восстания — все выглядит каким-то постыдно-развратным.

Занимаюсь тем, что хожу по городу и разношу письма и посылки.

Мне повезло. Оказывается, уже два-три дня в городе не было обстрелов. А до этого, говорят, творилось что-то неопишное. Десятки и даже сотни жертв за один день.

Сегодня вечером шел по улице Чайковского и вдруг над головой — знакомое и уже забытое: п-и-и-и-и-у-у-у!..

И через секунду-две где-то в приличном отдалении раскатистый грохот.

Один, другой, третий удар.

А на улице все по-прежнему. Шел тихий святочный снег. Дети катились на финских санках. На приступке подъезда пожилая женщина колола березовые полешки.

Люди шагали, не обращая внимания на это зловещее курлыканье вражеских снарядов. Было в этом что-то и умильное и — страшное, противоестественное.

...У Г. сияла, вся в электрических лампочках, огромная, до потолка, елка. Девочка лежала в постели (у нее грипп), разглядывая какое-то лото «Дядя Степа».

Папа Г. чинил электрическую плитку. А за окном все бухало и грохало.

Пришла из детской поликлиники женщина-врач, молодая, в валенках, в белом халате, натянутом на зимнее пальто.

Когда я в разговоре заметил, что «все-таки постреливают», она сказала:

— Да, но это же далеко...

— А где, по-вашему?

Она склонила голову, как будто выслушивая больного, прищурила глаз. За окном опять бабахнуло.

— Пожалуй, на Петроградской,— сказала докторша.

П о з ж е.

Был у Р. М. Гуревич в больнице Эрисмана. И оказалось, что давешняя детская докторша была права. Когда я третьего дня сидел на елке у больной Ирочки Г., немцы как раз обстреливали площадь Льва Толстого и окрестные улицы.

Ревекка Марковна мне рассказывала:

— Третьего дня у нас погибла молодая женщина-врач. Накинула на халат пальтецо, побежала на площадь Льва Толстого в булочную за хлебом. Через полчаса уже лежала в больничном морге.

(Я вспомнил, как я тогда разбирался в письмах и посылках и раздумывал, куда мне раньше поехать: на Петроградскую или на улицу Чайковского. Поехал на Чайковскую.)

...Сама Р. М. живет тут же, при больнице. У нее комната, довольно уютная, на четвертом этаже.

Недавно позвали Р. М. вниз, в палату. В это время начался обстрел.

Когда Р. М. вернулась к себе, в комнате лежало восемь увесистых осколков. Стекла в окнах, недавно лишь вставленные, опять выбиты.

Сейчас комната еще раз приведена в порядок, однако все в порядок не приведешь. Входная дверь и дверца платяного шкафа в трех местах пробиты насквозь. Следы на потолке и на стенах кое-как замазаны известкой.

Несколько дней не записывал, некогда.

11-го и 12-го было сравнительно тихо.

13-го где-то на окраинах постукивали, но не очень.

Ленинградцы считают, что вообще все эти дни у них «выходные».

14-го к вечеру стало погромыхать довольно основательно. Поздно вечером шел мимо Публичной библиотеки. В конце Садовой (за Нарвскими, следовательно, воротами) огненные сполохи. Характерные розовые вспышки (электрические разряды трамваев — те сине-голубые, бледные, лунные). А может быть, это и не в Ленинграде, а где-нибудь дальше, за чертой города — в Петергофе или в Кронштадте?

Хожу, хожу — и не могу насытиться, наглядеться, налюбоваться и — нагореваться.

Побывал уже очень много где — и на Петроградской стороне (у мечети, у «Ленфильма», у дворца Кшесинской), у Исаакия, у Николы Морского, на Фонтанке (140 и 139), на Вознесенском, на Песках, на Старо-Невском и на том Невском, где Дума, Гостинный двор, Публичная библиотека, клодтовские кони, Пассажи...

Даже перечислять все это приятно и радостно.

А бывает, идешь, веселый, счастливый, и вдруг будто из погреба дохнет на тебя чем-то ледяным, кладбищенским. Нет, кажется, уголка в городе, где бы не мерещились мне свежие могилы.

Вот здесь, на Аничковом мосту, я видел последний раз Танечку Гуревич. На следующий день бомба упала на Гостинный двор, разрушила здание, где помещался «Советский писатель». Вместе с другими не стало и этой милой девушки.

А вот улица Маяковского. Здесь в доме № 11 жил Даниил Иванович Хармс. Я никогда не понимал и не мог оценить его «взрослых» стихов, но то, что он успел сделать для детей, было больше, чем талантливо. Еще в августе, кажется, 1941 года пришел к нему дворник, попросил выйти за чем-то во двор. А там уже стоял «черный ворон». Взяли его полуодетого, в одних тапочках на босу ногу. В первую же блокадную зиму он умер в тюремной камере. За что? Не знаю. Я видел Д. И. дня за два, за три до ареста. Я всегда знал, что он умен, его чудаковатость была маской, а шутком гороховым, каким его считали некоторые, он никогда не был. Мы пили с ним в тот вечер дешевое красное вино, закусывали белым хлебом (да, был еще белый хлеб!). Разговор шел у нас главным образом о войне. Даниил Иванович был настроен патриотически и оптимистически, он верил, что немцев разобьют, и считал, что именно Ленинград — стойкость его жителей и защитников — решит исход войны. А ведь в те дни немцы на бешеной скорости приближались к воротам нашего города.

...А за углом на улице Чехова жил милый друг мой Борис Михайлович Левин. Жил и больше не будет жить. Ни здесь и нигде в этом мире...

В отличие от своего учителя Хармса он был настроен безысходно-мрачно, немецкое нашествие его пугало...

Веселый, добродушный, мешковатый — С. Я. Маршак называл его «гималайским медведем», намекая отчасти на внешность, отчасти на имя Левина<sup>1</sup>, — уютный, чем-то очень похожий на милейшего Л. М. Квитко. Борис Михайлович вдруг, на глазах у нас, растерял всю свою уютность, весь оптимизм. Еще в 1939 году, когда немцы, перестав играть в прятки, в открытую пошли «завоевывать мир», он сказал мне (или повторил чьи-то слова):

— Кончено! В мире погасли все фонари.

И все-таки в первые же дни войны он пошел записываться в ополчение. Поскольку он был, как и все мы, офицером запаса, его направили в КУКС, то есть на курсы усовершенствования командного состава. Там он учился, кажется три месяца. Потом получил назначение на фронт, который был уже совсем рядом.

Мне рассказывали подробности его гибели. Страшные подробности ужасной гибели.

Они только что прибыли в расположение своей части, несколько молодых лейтенантов, дня за три до этого закончивших курсы. Если не ошибаюсь, им еще не выдали оружие. Они устраивались на ночлег, когда в землянку ворвались немецкие автоматчики. Первый немец, которого увидел Борис Михайлович, погасил для него все фонари, и солнце, и звезды...

Не знаю, где сейчас его дочка Ира. Сколько ей? Лет уже семь? А книги его стоят на полках библиотек и читать их, надеюсь, будут долго: и «Федьку», и «Лихово», и «Улицу Сапожников», и «Десять вагонов»...

С той же улицей Маяковского связано и еще одно тягостное воспоминание. Вот здесь, на этом перекрестке, на углу улицы Жуковского, всю зиму пролежал труп старика. Шел человек, упал и уже не поднялся. И почти все, кто тащился тогда тротуаром, почти машинально переша-

<sup>1</sup> По-настоящему, «по паспорту», его звали Доївбер, то есть медведь по древне-еврейски (дойв) и медведь на современном еврейском (бер).

гивали через это замерзшее, одеревеневшее, серое скрюченное тело. А я не перешагивал, я обходил стороной. И где-то в глубине души, помню, шевелилось горделивое и даже хвастливое: вот, значит, я еще живу, значит, еще не потерял облика человеческого. До середины марта мне почти каждый день нужно было ходить этой улицей. И вдруг в одно черное зимнее утро я с горечью в сердце обнаружил, что уже несколько дней шагаю через труп. Значит, не стало уже сил делать эти несколько шагов в обход. И душевно я ослаб: уже не пугало, не ранило это неуважительное, кощунственное отношение к человеческому телу.

И вот — как разительно неузнаваема эта улица Маяковского сейчас!

Снег уже убран. Город чист, опрятен, благоустроен.

Работают на улицах и взрослые, и старики, и дети.

На углу Бассейной у здания школы (теперь там женская школа) — маленькиё девочки, второклассницы, возят на санках снег. Крепкие, здоровые, розовощекие и деловитые, как-то по-особенному, по-ленинградски, серьезные.

Долго смотрел, любовался, как работают эти маленькие гимназисточки.

Вечером ехал в полупустом вагоне трамвая через Кировский мост. Сидел на детских местах — у выхода. Окна заиндевели. На секунду приоткрыл дверь. И навсегда запомнилась эта сказочная картина, мимолетное петербургское виденье...

Решетка моста, за ней освещенная (от Смольного) луной Нева, длинная черная полынья, а дальше — заснеженная набережная, смутный силуэт Исаакья... Морозная дымка над всем этим, как будто иней висит у тебя на ресницах.

Почему-то вспомнил в эту минуту девочек, работавших на улице Некрасова. И вдруг как ознобом охватило меня сладостное чувство счастья.

— Быть Ленинграду! — подумал я. И, может быть, даже не подумал, а вслух это сказал.

#### 15. 1. 44.

Среди ночи проснулся от совершенно невообразимого гула. Так бывало осенью сорок первого года, когда поблизости работали все окрестные зенитки. Но на этот раз это были не зенитки. И не поблизости, а где-то очень далеко. Казалось, что посылают снаряды сразу несколько тысяч орудий.

От этого грохота и грома просыпался среди ночи раз пять-шесть. Утром, часов в восемь, в номере звенело все, что может звенеть и сотрясаться: оконные стекла, зеркала, подвески на люстрах.

Такого на моей памяти в Ленинграде еще не бывало. И вообще я никогда не слышал такого орудийного грома.

Почему-то вдруг решил, что это — наши, что началось наступление.

Радио в номере нет. Окно, выходящее на Исаакиевскую площадь, затянута льдом.

Лихо насвистывая («Гром победы раздавайся»), принял ледяной душ, быстро оделся.

И все время прислушивался. Постепенно стал различать, где свои, где чужие. Ухо у меня все-таки тренированное.

Невдалеке, где-то в соседнем квартале, рвались немецкие снаряды. Но их было немного. И не они создавали эту какофонию. Вели музыку

боя наши орудия — стреляя где-то все-таки очень близко, по-видимому с кораблей, стоящих на Неве.

В начале десятого часа вышел на площадь. Грохот стоял титанический. Казалось (не преувеличиваю), что вот-вот от сотрясения воздуха рухнет, рассыплется громада Исаакиевского собора.

А на улице — хоть бы что.

Три девочки-школьницы бежали (то есть не бежали, а шли вприскочку), размахивая сумками и портфелями. Одна поотстала, у нее растегнулось что-то — ботик или сумка. Застегнув, она, весело напевая, кинулась догонять подруг.

Первые две идут мимо. Прислушался к их разговору:

— Хорошо погибнуть вместе с мамой, правда? А то мама погибнет — что я одна на свете делать буду?..

Девочкам лет по девять, по десять.

Бродил по городу. Грემело и грохотало, но где и что — не понять было.

Пешком дошел до улицы Восстания. Случайно застал Лялю дома. Говорит: ходят упорные слухи, что началось генеральное наступление со всех сторон — и за Нарвской, и на перешейке, и в сторону Ижоры. Немцы отстреливаются бешено, но главный шум действительно создает наша артиллерия.

Был на радио. Так и есть. Началось.

В радиокomiteе насмешило меня и умилило, что все женщины — редакторши, артистки, дикторы — ходят в валенках и в стеганых ватниках. После Москвы это бросается в глаза.

Запомнилось. На Невском у ворот стояла молодая женщина с грудным младенцем на руках. Ярко-синее шелковое одеяльце, белое кружево. А над головой женщины, пересекая Невский, летели, повизгивая, снаряды...

Сегодня в ленинградских газетах («Смена» и «Ленинградская правда») опубликовано решение Ленсовета «О присвоении прежних названий некоторым ленинградским улицам, проспектам и площадям».

Проспект 25-го Октября — снова Невский, Садовая — Садовая, а не улица 3-го июля. Суворовский стал снова Суворовским, Измайловский — Измайловским, Большой — Большим и т. п.

Об этом много говорят в городе, и все почему-то очень радуются. Впрочем, не почему-то, конечно.

Отмененные названия вообще никто никогда не признавал (кроме разве трамвайных и автобусных кондукторш). И это — не консерватизм обывателя, как может кому-нибудь показаться. Нет, просто такие названия, как проспект 25-го Октября или улица 3-го июля, не отвечают законам нашей этимологии — это перевод с французского (улица 3-го июля — это совсем как какая-нибудь «рю дю каторз жюйе»).

Принял веронал, лег, повертелся часа полтора, да так и не уснул. Встал, накинул шинель и вот сижу пишу.

Все думается, вспоминается. И нынешнее вспоминается, и вчерашнее, и то, что было два года назад.

...Шел третьего дня мимо фабрики «Ленфильм» и вдруг вспомнил — дядю Колю, его грустную, трогательную, такую простую и вместе с тем такую необычную судьбу.



Кто из мальчиков в детстве не мечтал о профессии пожарного! Впрочем, в наши дни мечты у ребят стали другими, более высокими: их прельщают Чкалов и Гастелло, папанинцы и челюскинцы, Матросов и Зоя Космодемьянская.

А в годы, когда подрастал дядя Коля, профессия пожарного была самой героической из всех «мирных» гражданских профессий. Мечтал об этом славном поприще и маленький Коля Пурышев. Мечтал горячо, страстно. Он был гимназистом пятого класса, когда сводный брат его, мой отец, подарил ему в день рождения настоящую пожарную каску. Говорят, Коля не расставался с нею даже во сне. В Петергофе, на даче, он еще подростком состоял в добровольной пожарной дружине. О пожарах он мечтал, как другие мечтают о коньках или о поездке в цирк. Он знал адреса всех частей, имена всех брандмейстеров и брандмайоров.

Но все это было ненастоящее, игрушечное, любительское, а он мечтал о настоящем, мечтал о борьбе с огнем до последнего часа.

Такие мечты редко сбываются. Точнее сказать — никогда не сбываются. А у дяди Коли мечта его отроческих лет сбылась. И помогла этому революция, потому что вряд ли до революции и без революции мог бы сын богатого подрядчика, акционера, домовладельца стать пожарным.

Революция «раскулачила» дядю Колю, лишила его «прав и состояния»... И он был по-настоящему счастлив этим, милый наш дядя Коля! Отслужив в Красной Армии, отболев тифами и прочим, он сразу же поступил в пожарные и за пятнадцать лет проделал в этой сфере головокружительную карьеру — пройдя путь от рядового топорника до начальника пожарной охраны на ленинградской кинофабрике.

На этом посту он оставался до последнего часа.

Умер дядя Коля в январе 1942 года от голода. За несколько дней до этого умер его сын Павлик.

В ночь с 26 на 27 января я видел сон — будто сидим мы в ресторане (такие сны посещали нас, блокадников, часто). Нас четверо. Мы трое пьем вино, а четвертый — дядя Коля — пьет молоко.

Проснувшись, я подумал и сказал маме:

— Умер дядя Коля.

Дней через пять-шесть пришла жена дяди Коли, Марья Михайловна, и сказала: да, рано утром 27 января дяди Коли не стало.

Что это такое — не знаю, не понимаю и не пытаюсь понять. Но так было.

### 16. 1.

Только что встал. Ночью было совсем тихо. А утром, часов в 6—7, началось. Правда, это была не такая громоподобная какофония, какая разбудила меня вчера. Между отдельными залпами все-таки можно было различать паузы. Но стекла звенели — и в окнах и в зеркалах.

Не одеваясь, подбежал к окну, раздвинул шторы.

Оттепель!.. Лед на окне растаял.

Фу, дьявол! Это на руку немцам. Мороз — наш старый и до сих пор, пожалуй, самый надежный из союзников.

Конечно, не только от мороза, но и от мороза тоже зависел успех наступления.

Но зато я вижу сейчас площадь (со вчерашнего дня она опять Исаакиевская, а не Воровского). Вид ее суров, но прекрасен. Исаакий сверху оттаял. Его купол, позолота которого замазана для маскировки чем-то серым, — мокрый. На узеньких карнизах над портиками — тающий снег, мокрое железо...

Как это ни странно, а на площади и вообще куда хватает взгляда — ни одного разбитого здания. Даже бреша от снаряда нигде не вижу. Это значит, что поблизости нет никаких «объектов», по-видимому. Правда, стекло нет. Всюду желтые прямоугольники: фанера с черными шелками форточек. А кое-где — главным образом в верхних этажах — ни стекло, ни фанеры, ни форточек. Там не живут.

Нежилой вид у хорошо знакомого мне здания Института истории искусств.

С выбитыми стеклами стоит и здание германского консульства против моего окна.

В скверике — снег, протоптанные во всех направлениях дорожки, куцые кустики.

Редкие прохожие, редкие машины. Два дядьки, согнувшись наподобие репинских бурлаков, тянут по оголенному асфальту мостовой санки с двумя восьмивершковыми поленьями.

#### 17. 1. 44.

Наступление, по-видимому, если и не сорвалось, то затормозилось. Помешала оттепель. Сегодня вечером шел дождь.

Вчера немцы опять стреляли по городу, но больше по окраинам.

Я много где успел побывать, ходил, выполнял поручения. Был на Конногвардейском бульваре, у Мариинского театра, у Николы Морского, у почтамта. Этот район, кажется, наиболее пострадавший (и страдающий) от немецких снарядов (если не считать южных окраин). На площади Труда в 1941 году упал первый (или один из первых) дальноточный снаряд. Тут много развалин, много пробоин и кирпичных заплат на стенах домов.

На Театральной площади — тоже. Два угловых дома на улице Глинки (у Офицерской) — одни стены с зияющими дырами оконных проемов. Искалечено (но уже приводится в порядок) здание театра. Немало увечий и на здании Консерватории.

На Екатерингофском — против Никольского переулочка — свежая рана. Снаряд угодил в подъезд, разворотил его, как сказала мне какая-то старушка, — совсем недавно, часа полтора назад.

На белом снегу лежит розовая кирпичная пыль.

На небольшой площади перед папертью Никольского собора — голуби. Милые никольские голуби, откуда и когда они снова сюда прилетели? Ведь в тот год не было ни одного. И не только здесь, во всем городе.

Вспомнилось, как в феврале 1942 года, возвращаясь от Нины Борисовны, я зашел в собор... Там стояли, готовились к отпеванию, двадцать четыре гроба! Нет, я написал неправду — в том-то и дело, что в гробу покоем только один, а остальные покойники лежали — кто в ящике, кто в корзине, кто в длинном черном сундуке. Один, помню, лежал, сложив на груди руки, в опрокинутом на спину платяном шкафу.

Здесь, на углу Вознесенского и Екатерингофского, в кондитерской Агулянского в годы нэпа работал «в мальчиках» брат Вася.

Вот уже и Васи нет. «Никогда, никогда не прочту я больше его милых каракулек», — писала мне в прошлом году мама.

О Васиной смерти сообщил мне его товарищ по койке. Умер Вася в Рыбинске, в доме инвалидов Великой Отечественной войны. Есть уже и такие.

А здесь — не могила, а целый семейный склеп.

В этом доме я жил — с перерывами и в разных квартирах — в общей сложности лет восемь. И только недавно узнал, что «на сем месте в доме при церкви Вознесения» останавливался, впервые приехав в Петербург, Н. В. Гоголь. Квартиру он снял, если не ошибаюсь, по объявлению, вывешенному у заставы.

В мое время в очень маленькой квартирке на четвертом этаже, под самой крышей, проживало семейство Лебедевых — две тетушки, бабушка и милая девушка Таня, очень, даже необыкновенно талантливая. В девятнадцать лет она с блеском кончала РЛУ (Рабочий литературный университет), но не кончила, не успела — ее исключили. Оказалось, что покойный Танин дедушка был священником.

В первую блокадную зиму умерли одна за другой Танина бабушка и обе тетки. Таня перебралась к Нине Борисовне... До последнего часа она писала автобиографическую повесть. Закоптелая тетрадь эта долго хранилась у меня, минувшей осенью я передал ее Таниной сестре Наташе.

Запишу, как это случилось.

После демобилизации ЦК ВЛКСМ направил меня на работу в издательство «Молодая гвардия». Т. П. Карасева, узнав, что я ленинградец, спрашивает:

— Вы случайно не знали там Лебедевых?

— Каких Лебедевых? Ленинград — большой город. Художника Лебедева? Владимира Васильевича?

— Нет, не художника. Это семья моей подруги. Они жили в районе 31-го почтового отделения.

Меня осенило:

— На канале Грибоедова?

— Да, на канале Грибоедова.

— Таня?

— Да, Таня.

В подобных случаях говорят: тесен мир.

Между прочим, Наташа (к этому времени уже овдовевшая солдатка) только от меня узнала о гибели сестры и других своих близких.

Таню я видел за день, за два до ее смерти. Укрывшись двумя одеялами, она лежала в углу на сундуке, голова у нее была ясная, она все понимала, и лучше всего, к сожалению, понимала, что умирает. Мать Нины Борисовны что-то жарила на буржуйке, что-то из дуранды или из подошвенной кожи. Крохотную порцию этого блюда предложили и Тане. Она отказалась. Мне навсегда запомнился ее слабый, но чистый, отчетливый голос:

— Пусть это съест Алексей Иванович. Мне не надо. Я все равно умру.

Нет, не буду врать, будто кусок встал у меня поперек горла. Таню уговаривали, она сердилась, мотала головой. Слегка поколебавшись, я съел этот лишний кусочек жареной кожи. Вспоминать об этом мне не стыдно. Мне просто жалко, очень жалко всех — и себя тоже.

Нина Борисовна и мать ее, как и многие ленинградцы, в том числе и храбрая наша мамочка, дали зарок — стоять до конца, Ленинград не покидать ни при каких обстоятельствах. Летом 1942 года я послал маме из Москвы телеграмму: ЦК ВЛКСМ и Министерство просвещения предлагают тебе и Ляле вызов, сообщи согласие.

Ответ был короток: никуда не поедем.

У Нины Борисовны и у Софьи Михайловны стойкости хватило до конца лета. Пугал их не голод — пугали артиллерийские обстрелы. Дом

их стоит на одном из самых обстреливаемых участков, на той прямой, которая соединяет Балтийский вокзал с мостом лейтенанта Шмидта. На этой же линии расположена и больница имени 25-го Октября, куда в начале апреля поступила работать Нина Борисовна. Она говорит, что с ужасом, какого никогда раньше не испытывала, переходила два раза в сутки трамвайный мостик через Фонтанку. Но бог миловал, все было благополучно. В конце августа они с матерью решили эвакуироваться. Н. Б. ушла с работы, стала хлопотать о выезде. Все уже было на мази, вещи сложены, посадочные талоны на самолет лежали в сумочке. Накануне или в день отъезда выяснилось, что нужна какая-то справка с места работы. Нина Борисовна побежала в больницу. И тут, на Подъяческой, у въезда на трамвайный мост, ее настиг бризантный снаряд.

Двадцать восемь ранений.

Три месяца в той же Александровской больнице.

Ленинграда они так и не покинули. Софью Михайловну через несколько месяцев зарыли в ленинградскую землю.

В ленинградской же земле покоится и Рая Белых. Но где, на каком кладбище, в какой братской могиле?

Впрочем, я ведь не знаю, где, на каком кладбище, в какой яме лежит и сам Гриша. А ведь погиб он в блаженные мирные времена: в 1938 году. Умер он в тюремной больнице имени доктора Гааза. В те дни в мире уже пахло порохом. И умиравший от чехотки Гриша даже там, в тюремной больнице, понимал это. Мы собирались писать И. В. Сталину (и написали, просили, чтобы осужденного перевели из ленинградской тюрьмы в концлагерь. Ответ пришел уже после смерти Белых: отказать). Гриша просил нас не делать этого, в последнем письме, уже полубредовом, оборвавшемся на полупhrase, он писал мне страшными прыгающими каракулями: Сталину писать не нужно, ничего не выйдет, время неподходящее...

Заходил в Дом веселых нищих, видел людей, повинных в Гришиной гибели...

Был в той квартире, где в 1926 году мы писали с Гришей «Республику Шкид». Кваргира заселена, обитаема, но ни одного знакомого лица я там не встретил. Попросив разрешения, заглянул в «свою» комнату, постоял и в той комнате, где, затворившись от «мира», запасшись махоркой и хлебом, несколько месяцев строчили мы нашу лихую мальчишескую повесть. В этой комнате в позапрошлом году умерла от голода Рая.

Дочка Белых Таня эвакуирована на Большую землю с детским домом. Повторяет судьбу отца. Не дай ей бог повторить все, что выпало на его долю!

П о з ж е .

...Хожу по городу, разношу письма и посылки, узнаю судьбы погибших и пропавших и — с гордостью и с умилением сызнаю знакомлюсь с милыми земляками своими ленинградцами.

Думалось, что это — преувеличение, что это в Москве и на фронте, «с горки» так виделось и вспоминалось — о вежливости, предупредительности, прославленной культуре и ленинградцев.

Нет, в самом деле... Всякое бывает, конечно, есть и хулиганы и грубияны. А все-таки постоянно чувствуешь, что ты не где-нибудь, а в Питере.

Спросишь на улице, как пройти туда-то, где остановка трамвая или в этом роде,— сразу же отзываются все, кто поблизости. Отвечают любезно. Если не знают — извиняются. В трамваях... нет, врать не буду, в трамваях ругаются, конечно, но как-то, я бы сказал, не по-настоящему, а как будто в театре, да еще на утреннем спектакле — для детей.

Обедал по талону в «Северном» ресторане на Садовой, 12. Там среди прочих много пишущей братии: ветераны блокадного Ленинграда — Голичников, Добин, Флит, Людмила Попова.

В ресторане кормят не по-блокадному, и даже не по-московски изысканно: к супу дают кулебяку, на сладкое — бисквит.

После блокадной дистрофии (а ею переболели в разной, конечно, степени все, кого я знаю) все выглядят полными, растолстевшими.

Вечером был на Каменном острове у Пластининых.

Сердце застучало и ноги подломились, когда за Строгановским мостом вышел из третьего номера трамвая.

По этим аллеям и дорожкам два года назад я ходил с палочкой, худой, нестриженный, бородатый. Вот тут, кажется, на этом месте какая-то девочка окликнула меня:

— Дедушка, а дедушка? Сегодня какой день — четверг или пятница?

«Дедушка!» Мне тогда еще тридцати четырех лет не было.

А вот на этой — Первой Березовой — аллее дребезжащая машина «скорой помощи» в беспросветном мраке холодной мартовской ночи везла меня тогда, весной сорок второго года, в бывший санаторий «Страховик». Парез, цинга и дистрофия III (то есть третьей степени) не помешали мне в наимельчайших подробностях запомнить эту ночь и эту поездку. В темноте наша машина заблудилась и налетела на шлагбаум какой-то военной заставы. В кабине шофера вылетели стекла. Кто-то пронзительно свистел. Бегал в темноте лучик электрического фонаря. Шлагбаум был белый, из тоненьких необделанных березок.

Каждый дом, каждый мостик, каждую тумбу и фонарь на этой дороге я помню.

Сколько раз — уже поздней весной и на пороге лета, — путешествуя контрабандой в город, я отсчитывал робкие свои, неуверенные и неумелые шаги и давал себе задание: вот до этого мостика дойти без отдыха! Вот там, у этого домика-коттеджа, где живут моряки-пограничники, передохну. Там посижу минутку на тумбе.

Да, все знакомо. Но что-то и изменилось за эти годы. Исчезли почти все деревянные здания (а в июле 1942 года деревянных домов оставалось еще немало, хотя уже и тогда жгли их нещадно — и в кухонных плитах, и в заводских котлах, и в кочегарках военных кораблей).

Но главное — люди, толпа, прохожие. На Островах люди и тогда двигались несколько быстрее, чем в самом городе. Тут все-таки чуть-чуть больше было и пищи, и свежего воздуха, и спирта... Но и тут это были тогда не люди, а робкие тени, призраки. Сейчас идут бодро, быстро, пожалуй, быстрее, чем вообще положено ходить среднему пешеходу. Такое впечатление, что людям приятно быстро ходить. Так ходят первые несколько дней вышедшие на волю арестанты и, по-видимому, подводники...

...Когда я внезапно (воистину внезапно, потому что я никогда не думал, что путь от трамвайной остановки до госпиталя такой короткий) увидел за жиденькими деревцами белые колонны особняка князя Половцева и белую фигуру в античном хитоне на клумбе у главного входа — ноги мои уже самым буквальным образом подкосились...

...В «Страховике» сейчас — санаторий летчиков. Внутри все неузнаваемо.

Что это такое? Куда я попал? Салон какой-то. Ковры, вазы, вкусные запахи кухни. Бог ты мой, ведь я узнал: тут было самое страшное место — палата колитиков, откуда выносили по два, по три человека в день.

А здесь, в угловой палате, я промерз вторую и третью ночь. Матрац был совершенно мокрый — от снега. Вода в графине замерзла. И днем и ночью было темно — электричества еще не подавали, а стекло в окнах не было, окна были кое-как задраены фанерой и старыми тюфяками...

...В санатории почему-то очень тихо.

— Что же это такое? — удивился я. В наши времена, когда здесь лежали живые покойники, и то в этих стенах было оживленнее.

Оказывается, это безмолвие и малолюдье объясняется просто: семьдесят процентов отдыхающих летчиков накануне были срочно отозваны в свои части.

Наступление!

Но, увы, оно, кажется, провалилось, захлебывается.

На улице — дождь. Это в середине января, когда по всем законам положено трещать крещенским морозам!

Вечером вчера немецкая артиллерия опять активизировалась. Грохотало и ночью сегодня.

Ночевал я у мамы на улице Восстания.

Снаряды падали где-то очень близко, с минутными-двухминутными паузами. Время от времени по радио объявляли:

— Артиллерийский обстрел района продолжается.

Звучит это очень глупо. Гораздо больше смысла было бы в объявлении: «Дождь идет». Потому что дождя за фанерой не видно, а снаряды, падая, производят некоторый шум.

Обстрел закончился только в четвертом часу дня. Противник переключился на другие районы.

За день я успел очень мало. Выполнял свои почтальонские обязанности, обедал, ходил на толчок за папиросами.

Мальцевский рынок закрыт, торгуют — законам и милиции вопреки — у булочной на углу Греческого и Бассейной. Даже водку здесь можно купить. Пол-литра московской — 300—350 рублей, хлеб — 50—60 рублей кило, масло — 100 рублей за сто граммов, папиросы «беломор» — 30 рублей пачка.

В гостиницу вернулся рано. Работал.

За окном тихо.

Прогнозы на погоду, говорят, неважные.

Табак «эрзац», в состав которого входила всякая дрянь вплоть до коры, мха, листьев и мочалы, шутники-ленинградцы называли «елки-палки», «лесная быль», «сказка Венского леса» и даже «матрац моей бабушки».

*18.1.44. 10 ч. 00 м.*

Только что встал — разбудил телефонный звонок...

На улице как будто подморозило, но, по-видимому, только чуть-чуть. Исаакий, оттаявший вчера, стоит сегодня фиолетово-белый (белый с едва проступающим, намечающимся оттенком фиолетового). Купола его тоже покрыты тонкой пленкой инея. На побелевшем, поседев-

шем фронте четко проступают черные буквы: «Храмъ мой храмъ молитвы наречется».

По дымкам, которые вьются кое-где над крышами (даже над крышей германского консульства), — тоже видно, что холодно. А небо — совершенно весеннее, неповторимо питерское, и нежную, легкую голубизну его ни с чем не сравнишь, кроме как с вылинявшим и застиранным воротником матросской рубахи.

На площади у собора школьницы-старшеклассницы под руководством однорукого офицера занимаются строем.

Редкие прохожие. Санки.

Вчера я писал кому-то, что Ленинград больше, чем раньше, стал петербургским. Вероятно, потому, что цивилизации стало меньше (мало трамваев, нет автобусов и троллейбусов, да и людей на улицах мало; луна заменяет электрические фонари и т. д.).

Котенок в Ленинграде стоит 500 рублей.

Вероятно, приблизительно столько же он стоил бы до войны на Северном полюсе.

Проснулся сегодня и сразу вспомнил почему-то тоненький-тоненький голосок девочки, напевающей:

Черная ночь,  
Только ветер свистит в проводах...

У Пластининых на Каменном острове. Девчушка лет пяти-шести. Дочь буфетчицы Лизы. Долго упрашивали ее спеть — стеснялась. Потом, внемля моей просьбе, согласилась. Таня села к пианино, и девочка серьезно, с большим недетским чувством спела две песни — одну про черную фронтную ночь и другую про землянку, про огонь, который «бьется в тесной печурке», и про людей, живущих в местах, где «от смерти четыре шага».

Девочка Валя пела, а над крышей госпиталя летели снаряды и рвались где-то совсем рядом — в Новой Деревне.

И опять у меня слезы подступили к горлу. Не выдержал, нагнулся и поцеловал русую головку девочки.

Вечером как-то шел через площадь Революции. Впереди идут два маленьких мальчика. Один говорит:

— Сейчас домой приду. У нас тепло. И сразу же буду в солдатиков играть. У меня одних фрицев восемьдесят человек! Я нашим звездочки на шлемах нарисовал, а немцам — кружочки. Немцы у меня в психическую пойдут, а наши — отражать будут.

Я представил себе эту уютную картину. Зима. Теплая комната. Лампа под абажуром. И мальчик — один, без товарищей, играющий в солдатиков.

Очень уютно, да, но и страшновато. Неужели все, что случилось и происходит вокруг, не вытравило из ребенка извечный мальчишеский милитаризм?

Ночью и с утра было тихо. А сейчас опять пальба. Очень близко. Но кажется, это наши дальнобойные.

Мороз чувствуется даже в этих раскатистых и надтреснутых оружейных залах. В оружейном громе что-то звонкое, как в березовом полене, когда его раскалываешь на морозе.

П о з ж е.

День сегодня шумный. С утра на Неве работали наши корабли. Около двенадцати я вышел из гостиницы. На углу Невского и улицы Гоголя чистил сапоги у инвалида-чистильщика. Молодой еще, с орденом Славы на промасленной стеганке. Не успел он наваксить первый сапог, как где-то совсем рядом (позже выяснилось, что не совсем рядом, а в соседнем квартале) с ужасающим грохотом упал тяжелый снаряд. Считается, что в таких случаях вздрагивают руки. У меня дрогнула нога — та самая, что стояла на скамеечке чистильщика. Тот тоже на несколько секунд прервал работу, прислушался.

— Это «он» бросил. Это не наш.— И, постучав по ящику щеткой, спокойно сказал: — Другую.

То есть давай ставь другую ногу.

Я поставил. И он продолжал работать, а я — обрабатываться.

Минут через десять зашел — на Невском же — в писчебумажный магазин. Вокруг уже редела артиллерийская гроза. И тут, когда я выбирал блокноты и переводные картинки для Иринки, радио вдруг объявило, что «начался артиллерийский обстрел района»...

Только после этого магазин закрылся. Но поскольку трамваи по Невскому продолжали идти и пешеходов как будто нисколько не убавилось, я тоже вынырнул на улицу и продолжал свой путь.

Был, между прочим, у Ильи Александровича Груздева. Просидел у него больше часа.

Уникальная редкость в блокадном Ленинграде — собака. Черный зверь-пудель, потомок житковских пуделей.

И. А. подтвердил, что наступление наших войск под Ленинградом продолжается. Хотя погода (к вечеру совсем развезло) страшно мешает нам, затрудняет продвижение. Очень много жертв.

Говорил еще, что немецкие батареи на ближних подступах к Ленинграду подавлены. И немцы вынуждены пользоваться корпусной или армейской (не помню) артиллерией, стреляя с очень большой дистанции и впервые за все время осады применяя снаряды очень крупного калибра.

Показывал выбоину на стене Михайловского театра (эта стена выходит, оказывается, в сторону канала). Снаряд угодил туда на глазах у И. А. — недавно, когда он сидел у окна и работал.

Вчера наши войска освободили станцию Александровскую на Варшавской железной дороге.

Был во Дворце пионеров. Там все почти такое же, как в доброе старое время, только не так роскошно. Теснее. И от этого уютнее.

Во дворце нынче концерт. Много детей. Маленькие девочки в валенках и в платках, повязанных поверх свитеров и кофточек, возятся на дворцовом паркете, как тигрята или медвежата. Мальчики лет по десять — двенадцать, серьезные и сосредоточенные, играют в шахматы.

Видел Натана Штейнварга. Обрадовался. Ибо Натан для Петербурга последних двадцати лет — это что-то вроде Медного всадника или адмиралтейской иглы. Кто его не знает! Основатель и руководитель пионерского движения в нашем городе.

Весь день неотвязно преследует меня мотив песни, слов которой я даже не знаю:

Че-е-е-ерная ночь...

И серьезное, задумчивое, скорбное лицо шестилетней девочки, напевающей о людях, которые находятся там, где «от смерти четыре шага».



Заходил в ДЛТ. Там тоже как-то теснее, чем раньше. Но товаров много, и они, кажется, дешевле, чем в Москве. Много игрушек и вообще предметов «детского ассортимента». А покупателей, как мне показалось,— меньше, чем продавцов.

По поручению С. Я. Маршака был на Моховой у Л. М. Владимировой. Много слышал от С. Я. об этой необыкновенной женщине, но не думал, что так хорошо мне будет — с нею и с ее милыми сыновьями.

Был в обкоме ВЛКСМ. Секретарь Иванов рассказал мне страшную и увлекательную историю о том, как его вместе с другими ребятами закидывали самолетом в тыл к немцам и как летчик ошибся и сбросил их над населенным пунктом, занятым эсэсовской частью. Тяжело раненный Иванов скрывался и блуждал по окрестным лесам вместе с предателем Власовым, который тогда еще носил советскую форму.

Когда возвращался из дворца Кшесинской, было уже совсем темно. Из окна трамвайного вагона видел яркие вспышки артиллерийских залпов — с наших кораблей. А может быть, и не с кораблей. Между вспышкой и грохотом выстрела очень большой интервал. Может быть, это Кронштадт. А может быть, и еще дальше.

Рассказывала женщина в трамвае:

— Моя знакомая у Путилова завода живет. Говорит: сегодня столько раненых везли с передовой, что из машин кровь лилась и на снегу след оставался.

Обстрел продолжался нынче часа четыре.

Вечером опять работали наши береговые и корабельные батареи. И сейчас каждые три—пять минут ухает где-то за Исаакием.

Был у мамы на Знаменской, заходил на полчаса к тете Тэне.

Тетя Тэна рассказывала... Была она в протезной мастерской, рассказывала какой-то бандаж. Рядом сидит, ждет очереди пожилая женщина.

— «У вас что — тоже бандаж?» — «Нет, мне руку делают». Гляжу — у нее правой руки вот до этого места нет. «Где же вы ее потеряли?» — «Обстрел. Иду, вдруг чувствую — руке холодно стало и где-то вот тут, под лопаткой, больно-больно. Поглядела, а руки и нет». А ей и не больно. Больно под лопаткой. Теперь искусственную делают. «Да только что ж толку-то от нее. Работала, была мастерицей, стахановкой, а сейчас — инвалид, работаю сторожем, зарплата сто двадцать шесть рублей и пенсии шестьдесят».

Дзоты на улицах. Чем дальше к окраинам и вокзалам, тем больше их. На проспекте Майорова у Измайловского моста — лицом к Варшавскому вокзалу — огромный бетонированный дот. На Усачевом — у Египетского моста — сохранились баррикады.

По всему городу — главным образом на углах и перекрестках — окна и двери заложены кирпичом, и в кирпичной кладке — черные щели амбразур. Некоторые амбразуры прикрыты железными ставенками — чтобы не пугать население, вероятно.

Проходил сегодня по улице Гоголя. Там, недалеко от Невского, еще в 1941 году тяжелая бомба срезала угол дома — с пятого этажа до подвала. Сейчас этот срез задрапирован холщовой декорацией. Худож-

ник постарался, нарисовал окна с поблескивающими стеклами, ложно-классический орнамент, карнизы и пр., а над рисованным подъездом — разрисованная же рельефная доска и на ней дата — чего: разрушения или восстановления? — 1942.

В городе очень мало военных. 15-го все отозваны на фронт. Чаше чем обычно мелькают черные шинели моряков.

*19.1.1944. 9 ч. утра.*

Разбудил телефонный звонок. На улице было еще темно, но в комнате то и дело вбегал и освещал ее — сквозь щели в портьерах — розовый отблеск орудийных залпов.

Сейчас уже рассвело. Ночью опять были заморозки (да, в январе заморозки!). Исаакий покрыт инеем. За его спиной палят корабли. Лимонно-красный клубок огня взлетает на уровне углового, малого купола. Через одну-две секунды грохот и треск.

...А перед огромной махиной собора, который на три головы стоит выше остальных зданий города, перед собором, у которого и ступени-то кажутся отсюда выше человеческого роста, — перед этим тяжелым, как египетская пирамида, колоссом стоит на коленях маленькая фигурка женщины. Молится. Истово крестится, делает земные поклоны. Мимо идут люди, влекут санки с дровами. А женщина стоит на коленях посреди мостовой и молится. Потом поднимается и идет — очень быстро, спешит, вероятно, на работу — в сторону Почтамтской...

Стреляют близко. Это очень красиво. Над крышей взметнется клочок огня, за ним клубочек рыжеватого дыма, а уж потом: бам-би-ба-баммм!!!

А дальние батареи — как зарницы.

*20.1.44. Вечером.*

Вчера вечером радио объявило очередной приказ верховного главнокомандующего. Заняты Красное Село и Ропша. Москва отдавала салют войскам Ленинградского фронта. Освобождены, кроме того, Петергоф, Александровка и восемьдесят других населенных пунктов. Сегодня официально сообщается о том, что освобожден Новгород. Войска, наступающие со стороны Ораниенбаума и со стороны Пулкова, соединились. Отдельные группы противника окружены и ликвидируются. Повторяется осень сорок первого года, только — все наоборот.

Ленинград, конечно, ликует.

Последнюю сводку я слышал издали, на улице. Кажется, там упоминаются Лигово, Дудергоф, Стрельна. Трофеи очень большие, пленных же совсем немного — за пять дней всего одна тысяча человек. Драпают быстро и по-немецки организованно.

Был сегодня на радио. Хочу поехать на фронт или во всяком случае поближе к нему. До сих пор, что называется, ближе некуда было.

Завтра на этот счет буду договариваться с политуправлением фронта.

Вчера немцы еще постреливали по городу, откуда — даже не понимаю. Но, по-видимому, очень издалека. И не часто. Всего шесть снарядов за день! По-здешнему это совсем немного.

Видел вчера Ревекку Марковну из больницы Эрисмана. Она с 15 января не обедала и почти не спала. В больницу не переставая везли раненых. Ранения у большинства тяжелые, но дух — бодрый, победительный.

— Скоро и Ленинград будет Большой землей, — сказал один из них перед ампутацией.

Ездил вчера вечером на Васильевский остров и на Крестовский — все по московским поручениям.

Был на Петроградской стороне в доме Любарских. Как много опечатанных дверей на парадной лестнице!

В ящике «для писем и газет» на одной из заколоченных и опечатанных дверей что-то белело. Я любопытствовал: открытка. Не удержался — прочел: «Дорогие тетя Лиза и дядя Миша! Пишем вам пятое письмо. Страшно беспокоимся, не получая ответа...»

От Барочной улицы до Елагина острова бегают маленький одиночный трамвайчик — «кукушка».

Сегодня корабли на Неве молчат. По-видимому, они свое дело сделали, их миссия завершена. Наши наземные войска уже далеко от побережья и в поддержке с кораблей не нуждаются.

Корабли под парами (то есть живут, дышат, дымят, а насчет того, «под парами» или нет, не знаю, не специалист).

Видел вчера вечером, в темноте, огромную черно-белую, не похожую даже силуэтом на корабль, тушу крейсера «Киров». Это он рывкал своими батареями, когда у меня в номере звенели стекла и сыпалась штукатурка. Стоит между набережной лейтенанта Шмидта и Сенатской площадью.

Был еще вчера по разным делам на Вереийской улице, в районе Технологического и у Детскосельского вокзала. Району досталось здорово. Технологический институт не то чтобы разрушен (ведь он большой, занимает чуть ли не целый квартал), а весь изранен — и бомбами и снарядами. Много зданий разрушено на Международном проспекте. Если в центре города повреждения быстро залечиваются и маскируются, то здесь на каждом шагу — незарубцевавшиеся, кровоточащие раны. Четырехэтажный серый дом рядом с Палатой мер и весов проткнут снарядом, как картонная коробка пальцем.

Заходил на Кузнечный рынок. Это один из трех рынков, сохранившихся в городе. Остальные или разрушены, или закрыты. Вся коммерция совершается под крышей единственного павильона. Колхозники торгуют главным образом молоком, картошкой (65 рублей кило), кислой капустой... Тут же — вокруг «стационарных» лотков — идет «торговля с рук», официально запрещенная, о чем предупреждают плакаты у входа. Ассортимент товаров небогатый. Всякая рвань, ботинки (дамские — 3500 рублей), белье, одежда и прочее барахло. Табак, папиросы (исключительно «беломор»), много электрических фонариков (ценный и ходкий товар не только в Ленинграде, а и в других «затемненных» городах). Мыло, масло, шпиг, мясо, конфеты, мандарины — все, что душе угодно, но всё в миниатюрных количествах — поштучно или по 100, по 50 и даже по 20 граммов. «Калек», инвалидов Отечественной войны, меньше, чем в Москве, но и тут они, так сказать, хозяева положения. Большей частью пьяные, бушуют, ссорятся, размахивают костылями.

Видел вчера на Загородном тех, кто сегодня (а может быть, и вчера) сражался и сражается на Пулковских высотах, под Павловском и Гатчиной. Стрелковый полк поротно шел от Московского, по-видимому, вокзала — на передовые позиции. Народ — некадровый, разнокалиберный, но — крепкий, хорошо экипированный и, главное, хорошо обутой. Правда, большинство не в сапогах, а в ботиночках с обмотками, но за спиной у каждого — пара подшитых валенок.

Шли с песнями. Пели не слишком лихо. Много татар и вообще монголоидных лиц. Есть пожилые, но есть и совсем мальчики.

Мне опять вспомнился сорок второй год. Вот тут на углу Кузнечного переуллка лежал труп матроса.

Ночевал дома. Спал в своей комнате. В «домашнем холодильнике», как говорит мама. Продрог, простудился, болит горло.

Утром ездил в больницу хроников на улице Смольного.

Казалось бы, что может быть страшнее жизни богадельных старушек во фронтовом городе! Но — нет, живут они, эти старушки, вместе со всем городом — сводками Информбюро, газетами, радио. Кормят их очень хорошо. И самое страшное и печальное — не то, что они засыпают и просыпаются под свист снарядов, а то, что живут без семьи. Хотя сейчас, когда подавляющее большинство советских семей расплелено, и это их одиночество не так больно ранит сердце.

Смольный выглядит очень смешно, даже нелепо. Какие-то сетки, картонные или фанерные башенки, пестрая мазня на стенах. Все это за годы войны обветшало, перепуталось, перемешалось. И не думаю, чтобы этот камуфляж кого-нибудь обманывал.

Прошел к Неве — посмотреть на Охту. Думал увидеть нечто страшное, но не увидел ничего. Несколько каменных зданий на набережной, каланча, церковь, а за ними... за ними ничего нет. Ни одного деревянного дома.

Не удивительно, что тут, вокруг Смольного, так много развалин. Охотились немцы за Смольным упорно и настойчиво. И, как видно, камуфляж все-таки помог. На самом здании Смольного я не нашел ни одной царапины.

А на Суворовском многие дома разбиты до основания.

По этим пустырям идут две девушки в серых шинельках с погонами. Навстречу — с нестройной визгливой песней — взвод девушек, тоже в полувоенной форме: в серых бушлатах-полупальто, в защитных штанах или юбках.

Из строя несется в сторону двух красноармеек:

— Эй вы, ерзац-солдаты!

Те обижаются:

— Сами вы ерзац!..

А потом, пройдя мимо, переглядываются, смеются:

— А и верно — ерзац!

Обедал вчера за одним столом с человеком, который сиял необыкновенно: он только что избежал очень большой опасности — в пятидесяти шагах от него разорвался снаряд (на станции II Финляндская, на железнодорожных путях). Но говорит он больше о другом:

— Вы представляете, какая счастливая случайность: за две минуты до этого с этих путей ушел воинский эшелон!..

Видел матроса из Кронштадта, который сегодня утром приехал в Ленинград. Впрочем, «приехал» — не точно. Из Кронштадта до Лисьего Носа он шел пешком — по льду. Это семнадцать километров. А лед на Финском заливе довольно хлюпкий. Машины не ходят.

Вечером звонил Рахтанов. Собирается в Кронштадт. Говорит, на днях туда будут ходить глиссеры.

В холле гостиницы постовой милиционер, зашедший погреться (или, скорее, развлечься), беседует с облезлой (оживающей дистрофичкой) администраторшей:

— Гитлер так прямо и пишет: «Кончено наше дело, беги, кто может». Это, я не знаю, у кого-то нашли или перехватили его письмо или приказ...

Неисправимые оптимисты мои земляки. Всегда-то и на все строят они самые радужные иллюзии.

В грамвае две женщины-работницы:

— Ну, теперь заживем. Слыхала небось: всех ленинградцев на два месяца в санаторию пошлют.

Что ж, дело за малым: остается только освободить Крым и выдать его на два месяца ленинградцам.

Вчера утром я, признаться, немножко сдрейфил. Подхожу (по улице Гоголя) к Невскому — и в ту же минуту невдалеке (в приличном невдалеке) падает снаряд и почти сразу же, с редкой оперативностью, радио объявляет артобстрел района. Испугался я не обстрела, а испугало совпадение: накануне то же самое — первый снаряд и предостережение по радио — застигло меня «на эфтом самом месте».

### 22.1. Утро.

Вчера не успел и не смог записать — вернулся в гостиницу, падая от усталости; заснул на диване, не раздеваясь.

Был в Кировском районе. Там целые кварталы превращены в пыль. Наступление на нашем фронте продолжается. Немцы, которым грозит окружение (в случае занятия Батецкой и Гатчины), отходят «в порядке эластичной обороны». Вчера в Доме радио видел человека, который только что прибыл из-под Шлиссельбурга. Говорит, что наши войска вчера рано утром пошли в наступление, продвинулись на семь километров и... не вошли в соприкосновение с противником. Немцы, надо им отдать справедливость, отступают организованно и с ловкостью совершенно кошачьей.

С моей поездкой, по-видимому, ничего не выйдет. Процедура сложная, «радисты» копаются. Тем временем фронт все дальше и дальше убегает на запад. А я 27-го, самое позднее 28-го должен быть в Москве.

В городе непривычно тихо.

Вчера вечером видел красные вспышки — где-то в направлении Пулково. Но грохота, даже отдаленного, уже не слышно.

Был у ребят-детдомовцев на Песочной набережной.

Оттуда прошел на Каменный остров.

Ночевал в той самой палате, где лежал зимой 42 года, где умирал, оживал и ожил, где Марья Павловна и Екатерина Васильевна переливали мне — под вражескими бомбами (буквально!) — кровь.

Все изменилось неузнаваемо: ковры, кожаные кресла, портьеры на окнах...

Проснулся в пятом часу утра и уже не мог заснуть.

Часов в восемь пришла Екатерина Васильевна, предложила познакомиться с летчиками, которых рано утром привезли из полевого госпиталя. Их подбили где-то далеко за линией фронта, когда они возвращались с задания. Машину посадили, но сильно трянуло.

Пошел знакомиться. В палате, где когда-то лежали дистрофики

(я там бывал у одного мальчика-ремесленника), за столом, выдвинутым на середину комнаты, сидели три богатыря. Впрочем, один из богатырей, самый главный, командир корабля — не очень-то богатырь. Маленький, кривоногий да еще с подбитым глазом. Пьют чай. На столе стаканы в мельхиоровых подстаканниках, печенье на тарелках, огромный кусок застывших мясных консервов (это их собственное — так называемый «бортовой запас»).

Скромны, просты, но, пожалуй, слегка кокетничают этой скромностью и простотой.

Авария с ними случилась, оказывается, три дня тому назад, они уже успели отлежаться в госпитале, а все-таки еще очень заметны следы того потрясения (птрясения и психического и буквального, физического), которое им пришлось перенести. Все-таки очень-очень трогательно было слушать их рассказ (собственно, говорил один штурман, высокий, статный и красивый двадцатичетырехлетний парень, орловец) о том, как, поняв, что дело хана, они попрощались друг с другом и — зажмурились, ожидая последнего удара. Не верил, что конец, и не думал о смерти только один из них — радист Пушелацкий, самый молодой в экипаже.

— В нашем воздушном деле так, — улыбается штурман, — або грудь в крестах, або голова в кустах.

Много курят. На столике у кровати надорванная сотня папирос «казбек». Штурман то и дело ходит к этому столику, приносит по пять штук и раздает всем присутствующим: Екатерине Васильевне, мне, товарищам...

Сегодня долго бродил с девочками по острову (две Тани и шестилетняя Валя — та самая дочь буфетчицы, которая пела «Темную ночь»).

Обошли все знакомые и незнакомые уголки.

На острове много детей, много детдомов, садиков и других детских учреждений. Батарей уже нет. И следов войны — явных следов — не видно. А вообще-то, если приглядеться, следы есть, их немало: поваленные деревья, столбы, рябинки от снарядных осколков, засыпанные снегом воронки.

Таня Пластинина ушла куда-то без спросу. Попала под обстрел.

— Бегу с Крестовского. Перебегаю мост, вдруг — бах! — столб черного дыма. Женщину осколком — у меня на глазах... Вот так, как это дерево, совсем рядом. Лужа крови... белая пена... тут сумочка валяется, тут хлеба кусок, а в руке карточки зажаты. Мне страшно стало, я побежала. А снаряды то тут, то там: бах! бах! бах! И с нашей стороны, с Каменного, разрывы слышны... До угла добежала — тут милиционер стоит, участковый, он меня знает. Говорит: «Бегите скорей, Таня. У вас там что-то случилось». Ну, думаю, все кончено. Прибегаю — вся стена со стороны Зимнего сада черная от земли. Карниз над нашими окнами сорван, стекла выбиты. Я кричу: «Ма-а-ма-а-а!» Никто не отвечает. Думаю: все убиты. Не помню, как наверх взбежала. И здруг — в темноте — не вижу, а чувствую: мама! Идет и тоже плачет. А в комнатах, куда ни ступишь, — битое стекло лежит.

Снаряд, который попал в санаторий, пробил высокую дымовую трубу так называемого готического домика. Сейчас из этой трубы идет дым. Дырка в трубе очень идет этому оригинальному стилизованному особняку, делает его еще более древним. Очень смешно, что стены этого дома были когда-то окрашены — под копоть.

На набережных стоят на распорках небольшие военные суда — катера, морские охотники и т. п.

В детском доме на Песочной среди прочих человек тридцать глухонемых детей.

Шести-восьмилетние дети не знают, что сейчас война, не знают вообще, что такое война. Те, что научились уже читать и понимают азбуку глухонемых, другое дело. А эти беспечны, как только что народившиеся зверята.

Трогательно привязался ко мне четырехлетний, пышущий здоровьем глухонемой карапуз. Ворвался в кабинет директора и, весело мыча, кинулся ко мне и стал тереться головой, требуя ласки, весь какой-то сияющий, ликующий. И правда — совсем как медвежонок или двухмесячный щенок.

Обстрелы еще продолжают. Вчера обстреливали Охту. Ночью сегодня снаряды ложились совсем рядом — в Новой Деревне или, может быть, даже на Островах.

Говорят, бьют из Пушкина. Они все еще там.

Наступление на Гатчину развивается медленно. Мешает совершенно весенняя, апрельская погода. Грязь по колено. Температура даже ночью не опускается ниже нуля. Облачность — уж не знаю какая, знаю только, что самолеты летать не могут.

#### 24.1.44.

...Вчера в «Северном» опять встретил А. Ф. Пахомова. Вместе обедали. А. Ф. безвыездно в Ленинграде. До января 1942 года жил на иждивенческую карточку — с женой и младенцем. Сейчас хорошо устроен, много и успешно работает, как всегда скромно самодоволен.

Он подтвердил печальную весть, слышанную мною в Москве от Евгения Ив. Чарушина, — о смерти Н. Ф. Лапшина и жены его, Веры Васильевны, сводной сестры нашей мамы. Умерла от голода и Анастасия Николаевна, мамочкина мачеха. Сын Лапшина Миша — в Сибири, в детском доме.

И Тырса погиб. Мы еще не понимаем, не осознали, какая это огромная утрата для нашего искусства.

Алексей Федорович настойчиво звал меня к себе. Нынче вечером я пытался зайти к нему и не попал — по обстоятельствам, от меня не зависящим: в 8 часов вечера ворота дома, где живут художники (на Кировском проспекте), были наглухо закрыты. Я и стучал, и нажимал кнопку звонка, и зывал голосом — никто не вышел и не отозвался.

Сегодня полдня провел в детском доме на Песочной набережной. Побывал в мастерских, возился с глухонемыми малышами.

С наслаждением посидел полчаса в спальне малышей. Не отпускали — еле вырвался.

Шел у нас разговор о литературе, вернее о писателях.

Девятилетняя девочка спрашивает:

— Это вы написали «Белочку и Тamarочку»?

— Я.

— Скажите, а Крылов жив?

— Это какой? Который «Стрекозу и Муравья»?.. Умер.

— Умер?! Ах, как жаль!

Со всех сторон посыпались вопросы:

— А Пушкин? А Лермонтов? А Некрасов?

И мне пришлось сообщать им грустные вести.

Какая-то девочка говорит:

— Ну что такое! Если писатель, так обязательно умер!

— Ну, не обязательно,— говорю я. И привожу несколько примеров.

Спрашивают — о Маршаке, Чуковском, Гайдаре, Введенском...

Между прочим, вчера или третьего дня на Каменном Таня Пластина пела «Ниточку» — песенку из книги Введенского «Про девочку Машу». Оказывается, это любимая песня ее двоюродного братишки Вити. Я вспомнил Александра Ивановича и многих других погибших не на поле брани, а в застенках и за колючей проволокой, и мне пасмурно стало, я даже глаза рукой закрыл, и Екатерина Васильевна многозначительно кашлянула и сказала в сторону девочек:

— Ну, хватит. Спать пора.

Сегодня в городе совсем тихо. Вечером, когда я стоял на автобусной остановке у «Ленфильма», московское радио сквозь визг и грохот немецких «глушителей» сообщило о занятии нашими войсками Пушкина и Павловска.

Утром была у меня в гостинице Ляля. По моему совету и настоянию она переменяла работу и профессию. С завтрашнего дня идет работать по специальности, преподавателем немецкого языка в женской школе. И она боится, и я, по правде сказать, боюсь: ведь опыта у нее никакого. Института по существу не кончила, выпуск у них был скороспелый, в декабре 1941 года. И два года после этого работала на «черной работе»: колола дрова, таскала ящики, возила тележку... Да еще и школу ей, кажется, подсунули «трудную»: где-то в районе Предтеченской барахолки. Ко мне Ляля зашла по пути из школы, расстроенная. Во дворе школы спросила у каких-то больших девочек, как пройти к директору. Одна показала, а другая, подождав, когда Ляля пройдет, громко сказала ей вслед:

— Вот еще! Всякой заразе показывать...

Послезавтра или в крайнем случае 27-го должен ехать. Жаль. Уезжать не хочется. Ведь только-только освободился от всяких хлопотных и утомительных дел и поручений. Как много хотелось бы повидать и сделать...

Например, очень меня почему-то заинтересовали глухонемые дети. Вот мальчик Володя, семи или восьми лет. Казалось бы, ничего он не знает о том, что происходит в мире. Ничего не слышал о войне, о немцах, о Гитлере, о блокаде... А посмотрите, что он рисует! Танки. Самолеты. Воздушные сражения. Взрывы.

Как-то в один из первых дней по приезде шел я под вечер улицей Чайковского. Где-то не очень далеко рвались снаряды.

Снежная улица. Синие лампочки у ворот. Кажется, остатки лунного диска в хмуром небе.

Идет впереди женщина с мальчиком. Мальчику лет пять-шесть. Идут они, вероятно, из детского садика домой.

Мать спрашивает:

— А ты кем хочешь быть, когда вырастешь? Артистом хочешь быть?

— Артистом? Нет, не хочу.

— А кем же ты хочешь?

— Хочу — воином.



- А почему артистом не хочешь?  
— Артисту говорить надо...

Переходил Дворцовый мост и вдруг вспомнилась почему-то июльская ночь 1942 года, когда ехали мы с К. М. Жихаревой и А. А. Фадеевым на Ржевский аэродром. Ксения Михайловна сидела в кабине с шофером, я полулежал в кузове на полу, на бортике примостился провожавший нас П. Н. Лукницкий, а Александр Александрович, широко расставив ноги, всю дорогу стоял. Лукницкий одолевал его всякими вопросами, интересовался последними новостями, расспрашивал: где тот, как этот? А. А. отвечал односложно, коротко, сосредоточенно думал о чем-то и всю дорогу навистывал фокстрот «Сказка» (этот мотив я знаю с 35-го года, у Ляли была граммофонная пластинка). И, помню, так это было не попад, так некстати в этот ночной час в полумертвом городе! И до чего же не соответствовало тогдашней настроенности моей души!.. Но ведь бывает — привяжется ерундовый мотивчик или глупая строчка и не отмахнешься от нее...

Шел и вспоминал.

Из осажденного Питера на Большую землю мы летели на обшарпанном грузовом «дугласе». Кроме нас троих, пассажиров в самолете не было. Устроившись на полу, подложив под себя газету, укрывшись с головой своим коричневым кожаным регланом, Александр Александрович всю дорогу крепко проспал. Ксения Михайловна тоже дремала, прикорнув на узенькой дощатой лавочке, а я всю дорогу просидел, не смыкая глаз, и все смотрел и не мог насмотреться: озеро, леса, реки, зеленые поля и работающие в этих полях маленькие человечки, так трогательно машущие нам платками и шапками.

Где-то уже далеко за озером была у нас вынужденная посадка. Летели мы совсем низко, бреющим полетом, и все-таки немецкие истребители обнаружили наш транспорт и напали на нас. Сопровождавшие нас «Яки» вступили с ними в бой и полчаса или час отбивались от воздушных разбойников. Происходило это где-то очень высоко, мы даже выстрелов не слышали.

Наш «дуглас» сидел в это время на лесной просеке.

Помню это благодатное, чистое, прохладное утро — где-то уже на тверской, а может быть, даже и на московской земле. На всю жизнь запомнил я, как пронзил меня крик петуха, долетевший вдруг откуда-то издалека, из-за леса. Тот, кто не жил в осажденном Ленинграде, пожалуй, не поймет, каким наслаждением было услышать этот уютный, уже забытый голос.

До чего же мало мы ценили в мирное время такие простые и такие прекрасные вещи, как ломоть черного хлеба, стакан молока или чистой воды, чирикание воробья или, скажем, просто ночную тишину за окном. Даже трава, даже какой-нибудь простецкий лопух радовал и веселил мое сердце в этот незабываемый утренний час.

Какие это все далекие воспоминания! А за последние дни они стали и совсем далекими.

Однако пора спать. Уже четвертый час утра. Уже чуть брезжит расцвет за синими маскировочными шторами.

#### *27.1.44. В поезде.*

Последние два дня в Ленинграде были так плотно забиты делами, что не оставалось минуты для этих тетрадок. Запишу хотя бы коротко, конспективно то, что вспомнится.

Сегодня вечером, за два часа до отхода поезда,— салют в честь освобождения города от блокады.

Такого в Москве не бывало. Боюсь, не хватит у меня ни красок, ни уменья, чтобы рассказать, как это все было, как выглядела улица, что было написано на лицах моих дорогих земляков...

Самый салют и фейерверк не такие уж мощные, внушительные. Пожалуй, по сравнению с Москвой, даже скромные. Говорят: пушек не хватило (пушки все на фронте — южнее Гатчины и западнее Тосно), поэтому на Марсовом поле закладывали и взрывали фугас.

«Толпы народа на улицах»...

«Всеобщее ликование»...

«Слезы на глазах»...

Все это так и все-таки это только слова, которые ничего не говорят.

Не знаю, как описать и с чем сравнить мгновенье, когда на углу Ковенского и Знаменской толпа женщин — не одна, не две, а целая толпа женщин — навзрыд зарыдала, когда мальчишки от чистого сердца — и тоже со слезами в голосе — закричали «ура», когда у меня у самого слезы неожиданно брызнули из глаз...

Пожилая интеллигентная женщина в подъезде:

— Сын у меня на фронте. Он слышит сейчас? Он радуется? Да? Скажите, он слышит?

Главного я не видел. Главное было на Неве. Ракеты, говорят, бросали с Исаакия.

Все эти дни город буквально на глазах оживал.

Людям казалось, что вообще кончилась война.

Трамвайные остановки из мест безопасных переносились на их обычные места. На Невском девушки в стеганках ходили с раздвижной лестницей и ввинчивали лампочки в уличные фонари. Два с половиной года эти фонари стояли слепые!

Третьего дня иду по Невскому, смотрю на эти оживающие фонари — и вдруг подумалось: «А ведь на этих перекладинах...»

И по-настоящему содрогнулся, представив себе, что могло бы случиться, если бы немцы ворвались в город. А ведь это могло случиться. Ведь и до сих пор на перекрестках улиц и у мостов стоят наготове надолбы, зияют амбразуры огневых точек. Теперь это уже все ненужное, музейное...

Дни стояли совсем весенние, первомайские. И люди ходили в пальто нараспашку по солнечной «обстреливаемой» стороне и не верили — неужели можно действительно спокойно ходить, неужели ни один снаряд не упадет и не разорвется теперь ни у подъезда Пассажа, ни в Доме кино, ни в «елисеевском» магазине, ни в кинотеатре «Аврора», ни на Аничковом мосту...

Последние два дня провел дома, на улице Восстания.

Третьего дня вечером был у нас управхоз Михаил Арсентьевич. Раньше это был просто управляющий домом, сейчас это не только управдом — это старый боевой товарищ.

Угощал его московской водкой. До войны он, насколько я помню, не пил. До войны был степенный, солидный. Сейчас — один сплошной нерв.

— Нет, до войны не пил, вы правду говорите. Красенького рюмочку еще мог выпить, а хлебного в рот не брал! А теперь научился, Алексей Иванович!.. От такой жизни научишься...

В доме у нас умерло от голода сорок человек. Почти всех их отправлял к месту вечного упокоения сам Михаил Арсентьевич (дворник Костя к тому времени уже погиб).

— Сам и в мешок зашивал, и на детских саночках увозил на базу.

А база эта, то есть общественный морг, помещалась на Ковенском, кажется, или на Маяковской — в бывшем гараже или в манеже.

— Ничего, привык. Только первый раз немножко меня потрясло... Привез Марью Васильевну из четырнадцатого номера. У ворот — целая вереница, очередь. И все с санками. Дошла моя очередь — я вошел. А там у них в гараже темно. «Сваливай», — говорят. Я думаю: «Зачем же их на дрова кладут, трупы-то?» А потом огляделся, вижу — на этих поленьях у кого нос, у кого рот вижу. Ну, тут меня пот и хватил. А потом ничего. Только пить вот научился. Водку по талончикам всю выкупаю до последнего грамма и пью сам, а не вымениваю, как другие поступают.

Половина двенадцатого ночи. Стоим в М. Вишере, кажется. Вагон наглухо закрыт — во избежание неприятностей, могущих последовать на этот раз от «врагов внутренних». Один из них бушует сейчас в темноте на платформе.

Насколько могу понять — это инвалид, демобилизованный матрос Балтийского флота. Хотел купить в поездном буфете пол-литра водки и пачку папирос — его в «Стрелу» не пустили.

— За что я р-родину стоял? — кричит он хриплым, рыдающим голосом. — Я родину защищал, а мне пачку папирос не дают купить?! Я махру не могу потреблять — у меня все кишки, какие есть внутри, разворочены.

Его успокаивают, никто не угрожает ему, а он, упиваясь вниманием, которое на него обращено, и все больше и больше растравляя в себе обиду, продолжает плакать, ругаться и рвать на себе полосатую рубаху.

П о з ж е.

Все спят в вагоне. Только я, как всегда в дороге, не могу уснуть, хожу и хожу по мягкой дорожке коридора.

Полчаса назад перечитал эту тетрадку. И сейчас почему-то все время вижу перед собой девушек, ввинчивающих на Невском лампочки в электрические фонари. И вижу маленьких школьниц, убирающих на улице снег...

Поезд останавливается почти на всех станциях, стоит подолгу, но когда разойдется, идет быстро и весело. Стучат колеса, и все чудится мне, что они поддакивают моим мыслям: «Быть, быть Ленинграду!..»



---

---

ДЖЕЙМС БОЛДУИН

★

## УТРО ДА ВЕЧЕР, И ВСКОРЕ...

*Рассказ*

— **Н**еприятные страхи,— уверяет меня Харриэт. Она в халате, лицо у нее намазано кремом.

Харриэт и моя старшая сестра Луиза собираются вечером повеселиться одни, без мужчин. Поговорить им есть о чем — обо мне, например, поэтому они свободно обойдутся без моего присутствия. Мне решено провести холостяцкий вечер. Режиссер того самого фильма, который принес нам баснословное и зыбкое богатство, зайдет за мной позже и поведет меня обедать.

Я наблюдаю за Харриэт. Не может быть, чтобы в глубине души она была так безмятежна, как кажется. Просто она держит себя в руках ради меня и Поля. Родом из добропорядочной и благонамеренной Швеции, Харриэт, с детства набив себе оскомину множеством передовых теорий, становится день ото дня все старомоднее. Мы никогда не ссорились при Поле, даже когда он был младенцем. По мнению Харриэт, детей надо не то что оберегать, а помогать им заложить фундамент, на котором им придется снова и снова строить — каждый раз, как неумолимый стальной шар жизни сшибет начисто все, что они выстроили раньше.

Когда я падаю духом, Харриэт сразу становится бодрой и сдержанной.

По-моему, она научилась этому восемь лет назад — после моей единственной поездки в Америку. Теперь, пожалуй, ситуация будет посложнее. Сумеет ли она справиться с ней? Когда сегодня утром за завтраком я ни с того ни с сего заорал на Поля, ей удалось предотвратить его слезы и мои угрызения восклицанием:

— Господи, твой папа сегодня совсем на себя не похож!

Внимание Поля тотчас же переключилось от собственных обид и злого обидчика на улыбающуюся мать. Он уставился на нее.

— Странный человек, боится, что его песенки не понравятся в Нью-Йорке. Твой папа артист, котик, а артисты непостижимые люди. Миллионы людей ждут его в Нью-Йорке, они умоляют его приехать, платят ему массу денег, а он боится им не понравиться. Скажи ему, что он не прав.

Ей удалось заинтересовать Поля заморскими краями. Я тоже засверкал в лучах славы. Наверное, Полю ужасно трудно осознать, что физиономия, которую он видит на грампластинках или в газетах и в кино,— не что иное, как физиономия его папаши, который частенько покрикивает на него. И, разумеется, поскольку ему всего семь лет — только пошел восьмой, восемь ему исполнится зимой,— откуда ему знать, что я и сам к этому не привык?

— Конечно, ты не прав, ты глупишь,— сказал он, и я невольно улыбнулся. Он говорит по-английски с сильным акцентом, далеко не так хо-

рошо, как по-французски: ведь по-французски он целый день говорит в школе. Французский у него действительно первый язык — первый, какой он услышал в жизни.— Во Франции ты — знаменитейший певец — (наверное, таким тоном он разглагольствует перед своими одноклассниками!) — и в Америке ты тоже знаменитейший.

От этого любезного добавления престиж мой нисколько не пострадал, скорее наоборот, подскочил на несколько дюймов: для Поля Америка — романтическая страна. Это место, откуда родом его отец и куда он сейчас направляется, место, где удалось побывать лишь немногим счастливым. Одна из этих немногих — его тетушка. Он поворачивается к ней.

— Так говорит мадам Дюмон, и она говорит, что он еще знаменитейший актер.

Луиза закивала с улыбкой.

— Она видела папин фильм «Дикие звери подстерегают нас» пять раз!

Тогда, конечно, спорить нечего. Мадам Дюмон — наша консьержка, и Поль знает ее со дня рождения. В истинности ее слов он начнет сомневаться не раньше, чем начнет все подвергать сомнению.

Он снова взглянул на меня.

— Так что ты зря боишься.

— И зря закричал на тебя тоже. Больше я не буду орать на тебя сегодня.

— Ладно,— очень серьезно согласился Поль.

Луиза налила нам еще кофе.

— Он всех перешибет в Нью-Йорке. Вот увидишь.

— Ну, разумеется,— сказал Поль с некоторым сомнением.

Он не знает слова «перешибет» и только по тону тетки догадался, что она с ним не спорит. Он не всегда понимает свою тетку, которую увидел впервые два месяца назад, когда она приехала к нам на лето. Такого произношения, как у нее, ему еще не приходилось слышать. Он никак не может понять, почему она не умеет говорить по-французски, хотя она моя сестра и его тетя.

Харриэт, Луиза и я переглянулись с улыбкой.

— Всех перешибет,— объяснила Харриэт,— значит, будет иметь бешеный успех. Но ты скоро сам узнаешь все американские выражения.— Она взглянула на меня и засмеялась.— И я тоже.

— Этого он и боится,— подмигнула ей Луиза,— у нас есть такие выраженьица — будь здоров. Кто сказал, что в Америке нет культуры? Наша культура густая, как кефир.

— Знаю, знаю,— сказала Харриэт.

— Я скоро пойду упражняться,— сказал я Полю.

Его лицо просветлело.

— Воп!

Иными словами, скоро он придет ко мне в кабинет со своими карандашами и бумагой и разляжется на полу, пока я буду работать с роялем и магнитофоном. Он прекрасно понял, что мое приглашение равносильно оливковой ветви. Мы, в общем-то, неплохо ладим, мой сын и я.

Он снова поглядел на Луизу. Она держала кофейную чашку в одной руке, сигарету в другой, что-то в ней удивляло его. Было еще рано, и она не успела накраситься. Ее короткие густые седеющие волосы завились круче обыкновенного, почти так же круто, как у меня. Она попозже собиралась в парикмахерскую. Луиза светлее меня и красива. По правде говоря, она единственная красавица в нашем семействе. Поль знает, что она моя старшая сестра и помогала воспитывать меня, хотя он, конечно, не понимает, чего ей это стоило. Он знает, что она учительница на Юге

Америки, который по какой-то загадочной причине совсем не то, что Южная Америка. Я видел, как он пытается осмыслить все эти экзотические сведения и силится понять, откуда ее странности — странный акцент, странные манеры. По сравнению с теми людьми, которых он видел до сих пор, Луиза, несмотря на ее смешливость и доброту, должна удивлять его своей настороженностью, неуверенностью в себе и подчас даже озлобленностью.

Интересно, как ему понравится его дядя Норман — тот старше и гораздо чернее меня и до сих пор живет в Алабаме, в том городке, где мы родились. Норман придет нас встречать к пароходу.

А сейчас Харриэт говорит:

— Вечно тебе мерещатся разные ужасы. Не так уж все страшно, как тебе кажется. Какое счастье, — добавляет она, смеясь, — что твои опасения никогда не сбываются.

Ее глаза ищут моего взгляда в зеркале — синие глаза, светлая кожа, черные волосы. Мне всегда казалось, что Швеция населена одними блондинками и Харриэт — исключение. Но когда мы были в Швеции, я убедился в обратном.

— Европа — огромный винегрет из рас, — поучала меня Харриэт, — поэтому мне никогда не понять твоей страны.

В те дни мы и представить себе не могли, что когда-нибудь поедem туда.

Интересно, что она по-настоящему думает. И все же она права, через два дня мы будем на пароходе, и нет никакого смысла носиться с дурными предчувствиями. Я сажусь на кровать и гляжу, как она наводит красоту. Вероятно, я буду очень скучать по этой старомодной спальне. Сколько лет мы собирались выкинуть старый хлам, который достался нам вместе с квартирой, и заменить его современной, более легкой мебелью. Но так ничего и не сделали.

— О, может быть, все обойдется, — говорю я. — Может быть, я просто не с той ноги встал. Боюсь, не разучился ли я петь.

Мы оба смеемся. Она тянется за бумажной салфеткой и начинает стирать крем.

— Мне интересно, понравится ли там Полю. С кем он будет дружить, — понимаешь?

— Полю понравится везде, где будешь ты, где будем мы. Не беспокойся о Поле.

До сих пор Поля никто не дразнил. Только однажды он спросил нас, что значит «ме-етис», и Харриэт объяснила ему, что это значит смешанная кровь, и добавила, что почти у всех людей в мире теперь смешанная кровь. В подтверждение этого мадам Дюмон не поскупилась на детали и весьма смачные подробности о своем собственном родословном древе, корни которого таились где-то в недрах Корсики; мораль всей истории в ее изложении сводилась к тому, что женщины слабы, мужчины несправимы, а боженька исключительно хитер. Версия мадам Дюмон кажется мне наиболее соблазнительной, но боюсь, что она не разрешит сомнений Поля.

Харриэт подходит и садится ко мне на колени. Я опрокидываюсь с ней вместе на постель, и она улыбается мне в лицо.

— Не волнуйся же, — говорит она мне, — пожалуйста, постарайся не волноваться. Что бы нас там ни ожидало, мы справимся, вот увидишь. Мы вдвоем, у нас есть сын, и мы знаем, чего мы хотим. Значит, нам повезло больше, чем другим людям.

Я целую ее в подбородок.

— Мне во всяком случае повезло больше, чем другим мужчинам.

— Я тоже очень везучая женщина!

Некоторое время мы молчим наедине в комнате, где так долго прожили вместе. Харриэт тихонько дышит, грудь ее то прикасается, то отстраняется от моей груди, и я думаю о том, что, если бы я не уехал из Америки, я никогда бы не встретил ее и не смог бы создать своей собственной жизни. Ведь личная жизнь человека начинается там, где кончаются расы, армии и церкви; расы, церкви, армии составляют угрозу для жизни многих людей и очень многих лишили жизни. Если бы Харриэт родилась в Америке, ей понадобилась бы масса времени, чтобы увидеть во мне такого же мужчину, как все, а если бы я встретил ее в Америке, я никогда не смог бы отнестись к ней, как к обычной женщине. Страх перед общественным негодованием и насилием довлел бы над нами, затуманивал бы наши глаза, мы не смогли бы полюбить друг друга. И Поль не родился бы.

Может быть, если бы я остался в Америке, я нашел бы себе другую жену и другого сына. Но эта другая жена и сын всего лишь несостоявшаяся возможность. Может быть, и я стал бы не актером-певцом, а кем-нибудь другим, например, адвокатом, как мой брат, или учителем, как моя сестра. Но нет, я тот, кем я стал, эта женщина — моя жена, и я люблю ее. А все сыновья, которые у меня могли бы быть, не стоят ничего, ведь у меня есть сын, я назвал его Полем в честь моего отца, и я люблю его.

Я думаю о том, что все это было бы невозможно в Америке, вспоминаю, что там происходило на моих глазах, чего я там лишился и какие опасности подстерегают там меня и мою семью.

— Любишь меня? — подмигиваю я Харриэт.

— Нет, конечно. Просто терпела тебя все эти годы, лишь бы попасть в Америку.

— Какая терпеливая барышня.

— Шведы все очень терпеливые.

Она снова целует меня и встает. Входит Луиза, тоже в халате.

— Неужели вы сидите здесь и охаете все о том же? — Она смотрит на меня. — Ей-богу, такой плачевной знаменитости, как ты, я в жизни не видела. Теперь я понимаю, зачем люди вроде тебя нанимают агентов по рекламе. — Она подходит к туалетному столику Харриэт. — Солнышко, можно я возьму немножко этого дикого лака для ногтей?

Харриэт направляется к столику.

— Понятия не имею, о каком лаке ты говоришь?

Харриэт и Луиза, к моему удивлению, прекрасно ладят между собой. Каждая находит в другой массу восхитительных неожиданностей. Харриэт обучает Луизу французским и шведским выражениям и оборотам речи, а сама узнает от нее пикантные словечки черного Юга. Они то занимаются исправлением акцента друг у друга, то углубляются в странненькие рассуждения о том, как язык отражает историю и мировоззрение народов. Они обнаружили, что во всех европейских языках существуют фразы, эквивалентные выражению «работает, как негр».

Харриэт старается как можно больше выпытать у Луизы, чтобы понять, как лучше уберечь своего сына и мужа. Вот почему они идут сегодня вечером вдвоем. Сегодня у них состоится вроде как бы последний военный совет. Я нытик, но они, слава тебе господи, очень предприимчивы.

Теперь Луиза поворачивается ко мне, пока Харриэт роется в туалетном столике.

— Когда Видаль зайдет за тобой?

— Около половины восьмого, в восемь. Он заказал столик в каком-то шикарном ресторане, но не говорит где.

Луиза кокетливо поводит плечами, делает глазки и вскидывает ноги, точно в канкане. Я смеюсь.

— Вот именно. А потом мы, наверное, пойдем и напьемся.

— Ради бога! Последние дни ты мрачен, как на похоронах. А с похмелья ты будешь нам завтра меньше надоедать.

— А какое будет у вас похмелье? Я-то знаю, как вы, девицы, пьете!

— Ну, поскольку мы сами будем платить за выпивку,— говорит Харриэт,— эта проблема отпадает. Но ты должен отпраздновать свой отъезд, как подобает международной кинозвезде.

— А может, вы все-таки передумаете и пойдете со мной и Видалем?

— Нет! — говорит Луиза. Она глядит на меня и насмешливо ухмыляется.— «Международная кинозвезда»! А я меняла тебе пеленки. Черт побери! — задумчиво продолжает Луиза.— Как бы мама гордилась тобой! — Мы глядим друг на друга, и во взгляде нашем таятся секреты, не доступные никому, даже Харриэт.— Ну, теперь катись отсюда, мы будем одеваться!

— Я отведу Поля вниз к мадам Дюмон.

Поль поужинает с ее детьми и останется у них ночевать.

— В последний раз,— говорит мадам Дюмон и проводит рукой по крутым черным завиткам Поля.— Мы будем без тебя скучать, ты это знаешь? — Потом она смотрит на меня и смеется.— Ему все равно. Ему не терпится увидеть большой корабль и все чудеса Нью-Йорка. Дети никогда не огорчаются перед путешествием.

— Мне очень жаль уезжать,— вежливо отвечает Поль,— но моему папе надо ехать в Нью-Йорк работать, и он хочет, чтобы я поехал вместе с ним.

Над его головой мы с мадам Дюмон обмениваемся улыбками.

— Смотри, какой он хитрец, твой мальчик! — Она снова смотрит на него.— А как ты думаешь, маленький дипломат, понравится тебе Нью-Йорк?

— Мы едем не только в Нью-Йорк,— отвечает Поль,— мы поедем и в Калифорнию тоже.

— Ну, а Калифорния тебе понравится?

Поль смотрит на меня.

— Не знаю. Если не понравится, мы вернемся обратно.

— Так просто! Вот и все,— говорит мадам Дюмон. Она глядит на меня.— Самый лучший подход к жизни. Возвращайтесь. Вы знаете, мы здесь, во Франции, считаем вас за своих.

— Я надеюсь,— говорю я.— Надеюсь, что так. Я всегда... Всегда чувствовал себя здесь, как дома.— Я наклоняюсь, и мы с Полем целуем друг друга в щеку. Мы всегда так делаем —но сможем ли мы делать это в Америке? Американские отцы никогда не целуют американских сыновей. Я выпрямляюсь и кладу руку на плечо Поля.— Веди себя хорошо. Я найду за тобой, и мы пойдем вместе завтракать, пока мама и тетя Луиза будут кончать укладываться. Или ты заходи за мной, если раньше проснешься. Во время сборов мужчины только помеха в доме. Мы с тобой где-нибудь пошляемся.

— Согласен. А где мы пошляемся? — Последнее слово он старательно произносит в точности, как я.

— Может быть, пойдем в зоопарк. Посмотрим. А завтракать я тебя поведу на Эйфелеву башню, если хочешь.

— О да,— сказал он.— Хочу.

Когда он доволен, он как будто весь светится, словно энергия его маленького, крепко сбитого существа заряжает невидимую батарею и сообщает невероятный блеск его глазам — большим и темно-карим, как



у меня, и его коже, цвет которой всегда вызывает у меня в памяти мед и солнечные блики.

— Ну, тогда ладно.— Я протягиваю руку мадам Дюмон.— *Bonsoir, madame!* — Я вызываю лифт, глядя на Поля.— Чао, Поль!

— *Bonsoir, раа.*

И мадам Дюмон уводит его к себе.

Наверху Харриэт и Луиза, наконец напудренные и надушенные, надели украшения и готовились уходить.

— Мартини в Ритце, ужин в каком-нибудь очень дорогом ресторанчике,— говорит Харриэт,— а потом, возможно, «Фоли Бержер».

— Самая что ни на есть ординарная туристическая программа,— говорит Луиза.— Чем скорее я научу Харриэт вести себя по-американски, тем меньше будет с ней хлопот потом.

— Боюсь,— говорит Харриэт,— мне не выдержать «Фоли Бержер» целых три часа.

— О, тогда мы подскочим через весь город в нью-йоркский «Бар Харри» и будем сосать мятные коктейли,— говорит Луиза.

Бедняжка Луиза, помимо всего прочего, веселится, как никогда в жизни. Наверное, и ей будет жалко расставаться с Парижем, хотя она и пробыла в нем совсем недолго.

— А в Нью-Йорке пьют мятные коктейли? — спрашивает Харриэт. Похоже, она составляет мысленные списки того, что люди делают или не делают в Нью-Йорке.

— Некоторые пьют,— подмигивает мне Луиза.— Ты заметил, что эта шведская цыпочка уже усвоила протяжный алабамский выговор?

Мы все смеемся. Лифт останавливается на площадке.

— Мы зайдем пожелаем Полю спокойной ночи,— говорит Харриэт. Она целует меня.— Привет Видалю от всех нас.

— Ладно. Веселитесь. Смотри, чтобы какой-нибудь француз не сбегал с Луизой.

— Неужели я за тем приехала в Париж, чтобы меня оберегали? И, уж если на то пошло, дикой цыпочке, на которой ты женился, меня не убережешь. Вдруг я назло всем возьму, да и вернусь домой с французским графом! — Она нажимает кнопку, и лифт уходит вниз.

Я возвращаюсь в нашу разобранную квартиру. Здесь ото всего разит отъездом. В передней приготовлены к отправке ящики и тюки, на полках нет книг, кухня выглядит так, как будто мы никогда не готовили в ней обед и не засиживались ранним утром и поздним вечером за чашкой кофе. Скоро мне пора бриться и принимать душ, но пока я наливаю себе стаканчик, закуриваю сигарету и выхожу на балкон. Смеркается, гаснут яркие краски Парижа, потускнела зелень деревьев.

Я прожил в этом городе двенадцать лет. Наша квартира на верхнем этаже углового дома. За крышами домов и верхушками деревьев видны Марсово поле и Эйфелева башня. За Марсовым полем — река, вдоль которой я бродил в самых разных настроениях. Я прошел по каждому мосту в Париже, прогулялся по всем набережным. Я знаю реку так, как в конце концов узнают друга, — иногда она темная, словно поглотила в своей глубине все огни Парижа и молча беседует с утопленниками, лежащими на дне; иногда она желтая, ревушая и злобная, чинит массу неприятностей баржам и буксирам и напоминает о том, что способна устраивать наводнения и убивать. Иногда она спокойная, гладкая, темная, грязно-зеленая и гостеприимно позволяет скользить по себе лодкам и катеркам. даже время от времени выплевывает рыбакам на редкость болезненных рыб. Люди, лето напролет стоящие с удочками на набереж-

ных, благодарно принимают скользкие дары Сены и бросают их в ржавые ведерки. Я всегда удивлялся, кто ест этих рыб.

А я шагаю взад и вперед, взад и вперед, радуясь своему одиночеству.

Сейчас август, месяц, когда парижане покидают Париж, — исходишь не одну милю, прежде чем найдешь открытую прачечную или парикмахерскую где-нибудь в глухом тенистом переулке. На улице попадают только новобранцы, направляющиеся в Эколь Милитер, а оттуда почти наверняка и незамедлительно — в Алжир. Один мой приятель француз — веселый парень, который вечно слонялся по ночным ресторанам, где я прежде работал, — недавно вернулся из Алжира с перемежающейся лихорадкой и без одного глаза. Правительство назначило ему пенсию, странную, почти мистическую сумму: пятьдесят три тысячи франков<sup>1</sup> раз в три месяца. Прожить на такие деньги не работая невозможно, но кто наймет полуслеплого инвалида? Парень искалечен навсегда, задолго до своего тридцатилетия, и таких по всей Франции тысячи.

А самих алжирцев теперь почти не встречаешь на улицах Парижа. Продавцы ковров, орехов, открыток, разносчики и менялы исчезли. Ребята, которых я знал в первые годы моей жизни в Париже, разбежались — или согнаны? — бог знает куда.

Почти ни у кого из них не было денег. Они жили на задворках Парижа, ютились втроем, вчетвером на чердаках — в комнатухах с одним слуховым окошком и одной жесткой койкой, или селились в полуразвалившихся, заброшенных домах с окнами, забитыми фанерой, с уборными во дворе.

Арабские кафе закрыты — те душные, сумрачные кафе, где я пил с арабами чай, курил гашиш, слушал навязчивую пронзительную музыку с загадочными, неведомыми мне доселе ритмами. Когда-то я считал североафриканцев своими братьями, оттого я и ходил в их кафе. Они дружелюбно относились ко мне, двое-трое из них остались моими друзьями даже тогда, когда я уже не мог себе позволить курить «лаки страйк» и растерял всю свою коллекцию американских спортивных рубашек — по большей части они перешли в гардеробы алжирцев. По-видимому, те считали, что рубашки принадлежат им по праву: как мог добыть я их, если не хитростью. А может быть, того хуже — рубашки эти были ценой моего предательства, нежелания разделить тяжелую участь моего народа. Может быть, я заодно с теми, кто ответствен за эту тяжелую участь.

И они были по-своему правы. Их ярость, единственная понятная для меня нота в их музыке, отзывалась в моей душе и в то же время усугубляла разрыв между нами. Они рады были бы загнать всех французов в море и сравнять с землей город Париж. Но я не мог ненавидеть французов, которые никогда не обижали меня. А Париж я люблю и всегда буду любить. Этому городу я обязан своей жизнью. Именно здесь я нашел себя и тем самым спасся.

Однажды, роскошным апрельским утром, я понял, что влюблен. Мы с Харриэт шли по мосту, держась за руки. Это был мост Пон Руаяль, впереди нас громадные часы на башне показывали без десяти десять; дальше виднелась золотая статуя Жанны д'Арк с поднятым мечом. Мы с Харриэт не разговаривали, мы из-за чего-то поссорились. Теперь, задним числом, я понял, что наши отношения достигли той стадии, когда связь должна или кончиться, или стать чем-то большим и иным, чем просто связь.

<sup>1</sup> Имеются в виду старые франки. (Прим. персв.)

Я искоса взглянул на лицо Харриэт. Оно замерло. Синие глаза сощурились от солнца, полные розовые губы были слегка надуты, как у обиженного ребенка. В те дни она почти не красилась. Я был в одной рубашке. Выражение ее лица насмешило меня, мне захотелось погладить ее по стриженным черным волосам. Я хотел было обнять ее и сказать: «Не сердись на меня, детка!» — но в этот момент что-то подкатило у меня к сердцу, перехватило дыхание. Вокруг нас были миллионы людей, но только я был с Харриэт. Она одна была со мной. До сих пор я ни с кем никогда не оставался наедине. Мир всегда был с нами, между нами, не давал ни окончательно поссориться, ни по-настоящему полюбить. Всю свою жизнь я никак не мог отделаться от враждебного, грозного мира-убийцы. Что бы я ни делал, ни чувствовал, ни говорил, одним глазом я всегда косился на мир — мир, которому я с детства привык не доверять, коварный мир белых людей, к которому опасно поворачиваться спиной. А в этот момент впервые в жизни я освободился от него, он для меня не существовал: я поссорился со своей девушкой. Это была наша ссора, она не касалась никого в целом мире, кроме нас. В первый раз в жизни я позабыл о лжепатриотизме глупцов в формах и без оных, которые могли бы избить меня до смерти, и, как от неприкасаемой, отшатнулись бы от женщины, которая была со мной. Впервые в жизни я почувствовал, что никакая сила не отнимет у меня права обладать этой женщиной и охранять ее; впервые, в первый раз я почувствовал, что эта женщина ни в ее собственных глазах, ни в глазах света не унижена моим обществом.

Солнце светило, словно благословляя нас, рядом шли люди, в моей руке лежала маленькая сухая и доверчивая ручка Харриэт — этого ощущения я не забуду никогда. Замедлив шаг, я повернулся к ней. Она взглянула на меня громадными синими глазами и как будто ждала чего-то. Я сказал:

— Харриэт, Харриэт. Tu sais, il y a quelque chose de très grave qui m'est arrivé. Je t'aime. Je t'aime<sup>1</sup>. Ты понимаешь, или сказать тебе по-английски?

Это было восемь лет назад, незадолго до моей первой и единственной поездки домой. По случаю смерти моей матери. Я пробыл в Америке три месяца. Когда я вернулся обратно, Харриэт приписала перемену во мне горю по матери. Я стал худой и молчаливый, но не смерть матери была тому причиной. Я знал, что мать моя должна умереть. Я не знал, какой покажется мне Америка после четырехлетнего отсутствия.

Помню, я стоял у перил и глядел, как увеличивается расстояние между мной и Гавром. Опустились махавшие руки, перестали развеваться платки, провожающие разбрелись по велосипедам и машинам и уехали прочь. Вскоре и Гавр исчез из вида. Я подумал о Харриэт, уже такой далекой от меня в Париже, и крепко сжал губы, чтобы не заплакать.

Потом и Европа скрылась за водной гладью, и небо Европы, и постепенно глаза всех на пароходе стали, так сказать, настраиваться на другой фокус в ожидании Америки. Мой страх сменился радостным предвкушением. Я старался думать о таких малодоступных в Париже вещах, как холодные и горячие души, о таких вещах, как густое холодное американское молоко и вкусный сдобный шоколадный пирог. Я гадал, что с моими друзьями, не забыли ли они меня, обрадуются ли моему приезду.

Американцы на пароходе относились ко мне не так уж плохо, но с

<sup>1</sup> Знаешь, со мной случилось важное происшествие. Я тебя люблю. Я тебя люблю (франц.).

непривычки меня коробил характер их дружелюбия. Это дружелюбие не предполагало возможности дружбы. В отличие от европейцев американцы опускают титулы и называют друг друга по именам при первом знакомстве, так что дальше, в отличие от европейцев, им уже некуда идти. Как только человек превратился для вас в Билла, Пита или Джейн, вы узнали о нем все, что доступно в пределах приличий, всякая попытка углубить отношения, попробовать найти индивидуальность, скрывающуюся за именем, рассматривается как бестактность, как вмешательство в частную жизнь, а она-то, по странному парадоксу, и отсутствует у американцев. Американцы стыдятся своей частной жизни, по-видимому отождествляя ее с не подлежащими огласке процессами, происходящими в ванной или в спальне, о которых принято рассказывать только доктору или читать на страницах бестселлеров. На пароходе они вели себя раздражающе неестественно, точно все они состояли в одной команде и подчинялись указаниям невидимого тренера — бодряка и затейника. Я следил за ними, как замороженный. В них было что-то жалкое, и мне это доставило своеобразное удовлетворение. Ведь раньше мне не приходило в голову, что не уважавшие меня американцы друг друга тоже не уважают.

В предпоследний вечер устроили торжество в бальном зале и попросили меня спеть. Я уже давно не пел перед таким сборищем американцев. В кошмарных бистро Левого Берега, где я тогда выступал, моими слушателями были главным образом неимущие студенты. Правда, я пользовался у них большим успехом и к тому времени стал настолько известен в Латинском квартале и Сен-Жермен де Пре, что критики обратили на меня внимание и моя фотография появилась в «Франс-суар». Я получил разрешение работать легально: от этого заработок мой стал немного больше. Но ни способные молодые музыканты, ни преданные мне слушатели понятия не имели, о чем я пою. Юмор до них не доходил. Разве можно объяснить французам смысл таких песен, как «Лучше смеши, черт тебя дерни...», «Я смеюсь, чтобы не заплакать...», «Чем я виноват, что черен, как ад?».

Здесь же, на пароходе, стоило мне выйти, американцы сразу заулыбались, приготовившись получать удовольствие. Лица их блаженно расплылись и расслабились. Что могло быть привычнее поющего негра, что в мире может быть полезнее?

Я спел «Я иду, Вирджиния», «Возьми этот молоток» и «Милостивый боженька». Они не отпустили меня, я вернулся и спел два-три самых старых блюза, какие я только знал. Потом кто-то попросил меня спеть «Свани-ривер», и я спел, сам удивляясь тому, что эта песня, которую я уже давно перестал петь, смогла так растрогать меня. Чтобы закруглиться, следовало бы спеть «Станный фрукт», но это коронный номер великомученика Билла Холидея — с ним никто не может тягаться. Так что я закончил «Радостным утром» и на этом поставил точку. Я сорвал аплодисменты, меня пригласили выпить за несколько столиков, я потанцевал с несколькими красотками.

Прошел еще один день и одна ночь, и пароход пришел в Нью-Йорк. Я проснулся — проснулся сразу — и подумал: «Приехали!» Зажег весь свет в моей маленькой каюте и уставился на себя в зеркало, будто стараясь запомнить свое лицо. Потом я принял душ, очень старательно выбрился и тщательно оделся. Я пробирался к столовой по длинным коридорам, среди багажа, сваленного горами у кранов и лестниц. В столовой царило оживление и суэта, которые привели меня в еще большее уныние. Немногие посетители ели быстро, возбужденно болтая, торопясь подняться на палубу. Показалось мне или они действительно избегали встречаться со мной взглядом? Некоторые улыбнулись и издали помахали

ли мне, но не позвали меня к себе; они стеснялись проявить при мне радостное волнение, подозревая, что я не способен разделить его с ними. Я прошел к своему столику и сел. Я долго жевал сухой, как бумага, бутерброд и медленно запивал его кофе. Потом я дал на чай официанту, тот поклонился, заулыбался, назвал меня «сэр» и выразил надежду снова увидеть меня на пароходе. «Я тоже надеюсь»,— сказал я.

Показалось мне или действительно в глазах его промелькнул проблеск сочувствия? Я вышел на палубу.

На воде дул ветерок, но солнце пекло немилосердно, и я вспомнил, как неприятно лето в Нью-Йорке. С палубы убрали все стулья, а на том месте, где были стулья, топтались люди, перебегая от одного борта к другому, карабкаясь вверх и вниз по лестницам, толпясь у перил, торопливо щелкая аппаратами — снимая пристань, друг друга, море, чаек. Я медленно прошелся по палубе, потом какая-то непреодолимая сила потянула меня к перилам. Вот он, гигантский нескладный город, сверкающий на солнце своими башнями. Он приближался к нам медленно и неторопливо, словно огромный хитрый и кровожадный зверь, от которого нет спасения. Я глядел, как он подкрадывается, и слышал вокруг себя радостные возгласы людей. Возгласы неподдельной радости. Я смотрел на их сияющие лица и думал: да не сошел ли я с ума? Мне захотелось хоть на миг почувствовать то же, что они. Любопытно узнать, что это за ощущение! Чем ближе пароход подходил к пристани, тем спокойнее и увереннее становились все, кроме меня. Один я дрожал от страха. Я повернул голову в сторону Европы, но позади расстилалось только небо, полное чаек. Я отошел от перил. Высокий светловолосый мужчина посадил на плечи дочку, показывая ей статую Свободы. Никогда мне не узнать, что олицетворяет эта статуя для других, мне она всегда казалась грубой издевкой. Американский флаг развевался на мачте парохода над моей головой. При виде французского флага французы впадали в невероятный транс — это я видел. Как прикрывались подлости флагом так называемой моей родины, я тоже видал, а вот увидеть во флаге то, что в нем видят другие люди, мне, верно, не суждено до самой смерти.

— На земле второго такого места не найдешь,— раздался рядом голос.

И я подумал: «Это точно».

Я решил спуститься в каюту и выпить.

В каюте меня ждала телеграмма от Харриэт. В ней говорилось: «Веди себя хорошо. Возвращайся скорее. Я жду». Я аккуратно сложил ее и положил в жилетный карман. Интересно, удастся ли мне вернуться к ней? Сколько времени понадобится, чтобы заработать деньги на обратную дорогу? Смогу ли я выбраться из этой страны? Пот выступил у меня на лбу. Я налил себе остаток виски из бутылки и зашагал по маленькой каюте. Было тихо. Все уже ушли из кают.

Я был не вполне трезв, когда предстал перед представителями власти в салоне первого класса. Их было двое; особой враждебности они не проявили. Поглядели на мой паспорт, поглядели на меня.

— Долго вы пробыли за границей,— сказал один из них.

— Да,— сказал я,— порядком.

— Что вы там делали все это время? — Его усмешечка обнажила, а не скрыла чувства тем более отвратительные, что он хотел их скрыть.

Я сказал:

— Я певец.

И комната закачалась вокруг меня. Я отчаянно старался удерживать на лице улыбку. — я надеялся, что она кажется им невозможной

открытой улыбкой. Мне так давно не приходилось иметь дело с подобными типами, я потерял навык. Когда-то я умел понижать голос до нужного тона — на грани грубости и подобострастия, — успевал в последний момент предупредить вспышку гнева простодушной негритянской ухмылкой. Но я позабыл все фокусы, на которые некогда пускался для сохранения жизни. Я изощрялся, как мог, я ставил этих людей в тупик, заставлял их скрипеть зубами от ярости, ускользя из расставленной мне ловушки. Но я утратил свое бывшее мастерство. Вместо двух врагов с трусливыми и подлыми повадками, которых мне надо перехитрить во что бы то ни стало, я видел перед собой двух белых людей, психология которых была мне непонятна. То утро на мосту сбило меня с толку.

— Верно, — сказал один из них. — Так сказано и в паспорте. Лично я никогда не слышал о вас. — Они поглядели на меня. — И много вы там пели?

— Довольно много.

— Давали концерты?

— Нет. — Хотел бы я знать, как я выгляжу, как звучит мой голос. По их глазам я ничего не мог понять. — Я работал в ночных ресторанах.

— В ночных ресторанах, вот как? Значит, вы им там нравились?

— Да, — сказал я, — я им там действительно нравился.

— Что ж — (мой паспорт был проштемпелеван и возвращен мне), — будем надеяться, что здесь вы тоже понравитесь.

— Спасибо!

Они засмеялись — надо мной или мне только показалось? Я поднял чемодан, который взял с собой, перекинул плащ через плечо и вышел из салона первого класса. Я встал в говорливую, медленно движущуюся к сходням очередь. Не отводя глаз, я наблюдал, как улыбающиеся лица вступали в тень навеса над сходнями и сразу исчезали из вида. Я положил свой паспорт обратно в боковой карман («Скорее. Я жду») и зажал посадочный талон в руке. Потом вдруг я оказался на краю парохода, перед длинными сходнями, ведущими вниз. На том конце, на берегу, стоял грузный человек в форме, в сдвинутой назад фуражке, седой, с красной, потной рожей. Он поглядел на меня. Я сразу его узнал — он снился мне по ночам в кошмарах. Это ненавистное лицо врезалось мне в память, заслонив все любимые лица.

— Эй, малый, проходи! — рявкнул он. — Давай, давай!

Я чуть не засмеялся. Вот я и дома! Словно до амулета, я дотронулся до бокового кармана. Как поется в той песне?.. «Неужели я никогда не стану мужчиной?» Неверной походкой я сошел по сходням и подал ему мой посадочный талон.

Позднее таможенный инспектор проверил мой багаж и отпустил меня. Я взял свои чемоданы и направился по длинной асфальтовой дорожке к воротам в город.

И тут я услышал, что кто-то зовет меня, оглянулся и увидел бегущую ко мне Луизу. Я бросил чемоданы, обнял ее, и слезы выкатились из моих глаз и поползли по щекам. Не знаю, заплакал ли я от радости при виде сестры, или от долго сдерживаемой злости, или и от того и другого вместе.

— Ну, как ты? Как живешь? Выглядишь ты чудесно, но так похудел! Как я рада видеть тебя!

Я вытер глаза.

— Я тоже очень рад видеть тебя. Держу пари, вы, наверно, думали, что я никогда сюда не вернусь!

Луиза рассмеялась.

— Я бы не стала тебя осуждать! Люди здесь все такие же толстокожие, как раньше. Честное слово, нет никакой надежды, что они пере-

меняются. Как твой французский? Господи, подумать только, ведь именно я изучала французский, а теперь не могу сказать ни слова. А ты и близко не подошел к учебнику, а теперь, наверное, болтаешь, как француз.

Я подмигнул ей:

— *Pas mal. Je me defends pas mal!*<sup>1</sup>.

Мы спускались по широким ступеням на улицу.

— Боже мой, — сказал я, — Нью-Йорк!

Башни небоскребов отсюда были не видны. Мы находились в тени подвесной дороги, но больше, чем переход от света к тени, меня поразил шум. Он раздавался отовсюду, сразу от тысячи вещей — от грузовиков, и шин, и рычагов, и тормозов, и дверей; от печатающих, отливающих, режущих, раскатывающих и прессующих машин; от строительства туннелей, от прокладки проводов и газовых труб, рытья канав; от дребезжания болтов и гаек, визга отбойного молотка, скрежета ковшей и кранов; от сношения и возведения стен; от миллионов радио- и телеприемников и проигрывателей. Человеческие голоса выделялись из общего грохота своей напряженностью и враждебностью. Другой грузный человек, в такой же форме и такой же красномордый, подозвал для нас такси и даже вежливо коснулся фуражки, с трудом выдавив из себя стандартное: «Сюда, мисс, садитесь, сэр!» Он захлопнул дверцу такси за нами. Луиза велела шоферу ехать в отель «Нью-Йоркер».

— Нас туда пускают?

Она взглянула на меня.

— В Нью-Йорке свои законы, золотишко, и ничего не стоит угодить под суд. Но в «Нью-Йоркере» уже взяли за ум! — Она прижала мою руку к себе. — Видишь ли, несмотря на весь шум и гам, здесь почти ничего не переменилось. Как и раньше, люди сами не слышат, что говорят.

А я подумал: «Может быть, в этом-то все и дело!»

На следующее утро мы выписались из отеля и полетели на самолете в Алабаму.

Не успел я принять душ, как зазвонил звонок. Я торопливо вытерся и набросил халат. Это, конечно, был Видаль, к тому же безумно элегантный — блестящая копна седых волос, тщательно выбритое, освеженное лосьоном смуглое и циничное лицо. Обычно он не обращает внимания на свою внешность. Но сегодня его небольшое тело заключено в темно-синий костюм, а синий галстук заколот дорогой жемчужной булавкой.

— Заходите, выпейте чего-нибудь. Я сию секунду буду готов.

— Увы, я не опоздал. Надеюсь, вы не сердитесь за такую бестактность.

Но я уже вернулся в ванную. Видаль поставил пластинку. Махалия Джексон поет: «Я буду жить такой жизнью, о какой я пою в своих песнях».

Когда я оделся, он сидел в кресле у открытого окна. Дневной свет погас, но еще не совсем стемнело. Деревья чернеют на фоне темного неба. Огни в окнах и огни машин окружены желтыми кольцами. Уличные фонари еще не зажглись. Как будто бы в знак почтения к ушедшему дню, Париж выдерживает приличествующую случаю паузу, прежде чем выпустить на сцену не такого прекрасного, хоть и весьма эффектного исполнителя.

Видаль пьет виски с содовой. Я наливаю себе. Он наблюдает за мной.

— Ну как дела, мой друг? Вы уже почти уехали. Вы рады нас покинуть?

<sup>1</sup> Неплохо. Я неплохо справляюсь (франц.).

— Нет.— Я сказал это чересчур категорически.

Видаль поднимает брови, мое настроение, видимо, забавляет его.

— Я никогда не собирался возвращаться туда. И уж, конечно, не имел намерения воспитывать там моего сына.

— Но, мой дорогой,— спокойно говорит Видаль,— вы умный человек, вы понимали, что когда-нибудь вам придется «вернуться».— Он помолчал.— А что касается Поля — вам никогда не приходило в голову, что он может захотеть увидеть страну, где родился его отец и праотцы его отца?

— Тогда ему надо было бы поехать в Африку.

— Америка всегда будет значить для него больше, чем Африка, вы это прекрасно знаете.

— Нет, не знаю! — Я залпом выпиваю свое виски и наливаю еще.— С какой стати он потащится в такую даль ради того, чтобы его назвали «черномазым»? Америка ничего ему не дала.

— Она дала ему отца.

Я гляжу на него.

— Вы хотите сказать, его отцу чудом удалось спастись?

Видаль откидывает назад голову и хохочет. Если Видаль любит вас, он обязательно будет над вами смеяться, и смех его действует обескураживающе. За смехом следует молчание и пристальный взгляд, от которого становится еще больше не по себе. Помолчав, он спрашивает меня:

— Так вы действительно думаете, будто спаслись от чего-то? Бросьте, я вас слишком хорошо знаю.— Он направляется к столику с напитками.— Что, собственно, играли вы в нашем фильме, который сделал вас таким знаменитым и, как выяснилось сегодня, таким встревоженным человеком? В чем трагедия того трубадура-полукровки? Разве не в том, что он попытался испробовать все пути к спасению и все они подвели? — Он останавливается с бутылкой в руке и глядит на меня.— Помните, как я мучился, пока заставил вас играть по-настоящему? Как вы ненавидели меня, вы прямо готовы были задушить меня! А помните вы, когда роль Чико стала получаться? — Он наливает себе.— Постарайтесь вспомнить. Конечно, я — великий режиссер, но позвольте! — такого исполнения я не мог бы добиться ни от кого, кроме вас. А о чем вы думали, что было у вас на уме, какой кошмар вы переживали, когда вы наконец начали играть роль по-настоящему? Скажите откровенно.— Он возвращается на свое место.

Чико из фильма — сын женщины с Мартиники и французского колона. Чико ненавидит и своего отца, и свою мать. Он бежит с острова в столицу, унося с собой свою ненависть. Ненависть его все растет и распространяется теперь на любых черных женщин и белых мужчин, на всех людей вообще. Он опускается на дно преступного мира Парижа и там умирает. Под «дикими зверями» в названии подразумевается жизнь, от которой он бежал, и жизнь, к которой он пришел. Когда я согласился играть роль, я думал, что легко смогу решить ее, имея в виду североафриканцев, которых я уже давно наблюдал в Париже. Но это не удовлетворило Видаля. Взрыв произошел, когда мы репетировали довольно несложную сцену. Чико направляется в сомнительный танцевальный зал на площади Пигаль и умоляет хозяина-француза поручить ему крайне унижительную работу. А этот француз напоминает ему его отца.

— Вы хотите представить нам этого парня каким-то благородным дикарем,— холодно сказал Видаль.— Откуда у вас эта жуткая манерность?

Все притихли, потому что Видаль редко разговаривал в таком тоне. Я понял по молчанию актеров, репетировавших со мной эту сцену, что все они разделяют мнение Видаля о моей игре и рады, что он наконец



вмешался. Я был слишком обижен и зол, чтобы возражать, но где-то в глубине души я почувствовал нечто вроде облегчения и невольное уважение к Видалю.

— Вы всё играете неверно,— сказал он уже мягче. Потом добавил: — Пойдемте выпьем!

Мы прошли в его кабинет. Он достал бутылку и два стакана из своего письменного стола.

— Простите меня, но вы напоминаете мне некоторых английских актрис — настоящих леди, которые любят играть публичных девок, пока зрители не сомневаются, что на самом деле они леди. В лучшем случае прочтут такие актрисы — и то, увы, не всегда! — книжечку про Фанни Хилл да велят шоферу раза два проехаться по Сохо — и вот они уже на сцене поражают публику достоверными деталями. Но все эти детали ни к чему, всем ясно, что актриса притворяется. Англичане называют это триумфом искусства.— Он налил нам обоим коньяку.— То же самое делаете и вы. Почему? Как вы думаете, кто этот парень, что он чувствует, когда нанимается на такую должность? — Он внимательно наблюдал за мной, и мне это было крайне неприятно.— Вы приехали из Америки. Там не такая уж приятная обстановка для таких ребят, как вы. Конечно, может быть, вы были не так бедны, как... как некоторые, но неужели вам трудно понять, что чувствует парень вроде Чико? Неужели вы сами никогда не попадали в подобные ситуации?

Я ненавидел его за то, что он задал мне этот вопрос, заранее зная мой ответ:

— Надо быть очень счастливым чернокожим, чтобы никогда не оказаться в таком положении.

— Нет, очень счастливым человеком.

— О, ради бога,— сказал я,— оставим затертые штампы типа «в несчастье все люди равны».

— А если,— живо ответил он,— только в этом они и равны?

Потом он замолчал. Он сел за свой письменный стол, обрезал сигару и закурил ее, выпуская густые клубы дыма, как будто для того, чтобы помешать нам ясно видеть друг друга.

— Подумайте об этом,— сказал он,— я, французский режиссер, никогда не был в вашей стране. Я не причинил вам никакого зла, разве что в историческом аспекте — потому что я белый, но я не виноват в...

— А я виноват! — сказал я.— Я никогда не мог понять, почему, если я должен расплачиваться за историю, запечатленную в цвете моей кожи, вы остаетесь безнаказанными!

Я сам был изумлен своей яростью, я не собирался говорить ничего подобного, я весь дрожал, и по тому, как он глядел на меня, я понял, что по крайней мере с профессиональной точки зрения он добился от меня того, чего хотел.

— Откуда вы это взяли? — Лицо его стало строгим и усталым.— Я француз. Поглядите на Францию. Неужели вы думаете, что я — мы — не расплачиваемся за нашу историю? — Он подошел к окну и взглянул на довольно мрачный пригород, в котором расположилась студия.— Если вы жаждете возмездия, радуйтесь. Хотите вы этого или нет, вы будете отомщены, наша глупость тому порукой.— Он снова повернулся ко мне.— Но я прошу вас не путать меня с блаженными невеждами из вашей страны, которым даже невдомек, что на свете существует история, и потому они ничуть не сомневаются, что им, как вы выразились, удастся остаться безнаказанными. Как ни странно, к тому же самому стремитесь и вы. Об этом-то я и хотел вам сказать. Я — французский режиссер, я никогда не был в вашей стране и не причинил вам никакого зла, но сейчас, в этой комнате, вы говорили не со мной, вы говорили не с

Жан-Люком Видалем, а с каким-то другим белым человеком, которого вы хорошо помните, который не имеет ко мне никакого отношения.— Он помолчал и направился к письменному столу.— О, обычно вы не такой, я знаю. Но все это таится в вас подспудно, а когда вы взволнованы, выходит наружу. Значит, вы играете Чико фальшиво, вы умышленно лжете, и я вам этого не позволю. Когда мы сейчас вернемся к этой сцене, я прошу вас помнить, что произошло здесь. Вы принесли с собой в эту комнату свое прошлое. То же самое делает Чико, когда он приходит в танцзал: Француз, у которого он просит работы, не просто француз — он отец, который отрекся от сына и предал его, и все французы ненавистны ему.— Он засмеялся и налил мне еще коньяку.— Ах, если бы не история, нам с вами было бы легче добраться до истины.— Он поглядел мне в лицо, улыбаясь.— А вы — вы ведь рассердились, не так ли, на то, что я требую от вас правды. Вы считаете, что я не имею на это права.— Потом он задал мне вопрос, заранее зная, что приведет меня в бешенство: — Кто же вы такой, какой смысл от того, что вы приехали во Францию, как вы собираетесь воспитывать своего сына? Научите его никогда никому не говорить правды? — Он зашел за письменный стол и поглядел на меня оттуда, как из-за баррикады.

— Вы не имеете права так разговаривать со мной!

— Нет, имею,— сказал он.— Мне надо сделать фильм, я забочусь о своей репутации и я вас заставляю играть как следует! — Он поглядел на часы.— Пошли работать!

Я гляжу теперь, как он спокойно сидит в моей гостиной, и думаю: «Интересно, знает ли он, что, играя роль Чико, я переживал в душе мучительные кошмары, думая о судьбе Поля?» Иными словами, я вновь переживал удары судьбы, которые чуть не погубили меня. Думая о Поле, я обнаружил, что не хотел бы, чтобы он относился ко мне так, как я относился к собственному отцу. Мне было одиннадцать лет, когда он умер. Я жалел его, видя, каким унижениям он подвергается. Но разве к моей жалости не примешивалась невольная доля презрения? Разве я знал, что он перенес? Я знал одно — я его сын. Как бы он меня ни любил, что бы он ни перенес, меня, его сына, презирали. Даже если бы он остался жив, он не смог бы защитить меня. Единственное, что он мог сделать, это подготовить меня к унижениям. И даже этого он не сумел. Как можно подготовить человека к плевку в физиономию, к безустановленной изобретательной злобе мелочных, трусливых людишек, страшящихся больше всего на свете проявления человеческого достоинства, находящих радость в унижении и муках других?

Но для Поля, клялся я, этот горький час не придет. Я положу всю свою жизнь и труд между Полем и ужасами жизни. Мир не сможет третировать Поля, как он третировал меня и моего отца.

Пластинка Махалии кончилась. Видаль встает и переворачивает ее.

— Ну? — Он очень ласково смотрит на меня.— Изложите, пожалуйста, какие кошмары вам снятся?

— О, я думал о том лете в Алабаме, когда умерла моя мать.— Я помолчал.— Знаете, когда мы снимали ту сцену в танцзале, я думал о Нью-Йорке. Мне было страшно в Алабаме, но в Нью-Йорке я чуть не сошел с ума. Я был уверен, что мне не удастся вернуться сюда — к Харриэт. И я знал, что, если я не вернусь, я конченный человек.

Теперь Махалия поет «Когда святые маршируют».

— Я поступил работать лифтером в большой универсальный магазин. Один из старых белых друзей отца в знак особой милости устроил меня на это место. Долгое время на Юге мы все зависели от... доброты белых друзей.— Я достал платок и вытер лицо.— Но этому человеку я

не понравился. Наверное, я не проявил достаточно благодарности, показался ему непохожим на моего отца, каким он его себе представлял. А я никак не мог снова привыкнуть к городу, я слишком долго отсутствовал, я ненавижу его. Город жуткий, он весь как будто нарочно выстроен вокруг тюрьмы. Там есть такая комната в суде, где людей избивают. Например, вы идете ночью по улице — чаще всего это происходит ночью, но бывает и днем гоже,— полицейская машина подъезжает к вам сзади, и полицейский говорит: «Эй, малый! Поди сюда!» Вы подходите. Он говорит: «Малый, по-моему, ты пьян». И если вы ответите: «Нет, нет, сэр» — он избьет вас за то, что вы обозвали его лжецом. А если вы скажете что-нибудь другое, он заберет вас и избьет просто так, для развлечения, если только вам не удастся его рассмешить. Фокус заключается в том, чтобы дать им потешиться над собой, не доводя дело до побоев...

Зажигаются уличные фонари Парижа, и листья сразу становятся серебряными.

— Надо подделываться под их образ мыслей. Они пойдут на что угодно, лишь бы доказать, что вы хуже собаки, и заставят вас почувствовать себя собакой. Они ненавидели меня за то, что я был на Севере и жил в Европе. Люди без конца повторяли: «Надеюсь, ты не вывез отсюда никаких заграничных фантазий, малый». И я говорил: «Нет, сэр» или «Нет, мэм», но мне не удавалось сказать это, как надо. А ведь было время — и все они понимали это, — когда я говорил, как надо. А теперь они чувствовали, что я презираю их, и, наверное, мне во что бы то ни стало хотелось дать им понять, что я их презираю. Но я презирал их не больше, чем все остальные, только другие никогда не показывали им этого. Они знали, как угодить белым людям — чего проще, это нетрудно: внушайте им, что они очастливили землю своим присутствием. Они сразу расплавляются в дурацких улыбках, и цветные любят наблюдать за ними тогда, потому что они их ненавидят. «Поглядите на такого-то, — скажет кто-нибудь. — Вся белизна вылезла наружу». А если мы их не ненавидели, мы их жалели. Такова природа нашей дружбы с белыми в Америке. Вам до смерти жалко недоноска, который родился в уверенности, что мир прекрасен, а вы-то знаете, что это не так, и представляете себе, как ему трудно будет привыкнуть к печальной действительности, если только он вообще привыкнет.

Я снова вспоминаю Поля, в глазах которого я по-прежнему всемогущ, его кожу цвета меда и огня, черные как смоль кудри. Я отворачиваюсь, гляжу на Париж, слушая Махалию.

Мы помолчали.

— Пожалуйста, продолжайте! — говорит он с улыбкой. — Мне очень интересно знать, что скрывается за вашей игрой.

— Моя сестра Луиза так и не вышла замуж, — говорю я резко, — потому что много лет назад она и ее молодой человек поехали на машине с друзьями. Полиция остановила их. У одной девушки из их компании была очень светлая кожа, и полицейские притворились, будто не верят, что она цветная. Они заставили ее выйти из машины, стать под фарами, поднять юбку и спустить трусики — они сказали, что только так они смогут установить истину. Можете себе представить их комментарии и жесты — счастье еще, что дело не зашло дальше. Никто из мужчин ничего не мог поделать. Но Луиза и ее парень не могли после этого смотреть друг на друга.

В комнате совсем стемнело, я иду к выключателю.

— Вы знаете, я понимаю состояние этого парня, я сам испытал это. Они хотят заставить вас почувствовать, что вы не мужчина, — может быть, только тогда они сами чувствуют себя мужчинами, не знаю. Я хо-

дил по Нью-Йорку с телеграммой Харриэт в кармане и берег ее, как какой-нибудь шифрованный атомный секрет; они бы убили меня, если бы узнали. Понимаете, такие люди не совсем нормальны. Но, слава богу, существование Харриэт доказывало, что мир шире того мирка, в котором они вынуждали меня жить. Я должен был вернуться сюда, где люди слишком заняты самими собой, своей личной жизнью, чтобы вмешиваться в мою, строить против меня козни.— Я гляжу на Видалю. От света в комнате ночь снаружи кажется темно-синей с золотом, большой прожектор Эйфелевой башни крутится в небе.— Так обстоит дело в Америке по крайней мере для меня. Там мне всегда кажется, что я существую не на самом деле, а в чем-то — убогом и грязном — воображении. Не знаю, понимаете ли вы, что это значит, но я понимаю и не хочу, чтоб Харриэт прошла через все это, не хочу воспитывать там Поля.

— Ну, хорошо,— произносит он наконец,— никто же не заставляет вас оставаться в Америке навсегда? Вы будете петь в сем элегантном ночном клубе, который, по-видимому, не может без вас существовать, возможно, вам предложат сниматься в кино, и вы поступите глупо, если откажетесь. Вы заработаете много денег. Потом в один прекрасный день вы вспомните, что авиационные и пароходные компании все еще действуют и Франция не перестала существовать на свете. Как это ни удивительно!

Видалю был голлистом, пока де Голль не пришел к власти. Но возвышение де Голля и деголлевский режим внушают ему серьезные опасения.

— Наверное, «*mon général*» не виноват,— говорит он иногда печально.— История виновата. По-видимому, истории суждено предъявить цивилизации счет как раз в тот момент, когда та совсем не готова платить.

Он поднимается и выходит на балкон, словно хочет воочию убедиться в существовании Парижа. Махалия поет «Разве дождь не шел?». Я подхожу и становлюсь рядом с ним.

— Вы хороший малый, Чико,— говорит он.

Я смеюсь.

— Вы верите в любовь. Вы еще не знаете многого, против чего любовь бессильна, но,— он улыбается,— любовь вас научит.

Пообедав, мы идем в дискотеку на Левом Берегу, где дерут баснословно дорого только потому, что туда как-то забрел знаменитый киноактер Марлон Брандо. Случайно, уверяет Видалю.

— Знаете ли вы, сколько народу в Париже разбогатеет, не говоря уже о тех, кто — увьи! — разорится, если вдруг Марлон Брандо опять заблудится?

Похоже, сегодня он не заблудился, дискотека полна странными безликими людьми, которыми кишит ночная жизнь любого большого города — они всегда прибегают с опозданием на день, на час, на десятилетия в те места, где произошло какое-нибудь знаменательное событие, началось течение или собирались знаменитости. Есть здесь и американские юнцы, которые отпускают бороду в тщетной надежде быть похожими на Хемингуэя; и американские девицы, которые заигрывают с французами и экзистенциализмом в ожидании, пока американские юнцы сбредут бороды; французские художники — все еще горячие последователи революции в живописи, закончившейся тридцать лет назад; и нахальные молодые американские карьеристы — выродки, пробирающиеся в искусство лестью и подкупом и создающие полотна столь же пустые и бесплодные, как их жадные, мелкие душонки. Есть также мальчишки всех национальностей, немногим отличающиеся от сутенеров, которым удалось случай-

но пройти по сцене или попозировать перед аппаратом. И девицы — заклятые их врагини, чьи лица появляются иногда в рекламах, — с одной из них в течение вечера непременно случится истерический припадок.

В углу, как всегда, сидит окруженная улыбающимися молодыми людьми пьяная блондинка, которая во времена оны была любовницей знаменитого художника, ныне покойного. Она обладает некоторым влиянием в мире искусства, потому ей редко приходится платить за выпивку и за любовников. Пожилой француз, некогда знаменитый режиссер, играет в очко с кассиршей. Он любезно кивает мне и Видалю, но не делает попытки подойти к нам, и я уважаю его за это. Нам с Видалем, по-видимому, выпала сегодня роль Брандо: наш приход оправдывает цены и вызывает дрожь ожидания в зале. Одно удовольствие наблюдать за лицом официанта, когда он подбегает, весь расплывшись в улыбке, с низким поклоном; не то чтобы мы почтили его своим присутствием, просто он благодаря нам обрел свое качество; благородство, как бы говорит он, тянется к благородству. Мы заказываем два виски с содовой. Я знаю, что Видаль иногда заходит сюда. Он одинок. По-видимому, он уже не надеется полюбить снова одну женщину, поэтому он развлекается со многими.

Поскольку это дискотека, джаз ревет со стен и повсюду небрежно раскиданы пластинки. Две из них мои, и, без сомнения, скоро кто-нибудь поставит запись одной из песен, которые я пел в фильме.

— Я думал, — говорит Видаль с хитрой улыбочкой, — что ваше прощание с Парижем было бы неполным без небольшой демонстрации прервратностей славы. Может быть, это подготовит вас к Америке, где, как я слышал, население еще более кровожадно, чем здешняя публика.

Я вижу, что одна из незанятых моделей собирается подойти к нам за автографом. Она недурна собой, то есть снабжена всеми женскими атрибутами, подчеркнутыми согласно моде, и, видимо, надеется, что мы предложим ей выпить с нами. Если маневр удастся, кто-нибудь из ее друзей или подруг постарается подойти к нашему столику за спичкой, или карандашом, или губной помадой, и будет очень затруднительно не пригласить и их присесть. К концу вечера вокруг нас образуется толпа. Я не знаю, чего я ждал от славы, но, откровенно говоря, мне никогда не приходило в голову, что быть на свету не менее опасно, чем оставаться в безвестности.

— Тогда давайте разделаемся с этим поскорее, — говорю я. — Иногда я жалею, что вы ко мне так хорошо относитесь.

Он смеется.

— Здесь сегодня много очень интересных людей. Взгляните!

На другом конце зала сидит группа американских студентов-негров, которые, наверное, впервые в Париже. Они смотрят на нас. Их четверо — два парня и две девушки, им всем лет по двадцать, не больше. Один из парней, сияющий, кудрявый, золотисто-коричневый — цвета жареного домашнего цыпленка, — держит в руках гитару. Когда они поняли, что мы заметили их, они улыбаются и машут нам, машут, как будто я принадлежу им, да так оно и есть. Золотисто-коричневый — мим. Он поднимает гитару, опускает плечи и изображает умирающего Чико. Он наигрывает главную тему музыки фильма, и я смеюсь, и весь их столик смеется. Как будто бы все это происходит дома и мы встретились в воскресенье по пути в церковь или там в парикмахерскую или бильярдную.

Они произвели сенсацию в дискотеке, без всякого усилия перехитрив всех остальных юнцов и девиц. Их столик, секунду назад не представлявший никакого интереса, сразу стал центром всеобщего внимания: их улыбки подали повод и остальным улыбаться и кивать в нашу сторону.

— О,— говорит Видаль,— у него это получается куда лучше, чем у вас. Пожалуй, я сделаю из него звезду.

— Не стесняйтесь, мсье господь бог, я свое получил!

Но я вижу, что вниманием его завладела одна из девиц, живая, гибкая и темная. По каким-то неуловимым признакам видно было, что остальные относятся к ней с уважением. Теперь за их столом происходит военный совет, требующий ее внимания и участия. Она слушает, хмурится, смеется; во время разговора лицо ее непрерывно меняется, как будто по нему пробегают солнечные блики. И вот жестом, каким она когда-то бросала корм цыплятам, она подбирает с полу матерчатую сумку на длинном шнурке, которые женщины любят таскать за собой. Она небрежно держит ее за шнурок так, что она болтается где-то у ее шиколотки, и направляется к нашему столику. У нее честная, прямая походка, без этакой нарочитой вибрации живота и бедер, которыми злоупотребляет большинство женщин. Она невысокая, плотного, экономного сложения.

Когда она подходит к нашему столику, мы с Видалем встаем, и это на секунду сбивает ее с толку. Давненько я не видел такой привлекательной девушки!

А все, конечно, следят за нами. Момент действительно забавный. Они поставили пластинку, где Чико поет грустную, злую мартиникскую песню; мой голос несется к нам со стен, а девушка смотрит то на меня, то на Видаля и улыбается.

— Вы, наверное, догадались,— говорит она,— что мы не собираемся так просто выпустить вас отсюда. Мы в Париже всего несколько дней и не надеялись встретить вас где-нибудь: все газеты кричат о том, что вы возвращаетесь домой.

— Да,— говорю я.— Да. Я выезжаю послезавтра.

— О! —она подмигивает.— Тогда нам действительно повезло.

Я обнаружил, что совсем позабыл мальчишескую ухмылку негрятяских девушек.

— Но я вас совсем заговорила, а мы даже не познакомились. Меня зовут Ада Холмс.

Мы жмем ей руку.

— Это мсье Видаль, кинорежиссер.

— Я счастлива познакомиться с вами, сэр.

— Не присоединитесь ли вы к нам? Не присядете ли? — И Видаль пододвигает ей стул.

Но она хмурится.

— Мне надо вернуться к друзьям.— Она смотрит на меня.— Я пришла только сказать от своего имени и от имени ребят, что у нас есть ваши пластинки, и мы видели ваш фильм, и он для нас очень много значит.— Она смеется, и смех ее почему-то звучит трогательнее слез.— Трудно передать, как много значит. Они просили меня узнать, не позволите ли вы нам угостить вас и вашего друга.— Она глядит на Видаля.— Вашего режиссера, мсье Видаля. Мы будем очень польщены.

— Это мы польщены,— быстро отвечает Видаль.— И крайне признательны. Мы ужасно надоели друг другу, а тут, слава богу, вы и подоспели.

Мы все трое смеемся и идем через зал.

Трое за их столиком встают, и Ада знакомит нас. Другую девушку, которая светлее и выше Ады, зовут Руфь. Одного из ребят зовут Талли — сокращенное от Тальяферо, а золотисто-коричневого зовут Пит.

— Братец,— говорит он мне,— ты проходишь первым номером. Ты меня купил, мальчик. Блеск!

— Он многих купил,— говорит Талли многозначительно. И они с Руфью смеются.

Видалю не знает, но я-то знаю, что Талли скорее всего имеет в виду белых людей.

Они родом из Нью-Орлеана, Талахасси и Северной Каролины, учатся в колледжах и познакомились на пароходе. Все лето провели в Европе — в Италии и в Испании, и только что приехали в Париж.

— Мы собирались приехать сюда раньше,— говорит Ада,— но нам ниоткуда не хотелось уезжать. Я думала, нам никогда не удастся оторвать Руфь от Венеции.

— Я примирился с этим,— говорит Пит,— и преспокойно сидел на площади Святого Марка, попивая шипучку. Меня фотографировали вместе с голубями, пока Руфь заставляла возить себя взад и вперед по каналам.— Он поглядел на Руфь.— Слава богу, пошел дождь.

— Она отвыкала от предрассудков,— усмехается Ада.— И мы не хотели ей мешать, ведь в Северной Каролине возможности у нее будут совсем не те, что в Венеции.

— Да, там много невращенников,— говорит Руфь.— Несколько кругов по Канале Гранде принесли бы им громадную пользу.

Пит смеется:

— Представляете себе, как Руфь ведет их к воде?

— Я еще никогда не заносила руку во гнев,— говорит Руфь.— Но, боже...— И она смеется, сжимая и разжимая кулаки.

— Вы давно не были дома, верно? — спрашивает меня Талли.

— Восемь лет. А не живу там уже двенадцать.

Пит свистнул.

— Тогда вас ждут сюрпризы, мой друг. Много изменилось.

Потом спрашивает:

— Вы не боитесь?

— Немного.

— Мы все боимся,— говорит Ада,— вот почему я всегда рада уехать хотя бы ненадолго.

— Значит, вы не были у нас после Черного Понедельника,— говорит Талли. Он смеется.— Под этим названием он вошел в историю Конфедерации.— Он поворачивается к Видалю.— А что вы здесь об этом думаете?

Довольный Видалю улыбается.

— По-моему, это крайнее ребячество даже для американцев, от которых трудно ожидать зрелых поступков.

Все за столом смеются. Видалю продолжает:

— Но, по правде говоря, не мне говорить об этом, я этого не понимаю. Я никогда не понимал американцев, а теперь я старый человек и, наверное, так и не пойму. В них есть что-то очень милое, очень привлекательное, но они так плохо разбираются в жизни. Странно, но единственные американцы, с которыми я мог найти общий язык,— это чернокожие вроде моего дорогого друга, моего открытия! — Он хлопает меня по плечу.— Может быть, потому, что мы, европейцы, как бы велико ни было наше невежество, знаем, что такое страдание. Мы страдали. Вы тоже страдали. А большинство американцев даже не знает, что такое горе. Это очень жаль, потому что судьба западного мира в их руках.— Он поворачивается к Аде.— По-моему, позор, когда цивилизованная нация выбирает своим представителем простака, уверенного, что все в мире просто.

Четыре юных лица обращены к нему. За столом наступает молчание.

— Что ж,— говорит наконец Пит, поворачиваясь ко мне,— вы там не соскучитесь.

— Такой прелестный вечер,— говорю я,— жалко сидеть в этой духоте, где ничего не услышишь, кроме моих пластинок.— Мы смеемся.— Почему бы нам не пойти в какое-нибудь маленькое кафе на улице?— Я похлопываю по гитаре Пита.— Надо выяснить, есть ли у вас талант.

— О, талант у меня есть,— говорит Пит,— упорства не хватает.

Итак, после некоторой суматохи по поводу счета, о котором Видаль уже позаботился, мы выходим в парижскую ночь.

Мы заняли столик в «Маго». Пит настроил свою гитару и запел:

Проповедуй мне слово, прошу!  
Ты уйдешь, я его сберегу.  
Если больше не увижу я тебя,  
Буду ждать на Ханаанском берегу.

У него сильный, чистый мальчишеский голос, как у молодого проповедника, и он улыбается, когда поет свою песню. Ада и я переглядываемся и улыбаемся. Видаль тоже смеется. Официант немного встревожен, потому что вокруг нас уже собирается народ, но сейчас лето, жандарм на углу, по-видимому, не сердится, он всегда успеет остановить нас.

Друзья явно гордятся Питом; и мы все подпеваем ему, а люди останавливаются и слушают.

Присягай! Присягай!  
Если больше не увижу я тебя,  
Присягай! Присягай!  
Буду ждать на Ханаанском берегу!

В толпе, которая собралась, чтобы послушать нас, я различаю знакомое лицо. Это североафриканский боксер, который уже не выступает на ринге. Я хорошо знал его когда-то, но давно не встречал. Он выглядит хорошо, лицо его лоснится, он вполне прилично одет. А то, как он держится, стараясь не глядеть на наш стол, показывает, что он узнал меня, но не решается подойти, боясь оказаться некстати. Тогда я зову его:

— Буна!

Он сразу поворачивается, улыбаясь, и вразвалку подходит к нашему столику, засунув руки в карманы. Пит все еще поет, а Ада и Видаль разговаривают вполголоса. Руфь и Талли с любопытством смотрят на Буна. Я сам позвал его, а теперь немного раскаиваюсь. Я сообщил, что совсем не знаю, чем он теперь занимается и сумеет ли он поладить со всеми этими людьми. По его глазам я вижу, как ему приятно очутиться в обществе двух молодых девушек. В Париже почти нет североафриканских женщин, а с арабом не пойдет даже самая грязная из тех уродливых девиц, которые всю свою жизнь проводят в кафе. Поэтому Буна постоянно ищет девушку, а благодаря его развязности и отсутствию западного лоска техника у него весьма рискованная. Я знаю, он рад, что девушки не француженки и не белые. Он мельком взглядывает на Видаль и Аду. Видаль тоже постоянно ищет себе девушку, хотя и по другой причине.

Но Буна всегда был добр ко мне. Может, я и жалею, что позвал его, но я не хочу его обижать.

Он треплет меня по щеке, по своей старой привычке.

— Как живешь, брат мой? Я тебя не видел давным-давно.— И он спрашивает меня, как в старые времена: — Все в порядке? Никто тебя не обижает? — И сам смеется.— Ах! Ты-то пробил себе дорогу! Теперь ты vedette, крупная звезда, замечательно! — Он оглядывается вокруг, немного смущенный молчанием, которое наступило, когда Пит перестал



петь.— Знаешь, я видел тебя в кино. И я всем говорю: «Я с ним знаком!» — Он показывает на меня пальцем и смеется, и Руфь и Талли смеются вместе с ним.— Да, брат мой, можно тобой гордиться; я был растроган до слез!

— Буна, познакомься с моими друзьями.— Я называю по кругу: — Руфь, Талли, Ада, Пит!

И он кланяется и пожимает всем руки, его черные глаза блестят от удовольствия.

— И мсье Видаль, режиссер фильма, который заставил тебя прослезиться.

— Восхищен! — Но он относится к Видалю холоднее, с некоторым недоверием.— Конечно, я знаю мсье Видаля, он ставил много фильмов, и многие из них заставили меня прослезиться.— Последнее утверждение абсолютно, даже вызывая неискренне.

Но Видаль, по-видимому, доволен, что мне теперь придется разговаривать с Буной и я оставляю его и Аду в покое.

— Садись! — говорю я.— Выпей с нами, расскажи, какие у тебя новости. Что с тобой происходит, чем ты занимаешься теперь?

— О,— говорит он, садясь,— ничего особенно выдающегося, брат мой.— Он быстро взглядывает на меня с улыбкой.— Ты ведь знаешь, нам здесь нелегко приходилось.

— Откуда вы? — спрашивает Ада.

Он оглядывает ее с ног до головы своими блестящими черными глазами, но она невозмутима.

— Я из Туниса.— Он говорит это с гордостью, слегка улыбаясь.

— Из Туниса? Я никогда не была в Африке. Мне хотелось бы побывать там хоть разочек.

Он смеется.

— Африка — большая страна. Очень большая. В Африке много, много стран, много,— он мельком взглядывает на Видаля,— разных народов, разных колоний.

— Но ведь Тунис,— наивно продолжает она,— свободен? Вся Африка освобождается. Потому-то я и хочу поехать туда.

— Я давно там не был,— говорит Буна,— но то, что я слышал из Туниса, от моих родственников, не утешительно.

— Разве вы не хотели бы вернуться домой? — спрашивает Руфь.

Он опять косится на Видаля.

— Это не так-то просто.

Видаль улыбается.

— Знаете, что я предлагаю? Тут недалеко есть замечательный испанский кабачок — мы там можем послушать музыку и потанцевать немного.— Он обращается к Аде: — Хотите?

Он представляет мне самому отделаться от Буны, и, конечно, именно поэтому я не могу этого сделать. К тому же теперь это не так-то легко.

— Очень,— говорит Ада и поворачивается к Буне.— Пойдемте с нами?

— Спасибо, мамзель,— говорит он нежно, облизывая губы и улыбаясь. Он очень растроган: люди редко добры к нему.

В испанском кабачке, как полагается, есть парочка испанских гитар, кастаньеты и пианино, но музыканты обращаются с ними так, что получается, по выражению Пита, «кошачий концерт».

— В первый раз слышу таких визгливых испанских кошек,— говорит Руфь.— Что в этом испанского? Просто бродяги какие-то. В Испании нет ничего подобного.

Талли увлекает ее на площадку для танцев, где уже очень тесно.

Очень красивая француженка танцует с огромным красивым негром — он, судя по всему, ее любовник и научил ее танцевать. Музыканты, очевидно, знают их, они подбадривают их негромкими «олé!». Публика, очень добродушно настроенная, в большинстве иностранцы — испанцы, шведы, греки. Буна уводит Аду танцевать, пока Видаль отвечает Питу на вопрос о положении артистов во Франции. Видаль немного обескуражен, и это меня забавляет.

Мы здесь уже около часа, танцуем, разговариваем, и я наконец немного опьянел. Несмотря на Буну, который оказался прекрасным и неутомимым танцором, Видаль продолжает ухаживать за Адой, и я не уверен, удастся ли ему добиться своего, и не уверен, как я к этому отношусь.

Я все еще не разобрался в своих чувствах, когда исчезнувший не надслго Пит появляется в дверях и, поймав мой взгляд, манит меня к себе. Я встаю из-за стола и выхожу вместе с ним на улицу. У него очень расстроенный вид.

— Мне не хотелось бы надоедать тебе,— говорит он,— но твой мальчик проштрафился.— Тон у него не шутливый. Возможно, он рассердился на Видаля из-за Ады. Но зачем он мне об этом говорит, чем я-то могу помочь? Я гляжу на него без улыбки, и он говорит: — Дело в том, что он украл деньги.

— Украл деньги? Кто, Видаль?

И тут, конечно, до меня дошло, еще раньше, чем он нетерпеливо возразил:

— Ты что, шутишь? Твой друг тунисец.

Я не знаю, что делать и что говорить, и стараюсь оттянуть время расспросами. А между тем я соображаю, может ли это быть и как мне поступить, если это правда. К несчастью, я знаю, что Буна ворует — он давно бы помер, если бы не воровал, — но этого нельзя сказать этим детям — ведь они, наверное, все еще считают, что каждый, кто ворует, вор. Однако мне известно — он никогда не воровал у друзей. Это не похоже на него. Он не настолько глуп и подл. И вот я не могу этому поверить, но не могу и усомниться. Я не знаю, как жил Буна все это время. Я начинаю понимать, что я вообще очень мало знаю о Буне.

— У кого он украл?

— У Ады. Из сумочки.

— Сколько?

— Десять долларов. Это небольшие деньги, но,— он морщится,— ни у кого из нас нет больших денег.

— Я знаю.— Темный переулок, в котором мы стоим, почти пуст. Совсем тихо, только из испанского кабачка доносятся приглушенные звуки музыки.— Откуда вы взяли, что это Буна?

Он предвосхищает мой собственный мысленный ответ на этот вопрос:

— А кто же еще? К тому же его видели.

— Кто-то видел его?

— Да.

Я не спрашиваю его, кто именно, боясь услышать в ответ: «Видаль».

— Ладно,— говорю я,— попробую вернуть их.— А сам думаю: «Отзову Буну в сторону, а потом отдам свои деньги».— В долларах или в франках?

— В франках.

Долларов у меня нет, так что это облегчает дело. Я не представляю себе, как подойду к Буне и обвиню его в краже денег у моих друзей. Неужели нет ни тени сомнения?

— Кто видел его? — спрашиваю я.

— Талли. Но нам не хотелось затевать истории.

— А Ада знает об этом?

— Да! — Он беспомощно глядит на меня. — Я знаю, вам это очень неприятно, но мы думали, лучше уж мы сами вам скажем, чем, — неловко добавляет он, — кто-нибудь другой.

Теперь Ада выходит из кабачка, держа в руках свою нелепую сумочку. Лицо у нее сморщенное и грустное.

— О, — говорит она, — как ужасно! Я причинила всем столько хлопот, столько неприятностей из-за каких-то вонючих десяти долларов, они не стоят того.

Я с удивлением замечаю, что она заплакана и сейчас у нее на глазах опять выступили слезы. Я обнимаю ее за плечи.

— Ну-ну! Никому вы не причинили ни хлопот, ни неприятностей, и плакать не стоит.

— Ты не виновата, Ада, — говорит несчастный Пит.

Буна и Талли выходят из двери; Буна направляется прямо ко мне.

— Они говорят, что я украл деньги, друг мой. Ты меня знаешь, ты один знаешь меня здесь. Я не способен на такое.

Я гляжу на него и не знаю, что сказать. Ада смотрит на него глазами, полными слез, и отворачивается. Я беру Буну под руку.

— Мы сейчас вернемся, — говорю я.

Мы проходим несколько шагов по темной, пустынной улице.

— Она говорит, что я взял ее деньги, — жалуется он. У него тоже такой вид, как будто бы он того и гляди заплачет, отчего только? — Ты знаешь меня, ты знаешь меня почти двенадцать лет. Как ты думаешь, могу я сделать такое?

«Талли видел тебя», — хочу я сказать, но не могу этого выговорить. Может быть, Талли только показалось. Может быть, просто легко себе представить, как парень, похожий на Буну, сует руку в сумочку американки.

— Если не веришь, — говорит он, — обыщи! Обыщи меня! — И он по-театральному разводит руки, в глазах его застыли слезы.

Мне неизвестна причина его слез, но уж, конечно, я не могу его обыскивать. Я хочу сказать: «Я знаю, что ты крадешь, что тебе придется красть. Может быть, ты взял деньги из сумки девушки, чтобы не умереть завтра с голоду, или чтобы тебя не выбросили сегодня на улицу, или чтобы не попасть в тюрьму. Эта девушка ничего не значит для тебя, в конце концов она всего лишь американка, американка, как я. Может быть, — вдруг осеняет меня, — любая девушка уже ничего не значит для тебя и не может значить: тебя слишком сильно били, слишком долго продержали в канаве». И я думаю: «Если ты мог украсть у нее, тогда ты, конечно, будешь лгать и мне, никто из нас ничего для тебя не значит; может быть, в твоих глазах мы всего лишь счастливики гангстеры в гангстерском мире, где властвуют гангстеры». Но ничего этого я не могу сказать Буне. Я не могу сказать: «Скажи мне правду, всем уже наплевать на деньги!»

Вместо этого я говорю:

— Конечно, я не стану тебя обыскивать! — и понимаю, что он знал, что я не стану.

— Наверное, этот француз считает меня вором. Они всех нас считают ворами. — Глаза его обиженно сверкают. Он глядит через мое плечо. — Вон они все вышли из кабачка.

Я оглядываюсь и вижу их всех в темном уголке улицы.

— Не волнуйся, — говорю я. — Ничего не будет.

— Ты веришь мне? Брат мой! — И глаза его впиваются в мои с жутким напряжением.

— Да,— с трудом выдавливаю я из себя,— да, конечно, я верю тебе. Кто-то ошибся, вот и все.

— Ты знаешь, эти американские девушки всюду ходят с открытыми сумочками, она могла потерять деньги где угодно. Почему она винит меня? Потому что я из Африки? — Слезы блестят на его глазах.— Вот она.

Ада идет к нам по улице своей решительной походкой. Она подходит прямо к Буне и берет его за руку.

— Я очень сожалею,— говорит она,— обо всем происшедшем. Пожалуйста, поверьте мне. Не стоило из-за этого поднимать шум. Я уверена, что вы хороший человек.— Она запинаясь.— Наверное, я потеряла деньги, я уверена, что потеряла.— Она смотрит на него.— Они не стоили того. Я очень сожалею, что вас обидели.

— Я не брал ваших денег,— говорит он.— Правда, честно, я не брал. Спросите его,— он хватается за меня и судорожно трясет меня за рукав,— он знает меня много лет, он скажет вам, что я никогда, никогда не краду.

— Я уверена,— говорит она.— Уверена.

Я снова беру Буну под руку.

— Забудем об этом. Забудем обо всем этом. Пойдемте все домой, а как-нибудь мы опять все соберемся и выпьем и забудем обо всем этом, ладно?

— Да,— говорит Ада,— забудем обо всем! — И она протягивает Буне руку.

Буна с удивлением пожимает ее. Он снова оглядывает ее с головы до ног.

— Вы хорошая девушка. Даже очень хорошая девушка. Правда.

— Я уверена, что вы тоже хороший человек.— Она умолкает.— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи,— говорит он после долгого молчания.

Потом он целует меня в обе щеки.

— Au revoir, мой брат.

— Au revoir, Буна.

Немного погодя мы поворачиваемся и уходим, а он остается стоять на том же месте.

— Взял он деньги? — спрашивает Видаль.

— Говорю вам, я видел его,— говорит Талли.

— Ну,— говорю я,— теперь это неважно.— Я оглядываюсь назад и вижу, как плотная фигура Буны исчезает в конце улицы.

— Да,— говорит Ада,— это неважно.— Она поднимает голову.— Уже почти утро.

— Я буду рад,— запинаясь, говорит Видаль,— рад...

Но она уже овладела собой.

— И не думайте. Мы чудесно провели время сегодня, чудесно, даже и не думайте.— Она поворачивается ко мне со своей мальчишеской улыбкой.— И чудесно, что мы встретили вас. Я надеюсь, вам будет не слишком трудно привыкать снова к Штатам.

— Наверное, нет,— говорю я. Потом добавляю: — И вам тоже.

— Нет,— говорит она,— что бы они там ни вытворяли, меня уж ничем не удивить.

— В какую вам сторону? — спрашивает Видаль.— Я могу подвезти кого-нибудь в такси.

Но он живет в 16-м округе, это никому не по дороге. Мы провожаем его к стоянке такси под часами Одеона.

И мы смотрим друг другу в лицо в свете пробуждающегося дня. Лицо его выглядит усталым, морщинистым и грустным. Он кладет обе руки мне на плечи, потом обнимает меня одной рукой за шею.

— Не забывайте меня, Чико,— говорит он.— Приезжайте к нам в гости. Мы рассчитываем на вас.

— Я вернусь,— говорю я.— Я никогда не забуду вас.

Он поднимает брови и улыбается:

— Alors, adieu!

— Adieu, Vidal!

— Я был счастлив познакомиться со всеми вами,— говорит он. Он взглядывает на Аду.— Может быть, мы еще увидимся с вами до вашего отъезда.

— Может быть,— говорит она.— Прощайте, мсье Видаль.

— Прощайте.

Такси Видаля отъезжает.

— Я тоже прощусь с вами здесь,— говорю я.— Мне надо домой — будить моего сына и готовиться к отъезду.

Я оставляю их на углу под часами, показывающими шесть часов. Все четверо выглядят очень странно и одиноко. Перед тем, как мое такси поворачивает на бульвар, я машу им, и они машут мне в ответ.

Мадам Дюмон в прихожей моет пол.

— Все мое семейство в сборе? — спрашиваю я. Настроение у меня очень бодрое, сам не знаю отчего.

— Да,— говорит она,— все здесь. Поль еще спит.

— Можно мне зайти и взять его?

Она с удивлением смотрит на меня:

— Конечно.

И вот я вхожу в ее квартиру и захожу в комнату, где спит Поль. Я стою над его постелью довольно долго.

Может быть, постепенно мои мысли доходят до него. Он открывает глаза и улыбается мне. Он трет глаза рукой и поднимает руки:

— Bonjour, papa!

Я беру его на руки.

— Bonjour. Как ты себя чувствуешь сегодня?

— Я еще не знаю,— отвечает он.

Я смеюсь. Я сажаю его на плечо и выхожу в прихожую. Мадам Дюмон поворачивает к Полю свое старое, озаренное добротой лицо.

— А,— говорит она,— вы отправляетесь в путешествие. Что вы при этом чувствуете?

— Он еще не знает,— говорю я ей.

Я подхожу к лифту и открываю дверь, держа Поля на руках.

Она снова смеется.

— Он узнает позже. Какое путешествие! В Новый Свет!

Я открываю лифт, и мы входим в него.

— Да,— говорю я.— Ему предстоит длинный путь.

Я нажимаю кнопку, и кабина со мной и с моим сыном поднимается вверх.

*Перевела с английского Татьяна Иванова.*



## К 700-летию со дня рождения

ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ

★

### СТИХИ О КАМЕННОЙ ДАМЕ

С итальянского

От переводчика

Цикл стихов о Каменной Даме — Мадонне Пьетре («пьетра» по-итальянски — камень, но также и собственное имя) — Данте написал в изгнании, когда ему было около сорока лет. С тех пор как умерла Беатриче, памяти которой была посвящена книга сонетов «Новая жизнь», прошло пятнадцать лет.

Цикл стихов о Каменной Даме состоит из двух канцон и двух секстин (простой и двойной). Эти сложные формы Данте воспринял от трубадуров Прованса. Но Данте превзошел своих провансальских учителей художественной смелостью и новизной. В то время как в поэзии трубадуров и флорентинского «сладостного нового стиля» преобладал традиционный весенний запев, который характерен и для поэтов поздней античности, Данте в первой канцоне о Мадонне Пьетре говорит о пламени любви, которая пылает среди льдов и снега. Сама возлюбленная — Мадонна Пьетра — уподобляется холодному камню. Чтобы подчеркнуть это, каждая станца (строфа) кончается рифмами: камень — камень, мрамор — мрамор.

Секстина Данте состоит из шести нерифмующихся внутри строф, написанных одиннадцатисложными стихами. Слова-рифмы являются, в сущности, ассонансами. (У Данте: *petra, erba, verde* в переводе — травы, дама, зелень, тени.)

Вслед за Данте эту сложную форму использовал Петрарка. Петрарке подражали многие итальянские поэты, а также поэты других европейских стран. У нас секстины писали Валерий Брюсов и Вячеслав Иванов.

Пейзаж секстины — зимний, так же как в первой канцоне. Жестокость и холодность Мадонны Пьетры выражены в образах: камень, лед, негреющий свет, холодные тени. Секстина исполнена страсти к реальной женщине, немилосердной красавице с золотыми кудрями.

Вторая секстина, названная «двойной секстиной», по форме еще более сложна. Строфа двойной секстины содержит пять слов-рифм. Они чередуются по-разному, в определенном порядке. Каждая строфа (станца) требует все новых и новых вариаций смысла.

Во второй канцоне фантазия поэта привела в движение Каменную Даму. Она преследует влюбленного, как прекрасные воительницы в поэме Ариосто. Грудь ее скрывают латы. С плеч Каменной Дамы спадает каменными складками плащ из яшмы. Ей на помощь спешит Amor<sup>1</sup>. Образ бога любви-победителя, не знающего милости, так ярок, что становится как бы психологической реальностью. Такое преображение — одна из особенностей гениальной поэзии Данте.

В заключительных станцах канцон поэт отказывается от аллегории и находит другую образную систему для выражения своих чувств. Он забывает об изысканных выражениях куртуазной поэзии и выступает как певец земной страсти. Он позволяет себе образы и слова, вряд ли соответствующие высокому строю канцон: «Зачем она ноет, как я из-за нее в моем аду», «Играть я буду, как медведь, ликуя».

На русский язык стихи о Каменной Даме переводятся впервые.

И. Н. Голенищев-Кутузов.

<sup>1</sup> Мы предпочли в переводе форму Амор, близкую итальянской Аморе, а не латинскую Amor и не французскую Амур.

## КАНЦОНА I

## 1

К той ныне точке я пришел вращения,  
Когда, склоняясь, солнце опочило,  
Где горизонт рождает Близнецов.  
Звезда любви свой свет из отдаленья  
Не шлет нам; воспаленное светило  
Над ней сплетает огненный покров.  
Там, где Великой Арки мощный кров,  
Где скудную бросают тень планеты,  
Луна лучами стужу возбуждает.  
Любви не покидает  
Все ж мысль моя у этой льдистой меты.  
И в памяти моей, что тверже камня,  
Храню упорно образ Пьетры — камня.

## 2

Смешавшись с эфиопскими песками,  
К нам мчится ветер, воздух омрачая,  
Летит над морем, солнцем воспален,  
И предводительствует облаками.  
Наполнит он, препятствий не встречая,  
Все полушарье северных племен,  
И белизною снеговых пелен  
Падет на землю иль дождем досадным.  
Восплачет воздух в ослабевшем свете.  
Оттягивает сети  
Наверх Амор; он дышит ветром хладным,  
Но он со мною — столь прекрасна дама,  
Жестокая владычица и дама.

## 3

Полуденные птицы улетели  
Из стран Европы, где всегда сияют  
Семь льдистых звезд среди ночных небес.  
И птиц оставшихся не слышны трели,  
Лишь крики скорбные не умолкают  
До вешних дней, и опечален лес.  
Природный пыл зверей давно исчез.  
Они теперь любви не предаются.  
От холода оледенели страсти,  
А я в Амора власти,  
И сладостные мысли остаются  
Во мне; пусть времена меняют годы,  
Дарует мысли та, чьи юны годы.

## 4

Побегов свежих миновало время,  
Чго Овна силою зазеленели.  
Поблекли травы и не тешат взор.  
Деревья листьев отрясают бремя,  
И только лавры, сосны, пихты, ели  
Привычный сохранили свой убор.

Цветы под инеем на склонах гор  
В долинах никнут, холод их терзает.  
Окованы бессильные потоки;  
Но этот терн жестокий  
Амор извлечь из сердца не дерзает,  
Пока я жив — и если б жил я вечно,  
В моем останется он сердце вечно.

## 5

Ключи дымятся, воду изливая,  
Рождает зыбкий пар земли утроба,  
От бездны пар стремится к вышине.  
Река, где плавал я под солнцем мая,  
Тверда, как берег, и доколе злоба  
Зимы не минет, будет стыть на дне.  
Земля окаменела в долгом сне.  
Кристаллом стали влажные глубины.  
И холод оковал волны движенье,  
Но я в моем сраженьи  
Не отступаю ни на шаг единый  
И чувствую в моем мученье сладость,  
Предпочитая только смерти сладость.

## 6

Что ждет меня, канцона, мне поведай,  
Когда со всех небес падет весной  
Дождем Амор, ведь и теперь средь стужи  
Сжимает сердце туже,  
И он во мне — лишь он владеет мной.  
Я должен превратиться в жесткий мрамор,  
Коль сердце дамы холодно, как мрамор.

## СЕКСТИНА I

На склоне дня в великом круге тени  
Я очутился; побелели холмы,  
Поникли и поблекли всюду травы.  
Мое желанье не вернуло зелень,  
Застыло в Пьетре, хладной, словно камень,  
Что говорит и чувствует, как дама.

Мне явленная леденеет дама,  
Как снег, лежащий под покровом тени.  
Весна не приведет в движенье камень,  
И разве что согреет солнце холмы,  
Чтоб белизна преобразилась в зелень  
И снова ожили цветы и травы.

В ее венке блестят цветы и травы,  
И ни одна с ней не сравнится дама.  
Вот с золотом кудрей смешалась зелень.  
Сам бог любви ее коснулся тени.  
Меня пленили небольшие холмы,  
Меж них я сжат, как известковый камень.



Пред нею меркнет драгоценный камень,  
 И если ранит — не излечат травы.  
 Да, я бежал, минуя доли, холмы,  
 Чтоб мною не владела эта дама.  
 От света Пьетры не сокроют тени  
 Ни гор, ни стен и не деревьев зелень.

Ее одежды — ярких листьев зелень.  
 И мог почувствовать бы даже камень  
 Любовь, что я к ее лелею тени.  
 О, если б на лугу, где мягки травы,  
 Предстала мне влюбленной эта дама,  
 О, если б нас, замкнув, сокрыли холмы!

Скорее реки потекут на холмы,  
 Чем загорится, вспыхнет свежесть, зелень  
 Ее древес; любви не знает дама.  
 Мне будет вечно ложем жесткий камень,  
 Мне будут вечно пищей злые травы;  
 Ее одежд я не покину тени.

Когда сгущают холмы мрак и тени,  
 Одежды зелень простирая, дама  
 Сокроет их,— так камень скроют травы.

## СЕКСТИНА II (ДВОЙНАЯ)

### 1

О бог Любви, ты видишь, эта дама  
 Твою отвергла силу в злое время,  
 А каждая тебе покорна дама.  
 Но власть свою моя познала дама,  
 В моем лице увидя отблеск света  
 Твоих глубин; жестокой стала дама.  
 Людское сердце утерjala дама.  
 В ней сердце хищника, дыханье хлада.  
 Средь зимнего мне показалось хлада  
 И в летний жар, что предо мною — дама.  
 Не женщина она — прекрасный камень,  
 Изваянный рукой умелой камень.

### 2

Я верен, постоянен, словно камень.  
 Прекрасная меня пленила дама.  
 Ты ударял о камень жесткий камень;  
 Удары я сокрыл,— безмолвен камень.  
 Я досаждал тебе давно, но время  
 На сердце давит тяжелей, чем камень.  
 И в этом мире неизвестен камень,  
 Пленяющий таким обильем света,  
 Великой славой солнечного света,

Который победил бы Пьетру — камень,  
Чтоб не притягивала в царство хлада,  
Туда, где гибну я в объятых хлада.

## 3

Владыка, знаешь ли, что силой хлада  
Вода в кристальный превратилась камень  
Под ветром северным в сиянье хлада,  
Где самый воздух в элементы хлада  
Преображен, водою стала дама  
Кристалльною по изволенью хлада.  
И от лица ее во власти хлада  
Застынет кровь моя в любое время.  
Я чувствую, как убывает время,  
И жизнь стесняется в пределах хлада.  
От беспощадного и рокового света  
Померк мой взор, почти лишенный света.

## 4

В ней торжество ликующего света,  
Но сердце дамы под покровом хлада.  
В ее очах бесстрастных сила света,  
Вся прелесть и краса земного света.  
Я вижу Пьетру в драгоценном камне,  
Я вижу только Пьетру в славе света.  
Никто очей пленительного света  
Не затемнит, столь несравненна дама.  
О, если б снизошла к страданиям дама  
Средь темной ночи иль дневного света!  
О, пусть укажет для служенья время,—  
Лишь для любви пусть длится жизни время.

## 5

И пусть Любовь, что предварила время,  
И чувственное ощущение света,  
И звезд движение, сократит мне время  
Страдания. Проникнуть в сердце время  
Настало, чтоб изгнать дыханье хлада.  
Покой неведом мне, пусть длится время,  
Меня уничтожающее время.  
Коль будет так, увидит Пьетра-камень,  
Как скроет жизнь мою надгробный камень,  
Но страшного суда настанет время,  
Восстав, увижу — есть ли в мире дама  
Столь беспощадная, как эта дама.

## 6

В моем, канцона, скрыта сердце дама,  
Пусть для меня она застывший камень,  
Я пламенем предел исполнил хлада,  
Где каждый подчинен законам хлада,  
И новый облик создаю для света,  
Быстротекущее мне неизвестно время.

## КАНЦОНА II

## I

Пусть так моя сурова будет речь,  
 Как той поступки, что в броню одета,  
 Не жду ее привета,  
 Окаменит она, оледенит.  
 Как мантия, спадает яшма с плеч  
 Мадонны Каменной в сиянье света.  
 Стрела из арбалета  
 Нагую грудь ее не поразит.  
 Ее удары сокрушают щит  
 И ломки беглецов смятенных латы.  
 Ее мечи — крылаты,  
 Нас настигая, рушат все препоны —  
 Я от нее не знаю обороны.

## 2

Найду ли щит, расщепит щит она.  
 Повсюду взор ее мой взор встречает;  
 И как цветок венчает  
 Свой стебель, так венчает мысль мою.  
 Как судно в штиль не возмутит волна,  
 Так скорбь моя ее не огорчает.  
 Пусть тяжесть удручает  
 Мне сердце, но слова в себе таю.  
 Напильнику скорбей я предаю  
 Всю жизнь, которую незримо точит.  
 Она мне смерть пророчит.  
 Жестокая не ведает боязни,  
 Не назван все же исполнитель казни.

## 3

Трепещет сердце — думаю о ней,  
 От чуждых взоров скорбь мою скрывая,  
 Но, в муках пребывая,  
 Не выдам мыслей, что я затаил.  
 Пусть срок приблизится последних дней,  
 Пусть бог любви их губит, поражая,  
 Пусть, раны обнажая,  
 У чувств он отнял избыток сил.  
 Amor заносит меч, им поразил  
 Он некогда несчастную Дидону,  
 Ступил, не внемля стону,  
 На грудь мою; напрасно я взываю  
 О милости, я милости не чаю.

## 4

Занес десницу надо мной злодей  
 И, ослабевшему от поражения,  
 На землю без движенья  
 Поверженному, дерзостно грозит.  
 Напрасен крик, неслышный для людей.  
 Вот кровь моя, отхлынув от волненья,

Амора вняв веленья,  
Стремится к сердцу, и лицо горит,  
И вновь бледнеет. Под руку разит,  
И слева чувствую живую муку.  
Коль вновь подымет руку,  
Меня постигнет тягостная кара  
И встречу смерть до смертного удара.

## 5

Зачем Амор ей сердце не рассек,  
Пусть раскроит его и пусть раскробет,  
Пусть скорбь мою утроит —  
Со смертью был бы я тогда в ладу.  
И в жар и в хлад мой сокращает век  
Убийца и мою могилу роет.  
Зачем она не воеет,  
Как я из-за нее в моем аду!  
Воскликнул бы тогда: «Я к вам приду,  
Чтоб вам помочь!» На кудри золотые,  
Амором завитые  
Мне на погибель, наложил бы руку  
И стал бы мил, мою смиряя муку.

## 6

О, если б, косы пышные схватив,  
Те, что меня измучили, бичуя,  
Услышать, скорбь врачуя,  
И утренней и поздней мессы звон!  
Нет, я не милосерден, не учтив,—  
Играть я буду, как медведь, ликуя.  
Стократно отомщу я  
Амору за бессильный муки стон.  
Пусть взор мой будет долго погружен  
В ее глаза, где искры возникают,  
Что сердце мне сжигают.  
Тогда, за равнодушие отмщенный,  
Я все прощу, любовью примиренный.

## 7

Прямым путем иди, канцона, к даме.  
Таит она, не зная, как я стражду,  
Все, что так страстно жажду.  
Пронзи ей грудь певучею стрелою —  
Всегда прославлен мститель похвалою.



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

ЦЕЦИЛИЯ КИН

★

## БЛЕСК И НИЦЕТА ФАШИЗМА

1

Под покровом забвения прячется гнусное злодеяние. Забвение — это мерзкий растлитель душ.

*Гюнтер Вейзенборн.*

**А** итальянцам говорят: надо забыть! К чему калечить души молодых поколений, голкуя о времени, которое «ни в коем случае нельзя безоговорочно прославлять и превращать в легенду»? Кому нужны романы, фильмы, телевизионные передачи, проникнутые «мелочным партизанским духом»? И кто вообще смеет делить людей на хороших и дурных? Никто не спорит — факты были. Нельзя отрицать, что «варварские теории, которыми тшились подменить основы христианской морали, привели к преступлениям и безумию»<sup>1</sup>, но незачем напоминать о былой ненависти, о раздорах и распрях: это было — и прошло.

Так писал влиятельный журнал иезуитов «Чивильта каттолика», откликаясь на развернувшуюся в городах и селениях Италии подготовку к 25 апреля 1965 года — двадцатилетию антифашистской революции. А если уж приходится вспоминать о «трагических событиях» Сопrotивления, здесь обязательна позиция совершенной отрешенности, полного беспристрастия. И прежде всего надо... «понимать доводы «других», тех, кого веление совести<sup>2</sup> привело на противоположную сторону».

Справедливость требует признать: «другие» отчетливо знают, что следует начисто позабыть и о чем, напротив, надо помнить. Неофашистский журнал «Ационе», возражая против включения в школьные программы истории Сопrotивления, писал, например, так: «Здесь речь идет не о том, чтобы защищать фашизм или фашистов, ибо они не нуждаются в защите и уверены в приговоре Истории... Некоторые говорят, будто мы против преподавания Сопrotивления, потому что боимся, что молодежь узнает правду. Заявляем открыто: мы правды не боимся!»<sup>3</sup>.

Итак, фашизм и фашисты не нуждаются в защите и уверены в конечном приговоре истории. Любопытные мысли по этому поводу высказывает еще один неофашистский журнал — «Черные тетради революционной правой». В первом номере, носящем программный характер, помещена статья ответственного редактора журнала Сальваторе Франчи, озаглавленная «Семя ненависти»<sup>4</sup>. Речь идет о конференциях, организованных в Турине Ассоциацией бывших узников нацистских лагерей. Франча был на одной из таких конференций. Он пишет, что наивные и политически слабо подготовленные молодые люди, ничего не знающие о «всемогуществе международного еврейства», слушая

---

<sup>1</sup> «La Civiltà Cattolica». 16 maggio 1964.

<sup>2</sup> Разрядна здесь и дальше моя. — Ц. К.

<sup>3</sup> «Azione» mensile di battaglie politiche. № 8-9, ottobre 1960.

<sup>4</sup> «I quaderni neri della destra rivoluzionaria», № 1, marzo 1963.

ловкого оратора, могут укрепиться в убеждении, будто немецкие, итальянские и другие расисты «заслуживают лишь ненависти и презрения». Франча отлично знает: это взгляд совершенно ошибочный. Его отец, фашист, был расстрелян миланскими партизанами в апреле 1945 года. Обращаясь к «синьорам партизанам, евреям, бывшим заключенным», Сальваторе Франча призывает их не ворошить прошлое, не «сеять ненависть», ибо, пока живы сыновья убитых с обеих сторон, «любое слово ненависти может прозвучать как призыв к новой и еще более жестокой гражданской войне».

Мы внимательно прислушиваемся к доводам «других». Может быть, действительно незачем ворошить прошлое, ибо иезуиты спрашивают нас: «Кто смеет делить людей на хороших и дурных?» — а страница истории, на которой написано «фашизм», перевернута. Может, и верно есть смысл позабыть о нем? Но вот еще одна многозначительная цитата из программной статьи Франчи: «Мой отец был фашистом и оставался бы фашистом, будь он жив, потому что быть фашистом — это не просто носить черную рубашку, значок в петлице и членский билет в кармане. Я уверен, что для моего отца принадлежность к фашизму означала определенный образ жизни, образ мышления. Это означало: верить, повиноваться, сражаться! И вы не имеете права оскорблять его память, предлагать мне уверовать в другой образ жизни, другой образ мыслей. На это вы права не имеете!»

Итак — надо ли забывать, можно ли забывать?

\* \* \*

Ни одному здравомыслящему человеку не придет, вероятно, в голову возможность фашистского переворота в нынешней Италии. На последних парламентских выборах в апреле 1963 года за неофашистов голосовало около миллиона шестисот тысяч человек, а весь блок крайне правых партий (либералы, монархисты и неофашисты) собрал менее четырнадцати процентов всех голосов. И если сейчас мы пишем об этих людях, то вовсе не потому, что они представляют собою реальную угрозу Итальянской республике. Но мы думаем, что о факте существования в мире фашистских сил забывать нельзя. Пальмиро Тольятти в своей «Памятной записке» не случайно написал о том, что сейчас «все более укрепляется объективная основа для реакционной политики, направленной на ликвидацию или ограничение демократических свобод, сохранение фашистских режимов, создание авторитарных режимов». И, вероятно, есть все-таки смысл еще раз вспомнить о «черном двадцатилетии» итальянского фашизма и об антифашистской революции, двадцатилетие которой Италия и мир отметили 25 апреля.

## 2

История часто идет скачками и зигзагами...

*Ф. Энгельс<sup>1</sup>.*

Надеюсь, что читатели простят мне небольшую вольность: в этой статье не хочется строго придерживаться хронологии и последовательного изложения событий. Предположите, что перед нами кинолента и механик перепутал части. Может быть, получится даже неплохо: ведь речь идет не об истории фашистского режима в Италии, и не о карьере Муссолини, и не о Соппротивлении — и в то же время обо всем этом придется говорить. Автор просит читателей вспомнить «о королях и о капусте» и не сетовать на фрагментарность, на пестроту и на смещения во времени. Здесь будут упоминаться многие люди, имена которых очень мало говорят нам или вообще ничего не говорят. Постараюсь сказать о каждом из них то необходимое, без чего было бы не ясно, какую роль они играли в истории итальянского фашизма.

\* \* \*

Летом 1932 года, во время гарибальдийских торжеств, Муссолини заявил, что его чернорубашечники — прямые и законные наследники краснорубашечников Гарибальди: их объединяет общность политических идеалов. Вскоре с необычайной пышностью была

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения в 2-х томах, М. 1948, т. I, стр. 332.

открыта выставка, посвященная десятилетию режима. Режим торжествовал, он показывал миру грандиозный фасад, он возродил славу древнего Рима, он намеревался жить в веках, не зная, что прожил уже половину отпущенного ему историей времени. В этой помпезности, в развязных и подхалимских газетных статьях, в речах и церемониях, в самой атмосфере чувствовалось что-то мелко-тщеславное, на всем лежал отпечаток «второго сорта», психологии и риторики парвеню.

В этом же году вышел в свет XIV том итальянской энциклопедии со статьей Муссолини о доктрине фашизма. Статья состояла из двух частей. Первая называлась «Основные идеи»; ходили слухи, будто ее написал не Муссолини, а главный теоретик режима Джованни Джентиле, провозгласивший: «Всякая сила моральна, потому что она всегда направлена против воли человека. И какие бы ни применяли доводы — от проповеди до дубинки, — их убедительность определяется тем, насколько они воздействуют на человека и понуждают его подчиниться. А какие доводы лучше применять — проповедь или дубинку, — предмет для абстрактных споров...»

Вот до чего договорился этот знаменитый некогда профессор-идеалист, создавший философскую систему «актуализма»<sup>1</sup>.

Превратившись в идеолога дубинки, Джентиле поддерживал фашистский режим с начала и до конца. Это он написал «Манифест интеллектуалов-фашистов». Это по его предложению профессоров и доцентов заставили в 1931 году принести унижительную присягу на верность режиму (около тысячи двухсот человек принесли ее, и только двенадцать отказались). Это он восхвалял не только Муссолини, но и «великую Германию» Гитлера. Это он оправдывал все гнусности, все злодеяния фашизма, бросив на чашу весов свой былой престиж.

А теперь обратимся к статье.

Мировоззрение фашизма родилось, говорилось в ней, как реакция на «бессильный и плоский материалистический позитивизм XIX века». Фашизм выступает против классического либерализма и против социализма. Единственная подлинная свобода, которую признает фашизм, — это свобода государства и личности внутри государства; в этом смысле он тоталитарен. Фашизм выступает против социализма потому, что социализм делает упор на классовую борьбу и игнорирует государство, «в котором классы сливаются в единую экономическую и духовную действительность». Однако он признает наличие реальных потребностей, из которых берет свое начало социализм и синдикализм, и учитывает эти потребности в своей корпоративной системе, примиряя различные интересы в единстве государства.

Первая часть статьи кончается заявлением, что фашизм не только издает законы и создает определенные общественные институты, — он воспитывает активного и сильного человека и поощряет духовную жизнь. «Фашизм хочет переделать не одни лишь формы человеческой жизни, но ее содержание, человека, характеры, веру. Для этого нужна дисциплина и власть, безраздельная власть над умами. Поэтому знамя фашизма — ликторская фасция<sup>2</sup> — символ единства, силы и справедливости».

Вторая часть, бесспорно написанная Муссолини, гораздо интереснее, чем первая, хотя бы потому, что в ней несколько меньше риторики. Она озаглавлена: «Политическая и социальная доктрина». С удивительной откровенностью дуче признает, что первоначально фашизм вообще не имел никакой «заранее выработанной за письменным столом» доктрины. Ее заменяли вера и стремление к действию. Вера во что, стремление к чему? Он дает — точнее, пытается дать — ответ.

Муссолини пишет, что на протяжении десятилетия (с 1903 по 1914 год) единственной теорией, на которую он опирался, был социализм; «моей доктриной также была доктрина действия». Он довольно подробно рассказывает о тех, кто влиял на формирование его взглядов. Прежде всего он упоминает о Сореле и Пеги.

Жорж Сорель был крупнейшим теоретиком французского анархо-синдикализма.

<sup>1</sup> Вся материальную действительность и всю духовную деятельность Джентиле сводил к чистому мыслительному акту.

<sup>2</sup> Ликторская фасция — пучок розог и топорик, который несли специальные стражи перед высшими должностными лицами Римской империи.

В его трудах сказывается влияние самых разных идеологов. Центральная идея Сореля — это идея «пролетарского насилия», совершенно необходимого для того, чтобы спасти человечество от морального разложения. Во имя чего применять это насилие — казалось ему вопросом второстепенным. Сорель отвергал всякую политику и партийную деятельность. Подлинно пролетарской классовой организацией объявлялся синдикат, единственной формой классовой борьбы — стачка. Конечный, решающий бой между пролетариатом и буржуазией — это всеобщая стачка. Все это соответствовало синдикалистской теории «прямого действия» — непосредственное нападение на буржуазию: стачки, саботаж, бойкот. При этом экономические требования пролетариата казались ему второстепенными.

На Сореля оказала немалое влияние философия Бергсона, так же как и на французского писателя Шарля Пегги, чье имя Муссолини указал сразу после имени Сореля.

Вокруг Пегги группировалось в начале века немало талантливых людей. С ним долгое время был близок и Роллан, потом их пути резко разошлись, но Роллан не только упоминал о нем в «Жан-Кристофе», но и написал этюд, разросшийся до двух томов, так и озаглавленный «Пегги». Это был сложный человек и общественный деятель, начинавший свой путь как социалист, потом резко повернувший вправо, к национализму. Он погиб на фронте во время первой мировой войны. Впоследствии из-за творчества Пегги страстно спорили реакционеры и участники Сопротивления — речь шла о том, кому в конечном итоге принадлежал этот писатель — националистам и мистикам или французскому народу. Трудно сказать, что именно импонировало Муссолини в книгах Пегги: может быть, его нападки на буржуазную демократию, его индивидуализм, может быть, даже больше, нежели его книги, он сам как личность, его страстность, его политический темперамент, даже его противоречивость и конечная эволюция.

Надо полагать, что в период, когда Муссолини изучал философию, он не мог не читать книги Анри Бергсона, чрезвычайно «модные» в начале века. Во всяком случае неоднократно ссылки Муссолини на стихийность, на свою интуицию, на то, что отсутствию доктрины у фашизма вначале заменяли вера и стремление к действию, позволяють так думать, потому что именно Бергсон придавал огромное значение интуиции. Мы несколько отвлекаемся от статьи, но не от темы: хочется, используя и другие материалы, разобраться в той мозаике, которую представляли из себя воззрения Муссолини. Например, еще в 1902 году он перевел с французского на итальянский «Речи бунтовщика» Кропоткина и тогда же заявил, что «анархизм — это священная идея». Позднее он написал статью о Макиавелли — она не представляет особой ценности, но это психологически интересно. И наконец, и это особенно важно, в 1908—1910 годах, когда Муссолини усиленно занимался философией, самым большим его увлечением был Фридрих Ницше. Он даже написал большую статью о Ницше и назвал ее «Философия силы»<sup>1</sup>. Впоследствии, в комментариях к вышедшему в 1947 году изданию книги Муссолини «Моя жизнь», было сказано, что афоризм Ницше «Нет ничего истинного, все дозволено»<sup>2</sup> принадлежал к числу самых любимых изречений дуче.

А какой ницшеанский подтекст в броской фразе, произнесенной в 1930 году: «Диктатор может быть любимым, если масса в то же самое время боится его».

Был в эклектическом мировоззрении Муссолини и еще один компонент, отлично уживавшийся с ницшеанством, — национализм. В юности он принимал участие в «Ирреденте»<sup>3</sup>, и это, видимо, не было случайным. Много лет спустя Муссолини, порвавший со своим социалистическим прошлым, стал трубадуром колониальных захватов и «возрождения Римской империи».

В самых торжественных выражениях, с риторической пышностью Муссолини пишет в своей статье о том, что «фашистское государство — это воля к власти и господству». За этим следует расшифровка понятия государства: и м п е р и я означает не

<sup>1</sup> Статья была напечатана в трех номерах еженедельника «Il Pensiero Romagnolo», №№ 48, 49, 50 от 29 ноября, 6 и 13 декабря 1908 года.

<sup>2</sup> «Так говорил Заратустра». Часть IV, «Тень».

<sup>3</sup> «Ирредента» — националистическое движение среди итальянцев в конце XIX — начале XX века. Речь шла о присоединении к Италии земель, частично населенных итальянцами и не вошедших в состав Италии при ее воссоединении.



только территориальные владения, военное или торговое могущество, но и власть спиритуалистическую и моральную: «Можно представить себе империю, когда одна нация прямо или косвенно руководит другими нациями, не завоевав даже километра чужой территории». Через несколько лет Муссолини читало абиссинскую войну и провозгласит империю, но это еще впереди. А пока что мораль: империя требует дисциплины, координации всех усилий, чувства долга и способности идти на жертвы — здесь объяснение многих практических мероприятий режима, необходимых строгостей и т. д. Это прямая угроза по адресу всех, кто противится фашистскому режиму. И декларация: «Никогда народы так не жаждали авторитета, руководства, порядка. Если каждый век имеет свою доктрину, тысячи признаков доказывают, что доктриной двадцатого века является фашизм».

Теперь от статьи перейдем к человеку.

### 3

Такой мелкий буржуа обожествляет противоречие, потому что противоречие есть основа его существа. Он сам — не что иное, как воплощенное общественное противоречие.

*К. Маркс<sup>1</sup>.*

Удивительная вещь: историки разных направлений (кроме, разумеется, апологетов фашизма), анализируя характер и духовный облик Муссолини, единодушно отмечают как самую отличительную черту его «эластичность». Некоторые ограничиваются этим вежливым определением, другие говорят о неустойчивости, третьи — о приспособленчестве. Все это плохо вяжется с образом диктатора, человека сильной воли и неистовых страстей. Тольятти вспоминает, что, когда в 1914 году он познакомился с Муссолини, тот произвел на него впечатление человека волевого и энергичного, особенно проявляющего эти качества на митингах, с хорошей журналистской хваткой. С другой стороны, врач с мировым именем профессор Фругонн считает, что, с клинической точки зрения, Муссолини в последние годы своей жизни страдал несомненным безволием. Мы хорошо помним слова Маркса о том, что среди случайностей, играющих большую роль в истории, «фигурирует также и такой «случай», как характер людей, стоящих вначале во главе движения»<sup>2</sup>. Итальянский фашизм неразрывно связан с Муссолини, а он был человеком сложным и в то же время типичным для своего класса и своего времени.

Общеизвестно, что с самого образования итальянской социалистической партии в 1892 году в ней обозначались два течения — правое, реформистское, и левое, синдикалистское, к которому Муссолини примкнул, так как оно соответствовало всему его духовному складу. Мне кажется, что весь «социализм» Муссолини был социализмом бланкистского типа, и именно поэтому он легко уживался и с ницшеанством, и со Штирнером (Муссолини о нем также упоминал), и с анархо-синдикализмом, и с «актуализмом» Джентиле.

Итак, Муссолини был социалистом начиная с 1903—1904 годов. Вначале, после возвращения в Италию, он работал в провинции Форли. Там в 1910 году он начал издавать журнал «Лотта ди классе», орган социалистической федерации Форли. Муссолини очень резко выступает против реформистского крыла социалистической партии и популяризирует идеи Сореля о всеобщей стачке. В этот период своей жизни Муссолини — яростный антимилитарист. В том же 1910 году он впервые появляется на общенациональной сцене: произносит большую, страстную речь на реформистски настроенном съезде социалистической партии в Милане, призывает «делать революцию всерьез», терпит фиаско, возвращается в Форли и продолжает вести антивоенную кампанию на страницах «Лотта ди классе». В 1911 году в Форли он руководит всеобщей забастовкой, объявленной по всей стране в знак протеста против войны в Триполи. Забастовка эта

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения в 2-х томах, т. II, стр. 432.

<sup>2</sup> Там же, стр. 444.

приняла широкий размах — строили баррикады, все это казалось похожим на репетицию революции. Муссолини приговорили к году тюремного заключения, он был освобожден через пять месяцев и продолжал антимилиитаристскую кампанию.

В следующем, 1912 году в его политической карьере происходит резкий перелом: он блестяще выступил на съезде социалистической партии в Реджо-Эмилии и сразу выдвинулся в первые ряды. Произошло это при довольно занятных обстоятельствах: реформистские деятели партии — Биссолати, Бономи и Кабрини — вместе с другими депутатами отправились верноподданнически поздравлять короля с чудесным спасением его жизни во время неудавшегося покушения анархиста Д'Альба. По этому поводу Муссолини произнес темпераментную речь. Он сказал: «Биссолати, Кабрини, Бономи и другие могут идти в Квиринал<sup>1</sup> и даже в Ватикан, если захотят, но социалистическая партия заявляет, что она не намерена следовать за ними ни сегодня, ни завтра — никогда!»

В этой речи было также любопытное рассуждение о королях. «Кто такой король? — спрашивал Муссолини. — Его можно определить как совершенно бесполезного гражданина. Есть народы, которые выгнали своих королей, — если не предохранили себя от них еще лучше, отправив их на гильотину, — и эти народы идут в авангарде общественного прогресса». Ровно через десять лет Муссолини явится к этому самому королю Виктору-Эммануилу III и напыщенно скажет: «Ваше величество, я приношу вам Италию Витторио Венето»<sup>2</sup>. А пока что на конгрессе он потребовал исключить из партии Биссолати, Бономи и Кабрини за их «националистические и милитаристские взгляды». Тех исключили, а Муссолини триумфально избрали в новое руководство партии и назначили редактором газеты «Аванти». С этого момента он выходит на политическую авансцену.

Муссолини тридцать один год. Это вполне сформировавшийся характер, человек больших способностей и бешеного честолюбия, индивидуалист и циник, демагог, обладающий огромным политическим темпераментом, некоторой культурой (впрочем, культурой самоучки) и колоссальной энергией. В нем нет ничего от кабинетного мыслителя, это политик, рвущийся к власти. Соображения морального порядка вряд ли когда-нибудь вообще играли в его жизни серьезную роль, его «нищезанство» несколько вульгарно, и уж во всяком случае он не связывает себя никакими «предрассудками» в политической игре.

А политическая игра велась крупная. И для того, чтобы отдать себе отчет, почему именно в Италии раньше всего возник фашизм, надо обратиться к истории.

## 4

...имеется бесконечное количество перекрещивающихся сил, бесконечная группа параллелограммов сил, и из этого перекрещивания выходит один общий результат — историческое событие.

Ф. Энгельс<sup>3</sup>.

По сравнению с другими европейскими странами Италия очень поздно стала единым государством с современными политическими институтами, и итальянский капитализм к моменту объединения был в худшем положении, нежели английский, германский или французский. Незавершенной буржуазно-демократической революции Рисорджименто не удалось разрешить сложные проблемы Севера и Юга, города и деревни. Капиталистическое развитие шло неравномерно, положение нищего аграрного Юга сохраняло всю свою драматичность, промышленники Севера были не в состоянии обеспечить рабочему классу и мелкой буржуазии хотя бы такой минимум жизненных благ, какой был установлен в более развитых странах, итальянский капитализм, хотя и

<sup>1</sup> Квиринал — в то время королевский дворец, сейчас дворец президента.

<sup>2</sup> Имеется в виду итальянское наступление в октябре 1918 года, закончившееся победой в битве при Витторио Венето.

<sup>3</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения в 2-х томах, т. II, стр. 469.

достиг значительного развития, был сравнительно слабым и именно в силу этого особенно яростным и жестоким.

Начало двадцатого века знаменуется в Италии началом эры Джолитти, которую некоторые историографы называют «социалистической монархией». Джованни Джолитти возглавил правительство в октябре 1903 года; фактически его привели к власти — как ни странно такое сочетание — промышленники и социалисты-реформисты. Джолитти провозгласил политику примирения классов в рамках капиталистического промышленного развития. Его «социализм» был умной и ловкой политикой, направленной к контакту с реформистами и к изоляции подлинного социализма. Он был убежден, что буржуазии выгодна политика уступок рабочему движению, ибо это устраняло угрозу революции.

Несмотря на гибкость, государственный опыт и такт Джолитти, его политика классового мира дала лишь частичные результаты.

В 1906 году в Турине была создана первая организация итальянских промышленников — Индустриальная лига, которую историки считают зародышем будущей Конфедерации промышленников — Конфиндустрии. Эта лига с самого начала выступила как серьезная политико-экономическая сила, которая вовсе не была намерена считаться с социальной политикой Джолитти. Акт об учреждении лиги звучит как манифест класса, претендующего на полное господство в национальной жизни и написавшего на своем знамени слово «контрреволюция». Промышленники приняли взаимные обязательства бороться с забастовочным движением, не принимать рабочих, уволенных по политическим причинам с других предприятий, проводить согласованные репрессии и так далее. Так был брошен открытый вызов не только рабочему классу Италии, но и Джолитти, которого промышленники вначале сами поддерживали.

В эти годы в стране происходило интересное явление: невероятный расцвет самых сумасшедших спекуляций, преимущественно связанных с бурным развитием автомобильной промышленности. Сейчас даже трудно представить себе, что всемирно известная фирма «Фиат», основанная как акционерное общество 11 июля 1899 года, первоначально имела... пятьдесят рабочих и три мотора по тридцати шести лошадиных сил. Но уже года через два вокруг производства автомобилей поднимается страшный шум, одно за другим возникают новые акционерные общества, начинается вистопляска на бирже: игра на понижение, игра на повышение, сказочные обогащения, массовые банкротства. В довершение — общеевропейский экономический кризис 1907 года, особенно ударивший по Италии. Десятки тысяч мелких держателей акций — представители средних слоев и мелкой буржуазии, — разоренные, разочарованные, возмущенные цинизмом биржевиков и финансистов, ожесточаются против правящего класса и становятся в открытую оппозицию правительству Джолитти. Это создает еще более напряженную и нервную обстановку в стране, способствует деморализации, усиливает настроения психологического «экстремизма», вообще свойственные мелкой буржуазии, а при создавшихся условиях особенно понятные.

Все это вместе взятое свидетельствует о том, что идиллия «классового мира» между просвещенной буржуазией, организованным пролетариатом и средними слоями, на которую надеялись в начале эры «социалистической монархии» Джолитти, была иллюзией и привела к еще большему обострению существовавших противоречий после очень короткой паузы.

К началу двадцатого века относится и зарождение итальянского национализма в его новой империалистической фазе. Его идеологом и признанным вождем был Энрико Коррадини, довольно средний писатель, но целеустремленный и чрезвычайно энергичный человек. В 1902 году он выпустил в свет роман «Юлий Цезарь», прославлявший гений Цезаря и величие императорского Рима. В следующем году он основал еженедельник для пропаганды своих идей. В «Тюремных тетрадах» Грамши упомянул о том, что существует словесный, риторический миф о «миссии возрожденной Италии», и в связи с этим мифом назвал имена Коррадини и Д'Аннунцио. Известный итальянский историк Пасло Алатри считает, что итальянский национализм как теоретическое и идеологическое течение связан главным образом с иностранными влияниями и с группой литераторов Коррадини, Д'Аннунцио, Джованни Папини, Маринетти, Преццолини, Соффичи.

Программа итальянского национализма была ясной: усиление власти государства, укрепление престижа монархии и вооруженных сил, требование колоний для Италии, борьба не только против социализма, но и против всех форм буржуазной демократии. Среди идеологов движения были писатели, безусловно испытавшие сильное влияние философии и эстетики Ницше с его культом насилия и войны, моралью господ и моралью рабов. Это сливалось с культом Римской империи, колониальные притязания оправдывались ссылками на походы Сципионов.

Еще в 1904 году Коррадини писал, что гуманистические и пацифистские идеи «совершенно противны духу нашего времени», и беззастенчиво заявил об общности происхождения «националистических идеалов и деловитости промышленного капитализма». К началу первой мировой войны националистическое движение обрело сложившейся организацией, классовый характер которой не вызывал сомнений. Руководителями движения были крупные промышленники и аграрии, базу составляли мелкие и средние буржуа. Националисты утверждали, что существуют богатые и бедные нации, нации «капиталистические» и «пролетарские», что итальянский империализм — это «империализм бедняков». Все это позднее вошло в арсенал фашистской пропаганды. К началу первой мировой войны фашизм еще не существовал, но впоследствии многие лидеры националистов примкнули к фашистскому движению.

## 5

Оппортунисты (и перебежчики из рабочей партии вроде Муссолини) упражнялись в социал-шовинизме...

*В. И. Ленин.*

За последние годы в Италии опубликованы некоторые мемуары и документы, позволяющие прийти к выводу, что вступление Италии в войну 1914—1918 годов отнюдь не было «фатальным», как утверждала когда-то официальная историография. Подавляющее большинство народа и даже большинство парламента не желало войны. Интервенционисты составляли ничтожное меньшинство, но при помощи королевского дома, правительства Саландры (Джолитти к тому времени ушел в отставку) и интервенционистской прессы этому меньшинству удалось втянуть Италию в войну, которая в конечном итоге привела страну к фашизму. Позиция националистов понятна, хотя и в ней были различные фазы, потому что первоначально все симпатии итальянского национализма были на стороне Тройственного союза и лишь позднее националисты переменили тактику и выступили за присоединение к Антанте. Итальянская социалистическая партия вначале решительно высказывалась против войны, за нейтралитет, принимала участие в Циммервальдской и Кинтальской конференциях. Лишь позднее она перешла на центристские позиции, но в 1914 году была безусловно интернационалистской, и В. И. Ленин писал об этом в статье «Крах II Интернационала» в 1915 году.

И вот совершенно неожиданно один из лидеров левого крыла партии, убежденный антимилитарист Бенито Муссолини, превращается в яростного интервенциониста. В самом деле, «Аванти» в начале войны писала: «Рабочие, внимание! Тот, кто толкает вас на войну, — предаст вас!» И вдруг 18 октября газета помещает статью, о которой руководство партии ничего заранее не знало. Она озаглавлена: «От абсолютного нейтралитета — к нейтралитету активному и действенному». Эта статья означает разрыв Муссолини с партией. 15 ноября 1914 года выходит первый номер основанной Муссолини новой газеты — «Пополо д'Италия». На ней значится: «Ежедневная социалистическая газета», но лозунги не оставляют сомнений: «У кого есть железо — есть хлеб», «Революция — это идея, которая нашла штыки».

Двадцать четвертого ноября 1914 года большой зал миланского Театро дель Пополо был переполнен: миланская секция социалистической партии призвала к ответу Бенито Муссолини. Один еженедельник назвал свой репортаж об этом собрании: «Моральное лицезрение в революционном трибунале». Когда Муссолини появился в зале, там поднялось нечто невообразимое: свистки, крики, проклятия. «Убирайся вон,

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 26, стр. 115.

предатель, Иуда! — кричали ему. — Ты продался буржуазии!» Он пытался протестовать, несколько раз повторил, что, хотя у него и отнимают членский билет, он остается социалистом. Потом начал говорить «жалкие слова»: «Вы кричите, но вы все еще любите меня...» И еще: «Напрасно вы кричите, война увлечет за собой вас всех». Генеральный секретарь партии Ладзари заявил, что с Муссолини все покончено, а тот прямо из зала, где еще продолжалось собрание, отправился к себе в редакцию и дал интервью: «Пока у меня карандаш в руке и револьвер в кармане, я не боюсь ничего. Я силен, несмотря на то, что остался почти один. Может быть, я силен именно потому, что остался один».

Возникает естественный вопрос: чем же все-таки можно объяснить то, что произошло? Немало блестящих страниц политической и художественной литературы посвящено моральной и психологической проблеме ренегатства. И все-таки в каждом отдельном случае на этот вопрос не так-то легко ответить. Можно ли предательство Муссолини попросту объяснить французскими деньгами? «Французские друзья» давали средства, и немалые, без них вряд ли удалось бы создать «Пополо д'Италия», а Франция была непосредственно заинтересована в существовании ежедневной газеты, которая посвятит себя агитации за вступление в войну на стороне Антанты. Разоблачения, касающиеся этих субсидий, были опубликованы в левой французской прессе еще при жизни Муссолини. Но было бы неправильным объяснять его предательство личным корыстолюбием, и, насколько известно, итальянские историки так вопрос не ставят. «Ты продался буржуазии!» — кричали ему миланские социалисты, и это совершенно справедливое обвинение, которое, однако, не следует понимать слишком буквально.

Что же в таком случае? Вспомним, что в то время идея о том, что Италия — бедная, «пролетарская» нация, что, следовательно, война, которую она будет вести против «консервативных держав Центральной Европы», будет революционной войной, была широко распространена. Законно предположить, что так думал и Муссолини.

За несколько месяцев до всего этого, в июле, Муссолини писал в журнале «Утопия», что отныне Италия вступила в эпоху революций и это — самое главное, независимо от того, какой характер будут иметь революции. «Это не будет социальная революция? Неважно! Всякая революция, говорил Карл Маркс, является также и социальной... Италия нуждается в революции и получит ее». Эта удивительная тирада опять заставляет вспомнить Владимира Ильича: «Злоупотребление словами — самое обычное явление в политике... Слово «революция» тоже вполне пригодно для злоупотребления им, а на известной стадии развития движения такое злоупотребление неизбежно»<sup>1</sup>. В словах Муссолини — не логика пролетарского революционера, а декларация политического авантюриста, стремившегося к роли «революционного кондотьера».

Мне кажется, предательство, совершенное Муссолини, было закономерным. Можно ли в этом случае говорить о разочаровании в прежних идеалах? Выше сделана попытка охарактеризовать его взгляды. Он никогда не был марксистом. Его пестрая, эклектическая философия уживалась какое-то время с социализмом анархического типа, и статья в «Утопии» в этом смысле чрезвычайно показательна. Авантюристический экстремизм этого человека не случаен. В Муссолини нашли свое воплощение все противоречия, свойственные мелкой буржуазии: ее вечные колебания между пролетариатом и буржуазией, ее сверхреволюционность и ее трусость, ее страсть к иррациональному и ее мещанское благоразумие. В «Восемнадцатом брюмера» есть поразительные строчки: «Не следует только впадать в то ограниченное представление, будто мелкая буржуазия провозглашает как принцип стремление осуществить свои эгоистические классовые интересы. Она верит, напротив, что специальные условия ее освобождения суть в то же время те общие условия, при которых только и может быть спасено современное общество и устранена классовая борьба»<sup>2</sup>.

Итальянская мелкая буржуазия была в то время настроена националистически. Ее не устраивала система Джолитти. Она не была удовлетворена ни материально, ни

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 11, стр. 118.

<sup>2</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения в 2-х томах, т. I, стр. 238.

морально. Идея «революционной» войны, которую «пролетарская» Италия должна вести для того, чтобы завоевать свое место под солнцем, — отвратительная ложная, пошлая идея — имела влияние на умы. И Муссолини стал ее трубадуром.

Проследим поневоле бегло основные этапы политической карьеры Муссолини после 24 ноября. В это время начинают помимо него создаваться «интервенционистские отряды революционного действия». Разумеется, он не может оставаться в тени — уже в январе 1915 года он сам организует такие отряды. Вся зима проходит под знаком борьбы за вступление Италии в войну на стороне Антанты. К этому времени относится сближение Муссолини с футуристами. Футуристы и их лидер Маринетти играли большую роль в интервенционистской пропаганде. Уже первый манифест Маринетти, опубликованный в парижской газете «Фигаро» в 1909 году, не оставлял сомнений относительно взглядов этого эпикурейца, сына миллионера и поклонника Ницше. Фраза: «Война — единственная гигиена мира» — общеизвестна. Год спустя в Милане состоялось первое публичное выступление футуристов — читали стихи, но немало говорили о политике. Маринетти был убежденным противником социализма и демократии. Кроме того, он яростно ненавидел Австрию. Первого января 1913 года писатели-националисты Джованни Папини и Арденго Соффичи выпустили первый номер журнала «Лачерба», который вскоре превратился в трибуну футуризма. В нем Маринетти печатал свои империалистические стихи, а Папини в октябре 1914 года писал: «В конце концов нам нужна хорошая кровавая баня... Нас слишком много... Война — это мальтузианская операция... Среди стольких тысяч, которых уравнила смерть, и теперь их можно различить лишь по цвету одежды, среди всей этой падали много ли таких, кто заслуживает — не скажу слез, но просто сожаления?»

Первая демонстрация, которую футуристы организовали в Милане в сентябре 1914 года, была прологом к целой серии выступлений, когда жгли австрийские знамена, избивали профессоров, слывших германофилами, и вообще бесчинствовали. Весной 1915 года интервенционисты всех мастей действовали уже совместно; 12 апреля полиция арестовала Муссолини и Маринетти. А в мае интервенционисты организовали большую демонстрацию в Милане; тут было пушено в ход все — шли с ножами и револьверами, орали: «Долой Австрию! Смерть Францу-Иосифу! Бомбы! Бомбы и кинжалы! Сожжем «Аванти»! Да здравствует Муссолини! Да здравствует Маринетти!»

После войны футуризм как политическое движение пошел под уклон. Маринетти встретил в лице Муссолини соперника, превосходившего его и умом, и политической хваткой, и талантом демагога, и умением использовать рекламу. Маринетти, разумеется, был фашистом «ди прима ора» (с первого часа). Его имя было рядом с именем Муссолини в фашистском списке на выборах 1919 года. Но его звезда закатывалась. Муссолини несравненно больше импонировал тем, кто не желал довольствоваться манифестами, тем, кто на самом деле избивал, ранил, убивал, ножом и дубинкой расчищал движению путь к захвату власти.

Официально футуризм продолжал существовать и после фашистского переворота, в 1934 году был устроен даже национальный съезд футуристов (Муссолини прислал приветствие), но фактически он не играл никакой роли.

Мы коснулись здесь итальянского футуризма лишь как политического течения. Очень интересна роль, которую он играл в искусстве, но это особая тема. Футуристическое движение в разных странах носило различный характер, и обобщения были бы совершенно неправомерными. Сейчас надо только сказать, что итальянские футуристы без всякой маскировки, безоговорочно и восторженно прославляли капиталистическое промышленное развитие и до конца принимали волчьи законы капитализма. Они отрицали за искусством право изображать человека как личность и как частицу социального целого. Обожествление машины, гимны «механической красоте» очень точно выражали идеологию итальянского футуризма. Маринетти в одном из стихотворений проводил прямую параллель между капиталистической конкуренцией и войной (то и другое, разумеется, восхвалялось как проявление силы). Но сейчас нам придется вернуться к политике.

В мае 1915 года Италия вступает в войну. Муссолини уходит на фронт, после ранения возвращается в Милан и продолжает издавать «Пополо д'Италия». Стиль его

статей становится лихорадочным: «Я призываю жестоких людей, я призываю жестокого человека, способного все смести, непоколебимого, готового карать, обрушивать удары — без всяких колебаний!» Эта яростная демагогия повисает в воздухе, у Муссолини нет массовой базы, у него нет партии, он выражает настроения большой прослойки людей, выбитых из седла, разочарованных войной, но у него нет реальных сил, на которые можно опереться, и он мечется в поисках этих сил.

## 6

Нельзя отрицать, что существует идеология фашизма.

*Пальмиро Тольятти.*

Об идеологии итальянского фашизма написано множество статей и книг — каждый историк, естественно, воспринимает ее в соответствии со своими исходными позициями, и в современной итальянской историографии происходит серьезная полемика между марксистами и буржуазно-демократическими исследователями. Спор идет и о философии фашизма, и о его социальной базе.

Двадцать первого марта 1919 года Бенито Муссолини собрал несколько десятков близких ему по настроениям людей и заявил, что перед ними стоит задача продолжать внутри страны войну, которую раньше вели против внешнего врага. Так, под лозунгом гражданской войны и завоевания власти была создана первая миланская группа — «фашо», а через два дня — 23 марта — в зале, предоставленном Муссолини миланским торгово-промышленным клубом, в особняке на площади Сан-Сеполькро, состоялась первая ассамблея. С этого дня ведет свою историю организация «Fasci italiani di combattimento» («Фашистские боевые отряды»).

Программа центрального комитета фаши была опубликована только через пять месяцев — 28 августа 1919 года, и один крупный фашист писал впоследствии, что она вызвала лишь «горестное недоумение». Программа эта была в высшей степени радикальной и как будто революционной. Она требовала провозглашения республики, установления верховного владычества народа, уничтожения сената, уничтожения политической полиции, уничтожения всех титулов и кастовых привилегий, выборности судей и независимости суда, введения всеобщего избирательного права, всеобщего разоружения, запрещения производить военные материалы, отмены обязательной воинской повинности, гарантии гражданских свобод. Был ряд пунктов социально-экономического характера: земля — крестьянам, восьмичасовой рабочий день, реорганизация промышленности на основе кооперации и участия рабочих в прибылях, ликвидация акционерных обществ, конфискация военных сверхприбылей. Были и другие немаловажные требования: уничтожение тайной дипломатии, внешняя политика, основанная на солидарности народов и их независимости в рамках федерации государств.

Под такой программой могли бы как будто подписаться очень многие «левые», не будь в ней требований интервенционистского порядка. Однако насколько серьезной была «программа Сан-Сеполькро», в которую верили многие тогдашние участники движения? И можно ли считать, что именно эта программа выражала его идеологию? Фашизм возник как движение бывших фронтовиков. Война создала для него самые благоприятные условия, но первоначально ему не удалось создать себе массовую базу. Факт тот, что на выборах в парламент 16 ноября 1919 года фашисты позорно провалились. Они выставили свой список только в Милане, и по этому списку не был избран ни один человек. Они собрали всего 4795 голосов против 170 тысяч голосов, поданных за социалистов, и 74 тысяч — за организовавшуюся в том же году католическую партию «Пополари». Таким образом, после пяти лет существования «Пополо д'Италия», через восемь месяцев после создания боевых отрядов фашизм оказался политическим нулем.

Муссолини был страшно угнетен и разочарован. Он готов был «отречься», переменить профессию, отказаться от политики и от журналистики и даже хотел эмигрировать. Однако чувства его были, вероятно, противоречивыми. На следующий день после победы социалистов на выборах в честь этой победы была устроена демонстрация. Во время демонстрации была брошена бомба; при обыске в помещении «Пополо д'Италия» полиция обнаружила бомбы и револьверы; Муссолини, Маринетти и еще один круп-

ный фашист Феруччо Векки были арестованы. Однако правительство решило освободить Муссолини, чтобы «не превращать его в мученика». Это было ошибкой в ряду других ошибок. Муссолини, уязвленный поражением, все более склоняется к мысли о насилии — это соответствует его анархическому индивидуализму и беспринципности.

1919—1920 годы были временем наибольшего подъема и успеха социалистического движения в стране, в это время Муссолини со своей уже известной нам «эластичностью» старается использовать революционные настроения масс. Отсюда радикализм, социальная демагогия и какая-то редкостная мимикрия программы Сан-Сеполькро. Интересно, однако, что в этот самый день, 23 марта, Муссолини писал в «Пополо д'Италия»: «Мы позволяем себе роскошь быть аристократами и демократами, консерваторами и прогрессистами, реакционерами и революционерами, сторонниками легальности и нелегальщины в зависимости от обстоятельств времени, места и окружающей среды». Этот гимн политической беспринципности и был настоящей платформой движения. Его базу составили «молодые и совсем молодые сыновья буржуа — больше аграриев, чем промышленников, бывшие фронтовики, бывшие ардити<sup>1</sup>, безработные, «активисты» различных оттенков и убеждений (патриоты и фанатические националисты), недовольные, заурядные преступники и настоящие авантюристы с кровожадным темпераментом, садисты»<sup>2</sup>.

Известный антифашист Бузони остроумно писал о психологии мелких буржуа, «ценою тысячи лишений скопивших тысячу лир». Выходцам из среды мелкой буржуазии и люмпен-пролетариям, примкнувшим к фашизму, было ненавистно все, что представлялось им «большевистской угрозой» (а большевизм в то время и крупная буржуазия, и напуганное мещанство усматривали даже в явлениях и действиях, ничего общего с большевизмом не имевших). Но в то же время им imponировала пестрая смесь патриотических лозунгов с «революционной» демагогией Муссолини. В этой маневренной массе таились большие возможности, но какое-то время у нее не было настоящего хозяина и не было ясной платформы. Сам Муссолини колебался. В 1919 году, учитывая настроения рабочих, он поддерживал забастовки, в 1920-м занял позицию «благожелательного нейтралитета», когда началось движение за захват фабрик. И только осенью 1920 года, когда оправившаяся от дикого страха перед угрозой пролетарской революции буржуазия перешла в решительное наступление, фашисты со своими вооруженными отрядами превратились в авангард превентивной контрреволюции.

Есть старая поговорка: «Кто платит деньги, тот заказывает музыку». Вопрос о том, кто финансировал фашистское движение, очень любопытен. Летом 1964 года молодой историк Ренцо Де Феличе опубликовал об этом интересное эссе, основанное на разысканных в архивах документах. В первое время денежные дела фашизма обстояли неважно. В период с 23 марта 1919 года по конец 1920 года членов фашистских боевых отрядов было мало, и их взносов не хватало даже для оплаты расходов центрального миланского фашо. Большинство участников движения составляли бывшие фронтовики, офицеры запаса, студенты и прочие — все народ не очень обеспеченный. Самые срочные расходы покрывались благодаря помощи членов ЦК или других видных фашистов; особенно часто и щедро выручал Маринетти. Но так как этого было совершенно недостаточно, в тот период деньги раздобывали у крупных и средних аграриев в провинциях Феррары, Мантуи, Кремоны и других сельскохозяйственных центрах. Аграрии были склонны регулярно давать определенные суммы местным сквадристам — членам боевой фашистской организации — за их «протекцию» в борьбе с крестьянским движением. Заключались формальные договоры, сумма платежа высчитывалась, исходя из размеров посевной площади. Де Феличе приводит такой документ:

«Боевой Фашо

Кастель Сан Пьетро Эмилия

Уважаемый синьор, согласно договоренности, достигнутой на собрании 29 августа, все обеспеченные земельные собственники обязались вносить одну лиру за каждую тор-

<sup>1</sup> Ардити — солдаты «ударных отрядов» в итальянской армии во время первой мировой войны

<sup>2</sup> Salvatorelli Luigi, Mira Giovanni. Storia del fascismo, Roma, 1959, p. 106.



натуру<sup>1</sup> обработанной земли. Убедительно просим Вашу милость как можно скорее явиться в местное Фашо, чтобы выполнить взятое обязательство.

Н. В. Сообщается, что дополнительное обложение на домашний скот (80 000 лир) **взято** для нужд Фашо.

Таким образом, очевидно, собирали немало, но деньги в значительной части застревали на местах. Муссолини рассылал циркуляры, напоминая об уставе, дисциплине, субординации, но это мало помогало.

В то время как аграрии первыми оценили возможности фашизма и воспользовались услугами сквадристов, промышленники относились к ним недоверчиво и денег давать не хотели. В Турине после самых настоятельных просьб собрали унизительную сумму — меньше пяти тысяч лир. Короче говоря, положение было бы совсем критическим, если бы не существовало трех миллионов ста тысяч лир, которые «Пополо д'Италия» собрала по подписке для Габриеле Д'Аннунцио и его «легионеров».

Приходится отвлечься и сказать несколько слов о Д'Аннунцио. Впрочем, история это интересная. Грамши презирал Д'Аннунцио и высказывал это при всяком удобном случае; он называл его «мастером высокопарной риторики», писал, что Д'Аннунцио «разыгрывает комедию, даже стоя перед зеркалом, только для самого себя». При всем том Д'Аннунцио играл большую роль и в литературе и в политике. Его роман «Девы скал», вышедший в конце XIX века, был чем-то вроде манифеста ницшеанского «сверхчеловека» в его итальянском варианте. Герои Д'Аннунцио ищут «красоту», обожествляют «силу, вождя», воспевают величие древнего Рима, ненавидят «пьяных рабов» и т. д. Он был убежденным националистом и империалистом и при этом обладал большим политическим темпераментом.

После войны Д'Аннунцио организовал экспедицию и вместе со своими «легионерами» (а попросту говоря — насильниками)... захватил город Фиуме<sup>2</sup>. Оккупировав Фиуме, он объявил себя его комендантом, потом попытался организовать «Республику Фиуме» и создал Национальный совет. Вся эта авантюра имела успех у националистически настроенных кругов. Сейчас некоторые историки расценивают «поход на Фиуме» (заговор, сочетавшийся с военным мятежом) как самую настоящую репетицию будущего «похода на Рим», о котором уже тогда, в 1919 году, мечтал Д'Аннунцио. Комендант — было прелюдией к дуче, Национальный совет Фиуме — прелюдией к фашистскому Гран Консильо (Большому совету, высшему органу фашистской партии). Муссолини непосредственно не участвовал в аванюре Д'Аннунцио и вообще, как предполагают, отчасти страшился его конкуренции. Внешне их отношения казались самыми сердечными, но в 1922 году Д'Аннунцио воспротивился слиянию фиумских легионеров с фашистами. У него были верные сторонники и внутри фашистской партии, кое-кто заявлял открыто, что «вождем фашизма должен быть не Муссолини, а Д'Аннунцио». Однако история сложилась иначе.

Вернемся к деньгам, собранным «Пополо д'Италия» для фонда «Про Фиуме». В точности неизвестно, сколько из этих трех миллионов успел израсходовать Д'Аннунцио, но какие-то суммы оставались, и на заседании ЦК фашистов (с возгласами «Вива Д'Аннунцио!») было решено эти деньги взять. Однако их также не могло хватить.

И вот летом 1920 года к Муссолини неожиданно явились два незнакомых синьора. Есть занятные воспоминания одного из фашистских руководителей того времени, Эне Мекери, который присутствовал при этом событии. Оба синьора — Кови и Делла Мorte, «низенькие и толстенные», — были агентами по сбору объявлений общества «Мундус», издававшего официальный орган движения «Фашо». Они сделали Муссолини сногшибательное предложение. Кови и Делла Мorte брались собирать деньги для фашистов и гарантировали три миллиона в год. Шестьдесят процентов от всех собранных сумм они хотели для себя. Муссолини, по словам Эне Мекери, стукнул кулаком по столу и воскликнул: «С тремя миллионами я завоюю Италию!» На следующий день было подписано соглашение, которое оставалось в силе до 15 июня 1921 года. Агенты приступили к

<sup>1</sup> Старинная мера — точный объем различен в разных районах.

<sup>2</sup> Город Фиуме до окончания первой мировой войны принадлежал Венгрии. После войны он стал объектом раздоров между Италией и Югославией.

работе, обращаясь к самым различным организациям и частным лицам. Кое-какие деньги онч собирали, но у них не хватало такта, они действовали грубо, сплошь и рядом возникали скандалы.

Летом 1921 года административный аппарат фаши возглавил некий Джованни Маринелли, бывший банковский служащий, человек знающий, ловкий и отличный организатор. Первым делом он прогнал Кови и Делла Морте, а затем поставил сбор средств на широкую ногу. Он подыскал несколько сот «особо доверенных людей», которые обязались (все они подписали договор) собирать средства для движения и к концу месяца сдавать собранные суммы в центральный миланский фашио, — все это за скромное вознаграждение в размере десяти процентов. Среди этих «добровольных сборщиков» были отставные офицеры и даже несколько генералов, находившихся на пенсии, бывшие государственные служащие, литераторы — в общем, люди со связями. Организация, созданная Маринелли, вполне оправдала себя. Теперь начали давать деньги промышленники — уже больше, чем аграрии, за ними — финансисты. Давали все по-немножку. Де Феличе избегает прямо называть имена и учреждения, но его намеки так легко расшифровываются, что еженедельник «Эспрессо» делает это без всяких обиняков. В Турине, например, давал деньги «Фиат», в Генуе — «Кредито итальяно», в Милане — «Банка коммерциале», в Риме — преимущественно коммерсанты во главе с владельцами крупных магазинов. Деньги давали безотказно во время забастовок; когда забастовки стихали — уменьшались и субсидии. Они значительно возросли перед «походом на Рим», хотя вообще-то он обошелся баснословно дешево.

Двадцатого ноября 1922 года Маринелли отчитывался в деньгах, истраченных на этот «героический» фарс: 15 тысяч лир — шоферам автомобилей и грузовиков; 60 тысяч лир — «рестораны и съестные припасы»; 400 тысяч лир — провинциальным федерациям на организацию путешествия и на провиант; 45 тысяч лир — «на вооружение и оружейным мастерам»; 100 тысяч лир за «гаражи, бензин и резину»; остальные — «разные расходы». Все вместе составило смехотворную сумму — 730 тысяч лир, и Маринелли скромно заметил, что, по его мнению, это «неплохое помещение капитала». Присутствовавшие устроили Маринелли овацию, а дуче обнял его, уточнил: «730 271 лира и 5 центезимо» — и объявил Маринелли «главным бухгалтером фашизма». Что и говорить — 730 тысяч лир за захват власти, длившейся двадцать лет, — сущие пустяки! Впоследствии, утвердив свой режим и став полными хозяевами государства, фашисты в деньгах уже не нуждались и сами могли подкупать кого хотели.

Дело, разумеется, не в неуклюжей наглости Кови и Делла Морте, и не в организаторских качествах Маринелли, а в быстрой эволюции фашистского движения, которое обрело свое лицо и нашло хозяина. Тольятти говорил, что «дезорientированная и разочарованная мелкая буржуазия составила только хор, массу». «Решающую роль здесь сыграла не мелкая буржуазия, а другие силы, которые, рукоплещая дуче, организовали «поход на Рим» и последующие действия фашизма. Решающую роль сыграли руководящие силы крупной промышленности, банков, руководящие силы капитализма»<sup>1</sup>. Хорошей иллюстрацией к словам Тольятти служит такой беспрецедентный факт, как опубликование манифеста промышленников, приветствовавших фашистский переворот. В этом манифесте, датированном 31 октября 1922 года, то есть через три дня после прихода Муссолини к власти, Конфиндустрия заявила: «Производительные силы нации нуждаются в твердом и готовом действовать правительстве. Такое правительство обещал нам тот, кому король доверил его формирование». Дальше говорилось, что промышленники «готовы принести любые жертвы». Как мы знаем, эти «жертвы» были уже принесены.

Фашистское движение не было однородным. Зачастую Муссолини занимал менее экстремистскую позицию, нежели некоторые вожак провинциальных фаши. Еще летом 1921 года Муссолини говорил о возможности сотрудничества трех больших течений: социалистов, «пополяри» и фашистов. 3 августа 1921 года представители фашистов, социалистов и Всеобщей конфедерации труда подписали «пакт умиротворения». Это вызвало бурный протест некоторых фашистских экстремистов, в частности Дино Гранди.

<sup>1</sup> Пальмиро Тольятти. Речи в Учредительном собрании. М. 1959, стр. 315.

О нем надо сказать несколько слов. Граф Дино Гранди, молодой адвокат, бывший фронтовик, был лидером фашистов в Болонье. Он всегда занимал самые крайние позиции, был врагом каких бы то ни было компромиссов. В своем еженедельнике «Л'Ассальто» («Нападение») он осыпал социалистов площадной бранью и объявил им войну, уточнив, что «эта война будет вестись без перемирия и без пощады во имя величия Италии и блага народа»<sup>1</sup>. Впоследствии Дино Гранди возглавил оппозицию Муссолини и способствовал его падению; о нем придется еще говорить.

«Пакт умиротворения» фактически провалился, хотя Муссолини даже грозил, что уйдет в отставку. В ноябре 1921 года состоялся конгресс, на котором фашистское движение преобразовалось в партию с четкой программой и уставом. На конгрессе Гранди потребовал отказаться от пакта, Муссолини уступил, и они заключили друг друга в объятия. Пакт отменили, назначили центральный комитет ПНФ (Партито национале фашиста). 27 декабря 1921 года в «Пополо д'Италия» была опубликована программа фашистской партии. В ней совершенно открыто было сказано, что все фашисты должны входить в боевые отряды. Фашистская партия отличалась от всех других партий именно тем, что это была д о з у б о в в о о р у ж е н н а я и к тому времени уже многочисленная организация, открыто поставившая своей целью захват власти. В то время Муссолини начали уже звать «дуче». Социалисты обвинили правительство в том, что оно допускает существование вооруженных банд, но Муссолини заявил в «Пополо д'Италия», что «хороший сквадрист ответит на возможный декрет о роспуске боевых отрядов своим лозунгом: а м н е п л е в а т ь».

С этого времени фашисты совершенствовали свои военные организации, они превратились в большую силу. Все же у правительства была полная возможность обуздать это движение. Фашисты, наглые и свирепые, проявляли трусость в тех случаях, когда наталкивались на сопротивление. В тех городах, где рабочее население проявляло решимость и организованность, фашисты проваливались. Так было в Парме, так было в Бари, в Эмполи; вся Италия говорила о том, как колонна сквадристов в составе пяти-сот человек под командованием фашиста Думини бежала врассыпную перед одиннадцатью карабинерами и их капитаном. Этот факт кажется неправдоподобным, но он произошел в действительности. К несчастью, однако, это был чуть ли не единственный случай, когда полиция употребила оружие против сквадристов. Как правило, она им не только не препятствовала, но даже помогала, ибо такова была правительственная политика. Страх перед «большевизмом» был так велик, что правящие либерально-демократические круги оказывали фашистам пассивное и даже активное пособничество.

Большая доля ответственности за победу фашизма лежит на всем старом правящем классе и на королевском доме. Трусость правящего класса, который из ненависти к социализму и из страха перед рабочими фактически подготовил и обеспечил приход чернорубашечников к власти, не имела границ. Летом 1922 года почти не было населенного пункта, где не происходили бы фашистские насилия и зачастую при о т к р о в е н н о м участии полиции на стороне фашистов. Число убитых и раненых не поддавалось учету. В августе в Милане состоялась общенациональная конференция фашистов; на ней было выделено «верховное командование» в составе трех человек: фашисты открыто готовились захватить власть. В начале октября произошел раскол социалистической партии; в результате был расторгнут договор о союзе между социалистами и ВКТ<sup>2</sup> — это завершило драматический процесс внутреннего раскола сил итальянского рабочего класса. В то же время в начале октября в Болонье состоялся учредительный съезд либеральной партии; на нем сразу возникли два течения: преобладающее — националистическое, консервативное и профашистское, и незначительное демократическое. Депутат Челезна воскликнул: «Фашисты, мы с вами, с вами, которые объединились для того, чтобы сражаться на полях Италии!» Либеральная партия выразила свои симпатии националистическому движению. В это время уже обсуждалась возможность вхождения Муссолини в правительство.

<sup>1</sup> "L'Assalto", № 1, I.XII.1920. Bologna.

<sup>2</sup> Всеобщая конфедерация труда.

Тем не менее были группы и отдельные политические деятели, которые колебались и вовсе не были склонны оказывать фашизму безоговорочную поддержку. Велась большая закулисная игра, в которой Муссолини проявил ловкость, изобретательность и маневренную смелость. Ему помогала его полнейшая политическая и моральная беспринципность, в этом он превосходил партнеров по игре, хотя и среди них были прожженные и беззастенчивые политики.

В ночь с 27 по 28 октября 1922 года в Рим начали поступать сообщения о первых выступлениях фашистов, которые из разных провинций направлялись в Рим. В пять часов утра правительство приняло единогласное решение о введении осадного положения. Однако, когда тогдашний премьер-министр Факта явился к королю с просьбой подписать соответствующий декрет, король отказался. В столице находилось двадцать восемь тысяч солдат, кроме того, многие бывшие фронтовики, даже многие националисты желали участвовать в обороне Рима. По настоянию министров Факта второй раз обратился к королю, но тот вновь отказался подписать декрет об осадном положении. В десять часов утра местным властям было сообщено, что декрет об осадном положении отменен,— дорога фашизму была открыта. Муссолини в это время ожидал в Милане и, как подтверждает множество свидетельств, находился в состоянии нерешительности. Только узнав об отмене декрета, он почувствовал себя хозяином положения. В этот же день к нему обратились представители Конфиндустрии с просьбой подтвердить, что он намерен возглавить правительство. Король прислал Муссолини официальное назначение его премьером, и 30-го утром он явился к королю в черной рубашке и с пресловутым заявлением, что он принес к его ногам «Италию Витторио Венето».

Началось черное двадцатилетие.

## 7

Горделивый девиз сквадристов: а мне  
п л е в а т ь...

*Муссолини.*

Муссолини часто произносил речи. Мне случалось много раз слышать его — он выступал с балкона Палаццо Венеция темпераментно, несколько высокопарно, с приемами опытного оратора, он умел быть торжественным, но умел быть и «простонародным» — вдруг какой-нибудь довольно вульгарный жест или словечко, оживляющее речь. На Цезаря он никак не походил, в нем чувствовалось что-то неистребимо провинциальное; маленькие глаза и выступающая вперед нижняя челюсть придавали лицу выражение скорее упрямства, чем силы; перстни на пальцах выдавали в нем мелкого буржуа — он всегда позировал. Вот как писал о нем Хемингуэй в «Торонто дейли стар» 27 января 1923 года:

«Фашистский диктатор объявил, что примет корреспондентов. Все пришли. Комната была набита битком. Муссолини сидел за письменным столом и читал какую-то книгу. На лице его застыло знаменитое суровое выражение. Это был вид диктатора. В прошлом и сам газетчик, он знал, сколько людей прочтут интервью, которое он собирается дать. И он не отрывался от книги. Он уже мысленно читал первые строки, которые двести корреспондентов передадут в две тысячи газет: «Когда мы вошли в комнату, диктатор чернорубашечников не поднял глаз от книги, он был так поглощен чтением и т. д.». Я подошел к нему сзади на цыпочках — посмотреть, что за книгу он читает с таким интересом. Перед ним лежал французско-английский словарь — вверх ногами».

Есть одна фотография, обошедшая много книг, ее часто воспроизводят. Муссолини стоит, упершись обеими руками в бока, на одной из римских улиц, окруженный своими подручными. Снимок сделан сразу после прихода дуче к власти. Он во главе сквадристов направляется в Квиринал. Это поразительная фотография, и если вполне ясно, почему ее печатают сейчас,— для меня остается психологической загадкой, как мог Муссолини (ведь в уме ему отказать нельзя) не изъять ее, а, напротив, помещать в газетах в то время. Она разоблачает его больше, чем многие факты и документы;

нарочно не придумаешь такой позы, такого выражения лица: наглый триумф, хамское самодовольство, отвратительный вызов; на этом снимке ницшеанец Муссолини поистине выглядит мясником.

Присущая режиму «второсортность» наложила свой отпечаток на весь стиль, который чернорубашечники насаждали в Италии. «Верить, повиноваться, сражаться!» Неофашист Сальваторе Франча, автор статьи «Семя ненависти», не сам придумал эту фразу. Он только повторил официальный лозунг фашистской молодежи.

Фашистская молодежь пела песни вроде такой: «Дуче, дуче, кто из нас не сумеет умереть... Мы обнажим меч, когда ты этого пожелаешь... Наступит, наступит день, когда великая Матерь Героев призвет нас!» Режим поставил себе задачу: полностью фашизировать всю систему воспитания и всю культуру. Любопытно, однако, что фашизму, при всех его усилиях, не удалось добиться успеха в своей ставке на молодежь. Многие молодые люди, сформировавшиеся в эти годы, потом пережили мучительное разочарование и стали антифашистами. Но для того, чтобы этот моральный и духовный кризис настал, понадобились трагические события войны.

Разумеется, говоря об итальянском фашизме, необходимо было бы разобраться в корпоративной системе и политике Муссолини в рабочем вопросе. Это выходит за рамки темы, но хоть несколько слов сказать надо. В послании по случаю празднования 28 октября 1926 года Муссолини писал, что среди всех деяний фашизма одно из самых славных — это создание «синдикалистско-корпоративного государства». Имелась в виду некая довольно туманная новая форма политической организации всей системы, но фактически произошла не «синдикализация» государства, а, напротив, полное поглощение профсоюзов фашистским государством.

Когда в 1927 году Большой совет утвердил «Хартию труда», печать подняла невероятный шум: кричали о мирной социальной революции. Историки Сальваторелли и Мида пишут: эта революция была настолько мирной, что на самом деле ее вообще не существовало. «Хартия труда» не закон, не декрет — это манифест, подписанный Муссолини, членами Большого совета, президентами конфедераций предпринимателей и трудящихся. В манифесте было тридцать аксиом, или постулатов, обозначенных римскими цифрами, без подзаголовков. Первые десять аксиом носили общее название: «О корпоративном государстве и его организации». Затем шли аксиомы, касающиеся заключения коллективных договоров, разрешения возникающих противоречий и т. д. Были специально оговорены преимущественные права членов фашистской партии с учетом стажа (аксиома XXIII).

Мне кажется, что хоть все это — далекая история, она отнюдь не утратила значения и сегодня. И удивительно актуально звучат доклад и заключительное слово Димитрова на VII конгрессе Коминтерна. Лейтмотив его выступлений — призыв к тонкому анализу фашизма, к отказу от схем, от «самодовольного сектантства» и «доктринерской ограниченности». Димитров говорил о том, что фашизм, который превосходит своим цинизмом и лживостью любые другие разновидности реакции, приспособляет свою демагогию и к национальным особенностям каждой страны, и к особенностям различных социальных слоев. В чем корни влияния фашизма на массы? Не только массы мелкой буржуазии, но «даже часть рабочих», подчеркнул Димитров, становится жертвой фашистской демагогии. «Фашизму удается привлечь массы потому, что он демагогически апеллирует к их особенно болезненным нуждам и запросам. Фашизм не только разжигает глубоко вкоренившиеся в массы предрассудки, но он играет и на лучших чувствах масс, на их чувстве справедливости и иногда даже на их революционных традициях».

Итальянский фашизм не додумался до массового уничтожения людей в газовых камерах — это правда, он не дошел до масштабов преступлений германского фашизма и на его счету не числятся миллионы трупов, хотя трупов тоже предостаточно. Но общественная система и ее идеология определяются не только этими страшными показателями.

А теперь поговорим немного о том стиле жизни, который фашисты учредили в Италии.

Мы мельком упоминали уже о Дино Гранди, «расе»<sup>1</sup> Болоньи. Теперь надо сказать хотя бы несколько слов еще о двух фашистских деятелях: Роберто Фариначчи и Акилле Стараче — оба они играли немаловажную роль в движении. Фариначчи — фашист «ди прима ора», один из самых отъявленных экстремистов — был назначен секретарем фашистской партии в феврале 1925 года. К этому времени он успел проявить себя. После убийства Маттеотти... Но об убийстве Маттеотти надо рассказать более подробно: это событие принадлежит истории и нельзя, говоря о фашизме, умолчать о нем.

Тридцатого мая 1924 года депутат-социалист Джакомо Маттеотти выступил в палате с документированными разоблачениями фашистских насилий. Его поминутно прерывали, фашисты выкрикивали ругательства и угрозы, но Маттеотти прочитал до конца свою речь. После заседания он сказал своим друзьям: «Ну, а теперь вы можете готовить надгробную речь для меня». Маттеотти не заблуждался. Через десять дней он был убит. Сначала стало известно только, что Маттеотти исчез. Помимо его речи с разоблачениями (он, кстати, заявил, что выступит опять и приведет дополнительные факты), у него произошло личное столкновение с Муссолини в связи с одним материалом, помещенным в «Пополо д'Италия». 12 июня в палате начались запросы насчет того, где Маттеотти и что с ним. Так как Муссолини молчал, республиканец Кьеза крикнул ему: «Значит, вы соучастник!»

Существует огромная документация об убийстве Маттеотти.

К июню 1924 года на счету чернорубашечников накопилось немало преступлений. Но убийство Маттеотти было кульминацией. Среди бела дня в столице после обличительной речи исчезает депутат парламента. Уже после того, как Муссолини крикнули, что он сообщник, в полицию обратился швейцар одного из домов на набережной Тибра. Он видел, как днем 10 июня пять человек силой втолкнули Маттеотти в автомобиль, и записал номер машины. Машина эта была наемная, ее взял в тот день напрокат Америго Думини, тот самый, который когда-то с колонной из пятисот сквадристов пустился в бегство от одиннадцати карабинеров. Он был непосредственно связан с близким к Муссолини человеком — редактором газеты «Коррьере романо» Филиппелли. Был замешан и «главный бухгалтер фашизма» Маринелли. В ночь на 11 июня личный секретарь Муссолини Артуро Фашоло встретился с убийцами, которые рассказали ему все подробности «мокрого дела».

Физические убийцы — Думини, Вольпи, Путато, Малакриа и Виола — все принадлежали к числу самых отъявленных негодяев, но случилось так, что их тесная связь с верхушкой фашистской партии стала очевидной для всех. Муссолини очень нервничал из-за того, что не был изменен номерной знак автомашины. «Проклятие! — говорил он. — Достаточно было помочиться на знак». Вечером 12 июня, когда стало известно о заявлении швейцара в полицию, Муссолини счел необходимым выступить в палате. Его речь — образчик наглешего лицемерия. Он сказал, что депутат Маттеотти исчез при обстоятельствах, пока точно не известных, но позволяющих предполагать, что совершено преступление, и, в случае если преступление действительно имело место, оно «не может не вызвать волнения и негодования у правительства и парламента». Муссолини зашел еще дальше: он виделся с женой Маттеотти и обещал ей принять все меры к розыску ее исчезнувшего мужа. Одновременно фашистские газеты пытались пустить слух, будто Маттеотти бежал за границу с какой-то другой женщиной. Но очень скоро правда вышла наружу. Сначала арестовали Вольпи, затем остальных. Потом нашли изуродованный труп.

Описать размеры негодования и отвращения, потрясшего всю страну, невозможно. Паника охватила фашистскую партию, фашисты прятались, боялись носить свои значки в петлицах. Для характеристики обстановки приведу один пример. Организация вете-

<sup>1</sup> Итальянские фашисты широко употребляли абиссинское слово «рас»; это феодальное понятие, нечто вроде князька. Фашисты называли так местных лидеров своей партии.

ранов войны, тех самых, кто с самого начала поддерживал движение, на своем съезде в Ассизи отреклась от Муссолини и решила обратиться к королю, сообщив ему свою резолюцию и прося о восстановлении конституционных прав. И тут произошла история настолько удивительная, что кажется неправдоподобной. Затаив дыхание, ждали украшенные военными орденами и медалями ветераны, патриоты, опора монархии, что скажет в ответ на взволнованную речь главы их делегации, кавалера золотой медали депутата Виола, глава Савойского дома. Виктор-Эммануил принял их бледный, напряженный, выслушал, а потом произнес невероятные по кретинизму слова: «А знаете ли, синьоры, моя дочь сегодня утром убила двух перепелок». Что означала эта поистине сюрреалистическая сцена? К королю обращались и другие, приходила делегация главных редакторов антифашистских конституционалистских газет, приходили лидеры парламентской оппозиции, которые поддерживали прямой контакт со двором. Когда королю вручили документальные доказательства виновности Муссолини, он стал их просматривать. Но, вспоминает один из участников встречи, едва король понял, как ужасны эти документы, он побледнел, сказал: «Не заставляйте меня читать!» — и насильно всунул бумаги в руки одного из депутатов.

В этот момент достаточно было одного жеста короля, чтобы правительство убийц ушло в отставку. Но страх перед возможным полевением превосходил все. И король стал моральным соучастником преступления. Впоследствии он даже хвалил Муссолини за то, что тот «цельный человек». Муссолини же много лет спустя заявил, что, если бы в тот период его величество предложил ему подать заявление об отставке, он безусловно сделал бы это. Он говорил также, что если бы к парламентской оппозиции присоединился Джолитти, «мы бы пропали». Однако Джолитти не присоединился.

Как и в 1919 году, когда фашистский список провалился на выборах в Милане, Муссолини был напуган, растерян и готов уйти со сцены. Это подтверждает множество свидетельств. Вообще он в критические и трудные моменты никогда не был на высоте. Режим был на краю пропасти, нужен был только толчок. Но все произошло иначе, и виною — половинчатость, нерешительность и слепота буржуазной оппозиции. В знак протеста против убийства Matteotti все депутаты парламента — антифашисты объединились в так называемый Авентинский блок. Символическое название: Авентин — один из семи холмов древнего Рима, куда, как гласит предание, удалился народ древнего Рима, плебеи, восставшие против патрициев. В Авентинский блок входило немало людей безупречного мужества и честности. Но они верили в решающую силу морального негодования, верили в смутные обещания, что «король найдет выход из положения», не хотели обратиться к массам, отвергли предложение арестовать Муссолини, отвергли все предложения Грамши призвать народ ко всеобщей забастовке, объявить антифашистскую оппозицию «антипарламентом» — единственным законным парламентом, который поставит вне закона фашистское правительство и фашистскую партию. Пока они совещались и колебались, шли недели. Вся страна в то время была антифашистской, но высшее чиновничество, финансовые круги, королевский двор продолжали поддерживать Муссолини, и режим, уверенный в этой поддержке, убедившись, что моральное негодование не претворяется в действие, оправился от перенесенного страха. Всеобщее возмущение не привело к прямому выступлению масс — тогда фашизм перешел в наступление. Кровавая тень Matteotti стояла над ним, но он удержался в седле.

Вот в этот страшный для режима период Фариначчи показал себя. Фактически он стал лидером самых крайних экстремистов. Этот железнодорожный служащий, непонятным образом после смены режима получивший адвокатский диплом, был человеком, абсолютно лишенным всякого морального чувства. Даже в своей среде его называли цепным псом. Он потерял руку, когда глушил рыбу динамитом, а потом эта самая рука всячески «обыгрывалась»: туманно намекали, что он потерял ее при обстоятельствах, делавших честь его патриотизму и мужеству. После выступления Matteotti Фариначчи яростно возражал ему в парламенте, а после убийства был одним из немногих, кто не дрогнул. В своей газете «Кремона нуова» он призывал ко «второй волне» (насилий). 30 декабря 1924 года он писал, например: «Новогодний пароль: держать дубинку под рукой». Назначенный секретарем партии, он произнес в Кремоне речь, заявив, что «кремонский фашизм» плевать хотел на демократию, либералов, быв-

ших фронтовиков (первоначальная база движения!) и прочую милую компанию». К этому Фариначчи добавил, что так же намерена поступать и вся партия.

Он руководил судом над убийцами Маттеотти, состоявшимся 18 марта 1926 года, причем предупредил, что будет выступать сначала как секретарь партии, а затем как адвокат. Фариначчи заявил текстуально следующее: «Это не будет суд над режимом и над партией, это будет суд над оппозицией». Убийцам дали по пяти с чем-то лет, причем четыре года сразу скостили по амнистии. А вот что сейчас обо всем этом пишут неофашисты: «Джакомо Маттеотти был жертвой непреднамеренного убийства, совершенного частными лицами»<sup>1</sup>. Впрочем, автор статьи Руттилио Сермонти не ограничивается одним Маттеотти. Строчкой ниже мы читаем и о Грамши: Антонио Грамши, «арестованный за преступления против государства», едва лишь обнаружили, что он болен, был помещен «за счет фашистского государства в самую лучшую палату самой роскошной римской клиники того времени».

До сих пор я ничего не писала о Грамши. О нем надо писать, о нем надо помнить, это был человек поразительного мужества и светлого ума, страстный, ироничекий, тонкий, гуманист и выдающийся революционер, человек огромной и разносторонней культуры, один из тех вождей, которыми по праву гордится итальянский народ и коммунисты всего мира. Это уже из другой киноленты, и сейчас я скажу о Грамши только несколько слов.

В единственной речи, которую он успел произнести в парламенте в мае 1925 года, Грамши предсказал дальнейшее усиление реакции. В ноябре 1926 года фашисты ввели «чрезвычайные законы» и создали особый трибунал по охране безопасности государства. 8 ноября Грамши был арестован, сначала ему дали пять лет ссылки, а потом вновь арестовали, и 28 мая 1928 года он вместе с другими коммунистами поднялся в «клетку подсудимых». (Эта клетка из железных прутьев — отвратительный, садистский символ.) Надо было состряпать дело. Грамши выступал на суде блестяще, обвинитель корчился, будучи не в состоянии бороться с его аргументацией и безупречной логикой. «Подсудимые — враги фашизма, — заявил он, — и они должны быть уничтожены». А потом, указывая на Грамши, добавил: «Мы должны на двадцать лет лишить этот мозг возможности работать». Когда Грамши предоставили последнее слово, он произнес одну только фразу: «Вы приведете Италию к катастрофе».

А потом приговор: двадцать лет четыре месяца, пять дней тюремного заключения. А потом наручники, мучительные этапы, тяжелая болезнь, все увеличивающиеся физические страдания, отказ в медицинской помощи — отлично разработанная «техника расправы с противником», смерть.

Но «лишить этот мозг возможности работать» врагам не удалось: в заключении были написаны знаменитые «Тюремные тетради» — две тысячи восьмьсот страниц, гениальное произведение великого деятеля культуры, мученика и героя.

А в статье неофашиста Сермонти я читаю: «Фашистская революция проявила себя по отношению к своим политическим противникам рыцарственной, все понимающей и воистину чрезмерно великодушной».

Мы хотели говорить о стиле жизни, который насаждали в Италии фашисты, но в конце концов особый трибунал — неотъемлемая часть этого стиля. А теперь о других элементах стиля. Я упоминала о том, что Джентиле был автором «Манифеста интеллектуалов-фашистов», в котором с привычной для фашизма неразборчивостью и эклектизмом переплетались понятия родины, фашизма, религии, дисциплины, традиций, идеалов, подчинения, цивилизации и бессмертия. В университетах основали кафедры или даже факультеты «науки фашизма», лекции читали видные фашисты. Журналистов организовали в фашистский синдикат, куда без членского билета фашистской партии не принимали. Вокруг Муссолини был создан ореол, несколько даже мистический — например, на почтовой бумаге многие печатали: «Дуче всегда прав». Дуче был универсальным, он даже писал стихи. Так, во время «битвы за хлеб» он написал стихотворение с хлебе: «Любите хлеб — сердце домашнего очага» и т. д. Органы партии в связи с этим полуофициаль-

<sup>1</sup> «Ordine nuovo», № 1-2, gennaio-febraio 1964.



но писал: «Дуче—чистейший латинский гений, он не только вождь и кондотьер, но также и поэт».

Режим регулировал решительно все. В феврале 1928 года секретарь партии разослал по местным организациям циркуляр, в котором предписывалось всячески поощрять ношение соломенных шляп — инициативу флорентийских фашистов. Вот типичный пример регулирования нравов. Была целая эпопея со словами «voi» и «Lei». И то и другое означает «вы». Однако «вои» — обычная форма обращения, а «Лей» — вежливая. Так вот, фашисты решительно высказались за уничтожение «лей». Но поскольку режим тоталитарен, Стараче, бывший тогда (это все происходило уже в 1938 году) секретарем партии, с усердием фельдфебеля начал сыпать циркулярами, запрещающими «лей». Дошло до того, что был опубликован соответствующий декрет за подписью Муссолини. Некоторых людей, говоривших «лей», избивали — все это факты, весь этот отвратительный, отталкивающий гротеск был реальностью, а слово «лей» для многих превратилось чуть ли не в символ антифашизма.

Помимо Итальянской академии, созданной с большой помпой в 1926 году и преследовавшей также политико-практические цели, существовала еще одна организация, весьма важная: Национальный фашистский институт культуры, впоследствии переименованный в Национальный институт фашистской культуры, — дело, разумеется, не в простой перестановке слов. Возглавлял его первоначально тот же Джентиле. Он был открыт в 1925 году, а уже в 1931-м в его системе насчитывалось 88 филиалов в главных городах провинций и 76 — в меньших центрах. Кроме того, к нему принадлежало 400 различных культурных учреждений, охватывавших свыше ста тысяч человек. Фашизм хотел иметь свою культурную элиту. Институт издавал много книг (четыре серии, в том числе классики политической мысли), журнал «Эдукационе фашиста» («Фашистское воспитание»), переименованный позднее в «Чивильта фашиста», устраивал конференции, циклы лекций и т. д.

Политико-идеологической работой занимался непосредственно и аппарат самой партии. Так, весной 1935 года при провинциальных федерациях ПНФ были созданы курсы политической подготовки молодежи, куда принимали с большим отбором. Целью было «подготовить новый руководящий класс режима» — практически, правда, это дало немного. В 1931 году в Милане открыли школу фашистской мистики. На открытии брат Муссолини, Арнальдо, заявил, что фашизм — это второе Рисорджименто (мы это уже знаем: чернорубашечники — наследники краснорубашечников!), и подобно тому как тогда молодежь жертвовала собою во имя героического идеала, и теперь молодые люди должны жертвовать собою для фашистской родины. Школа фашистской мистики тоже начала проводить лекции и издавать журналы и брошюры, проникнутые дешевым дилетантским ритуализмом.

Итальянский фашизм был первым, он претендовал на универсальность. В октябре 1933 года Муссолини в интервью для правой французской газеты «Эко де Пари» уверенно говорил об этом. Только в фашизме видел он выход из «кризиса европейских демократий». К тому времени фашизм существовал уже во многих странах, и 23 октября 1933 года в речи во Флоренции дуче сказал: «Я самым решительным образом настаиваю на историческом приоритете фашистского движения и не менее решительно настаиваю на совершенной оригинальности нашей доктрины... Я призываю вас приветствовать победное шествие фашизма, которое началось в Италии и продолжается на дорогах Европы и всего мира».

Первого мая 1935 года Муссолини принял представителей Международной конфедерации студентов, которые признали в нем духовного вождя молодежи. В этом же году в Париже обсуждались возможности создания международной фашистской организации; на этом совещании присутствовали фашисты из разных стран, и в частности Квислинг.

В июне 1937 года бывшее министерство печати и информации было преобразовано в министерство народной культуры (ministero della culture popolare), которое моментально получило сатирическую кличку «минкультпоп». Перед ним стояла задача окончательной фашизации национальной культуры.

«Минкультпоп» очень следил за прессой, которая получала точные и конкретные

указания. Вот некоторые из них, взятые из книги Сальваторелли и Мида, на которую я уже ссылаюсь (для краткости не указываю дат): «В связи со смертью Максима Горького — никаких статей, никаких комментариев, никаких биографических данных. Сообщить эту новость, совершенно ее не выделяя», «Никогда не проявлять интереса к Эйнштейну», «Дать всего в нескольких строках сообщение о посадке русской экспедиции на Северный полюс», «Благожелательно комментировать распоряжение ПНФ, которым осуществляется совершенное политическое и профессиональное единство фашистской печати... Закончить, выразив горделивую радость итальянских журналистов, которые все и всегда были, есть и будут в распоряжении партии», «Всегда напоминать, что все, происходящее в настоящее время в Италии: подъем промышленного производства, военная подготовка, спиритуалистическое воспитание и т. д., — все исходит от дуче и несет на себе его неизгладимую печать».

В том же номере неофашистского журнала «Черные тетради революционной правой», где напечатана статья Франчи «Семя ненависти», я прочла неподписанную, видимо редакционную, заметку. В ней, между прочим, говорится: «Сейчас во многих демократических приходах твердят, что при фашизме культура не пользовалась свободой, какой пользуется теперь. В таком случае мы заявляем, что «эта» культура не пользовалась теперешней свободой и, быть может, именно по этой причине именно во времена фашизма итальянская культура, достойно представленная в Итальянской Академии, получила наибольшее признание в национальном и — еще более — международном плане». Вот образчик не только бессовестной, но просто неумной фальсификации истории, привычной для неофашистов.

Один из самых жгучих, самых больных вопросов — вопрос о моральной ответственности итальянской интеллигенции за преступления и бесчестие фашистского режима. Не надо ничего схематизировать — все это отнюдь не однолинейно. Некоторые здравствующие и работающие сейчас деятели культуры, бывшие уже зрелыми людьми в годы фашизма, в свое время поддерживали режим из соображений житейского порядка: tessera — членский билет фашистской партии — обеспечивала им получение различных жизненных благ. Другие попросту боялись, и это определяло их поведение. Некоторые не хотели «пачкать рук» и уходили в «чистое искусство», но это было большей частью самообманом. Были, конечно, к счастью для итальянской культуры, и люди, проявлявшие в те страшные времена мужество, достоинство и принципиальность. Сейчас в связи с двадцатилетием Сопротивления в печати часто появляются воспоминания об антифашистах, отдавших жизнь за свободу, среди них немало интеллигентов. Многие представители того поколения, которое воспиталось в атмосфере «литторно» и, вероятно, какие-то годы верило в «доктрину фашизма», потом испытали горькое разочарование, сумели переоценить все ценности и ушли в партизанские отряды. Но были и другие — были люди, игравшие видную роль в фашистской псевдокультуре, в фашистской прессе, а потом с непостижимой быстротой перекрасившиеся и претендующие даже на признание каких-то своих заслуг. Но, повторяю, о культуре и псевдокультуре, о конформизме и неконформизме мы не имеем права писать вскользь. Это особая тема — и одна из самых важных.

## 9

...Иногда одному и тому же поколению случается быть свидетелем исторической драмы, а потом приводить в действие приговор, вынесенный в народном сознании прошлому.

*Пальмиро Тольятти*

Двадцать девятого июля 1943 года Муссолини исполнилось шестьдесят лет, за плечами — сорок лет политической деятельности, двадцать — почти безграничной власти. Он мог встретить свой день рождения на вилле Торлония, в кругу семьи, с женой донной Ракеле, о которой говорили, что она полна здравого смысла и удивительно невежественна (когда она стала вдовой, донна Ракеле просила республиканское правительство назначить ей пенсию, в чем ей отказали). За столом были бы дочь Эдда и

зять, граф Галеаццо Чиано, бывший министр иностранных дел, которого, впрочем, Муссолини за фрондерские настроения сместил и назначил послом при Ватикане. Он мог пригласить Де Бонно и Де Векки, возглавлявших «поход на Рим», — старые друзья, они стоят рядом с ним на знаменитой фотографии «победителей», дорвавшихся до власти. Он мог пригласить бывшего секретаря ПНФ, редактора газеты «Реджиме фашиста» Роберто Фариначчи, президента палаты фаши и корпораций Дино Гранди. Он мог наконец провести часок со своей фавориткой Кларой Петаччи, которая впоследствии разделила его судьбу...

Все произошло иначе. За четыре дня до своего шестидесятилетия Муссолини был свергнут и арестован, арестован во дворе королевской виллы через несколько минут после того, как Виктор-Эммануил объявил ему, что главой правительства назначен маршал Бадольо, и своим «королевским словом» гарантировал личную безопасность бывшего диктатора.

Уже стало общим местом, обязательным для всех историков, описание удивительного, непостижимо быстрого развала режима. Радио известило об отставке Муссолини и назначении Бадольо в 10 часов 45 минут вечера 25 июля. Тот же диктор, Джанбаттиста Ариста, который в течение многих лет оповещал страну о «славных деяниях» Муссолини, подошел к микрофону в сопровождении военного и прочел сообщение короля и два обращения к народу — короля и маршала Бадольо. И тотчас молниеносно толпы римлян, как волны, прокатились по городу, срывая портреты дуче и эмблемы фашизма, требуя немедленного прекращения войны. Этот позорный, ни с чем не сравнимый крах фашистского государства — лишь логическое завершение всей его истории.

Тысячи страниц посвящено 25 июля. Час за часом прослеживаются и сопоставляются встречи, переговоры, хитросплетения закулисной политической игры, перекрещивающихся заговоров, направленных против Муссолини. Совсем недавно, 5 мая, Муссолини произнес свою последнюю речь с балкона Палаццо Венеция, обращаясь к народу: «Я чувствую, что и вы, как я сам, уверены в том, что за кровавые жертвы, которые мы приносим в это тяжкое время, нас вознаградит победа, если верно (а это верно), что господь справедлив, а Италия бессмертна». Совсем недавно, 7 июня, особый трибунал осудил посетителей одного римского ресторанчика, которые, комментируя разгром итальянской армии на русском фронте, спели хором:

Победить, победить, победить!  
И мы победим в небесах, на земле и на море,  
Таковы лозунг и приказ,  
Такова высшая воля!

А потом пропели на мотив популярной итальянской песенки: «А дуче уходит, дуче уходит»...

И совсем недавно, 24 июня, Джентиле обратился к итальянцам с речью, в которой призывал их понять, что «ошибки фашизма — это ошибки, неизбежные при всяком широком революционном движении», что корпоративный строй несравненно «логичнее и справедливее, нежели коммунистическая утопия», что фашизм означает развитие итальянской традиции, идущей от Данте, Макиавелли и Мадзини, и что «Италия, которой предназначено выполнить свою миссию в мире, несомненно, нашла в лице Муссолини человека, воплотившего в себе ее бессмертие».

И в тот же самый день, когда Джентиле произнес эту речь, тогдашний секретарь ПНФ Скорца представил Муссолини официальные данные о численности партии: четыре миллиона семьсот семьдесят тысяч семьсот семьдесят человек. И в эти же дни донна Ракеле тайком от мужа встретила с доверенным лицом Гимmlера полковником СС Дольманом и жаловалась ему на интриги зятя, графа Чиано, который принес в их дом несчастье, и на то, что вокруг дуче коварные змеи и тщеславные павлины только и ждут подходящего момента, «чтобы продать его», и прямо просила о помощи немецких союзников.

История взаимоотношений итальянского фашизма и германского национал-социализма — особая тема. Чрезвычайно важно и интересно было бы проследить также, как развивались отношения фашизма и Ватикана. Но это решительно выходит за рамки статьи.

Существует распространенная в буржуазной историографии псевдоисторическая концепция, объясняющая падение Муссолини заговором его врагов. Неофашисты все время пишут о «предательстве». Между тем не подлежит сомнению, что крах режима был обусловлен всем ходом истории, и прежде всего катастрофой, в которую ввергла Италию война на стороне Гитлера. Победа советских войск под Сталинградом была не только военной победой: она означала и крушение мифа о непобедимости нацифашизма, она дала мощный толчок к усилению партизанского движения во всех странах, оккупированных гитлеровцами.

Третьего марта 1943 года самые мощные антифашистские силы — коммунистическая партия, социалистическая партия и движение «Giustizia e libertà» («Справедливость и свобода») — уже заключили между собою соглашение о единстве действий в борьбе против фашизма. Уже был создан комитет действия по объединению итальянского народа. В то же время коммунистическая партия, находившаяся в глубоком подполье, решила подготовить и провести большую забастовку на предприятиях «Фиат». Были распространены тысячи листовок: «Хлеба, мира и свободы!», «Да здравствует забастовка!» Она началась в десять часов утра 5 марта на заводе «Фиат — Мирафиори», в тот же день к ней присоединились все крупные заводы Турина, еще через несколько дней — весь Пьемонт. И хотя рабочие выставляли экономические требования, в действительности забастовки носили политический характер: стачечники открыто заявили одному из владельцев фирмы «Фиат», Аньелли, что они хотят разрыва союза с Гитлером и прекращения войны. По городам распространялся и переходил из рук в руки экстренный выпуск газеты «Унита», выпущенный в Милане: «Вся страна следует примеру ста тысяч туринских забастовщиков, требующих хлеба, мира и свободы». Стачки продолжались весь март, а 23 марта, в годовщину образования фаши, начали забастовку и рабочие крупнейших предприятий Милана: Пирелли, Фалька, Бреда, Монтекатини...

Газеты молчали, словно ничего не происходило, но вся верхушка знала: земля горит под ногами. Размах рабочего движения угрожал самому существованию режима, союзные войска высадились в Сицилии, страна истощена, катастрофа надвигается, она неизбежна. Ненависть народа сосредоточена на Муссолини: он подавил свободу, он заключил союз с Гитлером, он под влиянием Гитлера ввел расистские законы, вызвавшие всеобщее негодование, он вверг Италию в эту злосчастную войну, — может быть, пожертвовав им, удастся спасти режим, спасти хотя бы монархию?

На этом историческом фоне надо рассматривать переворот 25 июля. Его обстоятельства были драматичны. За четыре дня до шестидесятилетия Муссолини «оппозиционеры» во главе с Дино Гранди дали ему бой, приняв решение об отстранении его от командования вооруженными силами. Это произошло на заседании Большого совета, на которое Гранди явился, положив в карман две ручные гранаты, решившись в случае чего не даваться живым и бросить эти гранаты здесь же, в зале заседаний. Предварительно он исповедался, передал письмо на имя короля и подготовил большую речь.

В то время многие журналисты писали о «мелодраме». Однако Гранди возражал, что смертные приговоры, вынесенные впоследствии в Вероне участникам заседания, голосовавшим против Муссолини, доказывают, что все это отнюдь не было мелодрамой. Гранди произнес речь, которая была исповедью, обвинительным актом, попыткой осмыслить все, что произошло в Италии за двадцать лет. В речи причудливо смешивались риторика, искренняя боль, остатки былых убеждений, разочарование, стремление спасти что-то из «идейных ценностей фашизма» вопреки очевидному близкому разгрому. Гранди заявил, что он верил в фашизм как в движение «политического обновления», способное создать новый руководящий класс, обеспечить интересы нации. Но «диктатура» убила этот фашизм. Заседание, проходившее очень бурно, кончилось поражением Муссолини. За резолюцию Гранди голосовало девятнадцать человек из двадцати восьми присутствовавших. В числе голосовавших против дуче были его зять Чиано, квадрумвиры Де Боно и Де Векки, автор мошеннического избирательного закона, позволившего когда-то фашистам захватить большинство мест в парламенте Ачербо, «главный бухгалтер» фашизма Маринелли.

Сразу после заседания Муссолини позвонил Кларе Петаччи и сказал ей. «Звезда

померкла», а Фариначчи позвонил в германское посольство и рассказал о том, что произошло. Он был вообще связан с немцами и пользовался особым доверием Гимmlера.

Недавно Паоло Алатри поместил в «Ринашите»<sup>1</sup> интересную статью в связи с выходом в свет еще одной — довольно спорной — книги о 25 июля. Он считает, что народное недовольство, нашедшее свою кульминацию в мартовских забастовках, толкнуло различные группы заговорщиков на активные действия. Решающее значение среди этих групп имела та самая крупная промышленная и финансовая буржуазия, которая породила фашизм, двадцать лет определяла его политику, а теперь сумела перерезать пуповину, соединявшую ее с фашизмом, легче и с меньшим риском для себя, нежели другие силы, более явно скомпрометированные, как, например, монархия, военная каста, иерархи-диссиденты и некоторые представители высшего духовенства.

Вопреки воле народа правительство Бадольо пыталось заставить итальянцев продолжать войну и после свержения Муссолини. Только 8 сентября все радиостанции Италии передали сообщение, в котором маршал Бадольо объявил о безоговорочной капитуляции. Через несколько часов немецкие дивизии, введенные в Италию после 25 июля, атаковали итальянские гарнизоны. В течение нескольких дней Германия оккупировала почти всю территорию Италии: от Альп на севере до Неаполя на юге. Был оккупирован и Рим, откуда 8 сентября позорно бежали Виктор-Эммануил со всей королевской семьей, все правительство и генералитет. Начиная с 8 сентября 1943 года Италия оказалась разделенной на две части. На Юге (с резиденцией в Салерно, вблизи Неаполя) было сформировано новое правительство, возглавляемое тем же Бадольо, в Центральной и Северной Италии было создано нефашистское государство, так называемая Итальянская социальная республика, или Республика Салó.

## 10

Я убежден, что если бы в 1920, 1921 или 1922 годах в Италии существовал суд, который приговорил бы к расстрелу Муссолини, Италия могла бы сегодня быть великой страной.

*Пальмиро Тольятти.*

Когда Муссолини 25 июля во дворе виллы Савоя усадили в санитарную машину, — так был произведен арест (ему сказали, что король очень беспокоится о его безопасности, ибо в городе уже знали, что он потерпел поражение на Большом совете), — когда Муссолини увезли и режим начал молниеносно разваливаться, в германском посольстве воцарилась тревога. Через полчаса Гитлер уже знал все и в Рим одна за другой полетели срочные телеграммы: что с дуче, где он, что происходит? Гитлер выходил из себя, кричал о предательстве, требовал контрмер. Полковник СС Дольман вспоминает, как посол фон Маккензен и он сам «тщетно ожидали, что фашисты-энтузиасты прибегут в посольство, чтобы посоветоваться и возглавить захват Рима силами дивизии «М»<sup>2</sup>. Не появился ни один мушкетер, или комиссар, или полицейский агент — никто... Наконец в посольство пришел однурукий сеньор, хотевший срочно со мной поговорить. Это мог быть только Фариначчи, который, как предполагалось, должен был противостоять действиям короля. Это действительно был он... Я впустил его и тотчас провел к фон Маккензену — настал решительный час. И произошел разговор, но не тот, какого мы ожидали. Этот герой из Кремоны совершенно не беспокоился о судьбе своего бедного дуче, покинутого, томящегося от неизвестности в казарме римских карабинеров. Бледный и дрожащий от страха, он хотел только одного: попасть в первый же самолет, вылетающий в Германию... Ни слова о дуче, ни слова о дивизии «М», ни слова о попытке освобождения. Я попросил прислать машину с конвоем для героического Фариначчи. Так началась блистательная серия спасений... Ни один не пожелал связаться с дивизией «М» или попытаться оказать сопротивление, все хотели единственно и исключительно одного — бежать в Германию»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> «Rinascita», № 32, 8 agosto 1964.

<sup>2</sup> Дивизия «М» предназначалась для личной охраны Муссолини.

<sup>3</sup> Цитирую по книге Gianfranco Bianchi "25 luglio", стр. 707—708.

Так вели себя люди, которым Муссолини говорил: «Кто не готов умереть за свою веру, тот недостойн ее исповедовать», рыцари дубинки и касторки, твердившие «о новом европейском порядке», опозорившие Италию и принесшие итальянскому народу неисчислимые страдания и беды. Сам Муссолини был совершенно деморализован. Как и прежде в критические моменты (поражение на выборах 1919 года, дело Маттеотти), он не нашел в себе ни мужества, ни достоинства. Уже 26 июля, арестованный, он писал Бадолью, предлагая ему свое сотрудничество. От ницшеанского «сверхчеловека» к этому времени уже ничего не осталось. Какая ирония судьбы! Именно в эти дни Гитлер преподнес ему именной подарок — специальное издание сочинений Фридриха Ницше, все двадцать четыре тома, переплетенные в голубую кожу, с трогательной надписью «*Adolf Hitler seinem lieben Benito Mussolini*». Правительство Бадолью добросовестно передало бывшему диктатору подарок Гитлера. Муссолини поблагодарил Гитлера, хотя уже утратил ту «волю к власти», которую так долго прокламировал. Через полтора месяца освобожденный, точнее выкраденный немецкими парашютистами из гостиницы в Гран Сассо (в горах Аbruццо), он встретился в Вене с Гитлером, который всячески пытался его «активизировать», а потом выступил по радио Монако с речью, сообщив о воссоздании партии. Отныне она называлась «фашистская республиканская партия». Секретарем ее он назначил Паволини. Этот Алессандро Паволини, более чем посредственный романист, одно время возглавлял «минкультпоп» и принимал участие в конференции у книготорговцев произведений русских классиков. Удрав, подобно Фариначчи, в Германию, он вошел во временное фашистское правительство, созданное Гитлером и действовавшее от имени Муссолини до его освобождения.

Муссолини, встретившийся с Гитлером, был уже только тенью прежнего дуче. Подавленный, разбитый, фаталистически настроенный, он превратился в политический труп. Гитлер прямо поставил вопрос о судьбе Чиано. «Не сомневаюсь,— сказал он,— вы согласитесь со мной, что одним из первых актов нового правительства должен быть смертный приговор для изменников Большого совета. Графа Чиано я считаю четырежды предателем: он изменил родине, фашизму, союзу с Германией и семье»<sup>1</sup>. Муссолини неуверенно возразил что-то, сказав, что Чиано — отец его внуков. Гитлер, кажется, не настаивал. Муссолини долго колебался, встретился с Чиано, как будто хотел примирения. Но все кончилось иначе.

Десятого января 1944 года в Вероне состоялся суд над всеми, кто 25 июля голодовал за резолюцию Гранди. Их обвиняли в измене фашизму и его главе. Большинство иерархов-диссидентов было приговорено к смертной казни заочно. Фактически в зале суда присутствовало шестеро обвиняемых, одному из них дали тридцать лет, а пять человек — Чиано, квалдрумвир Де Боно, административный секретарь партии Маринелли и еще двое — были расстреляны на следующее утро. Никто из них не признал за собою вины. Политический смысл веронского процесса не очень ясен. Во имя чего были расстреляны эти люди? Они действительно не были врагами режима, а думали лишь о его спасении.

Психологически это понятно. Надо было дать выход ненависти, ярости, комплексу неполноценности тех самых ограниченных и жестоких мелких буржуа, которые в свое время фанатически поддерживали фашизм, а потом испытали сильнейшее разочарование. С объективной точки зрения «предатели Большого совета» были представителями крайне правых фашистских групп, связанных с крупной промышленной и финансовой буржуазией. Известно, что еще 7 января 1943 года промышленник Альберто Пирелли пришел к Чиано и посоветовал начать переговоры о сепаратном мире. За месяц до визита Пирелли американский журнал «Лайф» поместил статью о положении в Италии. В статье говорилось, что итальянские промышленники, представленные Галеаццо Чиано, графом Вольпи и Альберто Пирелли, желают лишь одного: освободиться от Муссолини и от прогермански настроенных лидеров, сохранив нетронутой политическую и экономическую систему фашизма. Иными словами, давался совет сменить прогерманскую ориентацию фашизма на ориентацию того же фашизма на союзников.

На процессе в Вероне Чиано сказал: «Все мы погибнем вместе. Скоро наступит

<sup>1</sup> Gianfranco Venè. Il processo di Verona, p. 62.

и час Муссолини». Это было совершенно верно, но пока что еще существовала Республика Сало. Сало — небольшой городок на озере Гарда — считался столицей Итальянской социальной республики. Никакой массовой базы этот новый вариант фашизма, конечно, не имел. Единственной опорой служили германские войска и некоторые военные отряды чернорубашечников. Очень многие фашисты старались укрыться в тень, отойти, не участвовать в последней предсмертной схватке, в последних корчах и судорогах режима, который уже ни в какой мере не был даже политическим движением.

Социальная демагогия этого периода превосходила все, что было ранее. 13 ноября 1943 года Муссолини разослал во все газеты на территории, не занятой союзниками, статью, составившую первый набросок принятого позднее Веронского манифеста. В ней говорилось: «Фашизм, освободившись от мишуры, замедлявшей его продвижение, и покончив со всеми компромиссами, на которые он вынужден был идти, вернулся к своим революционным истокам во всех областях, в особенности в области социальной». В манифесте, состоявшем из восемнадцати пунктов, содержались отчаянные нападки на буржуазию и обещания «социализировать предприятия». Но эта попытка привлечь псевдосоциалистической программой на сторону «республиканского фашизма» рабочих была обречена на провал. Разумеется, и сам Муссолини, несмотря на весь словесный экстремизм, и не подумал бы осуществить «социализацию», но и народ ему совершенно не поверил.

Точные слова нашел ученый-коммунист Кончетто Маркези, когда писал в подпольной коммунистической газете «Ла ностра лотта» 15 февраля 1944 года: «Фашизм... хотел возродиться опять, и не только как кинжал или как ручной пулемет, но как идея... Отвратительная банда, не желающая убраться! Зная свою безнаказанность, они умели лишь разрушать и убивать — только этой наукой они обладали, наукой безумцев и трусов».

Двадцать лет фашистам удавалось душить общественное мнение, подавлять свободную мысль, править страной при помощи штыков и лжи, угнетения и коррупции, но все это уже становилось прошлым. Реставрировать фашизм не удавалось, и, перед тем, как уйти со сцены, чернорубашечники с яростью смертельно раненного, но еще не добитого зверя свирепствовали, добавляя к списку своих преступлений массовые убийства и расстрелы. Но их время кончалось. Наступило время Сопrotивления.

Мы знаем, что иезуиты советуют итальянскому народу забыть прошлое. Забыть о «мелочном партизанском духе». Но мы знаем, как итальянский народ чтит и бережет моральные ценности Сопrotивления — этих двадцати месяцев борьбы, жертв, единения и победы. Все лучшее, что хранилось в душе народа, подняло его на борьбу. Бригады Гарибальди, бригады Маттеотти, рабочие, крестьяне, молодежь, женщины, интеллигенция, сельские священники, уходившие в отряды вместе со своими прихожанами, — вся эта массовая, подлинно народная база движения Сопrotивления определила его характер. Люди сражались не щадя жизни против немецких захватчиков, которые в этот период вели себя на оккупированной ими территории Италии с разнузданной жестокостью и наглостью палачей. Они сражались против «республиканских фашистов» — исполнителей воли палачей, виновников постигшей нацию катастрофы.

Движение Сопrotивления было всенародным. Однако неверно представлять себе его как нечто единое и одноцветное. Сейчас итальянские историки проделали и продолжают большую научную работу, анализируя позиции отдельных партий и групп, участвовавших в Сопrotивлении. Его основным ядром были коммунисты, которые на протяжении многих лет эмиграции и подполья, не теряя связи с массами, воспитывали и поддерживали в них дух антифашизма. Большую роль сыграли также «Партия действия» и социалисты. Были, однако, и группы, стремившиеся «договориться» с врагом. В оценке Сопrotивления надо избегать риторики — она искажает подлинную картину. А политическое значение: Сопrotивления никто не мог бы определить более четко, лаконично и ясно, чем это сделал Тольятти. В одной из своих речей в Учредительном собрании в 1946 году он сказал: «...партизаны погибли не напрасно. Они погибли не напрасно не только с точки зрения борьбы за идею, ибо всякий, кто гибнет за идею, умирает не напрасно, потому что, умирая, он утверждает идею, во имя которой жил, но и с точки зрения практической политики, так как они завоевали и для Италии нечто опре-

деленное: они нам завоевали свободу, они нам завоевали это республиканское Собрание... они завоевали для Италии положение, глубоко отличающееся от того, в каком находится Германия и в каком оказались бы и мы, если бы не было освободительной борьбы нашего народа и жертв, понесенных нами в этой борьбе<sup>1</sup>.

\* \* \*

А Муссолини — надо же закончить рассказ о Муссолини — кончил бесславно. Чувствуя, что кольцо сжимается, что конец близок, он метался, как затравленный зверь: поехал в Милан, пытался установить контакты с немцами и с силами Сопротивления, хотел (демагог до конца!) устроить в Миланском соборе торжественное богослужение в память погибших и призвать всех итальянцев к примирению. Представители КНО<sup>2</sup>, с которыми он встретился в доме миланского архиепископа, предложили ему безоговорочную капитуляцию. Он сказал, что даст ответ через час, а сам со своими иерархами и с Кларой Петаччи бежал по направлению к швейцарской границе. По пути они присоединились к германской автоколонне, а потом партизаны, задержавшие колонну, обнаружили в одной из машин Муссолини, переодетого в немецкую форму. Декрет от 25 апреля 1945 года (день, когда КНО Северной Италии взял власть) предусматривал смертную казнь для членов фашистского правительства и иерархов, виновных в тяжких преступлениях против народа. У Муссолини не хватило характера хотя бы для того, чтобы самому пустить себе пулю в лоб. Партизаны расстреляли дуче и других иерархов, а потом привезли его труп в Милан и повесили. Так кончил свою жизнь этот «наследник Цезарей», один из крупнейших «политических кондотьеров» двадцатого века.

## 11

Света, больше света!  
Вольфганг Гёте.

Все это могло бы показаться далекой историей. Но вот передо мной статья, озаглавленная «Борьба партий в Италии». Ее написал Рассел Кирк, известный американский политический писатель, автор популярной в некоторых кругах США книги «Консервативный дух» и политический советник Барри Голдуотера. В начале 1963 года он посетил Рим, Флоренцию, Верону и Турин, прочел в этих городах доклады, а затем, вернувшись в США, опубликовал эту статью в журнале «Нэшнл ревью» (26 февраля 1963 года). Кирк высказал много метких замечаний о расстановке сил в парламенте, о позиции Ватикана и т. д. Затем он заявил, что называть «Мовименто социале итальяно» неофашистским движением — неточно. Неточно потому, что, хотя в «Мовименто» входит много бывших фашистов, оно отказалось от «империалистических идей, от создания военных организаций и от корпоративной системы», превратившись, таким образом, в обычную «патриотическую и традиционную партию». В связи с этой эволюцией «Мовименто», по мнению Кирка, утратило свой «боевой дух» и большой роли играть не может.

Однако в Италии существует одна многообещающая организация — «Centro di vita italiana», руководство которой находится в Риме. Этот «Центр итальянской жизни» объединяет молодых людей, принадлежавших ранее к различным правым партиям. Он лишь косвенно является политической организацией, потому что действует преимущественно в области литературы, искусства, социологии. Его цель — «восстановление традиций итальянской цивилизации в противовес марксистским догмам и пропаганде». Кирк заявляет, что в Соединенных Штатах «никогда не предпринимали таких разумных шагов», что участники «Центра» стремятся постепенно преодолеть противоречия, которые в прошлом разъединяли правые партии. Главная цель — создать «разумную альтернативу коллективизму». Конец статьи, учитывая, что ее автор — политический советник Голдуотера, звучит недвусмысленно: «Если вялая американская политика вступит на путь решимости и если молодым, способным итальянским консерваторам помогут — Рим сможет оставаться центром нашей западной цивилизации».

К статье мистера Кирка можно кое-что добавить. «Мовименто социале итальяно» — это организация, насчитывающая (по ее собственному утверждению) около трехсот

<sup>1</sup> Пальмиро Тольятти. Речи в Учредительном собрании, стр. 132—133.

<sup>2</sup> Комитет национального освобождения.



тысяч человек. Внутри этого движения издавна имеется своя «правая» и своя «левая». Лидер большинства — Микелини, лидер «оппозиции» — Альмиранте. На последнем съезде «Мовименто», летом 1963 года, после длительного периода интриг, компромиссов и склок, произошла драка, отнюдь не в аллегорическом смысле слова, между сторонниками «правой» и «левой». Потом движение раскололось. Были, разумеется, принципиальные разногласия: «оппозиция» утверждала, что «Мовименто» изменило фашистской доктрине и ее «социальному и аристократическому духу», что оно стало рассуждать о демократии и, стало быть, не может противопоставить никакой идеи «марксистской гангрены».

Помимо двух основных течений, возглавляемых Микелини и Альмиранте, существует множество групп и группок. Они издают свои журналы, брошюры и листовки, блокируются или нападают друг на друга, твердят о «революционной элите», организуют конференции, подделывают избирательные бюллетени, устраивают скандалы, бросают бомбы в помещения, принадлежащие коммунистической партии или другим левым организациям, нападают с ножами и дубинками на своих политических противников. Уголовщина и хулиганство, гнусные надписи на зданиях, поножовщина — все это «практика». Но она тесно связана с теорией. Эти группы, считающие себя подлинно фашистскими (даже Альмиранте для них недостаточно верен фашистским идеалам), стремятся «организовать контрнаступление против всевластия марксистов», объединить все антикоммунистические силы итальянских правых и таким простым и разумным способом заложить «спиритуалистические основы единой Европы». Сказано — сделано. В октябре 1963 года руководители отдельных неофашистских групп встретились в Болонье и создали унитарную организацию, назвав ее даже несколько романтически — «Молодая Европа». У них есть свой печатный орган — «Еуропа комбаттенте», они намерены объединить молодежь, вернуть «высоким духовным идеалам фашизма», а конечная цель этой организации — возродить Европу и спасти ее от «духовного и материального убожества, в котором она находится по вине марксистов и трусливой буржуазии».

Странное чувство возникает, когда начинаешь читать все эти журнальчики, брошюры, книги. Слово история остановилось в самом начале сороковых годов, словно не было ни разгрома наци-фашизма, ни казни Муссолини, ни самоубийства Гитлера, ни позорного краха фашистской системы и фашистской идеологии. Любопытно, кстати, что идеалом для всей этой публики является фашизм в самой яростной, кровавой и отчаянной его версии — фашизм Республики Сало.

Все повторяется: Ницше, Штирнер, прославление национал-социализма, корпоративного государства, ненависть к демократии и попытки создать международную фашистскую организацию, сопоставления: Цезарь — Муссолини, доктрина «вооруженной нации». Даже фотографии повторяются: молодчики с кинжалами в зубах — так фотографировались когда-то сквадристы. В начале двадцатых годов никто не допускал мысли, что итальянский фашизм может прийти к власти. В начале тридцатых годов Гитлер казался нелепым и отвратительным гротеском. В 1964 году вряд ли кто-либо всерьез допускал, что республиканская партия выдвинет Голдуотера кандидатом на пост президента США. Вправе ли мы считать, что идея фашизма похоронена? Вот в Европе существуют организации NOE («Нуово ордине Еуропео» — «Новый европейский порядок»). В 1951 году они собрались впервые в Цюрихе, в 1952 — в Париже, потом регулярно каждые два года — в Ганновере, Лозанне, Милане. В 1962 году в их конгрессе приняли участие неофашистские организации из одиннадцати европейских стран. Испании, Италии, Германии, Франции, Бельгии, Англии, Швеции, Турции, Португалии, Ирландии и Швейцарии. Пока это не страшно — это только отвратительно. Но забывать нельзя ни о чем.

Можно ли было избежать позора и бедствия фашизма или он был исторически неотвратим? — говорил в 1947 году Тольятти.

«Было ли это связано с одним из тех катаклизмов, какими в прошлом являлись нашествия варваров, сметавших народы и режимы, причем иногда это имело место, несмотря на все усилия, которые те были в состоянии предпринять для своего спасения. Ответ несомненен. Это поражение не было неизбежным. Мы не находимся перед лицом одного из таких катаклизмов. Мы находимся перед лицом катастрофы, которую не можем не считать не связанной с определенной политикой, приведшей к этой катаст-

рофе; эту политику хотел проводить правящий класс, не умевший ни видеть, ни предвидеть, ибо, даже когда он явился свидетелем уничтожения материальных и моральных ценностей, с которыми связана вся жизнь нации, или когда мог предвидеть, что дело роковым образом неудержимо идет к их уничтожению, он не только не препятствовал этому, но и был соучастником, поскольку выше общих интересов ставил свои собственные эгоистические интересы, интересы касты, интересы сохранения определенного политического, экономического и общественного строя. Старый правящий класс Италии в момент, когда он совершал эту роковую ошибку, разоблачил себя как класс, уже больше не являющийся национальным, ибо национальным является только тот класс, который, защищая и укрепляя свои позиции, защищает и отстаивает интересы всех людей и, мне хотелось бы сказать, всего человечества»<sup>1</sup>.

\* \* \*

Порою в Италии происходят удивительные вещи. Вот, например, бывший наследный принц Умберто Савойский (он, собственно, был даже королем в течение месяца мая 1946 года, а потом после референдума и установления республики покинул страну, и его так и зовут: «майский король»),— так вот этот Умберто II прислал итальянскому правительству телеграмму, поздравляя с наступающим 1964 годом. Телеграмма очень милая, Умберто дает советы насчет укрепления мира и горячо приветствует вхождение социалистов в состав кабинета. «Этого всегда желали мой августейший родитель и я сам,— пишет «майский король»,— это сможет привести к укреплению демократических институтов».

Многие бывшие генералы фашистской милиции и тому подобные чины получают от итальянской республики пенсию. Даже Карло Скорца, бывший секретарь фашистской партии, эмигрировавший в Латинскую Америку и занимающийся там разными делами, получает от Италии две пенсии: как бывший генерал и как старый журналист. Получает пенсию и некий экс-генерал фашистской милиции, экс-префект в Республике Сало Уго Леонарди. С ним произошла история, звучащая просто фантастически: он обратился к властям с требованием изъять из обращения итальянский перевод книги крупного английского историка Ф. Дикина «История Республики Сало». Причина: историк оскорбил его, Леонарди, честное имя. В чем тут дело? Дикин цитирует и комментирует сообщение нацистского посла в Италии о том, что Паволини называл ему имя Леонарди в числе тех, кого можно включить в члены Веронского трибунала. Поскольку его все-таки не включили, Леонарди теперь очень обиделся. Издатель Джулио Эйнауди в связи со всем этим выразил крайнее изумление. «Очень грустно видеть»,— заявил он,— с какой необычайной легкостью бывший генерал фашистской милиции, бывший префект сумел помешать распространению серьезной и документированной книги Дикина, посвященной изучению исторического периода, о котором и сейчас, после двадцати лет, помнит вся страна».

И еще одна история, не менее удивительная, касающаяся судьбы Джакомо Ачербо, члена Большого совета. Этот Ачербо в 1962 году во время торжественной церемонии получил из рук президента итальянской республики золотую медаль за заслуги в области культуры, образования и искусства. Как это могло произойти? Да очень просто. Ачербо — профессор политической экономики и аграрных наук. Этот основатель фашистских организаций в Аbruццо, участник «похода на Рим», получивший от короля титул барона, а от Муссолини — бесчисленные признания его заслуг (многократно министр, член Большого совета, генерал фашистской милиции и т. д.), после черного двадцатилетия вернулся в систему высшей школы. Теперь он пишет воспоминания, отрывок из которых я читала. Тон настолько самодовольный, что диву даешься. Ачербо на заседании 25 июля голосовал за резолюцию Гранди и был заочно приговорен к расстрелу на процессе в Вероне. Он описывает, как за ним приходили, чтобы его арестовать, но «верные слуги» спасли добродетельного барона, который сейчас изображает себя чуть ли не как жертву фашизма. Затем он пишет, что был вторично приговорен к смертной казни после освобождения,— жертва вдвойне! Однако великодушные республики так велико,

<sup>1</sup> Пальмиро Тольятти. Речи в Учредительном собрании, стр. 19—20.

что, как мы видим, жизненная парабола Ачербо закончилась присуждением золотой медали...

Мне случилось читать (не знаю, насколько все это достоверно), что из итальянских библиотек исчезают определенные книги, из архивов пропадают какие-то документы. Трудно, однако, допустить, что таким способом можно обмануть историю, помешать установлению правды — правды фактов, событий, поступков, характеров. Современная итальянская историография стоит на очень высоком уровне. И самая большая заслуга (это признают даже противники) принадлежит сильной группе историков, которые в своих исследованиях пользуются испытанным компасом марксизма. Покойный Роберто Батталья, Паоло Алатри, Джорджо Канделоро — представители этой блестящей исторической школы. Нельзя до конца понять диалектическое развитие событий, возникновение фашизма, крах фашизма, политическую обстановку, сложившуюся в стране сегодня, не имея путеводной нити. Надо начинать издалека.

Много занимался вопросами истории и Пальмиро Тольятти. Он придавал исключительное значение объективному, серьезному, строго научному подходу и к истории и к событиям современной политической жизни. Однажды в Учредительном собрании в полемике с депутатом Джаннини он произнес такие слова: «...для нас демократия — не только принцип и совокупность институтов, но также и метод, и прежде всего метод обсуждать позицию, занимаемую противником, излагая ее точно, объективно, не выдавая за идеологию противника то отвратительное пугало, которое вы пытаетесь создать и пустить гулять по улицам с помощью фашистской и неофашистской печати. Другими словами, демократия — это прежде всего честность в политической полемике»<sup>1</sup>.

Антонио Грамши и Пальмиро Тольятти. Счастлива партия, созданная такими людьми! Рано погиб Грамши. Совсем недавно мы потеряли Тольятти. И хотя они очень разные — по характеру, темпераменту, по судьбе.— есть какие-то самые важные черты, объединяющие их в сознании и памяти народа. Пишу это и боюсь невольной впасть в риторику — оба они не терпели ее. Может быть, появится какой-нибудь большой итальянский писатель, который найдет нужные слова, чтобы рассказать о Грамши и о Тольятти. О сочетании лучшей национальной культурной традиции с убежденностью и широтой мысли ученых-марксистов. О мужестве, об иронии, о даре политического предвидения, об умении признавать ошибки, об огромных, разносторонних знаниях. И о человеческом обаянии.

Они встретились и подружились в студенческие годы, в расцвет «эры Джолитти», и совсем молодыми примкнули к социалистическому движению. Они учились на опыте Октябрьской революции и на книгах Ленина. Они основали группу и еженедельник «Ордине нуово» и создавали Итальянскую коммунистическую партию в 1921 году.

Сейчас я думаю о письмах, которые Грамши писал близким из тюрьмы. О тех, что опубликованы в нашем трехтомнике, и о других, которые я сама переводила, — еще не все они увидели свет. Удивительные письма, светлый ум, удивительный человек — мягкий и непримиримый, не переносивший ни малейшей фальши, впечатлительный и нервный, иногда сомневающийся в своих силах, но неизменно бесстрашный и непоколебимо верящий в силы итальянского рабочего класса и конечную победу революции.

И я думаю о Тольятти, о его статьях и выступлениях, о его ошеломляющей эрудиции (он говорил по-латыни, на память цитировал длиннейшие латинские тексты, повергая в изумление даже парламентариев-католиков, он в момент острого политического кризиса самозабвенно спорил о каком-то сонете). О том, как его любили: когда в 1948 году на Тольятти было совершено покушение и об этом сообщили по радио, в Италии стихийно вспыхнула небывалая по размаху и единодушию забастовка протеста. Удар был нанесен в самое сердце народа, и народ понял это. В чистом поле останавливались поезда, закрывались магазины, в Турине рабочие заняли заводы «Фиат», в Неаполе на улицах перед портретами «нашего Пальмиро» зажигали свечи — трогательная и наивная символика: это желали ему выздоровления. Во многих городах полиция и неофашисты стреляли в демонстрантов, были убитые и раненые. В Риме на протяжении долгих часов сотни тысяч людей в безмолвии проходили под окнами кли-

<sup>1</sup> Пальмиро Тольятти. Речи в Учредительном собрании, стр. 317.

ники, где боролся со смертью Тольятти. Его лечили доктор Марио Спаллоне и профессор Чезаре Фругони. Эти же врачи тщетно пытались спасти его — вместе с лучшими нашими врачами — через шестнадцать лет в Артеке.

Еще шестнадцать лет подарила ему судьба — и каких лет!

Политическая история Италии в послевоенный период развивалась сложно, противоречиво, своеобразно. Бурное развитие экономики, урбанизация, значительный количественный рост пролетариата, тупик, в который в конце концов завела страну хаотическая, бесхарактерная, подчиняющаяся своекорыстным интересам монополий политика. И наряду с этим огромная тяга к единству трудящихся. «В Италии единство рабочего класса — это сила, против которой нельзя идти, — говорил Тольятти, — ибо также и она порождена историей Италии и лучшими традициями нашего рабочего движения». Режим убийц и комедантов, режим показного блеска и полнейшей духовной нищеты канул в прошлое. И все попытки «молодых, способных консерваторов» и неофашистов всех мастей гальванизировать политический труп фашизма, все их провокации, скандалы, псножовщина и бомбы показывают только, как они ничтожны и изолированы от народной толщи. Фашизм чернорубашечников не повторится никогда. Но до тех пор, пока не решены фундаментальные, жгучие проблемы социальной и гражданской жизни, никто не смеет забывать о прошлом.

В Италии около двух миллионов коммунистов. Это накладывает неизгладимый отпечаток на всю национальную жизнь, на политику и культуру страны. Итальянская коммунистическая партия не является сторонним наблюдателем, который только разоблачает и критикует, — она активно, упорно, остро откликается на все происходящее в стране, предлагает конструктивные решения, отстаивает единство трудящихся, борется за демократическое планирование, за осуществление республиканской конституции, за новую, свободную Италию. Существуют моральные ценности, завоеванные ценой народной крови, — они нерушимы. Похороны Тольятти — дни скорби и траура, глубочайшего горя — уже вошли в историю. Ничего подобного Италия и Рим до сих пор не знали. Он был великим коммунистом и великим итальянцем, ему отдавали должное политические противники, за него молились верующие. Присутствие Тольятти, его роль, его влияние, его огромная работа и авторитет на протяжении многих лет были важнейшим фактом политической и культурной жизни.

Его провожали в последний путь партизаны и патриоты, старые коммунисты — подпольщики и эмигранты — и молодежь, которая не знала фашизма. Из здания ЦК на виа делье Боттече Оскуре несли его гроб на руках через весь город, и миллионная толпа шла на площадь Сан-Джованни, где так часто выступал Тольятти перед гражданами Рима. «Мы все здесь, товарищ Тольятти, — сказал секретарь итальянского комсомола Оккетто, — мы здесь, вокруг тебя, с нашими знаменами, мы — новое поколение коммунистов и бойцов твоей партии, мы пришли сказать последнее прости учителю, воспитателю, революционеру. И нас так много, целое море. Когда вы с Грамши, совсем молодые, начинали великую революционную борьбу, вас было очень мало. А сейчас это уже не просто авангард. За тобой, товарищ Тольятти, народ, люди, которые приветствуют тебя, поджав сжатый кулак, и другие люди, которые осеняют себя крестным знаменем. В этом величии революционера: быть не только руководителем одной части, но любимым вождем всего народа...»

Наступило 25 апреля, праздник Освобождения Италии, праздник антифашистов всего мира. Будущее зреет в сегодняшнем, в славных традициях итальянского рабочего движения, в самоотверженности его бойцов, в их воле и разуме, в их интернационализме. Впереди нелегкий путь, победа не приходит сама. Но в конечную, неперенную, быть может близкую, победу верят, за нее борются миллионы людей. И мы, также воспитанные на идеалах интернационализма и братства, были мысленно с теми, кто прошел в этот день по улицам итальянских городов с боевыми знаменами и песнями. Вместе с ними мы еще раз повторили: «Вечное проклятие фашизму, да здравствует свобода!».



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

*Михаилу Александровичу Шолохову исполнилось шестьдесят лет.*

*Целое сорокалетие из этого срока отдано им литературе, и тома его собрания сочинений стали яркой летописью жизни, прожитой советским народом. «Тихий Дон» и «Поднятая целина» известны читателям на всех континентах. Многие их страницы стали хрестоматийными образцами высокой художественной русской прозы, и уже не одно поколение — «по Шолохову» — узнавало правду о нашей революции, о становлении нового общества; из шолоховских книг эти поколения читателей черпали примеры мужества и в общении с миром его произведений становились богаче душой.*

*Само имя юбиляра стало синонимом высокого литературного мастерства и взыскательности художника.*

*«Новый мир» гордится тем, что многие произведения М. А. Шолохова впервые увидели свет на его страницах.*

*От всей души поздравляем Вас, дорогой Михаил Александрович, со славным юбилеем. Желаем долгих лет жизни и вдохновенного творчества.*

Ф. БИРЮКОВ

★

## СНОВА О МЕЛЕХОВЕ

**О** Шолохове-художнике сказано немало интересного, хорошего, яркого. Вспомним хотя бы давнюю статью Серафимовича, когда старый писатель так радостно приветствовал талант молодого. Советские и передовые зарубежные критики по достоинству оценили истинно народное, высокое и правдивое искусство Шолохова, глубину поставленных им проблем, его художественное мастерство. И, как всегда, всякое новое слово о писателе было связано с естественным стремлением пересмотреть некоторые отжившие, полинявшие представления о нем.

Со времени появления «Тихого Дона» и первой книги «Поднятой целины» многое изменилось в нашем общественном сознании. Мы теперь точнее мыслим в историческом отношении, решительнее отвергаем догмы и мертвые абстракции. Не оттого ли яснее, глубже воспринимаются ныне и ставшие советской классикой книги Шолохова?

Споры о Шолохове продолжают. Они примечательны тем, что отражают наш сегодняшшний повышенный интерес к проблемам человечности и правды в искусстве.

Начну с цитаты. Она по необходимости будет длинной.

Последняя часть «Тихого Дона»...

Демобилизованный из Красной Армии Григорий осенью 1920 года возвратился домой. До этого он прошел империалистическую войну, потом защищал советскую власть, восставал против нее и снова перешел в ряды Красной Армии. Восемь лет не слезал с коня. Он весь изранен и измучен.

На пороге родного дома его встретила сестра, дети — только они и остались от семьи. Да прибавился зять, Михаил Кошевой, друг юности, которого развели с Григорием бушевавшие на Дону события. Кошевой теперь — председатель ревкома.

Григорий «хотел обнять Михаила, но увидел в безулыбчивых глазах его холодок, неприязнь и сдержался». Ночью завязался разговор: «Григорий сказал:

— Что-то у нас не так... По тебе вижу, не так! Не по душе тебе мой приезд? Или я ошибаюсь?

...— Враги мы с тобой...

— Были.

— Да, видно, и будем.

— Не понимаю. Почему?  
 — Ненадежный ты человек.  
 — Это ты зря. Говоришь ты это зря!  
 — Нет, не зря. Почему тебя в такое время демобилизовали? Скажи прямо?  
 — Не знаю.  
 — Нет, знаешь, да не хочешь сказать! Не доверяли тебе, так?  
 — Ежли б не верили — не дали бы эскадрон.  
 — Это на первых порах, а раз в армии тебя не оставили, стало быть, дело ясное, браток!  
 — А ты мне веришь? — глядя в упор, спросил Григорий.  
 — Нет! Как волка ни корми, он в лес глядит.  
 — Ты выпил нынче лишнего, Михаил.  
 — Это ты брось! Я не пьяней твоего. Там тебе не верили и тут веры большой давать не будут, так и знай!  
 ...— Тебе жена рассказывала про Кирюшку Громова? — спросил Михаил.  
 — Да.  
 — Тоже не по душе мне был его приезд. Как только услышал я, в этот же день...  
 Григорий побледнел, глаза его округлились от бешенства.  
 — Что ж я тебе — Кирюшка Громов?!  
 — Не шуми. А чем ты лучше?  
 — Ну, знаешь...  
 — Тут и знать нечего. Все давно узнало. А потом Митька Коршунов явится, мне тоже радоваться? Нет, уж лучше бы вы не являлись в хутор.  
 — Для тебя лучше?  
 — И для меня, да и народу лучше, спокойнее.  
 — Ты меня с ними не равняй!  
 — Я уже тебе сказал, Григорий, и обижаться тут нечего: ты не лучше их, ты непременно хуже, опасней.  
 — Чем же? Чего ты мелешь?  
 — Они рядовые, а ты закручивал всем восстанием.  
 — Не я им закручивал, я был командиром дивизии.  
 — А это мало?  
 — Мало или много — не в том дело... Ежли б тогда на гулянке меня не собирались убить красноармейцы, я бы, может, и не участвовал в восстании.  
 — Не был бы ты офицером, никто б тебя не трогал.  
 — Ежли б меня не брали на службу, не

был бы я офицером... Ну, это длинная песня!

— И длинная и поганая песня.  
 — Зараз ее не перепевать, опаздано.

Они молча закурили. Сбивая ногтем пепел с сигарки, Кошевой сказал:

— Знаю я об твоих геройствах, слышал. Много ты наших бойцов загубил, через это и не могу легко на тебя глядеть... Этого из памяти не выкинешь.

Григорий усмехнулся.

— Крепкая у тебя память! Ты брата Петра убил, а я тебе что-то об этом не напоминаю... Ежли все помнить — волками надо жить.

— Ну, что ж, убил, не отказываюсь! Довелось бы мне тогда тебя поймасть, я и тебя бы положил, как миленького!

— А я, когда Ивана Алексеевича в Усть-Хопре в плен забрали, спешил, боялся, что и ты там, боялся, что убьют тебя казаки... Выходит, занарасну я тогда спешил.

— Благодетель какой нашелся! Поглядел бы я, как ты со мной разговаривал, ежли б зараз кадетская власть была, ежли б вы одолели. Ремни бы со спины, небось, вырезывал! Это ты зараз такой добрый...

— Может, кто-нибудь и резал бы ремни, а я поганить об тебя рук не стал бы.

...— Так ты чего ж, Михаил, боишься? Что я опять буду против советской власти бунтовать?

— Ничего я не боюсь, а между прочим думаю: случись какая-нибудь заварушка — и ты переметнешься на другую сторону.

— Я мог бы там перейти к полякам, как ты думаешь? У нас целая часть перешла к ним.

— Не успел?

— Нет, не схотел. Я отслужил свое. Никому больше не хочу служить. Навоевался за свой век предостаточно и уморился душой страшно. Все мне надоело, и революция и контрреволюция. Нехай бы вся эта... нехай оно все идет пропадом! Хочу пожить возле своих детишек, заняться хозяйством, вот и все. Ты поверь, Михаил, говорю это от чистого сердца!

Впрочем, никакие заверения уже не могли убедить Кошевого. Григорий понял это и умолк...

— Кончим этот никчемущий разговор! Хватит! Одно хочу тебе напоследок сказать: против власти я не пойду до тех пор, пока она меня за хрип не возьмет. А возьмет — буду обороняться! Во всяком случае за вос-

стане голову подкладать, как Платон Рябчиков, не буду.

— Это как, то есть?

— Так. Пушай мне зачтут службу в Красной Армии и ранения, какие там получил, согласен отсидеть за восстание, но уж ежели расстрел за это получать — извиняйте! Дюже густо будет!

Михаил презрительно усмехнулся:

— Тоже, моду выдумал! Ревтрибунал или Чека у тебя не будет спрашивать, чего ты хочешь и чего не хочешь, и торговаться с тобой не будут. Раз проштрафился — получи свой паек с довеском. За старые долги надобно платить сполна!

— Ну, тогда поглядим.

— Поглядим, ясное дело.

...— Не думал, что ты обо мне такого мнения... Ну, что ж...

— Я сказал прямо. Что думаю, то и сказал. В Вешенскую когда поедешь?

— Как-нибудь, днями.

— Не как-нибудь, а надо ехать завтра.

— Я шел пешком почти сорок верст, подбил, завтра отдохну, а послезавтра пойду на регистрацию.

— Приказ есть такой — регистрироваться немедленно. Ступай завтра.

— День-то отдохнуть надо? Не убегу же я.

— А чорт тебя знает. Я за тебя отвечать не хочу.

— До чего же ты сволочной стал, Михаил! — сказал Григорий, не без удивления разглядывая посуровевшее лицо бывшего друга.

— Ты меня не сволочи! Я к этому не привык...— Михаил перевел дух и повысил голос: — Эти, знаешь, офицерские повадки бросать надо! Отправляйся завтра же, а ежели добром не пойдешь — погоню под конвоем. Понятно?

— Теперь все понятно...— Григорий с ненавистью посмотрел в спину уходившему Михаилу, не раздеваясь лег на кровать».

Этот ночной разговор Мелехова и Кошевого представляет собою очень важный узел романа. Мимо этой сцены не прошел, пожалуй, ни один из исследователей Шолохова. Но истолковывали ее по-разному.

И. Лежнев: «Мелехов был допущен в ряды Красной Армии по недосмотру: если бы фильтрационная комиссия расследовала его случай не поверхностно, не впопыхах... он не был бы допущен в ряды Красной Армии...

Мелехов, вытолкнутый из рядов Красной Армии, как одиночка и чужак, противопоставит массе трудовых казаков, вступивших на путь советизации. И политические настроения у него иные, чем у них, и судьба его ждет иная»<sup>1</sup>.

«Поведение Кошевого целиком оправдано и политически и психологически»<sup>2</sup>.

Ю. Лукин о Кошевом: «Хотелось бы видеть на его месте человека большего масштаба, несущего в себе большую идейную направленность. И кто знает: столкни автор Григория на завершающих этапах истории с большевистским деятелем иного уровня, иного опыта и кругозора — не изменилась ли бы существенным образом судьба основного героя «Тихого Дона»<sup>3</sup>.

Л. Якименко: «Если даже допустить, что на месте Кошевого в то время в казачьем хуторе мог оказаться «человек большего масштаба», то неужели не ясно, что это могло бы изменить судьбу только отдельного человека, но не характер общественно-го процесса?»<sup>4</sup>.

В. Гура: «Писатель подчеркивает, с одной стороны, неустойчивость тех социальных сил, которые воплощает «ненадежный человек» Григорий, с другой стороны, — бдительность, принципиальность, политический рост коммуниста Кошевого... С душевной прямоотой высказывает Кошевой свое отношение к Григорию, не без оснований настаивает на его аресте»<sup>5</sup>.

В. Петелин: «Григорий прошел тот же путь, что и каждый рядовой казак хутора Татарского, вплоть до вступления в Первую конную, он о том же думает, мечтает, возвращаясь в родной хутор, как и все казаки: о мирной работе хлебороба. Духовно он всегда с родным народом, хотя личная судьба его иногда сложнее и безрадостнее, чем судьбы остальных казаков»<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> И. Лежнев. Путь Шолохова. Творческая биография. «Советский писатель». М. 1958, стр. 334, 339.

<sup>2</sup> И. Лежнев. Михаил Шолохов. «Советский писатель». М. 1948, стр. 222.

<sup>3</sup> Ю. Лукин. Михаил Шолохов. Критико-биографический очерк. «Советский писатель». М. 1952, стр. 40. В издании 1962 года этого места нет.

<sup>4</sup> Л. Якименко. Творчество М. Шолохова. «Советский писатель». М. 1964, стр. 299, 353—354.

<sup>5</sup> В. В. Гура. Жизнь и творчество М. А. Шолохова. Учпедгиз. М. 1960, стр. 121.

<sup>6</sup> «Творчество М. А. Шолохова». Сборник статей. «Просвещение». М. 1964, стр. 70.

В. Камянов: «Одному кажутся высшими некие всечеловеческие принципы, другому — классовые. Обвинял Кошевого в непонимании сложной драмы Мелехова ...можно лишь стоя на тех же абстрактных позициях, что и сам Мелехов»<sup>1</sup>.

А. Хватов: «Короче говоря, ему (Кошевому.— Ф. Б.) как коммунисту не хватает идейной зрелости, политического кругозора и такта... Субъективная честность, свойственная Михаилу Кошевому, сама по себе не может быть гарантией успеха в деятельности руководителя, вожака масс»<sup>2</sup>.

В. Щербина: «Кошевого обвиняли в сухости, непонимании путей крестьянства в революции, политическом схематизме. Было даже выдвинуто обвинение, что в печальной гибели Григория Мелехова виноват Кошевой: если бы Кошевой менее сурово отнесся к нему после возвращения с фронта, то, возможно, и не пришлось бы тому идти в банду Фомина. Совершенно очевидно незнание реальной обстановки того времени на Дону. Как же быть мягким Кошевому, если перед ним бывший командир белой повстанческой дивизии? Неизвестно еще, куда он повернет... На самом же деле это была вполне законная реакция на враждебный террор»<sup>3</sup>.

В. Гришаев: «Некоторые критики считают Григория чужим трудовому казачеству, но сами казаки таким его не считают. Они приняли его в свое сердце и в свою семью безоговорочно, как бы ни отвергал его и сам Михаил Кошевой»<sup>4</sup>.

Н. Маслин: «Конец Григория предопределен всем развитием характера героя и основными историческими процессами. Сколько-нибудь заметных коренных изменений в сознании Григория в восьмой, последней части не происходит... Он, хотя и сражается на стороне красных в течение целого полугодия, остается все-таки решительно враждебным социалистической революции»<sup>5</sup>.

Разногласия, как видим, заметные. Большинство критиков оправдывает Кошевого.

<sup>1</sup> «Русская литература», № 4, 1960, стр. 99.

<sup>2</sup> «Нева», № 5, 1964, стр. 183.

<sup>3</sup> В. Щербина. Эпоха и человек. Литературно-критические очерки. «Советский писатель». М. 1961, стр. 454.

<sup>4</sup> В. Гришаев. Наш Шолохов. «Знание». М. 1964, стр. 51.

<sup>5</sup> Н. Маслин. Роман Шолохова. Издательство Академии наук СССР. М. 1963, стр. 114.

Немногие стоят на стороне Мелехова. Есть и средняя точка зрения<sup>1</sup>.

Кто же прав? Попробуем разобраться.

«Ты закручивал всем восстанием», — бросает обвинение Кошевой. Не вернее ли сказать, что восстание закрутило Григория? Не с Мелехова же оно началось. Хуторяне сначала даже не доверили ему командования над повстанцами, зная о его службе у красных. И Григория это не опечалило. Ведь он стал повстанцем не потому, что хотел этого.

Мы ничего не поймем в характере событий, изображенных в романе, если не будем учитывать, что восстание на Дону было вызвано грубым извращением ленинской политической линии в специфических условиях казачьей среды. Ленинская стратегия предусматривала переход крестьян-тружеников (вроде Мелеховых, Астахова, Аникушки, Христови, Авдечича) на сторону советской власти.

В ноябре 1918 года, накануне восстания, В. И. Ленин писал: «Надо уметь привлечь к себе, включить в общую организацию, подчинить общепролетарской дисциплине наименее пролетарские, наиболее мелкобуржуазные слои трудящихся, которые поворачивают к нам. Тут лозунг момента — не борьба с ними, а привлечение их, умение наладить воздействие на них, убеждение колеблющихся, использование нейтральных, воспитание, — обстановкой массового пролетарского влияния, — тех, кто отстал или совсем недавно еще начал отделяться от «учредилловских» или «патриотически-демократических иллюзий»<sup>2</sup>.

Вождь революции указывал на двойственную природу крестьянского сознания — трезвый рассудок и темный предрассудок, учил осмотрительной и осторожной — без насилия и окрика — гибкой тактике. В «Докладе о работе в деревне» на VIII съезде РКП(б) он под аплодисменты всего зала провозгласил: «Задача здесь сводится не к экспроприации среднего крестьянина, а к тому, чтобы учесть особенные условия жизни крестьянина, к тому, чтобы учиться у крестьян способам перехода к лучшему строю и не сметь командовать!»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> См. А. Н. Калинин. Вешенское лето. Очерки. «Советский писатель». М. 1964, стр. 23.

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 195.

<sup>3</sup> Там же, т. 38, стр. 201.



«Не смей командовать!» А в романе Шолохова изображена такая ситуация, когда «загибщики» начали именно командовать... Да еще как!

В письме Шолохова Горькому, обороняясь от нападок некоторых руководителей РАППа, писатель так объяснял непонятую ими историческую обстановку на Дону, определившую судьбы его героев:

«Теперь несколько замечаний о восстании:

1. Возникло оно в результате перегибов по отношению к казаку-средняку.

2. Этим обстоятельством воспользовались эмиссары Деникина, работавшие в Верхне-Донском округе и превратившие разновременные повстанческие всплески в поголовное организованное выступление. Причем характерно то, что иногородние, бывшие до этого по сути опорой советской власти на Дону, в преобладающем большинстве дрались на стороне повстанцев, создав свои так называемые «иногородние дружины», и дрались ожесточенней, а следовательно, и лучше казаков-повстанцев...

Наиболее мощная экономически верхушка станицы и хутора: купцы, попы, мельники, отделялись денежной контрибуцией, а под пулю шли казаки зачастую из низов социальной прослойки. И естественно, что такая политика, проводимая некоторыми представителями советской власти, иногда даже заведомыми врагами, была истолкована как желание уничтожить не классы, а казачество...

В 6-й части я ввел «шелкоперов от советской власти» (парень из округа, приехавший забирать конфискованную одежду, отчасти обиженный белыми луганец, комиссар 9-й армии Малкин — подлинно существовавший и продельвавший то, о чем я рассказал устами подводчика старовера, член малкинской коллегии, тоже доподлинный тип, агитировавший за социализм столь оригинальным способом) для того, чтобы, противопоставив им Кошевого, Штокмана, Ивана Алексеевича и др., показать, что не все такие «загибщики» и что эти самые «загибщики» искажали идею советской власти... Думается мне, Алексей Максимович, что вопрос об отношении к среднему крестьянству еще долго будет стоять и перед нами, и перед коммунистами тех стран, какие пойдут дорогой нашей революции. Прошлогодняя история с коллективизацией

и перегибами, в какой-то мере аналогичными перегибам 1919 г., подтверждает это»<sup>1</sup>.

Напомним читателю эпизод из «Тихого Дона», упомянутый здесь Шолоховым — рассказ возницы о комиссаре 9-й армии Малкине. «Собирает с хуторов стариков, — рассказывает возница Штокману и Кошевому, — ведет их в хворост, вынает там из них души, телешнт их допрежь и хоронить не велит родным. А беда ихняя в том, что их станишными почетными судьями выбирали когда-то... И вот этот Малкин чужими жизнями, как бог, распоряжается...»

«По третьей категории его!» — командует он. Одного казака расстрелял ради потехи, другого — «только за то, что бороду откохал да в лихой час попался Малкину на глаза. Это не смыванье над народом?» — возмущается возница.

«Потеснили вы казаков, надурили, а то бы вашей власти и износу не было. Дурастного народу у вас много, через это и восстание получилось... Расстреливали людей. Нынче одного, завтра, глядишь, другого... Кому ж антрес своей очереди ждать?»

И еще: «А комиссар в Буковской так, к примеру, наворачивал: «Я, дескать, вас расказачу, сукиных сынов, так, что вы век будете помнить!..» Так на майдане в Буковской и шумели при всем станишном сборе. А дадены ему такие права от советской власти? То-го и оно! Мандаты, небось, нету на такие подобные дела, чтоб всех под одну гребенку стричь. Казаки — они тоже разные...»

Штокман, Кошевой и возница понимают опасность малкинской авантюры. Но вот другой политком, работающий вместе с Малкиным, смотрит иначе: «Парень-то он хороший, но не особенно разбирается в политической обстановке. Да ведь лес рубят, щепки летят... Сейчас он эвакуирует в глубь России мужское население станиц».

Сказать о комиссаре, что он парень хороший, но не особенно разбирается в политической обстановке, это все равно, что похвалить врача: хороший, да только вот лечить не умеет — калечит.

Красноречив и эпизод с луганцем, также упомянутый Шолоховым в письме к Горькому. Красноармейский полк занял хутор. Один из определенных на квартиру к Мелеховым красноармейцев — Тюрников убивает

<sup>1</sup> «Литературное наследство». Горький и советские писатели, т. 70. Издательство Академии наук СССР. М. 1963, стр. 695–697.

около дома хозяйскую собаку. Григорий спрашивает его: «Помешала?» И слышит в ответ: «А тебе что? Жалко? А мне вот и на тебя патрон не жалко потратить. Хочешь? Становись!»

Луганец оскорбляет Мелеховых, его грубые придирки лихорадят всю семью: трясущий озноб бьет Пантелея Прокофьевича, плачет Наталья, все боятся говорить вслух. «Я тебе вот что скажу, говариш... Негоже ты ведешь себя. Мы ить сами бросили фронт, пустили вас, а ты как в завоеванную страну пришел... Собак стрелять—это всякий сумеет, и безоружного убить и обидеть тоже нехитро»,— пробует урезонить Тюрникова Григорий.

Когда располагались спать, Григорий «принес и расстелил им полсть, в голова положил свой полушубок:

— Сам служил, знаю,— примиряюще улыбнулся он тому, кто чувствовал в нем врага.

Однако луганец продолжает дебоширить, назревает скандал. Григорий «в этот миг знал непреложно, что духом готов на любое испытание и унижение, лишь бы сбегать свою и родимых жизнь». Но на этот раз дело решается миром. Один из красноармейцев докладывает о случившемся комиссару, и скандалиста уводят.

Характерно, что в семье Мелеховых ценят благородство. Когда утром вступившийся за них красноармеец, извиняясь за луганца, дружелюбно прощается и выходит, старик гневно говорит Наталье:

«— Необразованность ваша! Хучь бы пышку дала ему на дорогу. Отдарить-то надо доброго человека? Эх!

— Беги! — приказал Григорий».

Как много смысла в этой сцене, в слове «беги», вырвавшемся у Григория. Была, значит, основа для дружбы красноармейцев с Мелеховыми. Не Коршуновы они и не Моховы, не кулацкие палачи. Сословная спесь живет и в них, но все-таки Мелеховы готовы ответить душой на искреннюю доброту и честность. А разве не многозначительна сцена, когда накануне описанной сцены, перед приходом красноармейской части, они начали было собираться в «отступ», но кончилось тем, что все рассмеялись и порешили остаться? Не признак ли это их стремления к миру, согласию с советской властью?

Видимо, если бы все время вот так по-человечески, с сознанием ответственности пе-

ред революцией, разговаривали с Мелеховыми и в особенности с Григорием, они не были бы нашими врагами. Но что же произошло дальше?

Григория пригласили в дом Аникушки на пьяную вечеринку, устроенную анархистами из красноармейской части. Отец посоветовал: «Пойди, а то скажут: мол, за низкое считает. Ты иди, не помни зла».

Григорий пришел. Ему передали: «Тебя убить сговариваются... Кто-то доказал, что офицер... Беги...» Тут уже это «Беги...» звучит совсем по-иному, мрачно, зловеще. И он бежит. А вдогонку стреляют. «Как за зверем били»,— механически подумал он. «Пришли домой,— рассказывает Григорий после,— мое все дочиста забрали. И шаровары и поддевки». Могло ли все это остаться без влияния на душу Григория, на его поступки?

А тут еще мрачные слухи, ползущие по хутору. «Говорили о том, что не фронт страшен, прокатившийся волной и легший возле Донца, а чрезвычайные комиссии и трибуналы. Говорили, что со дня на день ждут их в станицах, что будто бы в Мигулинской и Казанской уже появились они и вершат суды короткие и неправые над казачками, служившими у белых».

Слух есть слух. Но ведь и на самом деле как для Татарского обернулось решение ревтрибунала «изъять все наиболее враждебное» — попов, атаманов, офицеров, богатеев? Список составлен был на десять человек. Семеро, кого удалось арестовать и отправить в Вешенскую, были расстреляны в тот же день. Не зря, видно, Иван Алексеевич возмущается: «Я думал, им тюрьму дадут, а этак что же... Этак мы ничего тут не сделаем! Отойдет народ от нас... Тут что-то не так. На что надо было сничтожать людей? Что теперь будет?»

Но дело не только в этом. Алешка Шамиль спрашивает на схоле: «Ну, скажи, правильно расстреляли хуторных наших? За Коршунова гутарить не буду,— он атаманил, весь век на чужом горбу катался. а вот Авденча Бреха за что? Кашулина Матвея? Богатырева? Майданникова? А Королева? Они такие же, как и мы, темные, простые, непутаные. Учили их за чапиги держаться, а не за книжку... И ежели эти люди сболтнули что плохое, то разве за это на мушку их надо брать?..»

Вместо того, чтобы изолировать контрреволюционеров — эта мера была необхо-

дима — местные руководители, как видим, допускали перегибы, били по колеблющимся и до предела накалили обстановку. Вот почему волнение среди казаков приняло обостренную форму и возмущение приобрело такой размах. «Полой водой взбурлилось и разлилось восстание, затонило все Обдонец, залонские степные края на четыреста верст в окружности». Понесла, завертела коловерт...

Григорию стало известно, что он вместе с отцом внесен в черный список, что его разыскивают, чтобы расстрелять. А что, собственно, случилось, за что такая казнь? Нельзя сказать, чтобы совсем без вины. Зашел он как-то в свой ревком на огонек и высказал друзьям, «что в грудях накипело». «Казакам эта власть, окромя разору, ничего не дает.— говорил он...— Что коммунисты, что генералы — одно ярмо». Конечно, рассуждение это принадлежит человеку темному, малосознательному, но на его впечатлительную натуру сильно действуют некоторые факты. Вот, скажем, идут через хутор красные. «Взводный в хромовых сапогах, а «Ванек» в обмоточках. Комиссара видал, весь в кожу залез, и штаны и ту-журка...» Где же равенство? — интересуется Григорий.

Но ведь такие рассуждения были в ту пору не редки. Партия стремилась разъяснить массам действительное положение, просветить их, развеять предубеждения.

Когда по предложению Ленина на пост председателя ВЦИК был назначен М. И. Калинин, он поехал по волостям — узнать настроение крестьян, поговорить с ними. М. И. Калинин рассказывал: «Я как-то давно выступал в Казанской губернии. Вдруг выходит одна женщина и говорит: «Вот ты в сапогах ходишь, а где у нас сапоги?» А у меня тогда, правда, хорошие сапоги были... Я посмотрел на нее и говорю: «А что же вы хотите, чтобы председатель ЦИК, представитель верховной власти, приехал к вам в лаптях». И кругом закричали: «Правильно, правильно»<sup>1</sup>. Калинин ответил. И убедил всех, кто его слушал.

Григорий стоит за уравнительность. Это наивно, но вряд ли преступно. Не то ли самое проповедовал бойцам Чапаев: «Отняли у буржуа сто коров — сотне крестьян

отдадим по корове. Отняли одежду — и одежду разделим поровну... Верно ли говорю?!

— Верно... верно... верно... — рокомотом катилось в ответ...

— Обедая — садись со мной обедать, чай пью — и чай пить садись. Вот я какой командир!»<sup>1</sup>.

Чапаева, когда он слишком увлекался идеей всеобщего «дележа», тактичноправлял комиссар. С Григорием же обошлись иначе: сгоряча внесли в список врагов революции.

Без серьезных оснований попал в список и Пантелей Прокофьевич. Он, конечно, колеблется. Но когда сват Коршунов начал агитировать «власть эту пихнуть», Пантелей Прокофьевич предостерег: «Гляди, поскользнешься — беды наживешь». Опасливо, с тревогой прислушивался он к смуте, не одобрял. Но едва он начал ходить после тифа — пришел милиционер, дал на сборы десять минут. Перед отправкой в Вешенскую посадили в моховский подвал. Петро сообщил Григорию: «У нас ить семерых прислонили к стенке, слышал? Как бы отцу такая линия не вышла... А про тебя и гутарить нечего!»

Григорий идет на восстание из кизечного логова, где «по-звериному сторожил каждый звук и голос снаружи». Отец — из моховского подвала. Но надо ли было загонять их туда и тем самым толкать к мятежу — это многих исследователей романа Шолохова не интересует. Все объясняют одинаково: двойственная природа собственника, естественные метания мелкого буржуа, закономерность исторического процесса, социальная неустойчивость... И все.

Озлобленный до предела, Григорий становится вожаком повстанцев, наметом ведет за собой тридцать двух татарцев, а через несколько дней — уже три с половиной тысячи сабель. Но и тогда его тревожит мысль: «А главное — против кого веду? Против народа... Кто же прав?» «Заблудились мы, когда на восстание пошли».

Преступление одно страшнее другого совершит он. Будет метаться, тосковать, мстить за Петра, убивать и тут же истерически рыдать над убитыми матросами: «Кого же рубил!.. Ератцы, нет мне прощения!.. Зарубите, ради бога... в бога мать... Смер-

<sup>1</sup> М. И. Калинин. О корреспондентах и корреспондентях. Госполитиздат. М. 1958, стр. 169.

<sup>1</sup> Д. М. Фурманов. Собрание сочинений в четырех томах. Гослитиздат. М. 1960, т. 1, стр. 114—115.

ти... предайте!» Он самовольно выпустит из белогвардейской тюрьмы заключенных, помчится спасать Котлярова, Штокмана и Кошевого («Кровь променя нас, но ить не чужие ж мы?!» — думал Григорий, бешено охаживая коня плетью, наметом спускаясь с бугра»). Он будет с завистью смотреть на красных командиров. И не раз охватит его бешеная ненависть к Фицхалаурову, союзникам белогвардейцев, мародерам, карьеристам. «Спутали нас ученые люди... Господа спутали! Стреножили жизнь и нашими руками вершат свои дела», — размышляет Мелехов.

В разгар кровопролитной борьбы он пожалуется Наталье: «...Вся жизнь похитнулась... Людей убиваешь... Неизвестно для чего всю эту кашу... Неправильный у жизни ход, и, может, и я в этом виноватый... Зараз бы с красными надо замириться и — на кадетов. А как? Кто нас сведет с советской властью? Как нашим обчим обидам счет произвесть?.. Война все из меня вычерпала. Я сам себе страшный стал». И выслушает мудрый материнский укор: «Слухом пользовались мы, что ты каких-то матросов порубил... Господи! Да ты, Гришенька, опамятуйся! У тебя ить вон, гля, какие дети растут, и у энтих, загубленных тобой, тоже, небось, детки поостались... Ну, как же так можно? В измальстве какой ты был ласковый да желанный, а зараз так и живешь со сдвинутыми бровями. У тебя уж, гляди-кось, сердце как волчиное исследалось... Послухай матерю, Гришенька! Ты ить тоже не заговоренный, и на твою шею шашка лихого человека найдется...»

Григорий возненавидит погоны, чины и казачью славу. Задолго до поражения станет уклоняться от боя. Потянется к детям, семье, полям, к мирной жизни. Вихрь междоусобной войны занесет Григория в Новороссийск. Тут — надеется он — конец его мучениям. Повеселевший, с облегченной совестью перейдет к красным.

Вряд ли у кого найдется желание оправдывать тяжелые преступления, совершенные Григорием во время восстания, да и нет в том нужды — он сам не прощает их себе. Вопрос в другом: неотвратимы ли были те события, которые на время привели Мелехова в стан врагов советской власти? Можно ли было избежать конфликта с Мелеховыми. Степаном Астаховым, Прохором, Христоней, Шамилем? На это можно ответить так: если в этой сложной ситуации

твердо и последовательно осуществлялась бы ленинская политика по отношению к массам, кровавого столкновения не было бы, как не было его в большинстве подобных случаев. Казаки-труженики и даже иногородние (о них чаще всего просто забывают исследователи) пошли на поводу у казачьей верхушки, помещиков и кулаков, белогвардейских офицеров потому, что контрреволюционные агитаторы умело использовали ошибки перегибчиков.

Через многие исследования о «Тихом Доне» проходит своего рода опорная мысль: восстание на Дону, в которое была втянута трудовая масса, предопределено ходом истории, оно закономерно и неизбежно. И при этом пытаются опереться на Ленина. В большинстве работ приводится ленинская цитата о казачестве Дона: «Здесь можно усмотреть социально-экономическую основу для русской Ванден».

Но если бы исследователи не просто вырвали слова из статьи, а изучили ее всю, они нашли бы как раз то, что полностью опрокидывает их утверждение. Ленин ясно подчеркивает, что «большинство бедноты и среднего казачества больше склонно к демократии и лишь офицерство с верхами зажиточного казачества вполне корниловское», потому-то и постигла неудача Каледина, ездившего «поднимать Дон»<sup>1</sup>.

Но действительно ли перегибы, извращения проявлялись в такой грубой форме? Нет ли тут преувеличения? Писатель подтвердил в приведенном выше письме: «Не сгущая красок, я нарисовал суровую действительность». Малкины действительно творили недоброе дело, вносили разлад, подрывали веру в молодую советскую власть. И так было не только на Дону.

Вновь вспомним слова В. И. Ленина на VIII съезде РКП(б): «Надо избегать всего, что могло бы прощрить на практике отдельные злоупотребления. К нам присосались кое-где карьеристы, авантюристы, которые назвались коммунистами и надувают нас, которые полезли к нам потому, что коммунисты теперь у власти, потому, что более честные «служилые» элементы не пошли к нам работать вследствие своих отсталых идей, а у карьеристов нет никаких идей, нет никакой честности. Эти люди, которые стремятся только выслужиться, пускают на

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 34, стр. 219, 220.

местах в ход принуждение и думают, что это хорошо. А на деле это приводит иногда к тому, что крестьяне говорят: «Да здравствует Советская власть, но долой коммунию!» (т. е. коммунизм). Такие случаи не выдуманы, а взяты из живой жизни, из сообщений товарищей с мест. Мы не должны забывать того, какой гигантский вред приносит всякая неумеренность, всякая скоропалительность и торопливость.

Нам нужно было спешить во что бы то ни стало, путем отчаянного прыжка, выйти из империалистической войны, которая нас довела до краха, нужно было употребить самые отчаянные усилия, чтобы раздавить буржуазию и те силы, которые грозили раздавить нас. Все это было необходимо, без этого мы не могли бы победить. Но если подобным же образом действовать по отношению к среднему крестьянству,— это будет таким идиотизмом, таким тупоумием и такой гибелью дела, что сознательно так работать могут только провокаторы»<sup>1</sup>.

Очень существенны личные наблюдения М. И. Калинина.

Беседуя с крестьянами Исской волости Пензенской губернии, он спрашивал: «Не бывает ли у вас каких-нибудь незаконных конфискации, арестов, незаконных распоряжений? Может быть, члены исполкомов для собственной надобности берут продукты или занимают квартиры?»

Голоса из толпы. Сколько угодно!..

Калинин. Мы изживем эту полицейщину».

Во время на Восточном фронте М. И. Калинин арестовал семьдесят человек провокаторов, пробравшихся к руководству. «Когда бедняк придет, они его в шею выгоняли,— рассказывал он,— все время старались показать: вот тебе Советская власть, в зубы тебе Советскую власть!»<sup>2</sup>.

А вот что пишет о ситуации на Кубани один из вожаков таманского похода Г. Н. Батулин, очевидец событий. «Причин, способствовавших восстаниям в разных местах, помимо антисоветской и контрреволюционной пропаганды, было много: неумелая агитация в пользу советской власти лицами малоразвитыми, неподготовленными и политически неграмотными, преследующими иногда личные цели и сводящими

личные счёты; абсурдные распоряжения властей на местах; честолюбивые стремления некоторых лиц, искавших популярности, и их демагогические приемы, разжигавшие страсти масс, и тесно связанные с этим грабежи и насилия. Все это подготовляло почву для работы контрреволюции.

Враги наши пользовались этим и довольно умело запугивали казаков различными бедствиями, грозящими им якобы со стороны большевиков, начались воззвания о спасении края и казачества, появились штабы тайные и явные, вспышки восстаний приняли массовый характер...»<sup>1</sup>.

М. Шолохов исторически точен, когда изображает и головотяпскую затею расказачивания, и насилие в отношении своих же людей, и административное вмешательство в бытовые традиции—все то, что было чуждо нашей революции по самой ее природе. И тут я должен привести еще один важнейший документ. Вот телеграмма, которая была послана 3 июня 1919 года:

«Реввоенсовет  
Южфронта

Ревком Котельниковского района Донской области приказом 27 упраздняет название «станция», устанавливая наименование «волость», сообразно с чем делит Котельниковский район на волости.

В разных районах области запрещается местной властью носить лампасы и упраздняется слово «казак».

В 9 армии т. Рогачевым реквизируется огульно у трудового казачества конская упряжь с телегами.

Во многих местах области запрещаются местные ярмарки крестьянским обиходом. В станице назначают комиссарами австрийских военнопленных.

Обращаем внимание на необходимость быть особенно осторожными в ломке таких бытовых мелочей, совершенно не имеющих значения в общей политике и вместе с тем раздражающих население. Держите твердо курс в основных вопросах и идите навстречу, делайте поблажки в привычных населению архаических пережитках.

Ответьте телеграфно.

Предсовнаркома Ленин»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 199—200.

<sup>2</sup> М. И. Калинин. Беседы с народом. «Советская Россия». М. 1960, стр. 12, 14, 36.

<sup>1</sup> Г. Н. Батулин. Красная Таманская армия. Славянская. 1923, стр. 5, 6.

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 387.

Исследователи «Тихого Дона», с полным доверием принимающие слова Кошевого, что Мелехов «закручивал восстанием», видимо, не очень ясно представляют себе конкретную историческую обстановку. А. Шишкина, например, так характеризует настроения казаков во время гражданской войны: «Применительно к этому периоду лишь в ограниченной степени можно говорить о неясности исторических путей и трагедии заблуждения масс»<sup>1</sup>. По мнению критика, не существовало заметных причин для колебаний, не было разобщенности, разорения, неразберихи — наследия царизма и керенщины, не влияли вынужденная продразверстка, реквизиции, нередко сопровождавшиеся «перегибами»... Но факты и документы говорят другое: путь революции не был легок. Сложная обстановка, особенно на Дону, естественно, вызвала колебания несознательных масс.

Вернемся к ночному разговору Мелехова с Кошевым. Григорий утверждает, что если бы его не собирались убить на гулянке красноармейцы, возможно, он не принял бы участия в восстании. Над словами его стоит задуматься. Колебания и сомнения Григория вовсе не предопределяли фатально его участие в казачьем бунте.

Но исследователи шолоховского романа обычно и слышать этого не хотят.

Думается, что им мешает дойти до живого Григория отвлеченно социологический подход, невнимание к конкретно-историческим обстоятельствам. Мелехов для них — лишь фигура, олицетворяющая определенную категорию собственности. схема, что-то алгебраическое. Статьи и книги о «Тихом Доне» наполнены формулами: мелкобуржуазная психология, крестьянский индивидуализм, собственнический эгоизм, цепкое прошлое. Отсюда Мелехов — отщепенец, анархист, бандит, автономист, для некоторых — ландскнехт буржуазии, идеолог «крестьянской аристократии». Появилось и нарицательное наименование «мелеховщина».

Чтобы доказать, что Мелехов — собственник, исследователи наскребли разное. Тут и обстановка праздничного обеда, и то, что во время охоты в Ягодном Григорий — в то время батрак у Листницких — увидел делянку и вспомнил, как пахал вместе с Натальей — признак собственнической привязанности к земле. И даже то, что Мелеховы

раздумали уходить из хутора, когда наступали красные (собственники, хозяйство берегли), и еще многое в этом роде. Авторы, расписывающие зажиточность семьи Мелеховых, изобильную, тучную их сытость, меньше всего задумываются над тем, что на самом-то деле не так уж роскошна была их жизнь и немало пота стоил кусок хлеба в доме этих тружеников. «Мы со стариком день и ночь хрип гнули», — вспоминает Ильинична.

В. И. Ленин много говорил о колебаниях мелкой буржуазии. Но это понятие у него вмещало людей разных категорий. И отношение к ним устанавливалось неодинаковое. Одно дело — «элементы разложения старого общества», которые показывают себя «увеличением преступлений, хулиганства, подкупа, спекуляций, безобразий всякого рода». Тут «нужна железная рука»<sup>1</sup>, — специально подчеркивал Ленин. Другое дело — колебания крестьянина-труженика.

Задумываются ли над этим шолоховеды? Очень мало. Мелкая буржуазия предстает у них в этом случае как нечто единое. Она колеблется и восстает против советской власти — вот и все, что необходимо, по их мнению, знать для анализа образа Григория. Этим по сути дела исчерпывается вся концепция. Как складывался в конкретном случае практический опыт, который должен был сблизить мелкую буржуазию с советской властью, не было ли приводящих моментов, мешавших этому сближению, каковы конкретные причины столь неестественных колебаний, была ли возможность, как учил Ленин, «использовать эти колебания мелкой буржуазии так, чтобы нейтрализовать ее, помешать ей встать на сторону эксплуататоров»<sup>2</sup>, — эти вопросы не исследуются. Л. Якименко пишет: колебания героя «были неизбежны в революции», «при всяком напоминании о земле в нем ошцетивается собственник», «в процессе обострения гражданской войны явственнее раскрывается душа Григория — душа хозяйчика, возвращенная веками существования классового общества, перед нами ожесточившийся человек, почувывший угрозу миру собственности, яростно восставший за право собственности». «трагедия Григория Мелехова — трагедия человека, которому соб-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 195.

<sup>2</sup> Там же, т. 40, стр. 24.

<sup>1</sup> «Звезда», № 11, 1958, стр. 153.

стеннические и сословные предрассудки не дали возможности постигнуть правду общественной жизни...», «одаренного человека из народа погубила вековая злобная власть собственности, сословных предрассудков»<sup>1</sup>. И это все.

И это говорится о человеке, который с таким ожесточением ненавидит поллиных врагов народа — Листницких, белогвардейское офицерье, английских интервентов, мародеров, хапуг, собственников, который решительно порывает с домостроевскими традициями в быту и очень чуток ко всему справедливому! Да и сословные предрассудки у Мелехова отражали скорее стремление к относительной независимости, личной свободе, о которой не мог не мечтать труженик, чем идеологию реакции.

В подобных суждениях нет исследования — вот в чем беда. Они схематизируют все живое. И упрек В. Петелина — мол, исследователи сконструировали второго Мелехова — во многом справедлив<sup>2</sup>.

Оттого и довод Кошевого в ночном споре — «не был бы ты офицером, никто б тебя не трогал» — мало у кого вызывает сомнение.

Однако и тут следует разобраться внимательнее. Выходит, человек, побывавший в белых офицерах, не может рассчитывать даже на малейшее снисхождение. Михаил Иванович Калинин, однако, разъяснял дело иначе: «Офицерская среда, которая несла тяжелую повинность, была так же давлена высшим начальством, как и все солдаты. И если... солдат был давлен только физически, то офицерство было невероятно давлено и морально. Офицеру, у которого было хотя немного самолюбия, не было житья в старых царских армиях... Я не сомневаюсь, что красное знамя... будет твердо держать не только красный офицер, но и те офицеры, которые с каждым днем все больше сливаются с Красной Армией»<sup>3</sup>.

И кто, как не Кошевой, должен был знать, что Мелехов не принадлежал к тому белому офицерству, которое, отстаивая свои дворянские привилегии, не на жизнь, а на смерть боролось с советской властью:

<sup>1</sup> Л. Якименко. Творчество М. А. Шолохова. 1963, стр. 193, 194, 195, 199, 265.

<sup>2</sup> «Творчество М. А. Шолохова». Сборник статей. «Просвещение». М. 1964, стр. 67.

<sup>3</sup> М. И. Калинин. Избранные произведения в четырех томах Госполитиздат. М. 1960, т. 1, стр. 71—72.

«У них — руки, а у меня — от старых музелей — копыто! Они ногами шаркают, а я как ни повернусь — за все цепляюсь. От них личным мылом и разными бабьими притирками пахнет, а от меня конской мочой и потом... Я им чужой от головы до пяток».

Кошевой не верит в искренность Мелехова: он, дескать, «ремни бы вырезал», он «хуже, опаснее» Митьки Коршунова... Но это же неправда, и думать так можно лишь от озлобления и предвзятости. На самом деле Мелеховы — другие. Вспомним, как Пантелей Прокофьевич гонит со своего база карателя Митьку. «Не хочу, чтобы ты поганил мой дом! — решительно повторил старик. — И больше чтоб и нога твоя ко мне не ступала. Нам, Мелеховым, палачи не сродни, так-то!.. Ох, Митрий, негоднее у тебя рукомесло». Даже Петро, когда во время казни Подтелкова искали в его отряде охотников расстреливать, резко ответил: «Нет у и не будет».

Председателю ревкома Кошевому надо было проявить больше интереса к тому, как Мелехов искупал свою вину перед новой властью. Он громил белых в Крыму, на Украине, в Польше, получил ранения, мужественно и честно отстаивал родину. Прохор рассказывает Аксинье: «— Вместе с ним в Новороссийском поступили в Конную армию товарища Буденного, в Четырнадцатую дивизию. Принял наш Григорий Пантелевич сотню, то бишь эскадрон, я, конечно, при нем состою, и пошли походным порядком под Киев. Ну, девка, и дали мы чертей этим белым-полякам!.. Переменился он, как в Красную Армию заступил, веселый из себя стал, гладкий как мерин. Ну, не обошлось у нас с ним без семейного скандалу... Раз подъехал к нему и говорю шутейно: «Пора бы привалом стать, ваше благородие — товарищ Мелехов!» Ворохнул он на меня глазами, говорит: «Ты мне эти шутки брось, а то плохо будет»...

— Что ж он, может, в отпуск... — заикнулась было Аксинья.

— И думать не моги! — отрезал Прохор. — Говорит, буду служить до тех пор, пока прошлые грехи замолю. Это он проделает — дурачье дело нехитрое... Возле одного местечка повел он нас в атаку. На моих глазах четырех ихних уланов срубил... После боя сам Буденный перед строем с ним ручкался, и благодарность эскадрону

и ему была. Вот он какие котёлки выкидывает, твой Пантелевич!»

Сам Григорий вспоминает, с каким «усердием навернул» в бою корниловского полковника: «ажник сердце зыграло... Они, сволочи. и за человека меня сроду не считали, руку гребовали подавать, да чтобы я им после этого... Под разэтакую мамашу! И говорить-то об этом тошно! Да чтоб я ихнюю власть опять устанавливал? Генералов Фицхалауровых приглашал? Я это дело спробовал раз, а потом год икал, хватит, ученый стал, на своем горбу все отпробовал!»

Так жил Григорий в то время, когда многие вожаки восстания отсиживались с врагелевцами в Крыму, готовились к новому походу на Дон, иные пробирались к туркам, иные бродили по Кубани, по степям за Манычем или возвращались в хутора, надеясь «перевоевать». Самые дорогие воспоминания у Григория и Прохора связаны со службой в Красной Армии, когда после сомнений, кривых дорог причалили они к берегу.

Правда, потом все поломалось. Григория обидело: он «с великой душой служил советской власти», а ему не доверяли. «У белых, у командования ихнего, я был чужой, на подозрении у них был всегда. Да и как могло быть иначе? Сын хлебороба, безграмотный казак, — какая я им родня? Не верили они мне! А потом и у красных так же вышло... В бою с меня глаз не сводили, караулили каждый шаг... Остатнее время я этого недоверия уже терпеть не мог больше. От жару ить и камень лопаётся». Но служба Григория в Первой Конной не прошла для него бесследно.

По мнению И. Лежнева, вполне правомерно «выпали из романа» восемь месяцев службы Мелехова в Красной Армии. Они опущены «без сколько-нибудь существенно ущерба в обрисовке фигуры главного героя романа»<sup>1</sup>. Но сам Шолохов объясняет все иначе: «Для того, чтобы показать должным образом Первую Конную, надо было написать еще книгу. Это нарушило бы архитектуру романа»<sup>2</sup>.

И пусть такая книга не была написана, но нельзя с легким сердцем вычеркивать это время из духовной биографии Григория — время искупления и очищения.

<sup>1</sup> И. Лежнев. Путь Шолохова, стр. 335.  
<sup>2</sup> Цитирую по книге И. Лежнева «Путь Шолохова», стр. 335.

Что может быть несомненное, честнее искупления вины своей кровью? Кошевой не принял во внимание и это.

Говорят, что Григорию нельзя было доверять в армии, потому что он не примирился окончательно с советской властью и после тяжких заблуждений пришел к бандитскому анархизму: ни красных, ни белых. Логика поступков, дескать, имеет свою железную последовательность, настоящее стоит на плечах прошлого. Нельзя с этим согласиться. Никакого бандитского анархизма у Григория — красного командира — не было. Он служил с сознанием долга и ответственности перед советской родиной, как и все другие казаки, перешедшие на сторону красных.

Советское правительство смело доверяло прозревшим от заблуждений казакам, и это доверие было оправдано.

М. И. Калинин в 1919 году так говорил об укреплении советской власти на Дону: «...у нас — самые лучшие кавалеристы-казаки, перешедшие от Деникина, и теперь мы уже деникинских казаков бьем советскими казаками»<sup>1</sup>.

В декларации казачьей секции VII Всероссийского съезда Советов (декабрь 1919 года) отмечалось: «Ряды красного казачества, своей кровью искупающего грехи прошлого, растут и увеличиваются. Из красных казаков Советская власть создает дивизии и корпуса. Раньше других проснулось трудовое казачество Дона»<sup>2</sup>.

Этим историческим фактам полностью отвечает и разъяснение, данное самим Шолоховым: «Большое количество людей с нехорошим прошлым служили в Красной Армии верой и правдой. Крестьянин-казак, человек практического склада ума, убедился в провале белых, старался замолить свои грехи. И подвиги совершал, кровешки не жалел — ни своей, ни чужой»<sup>3</sup>.

«Как волка ни корми, он в лес глядит», — роняет Кошевой. Формально он вроде бы и прав. А по существу?

Григорий отталкивает от себя Крамскова, когда тот, недовольный продрозверсткой, предлагает «перевоевать»: «Иди до-

<sup>1</sup> М. И. Калинин. Беседы с народом, стр. 36.

<sup>2</sup> «Съезды Советов...». Сборник документов в трех томах. Юриздат. М. 1959. т. 1. стр. 109.

<sup>3</sup> Цитирую по книге И. Лежнева «Путь Шолохова», стр. 334



мой, пьяная сволочь! Ты сознаешь, что ты говоришь?!» А про себя думает: «Нет, надо уходить поскорее! Добра не будет...» Об опасениях Кошевого Мелехов говорит с горькой насмешкой: «Боишься, что восстание буду подымать, а на черта мне это нужно — он и сам, дурак, не знает».

Григорий навоевался. Все мысли теперь только об одном: заняться хозяйством, пожить возле детей. Хотелось переобуться в чирюки, заправить шаровары в чулки, накинуть зипун и походить «по влажной борозде за плугом, жадно вбирая ноздрями сырой и пресный запах взрыхленной земли, горький аромат порезанной лемехом травы».

Другие казаки, по словам Прохора, «сено повалили скирды, хлеб убрали весь до зерна, ажник хрипят, а пашут и сеют». А Григорию и этот путь закрыт. Все это обостряет его трагедию.

Теперь о мере наказания.

Еще до возвращения Григория станичники спорили о том, что его ждет.

Кошевой: «Суд будет. Трибунал». Могут расстрелять.

Дуняшка: «Что же, по-твоему, кто в белых был, так им и сроду не простится это?.. Власть про это ничего не говорит... Он в Красной Армии заслужил себе прощение...»

Аксинья: «Брехня! Не будут его судить. Ничего он, твой Михаил, не знает, тоже, знахарь нашелся!»

Прохор: «Об старом забывать надо».

В ночном разговоре Кошевой повторяет то же самое: «Раз проштрафился — получи свой паек с довеском». Это, пожалуй, самые необдуманные слова председателя ревкома. Советская власть рассуждала по-другому.

В обращении к трудовому казачеству VII Всероссийского съезда Советов говорилось: «Советская власть чужда мести. Она готова предать забвению ваши заблуждения, ваши прошлые грехи, ваше преступное участие в борьбе с Рабоче-Крестьянской Россией... Советская власть протянет вам руку примирения, встретит вас как раскаявшихся братьев»<sup>1</sup>.

Правительство разрабатывало законы в сторону смягчения наказания, отмены смертной казни. Взять хотя бы амнистию, объявленную северокавказским краевым военным совещанием в июле 1921 года всем

трудовым казакам и крестьянам, втянутым в контрреволюционные банды<sup>1</sup>.

В том же году, когда спорили Кошевой и Мелехов, произошел разговор М. И. Калинина с казаками Петровской станицы Хоперского округа, тоже бывшими повстанцами. Присутствовало триста—четыреста человек. Михаил Иванович начал так:

«Я... приехал узнать ваши нужды. Можете каждый говорить, кто что хочет, никто не будет привлечен за свои слова. Можете говорить как на духу».

Беседу вел строгий, принципиальный, но сердечный и мудрый политик. Никаких придинок, угроз. Он спросил: «А почему вы шли против нас, родные братья? Нам Россия — один дом... Почему мы относимся к казакам снисходительно? Ведь мы вас не боимся, задавить смогли бы — Россия велика. Но нам это не выгодно. Нам жалко вас. Ведь мы же в интересах не расходимся».

К а з а ч к а. Вот если бы сразу сказали — мир, то нас бы не разорили. Нам бы надо никого не впускать в деревню, ни красных, значит, никакой власти. А после бы установили все. Тогда можно было бы и власть выбрать, и цело бы все было».

В заключение Калинин спросил: «Ладите ли вы с исполкомом?.. Не груб ли он?..»

К а з а к и. Ничего, мы довольны.

К а л и н и н. Если будут неправильные распоряжения, то вы их исполняйте, а потом приезжайте ко мне в Москву, там не звери живут, не укусят. Расскажите мне, в чем дело, и я пришлю сюда человека, который все расследует и накажет, если неправильно делалось... Вон наши крестьяне, они никогда не скажут: долой Советскую власть, а они говорят: долой комиссара, если плохой»<sup>2</sup>.

Как видим, у беседы этой совсем другой тон, чем в рассуждениях Кошевого. Казачка, например, думает, как и Григорий: ни красных, ни белых. Но Калинин не обвинил ее ни в «бандитском анархизме», ни в самостийности. Он понимает, что это от темноты, и ставит задачу: всем казакам до шестидесяти лет — учиться грамоте, чтобы разбираться в политике и уметь управлять государством.

Как ни странно, таким образом, но Дуня-

<sup>1</sup> Газета «Советский юг», 29 июля 1921 года.

<sup>2</sup> М. И. Калинин. Беседы с народом, стр. 48—55.

<sup>1</sup> «Съезды Советов...», т. 1, стр. 111.

шка и Аксинья по части того, что говорила власть, насыланы больше, чем Кошевой.

Мелехов не уходит от наказания. Вину свою он осознал давно, готов отсидеть. Просит, чтоб зачли службу в армии и ранения, какие там получил. Просит по существу о малом: разберитесь, не поступайте со мной, как раньше (два раза ему угрожал расстрел), накажите, но справедливо и дайте искупить вину.

Но ночной разговор с Кошевым закончился угрозой: «Погоною под конвоем». Григорий ходил в Чека. Там обошлись вежливо, отпустили. Кошевой недоволен, требует ареста. Так завязывается новый трагический узел.

Мелехов нуждался в понимании, доверии, человеческого слове. Но все складывалось иначе. В хуторе ему говорят: ты враг, ты тут не нужен. Служба в красных — не в зачет. «Там тебе не верили и тут веры большой давать не будут, так и знай!» Мелехов ждет ареста. И когда Дуняшка предупреждает его — он бежит. Поступает, как говорил: «За восстание голову подкладывать... не буду... Дюже густо будет».

Чего же добился Кошевой? Ускорил развязку, внес ясность в положение дел — не без удовлетворения отмечает О. Салтаева, ибо она убеждена, что «Мелехов по логике борьбы должен был неизбежно очутиться в стане, враждебном революции»<sup>1</sup>. Но ведь развязка-то такая, что не было смысла ее ускорять. Григорий скитается по хуторам. Он озлоблен, подорвана его вера в справедливость закона. Критик Б. Дайреджиев, правда, предполагает: «Очень может быть, что политбюро и освободило бы Григория и дало бы нагоняй Кошевому за усердие не по разуму, ибо увеличивать количество врагов в такой момент было не в наших интересах, а Григорий мог еще пригодиться»<sup>2</sup>. Скитающегося беглеца задерживают на дороге, приводят под конвоем в банду Фомина. А может, прав Фомин, когда говорит: «Не прихоронись ты тогда — навели бы тебе решку. Лежал бы теперь в вешенских бурунах?»

Запутавшегося Мелехова запутали еще раз. «У меня выбор, как в сказке про богатей: налево поедешь — коня потеряешь, направо поедешь — убитым быть... И так —

три дороги, и ни одной нету путевой... Деваться некуда, потому и выбрал... Вступаю в твою банду», — говорит он Фомину.

Таков конец. Такова развязка.

Предположим другое. Кошевой поручился бы за него, помог сделать новые шаги для сближения с советской властью. Иван Алексеевич Котляров так бы и поступил — спас человека. Это куда вернее, гуманнее. А спасти его надо было не только потому, что это не Листницкий или Коршунов, а наш человек. Он, кроме всего, талантлив, умен, прям. Казаки любят Григория за демократизм, и перетянуть его на свою сторону — значит воздействовать на других.

Но если бы и в этом случае Мелехов переметнулся в банду? Тогда — иное дело. Тогда мы смотрели бы на него без всякого сочувствия, как смотрим на Фомина и прочих бандитов. Теперь же Григорий — трагическое лицо. Его не поняли, оттолкнули. Ошибка Григория в том, что он посчитал мнение Кошевого окончательным приговором.

Когда я говорю о Кошевом, у меня нет ни малейшего намерения взять под сомнение честность, прямоту, достоинства этого преданного и волевого коммуниста. Кошевой вышел из низов, на себе испытал бесправие и произвол, косность и жестокость. Страшной смертью от рук палача погибла его мать. Да и сам он во время гражданской войны на Дону побывал в суровых переломках. Жизнь учила его суровости и бдительности.

Но Кошевой потерял меру. Руководство в сложной обстановке дается ему нелегко. Нельзя не заметить у него избытка прямолинейности там, где требуется более гибкий подход. Вряд ли обдуманно поступает он, когда расстреливает выжившего из ума столетнего Гришаку, путанные проповеди которого никто всерьез не принимал, когда жжет дома хуторян. Для борьбы с контрреволюцией партия находила другие средства. А чего стоит формула: «Я вам, голуби, покажу, что такое советская власть!» Все это — особенно в тех условиях — не объединяло, а разъединяло коммунистов с народом.

Полнота социального содержания романа «Тихий Дон» постигается, когда читаешь Ленина.

«Тихий Дон» пронизывают мудрые ленинские мысли. Эта книга проникнута горячей и преданной любовью к народу, к отдельно-

<sup>1</sup> «Ученые записки Горьковского пединститута», т. XXVI, 1958, стр. 131—132.

<sup>2</sup> Б. Дайреджиев. О «Тихом Доне». «Советский писатель». М. 1962, стр. 287.

му человеку из народа, книга о гуманизме, доверии, воспитании. Шолохов раскрыл тяжелые последствия тех извращений, когда идейное влияние подменяется насилием, бдительность — подозрительностью. Вешенское восстание не имело бы такого размаха и таких последствий, если бы вовремя убрали ретивых загибщиков, шелкоперов, прямых провокаторов.

Для нашей революции типичен переход труженников на сторону советской власти. На этом фоне конец Мелехова трагичен. Но ничего фатального в его судьбе нет. Он прибавался и должен был прибиться к нашему берегу. И если этого не произошло, то не только он виноват, как думают те критики, которые взваливают всю ответственность на героя. Многие зависело от того, как мы обойдемся с Мелеховым, особенно после Новороссийска. Можно было перетянуть его к себе, можно было и оттолкнуть. За него не было активной борьбы, если не считать давних бесед Гаранжи.

Трудно сказать, как обстояло бы дело в чапаевской дивизии, будь там на месте Фурманова комиссар с другим опытом, кругозором, характером. Некоторые чапаевские выходы можно было представить перед высшим командованием, да и перед бойцами как самый вредоносный анархизм. Появился настоящий воспитатель, политик, психолог — дивизия, ее командир и комиссар слаженно выполняют боевой долг.

Критики не определили всех причин трагедии Мелехова, оставив многое недосказанным, нераскрытым. Это относится и к высказываниям А. Бритикова, статья которого о Мелехове, напечатанная в 1957 году, вызвала шумную полемику. Он прав, когда решительно отделяет Мелехова от перерожденцев и изменников типа Фомина, уточняет понятие «отщепенец», которым бездумно окрестили Григория, и пытается рассмотреть его трагедию в связи с заблуждением значительной массы казаков. Но когда исследователь говорит о причинах этого заблуждения, он повторяет стандартные положения: «Конечная причина донской трагедии — фактор объективный и закономерный» и т. д. Поэтому серьезная мысль Ю. Лукина о том, что если бы по-хорошему

вмешаться в судьбу Григория, то можно было предотвратить его участие в банде Фомина, вызывает в памяти Бритикова насмешливую фразу: «Если б Отелло был более бдительным по отношению к Яго, никакой бы трагедии не случилось»<sup>1</sup>. Не над своим ли методом исследования смеется А. Бритиков?

Для Л. Якименко в трагической судьбе Мелехова виновата породившая его среда и он сам. Во многом критик перекладывает вину на Мелехова — тот не использовал открывшиеся возможности: мог бы перейти к красным, да не захотел, мог бы дослужить в армии, да ушел — и по существу отказывается от исследования запутанных обстоятельств, упрощает ситуацию и характер героя, не принимает во внимание слов Григория, когда тот объясняет сам свою трагедию.

И. Ермаков патетически восклицает: «Образ смерти встает перед нами в «Тихом Доне» как неумолимая судьба, равнодушно уничтожающая то, что встало на пути железной необходимости прогресса».

О чем говорит литературовед? О смерти Петра, Пантелея Прокофьевича, Дарьи, Натальи, Ильиничны, Аксины, малолетней Полюшки. Это, видите ли, «расплата кровью за все прошлое, что до сих пор составляло, так сказать, ведущее содержание жизни казачества»<sup>2</sup>.

Нет, не так. Были у этих людей предрас судки. Но трагедии могло и не быть. Советская власть — великая объединяющая сила. Она бережна к человеку труда, настойчива и целеустремленна в борьбе за человека труда, верит в его потенциальные возможности. Было у них то, что обременяло, тянуло назад, одних больше, других — меньше. Но сколько же в их душах народного, трудового, годного для будущего!

История необратима. Но если бы предстали перед нами сейчас эти люди, мы протянули бы им руку, помогли, научили, поддержали, предостерегли от ошибок. Мы бы отвоевали их. Они свои.

<sup>1</sup> «Историко-литературный сборник». Издательство Академии наук СССР. М.—Л. 1957, стр. 163, 165.

<sup>2</sup> «Ученые записки Горьковского пединститута», т. XIV, 1950, стр. 13.

# ЖИЖНОЕ ОБЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Л. Лазарев.** По приказу совести.— **Ю. Буртин.** Постигание жизни.— **В. Жданов.** Гипотезы и находки.— **Р. Орлова.** Знакомство с Апдайком.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**В. Лакшин.** Против догмы и фразы.— **М. Гутин.** Народная война.— **А. Кондратов.** Новое оружие атеиста.

## Литература и искусство

### ПО ПРИКАЗУ СОВЕСТИ

**Василь Быков.** Повести огненных лет. Перевод с белорусского **М. Горбачева.** «Роман-газета», № 19, 1964.

**В** 1947 году Семен Гудзенко написал стихотворение, которое заканчивалось такими строками:

У каждого поэта есть провинция.  
Она ему ошибки и грехи,  
все мелкие обиды и провинности  
прощает за правдивые стихи.  
И у меня есть тоже неизменная,  
на карту не внесенная, одна,  
суровая моя и откровенная,  
далекая провинция —

Война...

Сейчас трудно поверить, но в ту пору это стихотворение выглядело почти вызывающим (оно было опубликовано лишь после смерти поэта). Вскоре после Победы утвердилось мнение, что о войне уже написано предостаточно и надо переходить к другим, более злободневным темам. Константин Ваншенкин свидетельствует: «...Нам, тогдашним начинающим, уверенно внушали критики и редакторы — не все, разумеется, но многие, — что, мол, хватит, военная тема отражена, нужно отражать (или «отображать») мирный восстановительный период».

И все-таки многие писатели продолжали хранить верность «далекой провинции —

Войне». Пережитое на фронте стало для них не только жизненным материалом, к которому они до сих пор возвращаются в своих произведениях, но и тем нравственным фундаментом, что на долгие годы определил позицию и точку зрения.

Сказанное имеет самое непосредственное отношение к Василю Быкову, о последних повестях которого здесь и пойдет речь. Он принадлежит к тем писателям, чей духовный мир сформировался во фронтовые годы и кто до сих пор не изменил своей привязанности темам Великой Отечественной войны. Вот и новые повести В. Быкова — «Фронтвая страница», «Альпийская баллада», «Западня», составившие выпуск «Роман-газеты», — опять о войне.

«Как бы велики ни были наши победы и какими бы незначительными сегодня для страны ни казались наши неудачи, нельзя забывать и о тех, кто отдал жизнь в кровавых оборонительных боях в первые месяцы войны, кто не по своей вине оказался за колючей проволокой концлагерей», — писал недавно В. Быков. Память об этих безвестных героях живет во всех произведениях В. Быкова. Как и в прежних вещах, писателя интересует главным образом характер

«рядового великой бигвы» — так он сам в одной статье назвал своего героя — человека из самой гущи народной, порой не отличающегося ни выправкой, ни лихостью, но неколебимого в своих представлениях о том, что хорошо и что дурно, справедливо и несправедливо. Это его любимый герой, писатель с ним сжился не просто в книгах своих, а там, на фронте, под огнем, — оттого так близок и дорог он ему.

Вот ездовой Здобудька («Фронтная страница») — пожилой колхозник, недавно попавший в армию. Он здесь еще не освоился, не привык к фронтовой обстановке, да, видно, и вообще нет в нем удалы и расторопности. Но в артиллерию он пошел по собственному желанию — предлагали в обоз. А когда выбирающиеся из окружения солдаты в снежной метели нарвались на немцев, Здобудька успел крикнуть, предупредить товарищей об опасности, а сам погиб.

Или Иван Терешка («Альпийская баллада») — парень незаметный, скромный, мало-разговорчивый, «в полку он ничем не выделялся среди других пехотинцев». Четыре раза бежал он из плена, вынес то, что, казалось бы, пережить невозможно, но «по части солдатского героизма у Ивана была своя строгая мерка, ей соответствовали очень немногие и, уж конечно, никак не он сам».

Или Володя Тимошкин («Фронтная страница») — мягкий по натуре, не очень решительный, он как-то по-детски ищет опоры у товарища по орудийному расчету — наводчика Щербака, более мужественного и сильного человека. Но когда Щербака тяжело ранило, Тимошкин, «при своем далеко не богатырском росте и очень ограниченной выносливости», сам раненый, выносит на себе друга, отстреливаясь от преследующих их фашистов.

Вообще такого рода ситуации — риска жизнь, спасти раненого — не раз повторяются в повестях В. Быкова. Это не от «нехватки» материала. Просто это тот случай, когда выбор, который должен сделать человек, требует от него самого высокого мужества и самоотверженности.

Конечно, склонность В. Быкова к одному и тому же типу героя таит в себе опасность повторения. И если писателю до сих пор удастся счастливо избежать этой опасности, то потому, во-первых, что в центре его внимания фигура действительно чрезвычайно важная для постижения на-

родного характера войны, и, во-вторых, потому, что В. Быков стремится к все более углубленному исследованию нравственного мира своего героя, который прост только для поверхностного наблюдателя.

Нельзя не заметить, что в своих последних повестях В. Быков ставит героев в такие обстоятельства, когда им приходится действовать на свой страх и риск, нет над ними начальства, никто не возьмет на себя ответственность за их действия. «Одинокие и ничем больше не связанные с этим клочком земли, на котором они две недели жили и бились с врагом, бойцы пошли на восток» — так начинается повествование о том, как трое уцелевших солдат из расчета «сорокапятки» после танкового прорыва немцев у озера Балатон выбирались из окружения. Командиры погибли, никакого приказа они не получали, снарядов нет, даже гранаты нет, чтобы подорвать орудие, — сами они должны решать, что делать дальше и как себя вести («Фронтная страница»).

Лейтенант Клименко — герой «Западни» — раненный во время захлебнувшейся, неудачной атаки, попадает в плен. Он был не из робкого десятка и не боялся смотреть смерти в глаза в бою, но погибнуть здесь, после того, как фашисты от его имени обратились к нашим с призывом сдаться, и никто никогда не узнает, что он не трус, не предатель, что это провокация, — ужаснее пытки не придумаешь. А фашисты и рассчитывали на то, что человек, оказавшийся вне сферы дисциплинарного и всякого иного принуждения, предоставленный самому себе, под угрозой смерти пойдет на все — станет отступником, предателем.

Да, в таких обстоятельствах человек повинует только приказу своей совести. И оказывается, в страшной сумятице окружения, предоставленные самим себе, бойцы так же верны своему долгу, как если бы это происходило в обычной фронтовой обстановке, где исполнить долг заставляет и дисциплина, и приказы командиров. И разве не ведет себя в плену лейтенант Клименко как настоящий герой, разве не здесь, когда он отвечает только перед своей совестью, его преданность родине оказывается безграничной?

Драматические и трагические положения, которые рисует автор, интересуют его не сами по себе, а как возможность исследовать идейную и нравственную основу харак-

теров, так сказать, в «чистом» виде. В подобном рода положениях и обнаруживает себя глубинная суть характеров, причем не только характеров положительных персонажей.

Возвращаясь к прошлому, литература сейчас с особым вниманием стремится разобраться в тех общественных и нравственных конфликтах, природа которых прежде была или непонятна, или «закрыта» для анализа, извлечь из них все необходимые современности уроки. Последние повести В. Быкова — один из примеров такого рода художественного исследования. Война обнажила многие противоречия и скрытые «болезни». В одной из статей В. Быков признавался: «Первые же дни войны заставили многих из нас широко раскрыть глаза в изумлении. Никогда прежде не было столь очевидным несоответствие сущего и должного... Невольно и неожиданно сплошь и рядом мы оказывались свидетелями того, как война срывала пышные покрывала, жизненные факты разрушали многие привычные и предвзятые представления. Любитель громких и правильных фраз порой оказывался трусом. Недисциплинированный боец совершал подвиг. Сын репрессированных «врагов народа» шел в партизаны. Некоторые имевшие хождение до войны ценности оказались не нужны. Война вместо них предлагала другие». Этот процесс «ломки» поверхностных, далеких от жизни представлений очень занимает писателя.

Рисуя Овсеева из «Журавлиного крика» и Лешку Задорожного из «Третьей ракеты», В. Быков ополчался против философии шкурничества, претендующего на житейскую мудрость, во «Фронтowej странице» он преследует более сложную и опасную разновидность той же философии: ведь писарь Блишинский жаждет любыми средствами «вырваться в люди». Такой не остановится ни перед чем: будет не только подхалимничать и произносить сверхправильные речи, но не погнушается написать донос или «разоблачить» «нарушителя дисциплины», если таким образом можно выслужиться. Блишинский все отлично знает и помнит — и то, что «за оставление техники — трибунал», и то, что попадешь в окружение — «ярлык на всю жизнь». Да еще Особый отдел на цугундер возьмет». И это знание он использует не только на пользу себе, но и во вред другим. Сбежав в разгар боя от товарищей, из последних сил отбивающихся от нападающих

фашистов, он уже прикинул: если уцелеют, можно сообщить начальству, что оставили врагу военную технику. Сам же он выйдет сухим из воды и в его анкете пятен не будет: бросив раненого офицера, Блишинский предусмотрительно прихватывает его сумку с документами — дескать, отбилась от своих, спасая жизнь командира. Понаторев в демагогии, Блишинский рассчитывает на силу «чистой» анкеты: «А ты спроси в штабе, что такое писарь артчасти Блишинский! Тебе скажут... Что я, дело свое плохо знаю? Или малограмотный? Комсомолец, бывший партизан, активист». Добрый и совестливый Тимошкин, лишь в этот страшный день раскусивший наконец, что за птица его земляк Блишинский, не может простить себе, что всерьез не принимал мерзавца, считал его мелким человеком, и все. Теперь «он понимал, что победить этого негодяя будет нелегко».

Блишинский очерчен так точно и рельефно, что автору, пожалуй, не следовало обращаться еще и к школьным годам его. Это явное «излишество»: характеристика персонажа не становится полнее и богаче, напротив, возникает ощущение слишком жесткой конструкции (тем более что воспоминания Тимошкина, из которых мы узнаем о детстве Блишинского, не несут отчетливой печати индивидуальности именно этого персонажа — здесь властвует стихия авторской речи).

Еще более зловещая фигура возникает в повести «Западняя». Это — Чернов-Шварц. Изменник, заслуживший у фашистов офицерский мундир, — нетрудно догадаться, за какие заслуги. Есть известная близость между Блишинским и Черновым-Шварцем. Люди «в себе живут и для себя, — откровенничает Блишинский. — Думают одно, а говорят другое. Приспосабливаются. А ты что думал? Патриотизм? Героизм? Хе! Детский лепет». То же самое проповедует Чернов-Шварц: «...Какой смысл умирать из-за какого-то там идиотского принципа!» Общее у них и стремление выслужиться. Окажись Блишинский на месте Чернова-Шварца, он бы тоже всю старался завоевать благосклонность фашистов. Правда, нет у него таких палаческих навыков, как у Чернова-Шварца, умеющего выколотить из попавшего к нему на суд и расправу человека все, что нужно. Это Чернову-Шварцу принадлежит идея скомпрометировать неговорчивого лейтенанта, обратившись от его

имени к солдатам батальона, а затем отпустить через линию фронта к своим,— идея иезуитская, опирающаяся на отличное понимание той атмосферы подозрительности, которая в годы культа личности нередко заменяла бдительность. «Немцы,— с издевкой говорит этот подонок лейтенанту Клименко,— выжмут из тебя, что надо. А на той стороне все в квадрат возведут». Только оказавшись у своих, понял Клименко страшный смысл этих слов: капитан Петухов «из штаба полка» действовал именно так, как предполагал Чернов-Шварц.

В статье, посвященной последним повестям В. Быкова («Знамя», № 3, 1965), И. Козлов пишет, что благополучный финал «Западни» «не соответствует духу тех лет — писаным и неписаным законам времен культа личности». Замечание, в общем, справедливое.

Действительно, молодой читатель может поверить в эту счастливую развязку, в то, что лейтенант Клименко выбрался из «западни». Но для читателя, знающего нравы той поры не понаслышке, совершенно ясно, что хотя повесть обрывается эпизодом, рождающим надежду,— командир роты наперекор капитану Петухову отправляет Клименко во взвод, который сию минуту должен начать атаку (достоверность этого эпизода самого по себе у меня в отличие от И. Козлова сомнений не вызывает),— надежда эта призрачная. Незавидная судьба ждет героя. Если он только уцелеет в этой атаке, капитан Петухов не оставит его своим вниманием, да и своевольному ротному тоже будет несладко. Думаю, что автор это отлично понимает: в повести нет ни одной детали, которая бы сулила иной исход трагической истории лейтенанта Клименко.

«Альпийская баллада» оказалась мне слабее двух других повестей, хотя и в ней есть яркие страницы. Хорош герой повести

Иван Терешка — писатель рисует человека, внутренний мир которого знает прекрасно. Возникшее в повести столкновение двух представлений о Советском Союзе — Ивана, помнящего и хорошее и дурное, не забывшего страшный неурожай 1933 года и аресты 1937 года, но безмерно любящего родную землю, и итальянки Джулии, составившей себе умозрительно-лучезарную картину нашей жизни и в штыки встречающей все, что не соответствует схеме,— это столкновение дает пищу для серьезных размышлений.

Но чем дальше читаешь «Альпийскую балладу», тем чаще возникает чувство внутреннего сопротивления. Дело в том, что сюжет произведения толкал автора к романтическому повествованию — слово «баллада» в названии возникло не случайно. А такого рода повествование чуждо В. Быкову — он психолог, бытописатель по самой природе дарования. Романтическая стилистика ему не дается — как только он обращается к ней, возникает тяжеловесность, нарочитость, выпренность. Впрочем, нет худа без добра. Быть может, этот опыт помог автору лучше понять, в чем он силен, а что у него не получается. Во всяком случае после «Альпийской баллады» написана «Западня» — произведение, которое, на мой взгляд, является удачей не меньшей, чем «Третья ракета», сделавшая имя автора известным всесоюзному читателю.

Война, которой посвятил свое творчество В. Быков,— уже история: двадцать лет отделяет нас от дня Победы. Но история эта все еще живет в нашем сегодняшнем дне. И это больше, чем воспоминания. Както Василь Быков написал о тех годах: «Истории и самим себе мы преподали великий урок человеческого достоинства». Это и составляет пафос его последних повестей.

Л. ЛАЗАРЕВ.



## ПОСТИЖЕНИЕ ЖИЗНИ

П. Ребрин. Это было осенью... Рассказы и очерки. Западно-сибирское книжное издательство. Новосибирск. 1964. 160 стр.

«Рассказы и очерки» — эти слова не совсем точно определяют состав сборника. Рассказ тут, собственно, один — тот, который дал название всей книжке. Да и он, надо сказать, не слишком удачен: недописа-

ны интересно задуманные характеры, не слажена композиция. Все остальное — очерки, хотя один из них («Соседи») тоже почему-то назван рассказом. Петр Ребрин рекомендовал себя пока именно как очер-

кист. Есть у него (в том числе и в этой книжке) очерки вполне рядовые, газетного, так сказать, типа, но есть и подлинные удачи, достойные сравнения по своему уровню с произведениями лучших мастеров этого жанра.

«Я осматриваюсь. Все мягко вокруг: и гаснущее небо, и голоса людей, и луг под увалом, и неподвижный воздух. Мягко и этот закатный свет, от которого и лица красны, и белые стены мазанок нежно розовеют, и тихо плавают печным последним жаром окна».

«Откуда-то из проулка спустилась на луг большая машина и серой тенью побежала там. От кучки парней отделился один, в вельветовой куртке, подошел к крыльцу. Это был аккуратно причесанный, весь намытый, с чуть красноватыми белками глаз (наверное, запылились в поле), блеклого вида паренек. Он равнодушно послушал, о чем мы говорим, постоял молча, ковыряя ботинком землю, и наконец спросил небрежно:

— А машины в кино почему нет?

Таратухин глянул на него сердито:

— Будет тебе машина. В Ялино за людьми ушла.

Парень отошел».

Глаз и рука хорошего наблюдателя, точность и изобразительность письма чувствуются уже здесь, на первых страницах очерка «Свет от людей», открывающего сборник. Привлекателен и сам тон повествования — естественный, спокойный. К деревенским людям автор относится с искренним уважением, однако без той восторженности и натужной патетики, с какой говорят у нас иногда о «народе». Он не «воспевает», а изучает, внимательно всматриваясь в быт людей, поступки и лица.

Дух постижения, узнавания, объективного и пристального исследования действительности присущ лучшим произведениям писателя. Этим определяется не только их содержание, но и стиль, особенности которого хорошо видны в приведенном нами отрывке.

Очерки П. Ребрин строятся обычно так: в деревню приезжает журналист, наблюдает, беседует с людьми, размышляет. Повествование ведется от его лица, причем не по памяти, а как прямая передача непосредственных впечатлений и мыслей. Этот журналист — вполне самостоятельный персонаж в очерках, «представитель» автора, но не его дьойник. К истине, очевидно известной

автору заранее, он приходит через раздумья, колебания, порой ошибки. Перед нами одновременно развертываются характеры героев и процесс их постижения доброжелательным и вдумчивым наблюдателем. Это сообщает повествованию какую-то особую «густоту», а вместе с тем позволяет, не навязывая читателю готовых оценок, привлечь и его к обдумыванию жизненных явлений.

«Исследовательским» характером произведений П. Ребрин определяется место, занимаемое ими в нашей очерковой литературе. В них нет, как правило, особенной, чисто публицистической остроты. Зато в лучших из них мы находим весьма богатую по своему человеческому содержанию картину жизни и социальных отношений современного села. Всего ближе они в этом смысле — при всем различии индивидуальностей авторов — к «Деревенскому дневнику» Е. Дороша, с которым роднит их и особая «размышляющая» интонация.

Особенно много раздумывает П. Ребрин о сельских руководителях, разные типы которых представлены здесь весьма колоритными и убедительно написанными фигурами.

Это, во-первых, Дрючин — законченный бюрократ и демагог, чьи отношения с «массой» укладывались в такую формулу: «Инстанция, брат, нужна... Душой ты будь с народом, а сам подальше» («Свет от людей»). Этот тип людей уже получил общественную оценку, и автор долго на нем не задерживается.

Значительно интереснее другая категория руководителей, которую представляет секретарь райкома Любый («Точка зрения Игната Пашины», в первой книжке очерков П. Ребрин, Омск, 1961). Любый — человек деловой, энергичный, работает с увлечением и не в бумагах роется, а на самом деле «осуществляет конкретное руководство». В то же время он прост, общителен, стремится «на люди».

Писатель видит, однако, наряду с преимуществами определенную ограниченность Любого. «Он стоял с телефонной трубкой в руке, широко расставив ноги, внушительный, со стальным блеском в глазах, с лицом, излучавшим энергию, и докладывал кому-то, что в создавшейся обстановке, когда концентратов очень мало, выход один: запаривать солому... Но заводского изготовления запарников в области нет, и вот ему приходится заставлять председателей колхоза



зов делать запарники из железных бочек (именно заставляя, потому что «люди отвыкли от примитивщины, а мы толкаем на нее») и что он все-таки заставит своих».

Привлекательна его энергия и деловитость. Но Любый пытается вести общественное хозяйство через голову тех, кто трудится в этом хозяйстве, и здесь он неотразимо похож на Дрючина. «Заставит» — в этом слове вся суть. При всем различии их облика, личных качеств и взглядов, оба они не организаторы работы, но прежде всего «начальники», привыкшие «заставлять» и «накачивать», хотя «старый» был озабочен созданием «инстанции» между собой и народом, а «новый» садится с трактористами обедать. Нет ничего удивительного, что и по результатам своего руководства «новый» ушел от «старого» весьма далеко.

«Нет, честное слово, думал я, все-таки великолепная душевная энергия Любого растрачивается как-то бесценно». Ведь эти самые запарники понадобились в районе лишь потому, что не сумели вырастить хороший урожай. А не сумели главным образом потому, что люди, от которых зависел этот урожай, не чувствовали хозяйской заботы о нем.

Решающее звено именно здесь, и по-настоящему хорош лишь тот руководитель, кто не подавляет, а поощряет самостоятельность и инициативу своих подчиненных. Таков в том же очерке председатель колхоза Игнат Пащина, чьи отношения с колхозниками основываются «на обращении к совести, на доверии к людям». Таков и директор совхоза Зензин («В Медвежке»), и Степан Федорович Тавров из очерка «Свет от людей», который так учит нового бригадира: «Держи, Федя, каждого человека на виду... И так поставь колхозника, чтобы он себя хозяином чувствовал».

Достоинства такого типа руководителей сознаются обществом все более ясно, и очерки П. Ребрина способствуют этому. Однако нарисовав образ руководителя, воплощающего положительные черты, писатель, похоже, считает свою публицистическую задачу выполненной. Между тем предложенное им разрешение проблемы кажется сегодня уже недостаточным, чувствуется необходимость какого-то следующего шага.

Следовало бы, в частности, подумать над вопросом: достаточно ли наличия хорошего руководителя для подлинного подъема де-

ревни? Конечно, очень хорошо, что Тавров или Пащина стараются пробудить чувство хозяина в каждом рядовом труженике. Но как далеко в этом смысле простираются их возможности? Ведь существуют и некоторые объективные факторы — характер реальных экономических отношений в деревне и т. п. Каково же соотношение их с фактором, так сказать, субъективным (хороший председатель колхоза)?

Это во-первых. А во-вторых, стоит по-серьезнее задуматься над вопросом, который поднят в разговоре Любого с журналистом. от чьего лица ведется рассказ:

«— Почему Пашин-то мало... самородков-то таких?»

В самом деле, почему? Почему многие руководители не следуют примеру Пашины и отстают по-прежнему «начальниками»? Или они обюрократились, забыли о демократических принципах нашего строя? Любый поставил, как видим, весьма важный вопрос. Что скажет его собеседник?

«— Ну так.. Само слово говорит за себя, Василий Максимович, самородок — сам родился.

— Ерунда!»

Здесь этот интересный разговор, к сожалению, меняет тему, хотя и вопрос, предложенный Любым, и ответ журналиста явно заслуживают обсуждения.

Есть в очерках П. Ребрина немало и других интересных мыслей. Особенно убедительно звучат они в тех случаях, когда существуют в произведении не сами по себе, не в отрыве от художественного изображения, а высказываются в подтверждение нарисованных писателем картин; когда рождается тот своеобразный сплав мысли и образа, который составляет одну из важных черт его стиля.

В реальной сложности, в реальном переплетении «добра и недобра» предстает сегодняшняя деревня в лучших очерках П. Ребрина. Она изображена с трезвостью почти научного исследования и одновременно с большой душевной заинтересованностью, с очевидным желанием понять и помочь. Гражданская позиция писателя определена и активна. Правда, в отличие от некоторых других наших очеркистов, пишущих на сельские темы, П. Ребрин, как правило, воздерживается от каких-либо практических рекомендаций организационного или хозяйственного свойства. Но

вряд ли следует считать это слабостью его очерков. Он по м о г а е т именно как художник — исследованием характеров, отношений, форм труда и быта — словом, всего того у к л а д а, который, по его выражению, смотрит на нас со стен деревенского дома. Что касается художественного уровня, на каком ведется это исследование, то о нем,

мы надеемся, дают понятие приведенные нами выдержки.

Петр Ребрин написал пока сравнительно немного. Но и сегодня работа этого серьезного и талантливого писателя заслуживает внимания со стороны читателей.

Ю. БУРТИН.

★

## ГИПОТЕЗЫ И НАХОДКИ

**Эмма Герштейн. Судьба Лермонтова. «Советский писатель». М. 1964. 495 стр.**

Минувший — лермонтовский — год был богат новыми книгами о великом поэте. И среди них одна из самых примечательных — работа Эммы Герштейн «Судьба Лермонтова», своеобразная и свежая по жанру, насыщенная множеством новых фактов и наблюдений, работа строго научная, литературоведческая, оснащенная солидными академическими ссылками и примечаниями и в то же время увлекательная, интересная, всем доступная и, более того, — по верному определению А. А. Ахматовой — каким-то образом принадлежащая к художественной литературе.

Такие книги не пишутся сразу, к сроку, установленному издательским договором. Это результат многолетних усилий, неутомимых архивных разысканий, кропотливого изучения лермонтовских текстов, оказывается, еще плохо прочитанных исследователями.

Казалось, что лермонтоведы уже обнаружили все, что можно обнаружить. Трудно было предположить, что в наши дни еще возможны находки, позволяющие по-новому осветить многие важные факты жизни и творчества поэта. Но вот выясняется, что такие находки вполне возможны. До сих пор, например, не были вовлечены в научный обиход хранящиеся в архивах письма П. А. Вяземского 1839—1840 годов, содержащие ценные упоминания о Лермонтове, письма и дневники императрицы Александры Федоровны, важные для характеристики придворных нравов и отношения к Лермонтову в этой среде, дневниковые записи А. И. Тургенева и М. А. Корфа и другие неизданные материалы. Опираясь на них, вчитываясь и сопоставляя, анализируя и споря, исследователь шаг за шагом пересматривает устоявшиеся мнения,

оценки, даты. Итоги этой работы без всяких преувеличений можно назвать блистательными.

Э. Герштейн, еще в тридцатых годах начавшая изучение неясных и темных мест лермонтовской биографии, поставила своей главной задачей выяснить конкретную обстановку, в которой протекала короткая жизнь поэта, установить круг его неизвестных друзей и тайных врагов; в то же время она стремилась раскрыть полемическую направленность некоторых его поздних произведений (прежде всего это относится к стихотворению «Журналист, Читатель и Писатель»), обнаружить заключенные в них злободневные политические намеки, обычно ускользавшие от исследователей.

Конкретность и конкретность — таков, мне кажется, основной девиз автора рецензируемой книги, позволивший ему докопаться до первопричины многих неясных событий, наполнить реальным содержанием такие страницы биографии Лермонтова, которые мы еще недавно представляли себе лишь в самой общей форме.

Мы знали, например, что какие-то нити связывали Лермонтова с Зимним дворцом, знали о его столкновении в маскараде с «высокими особами», знали о суровых репрессиях правительства по отношению к опальному поэту. Исследователи (И. Боричевский, И. Андроников) много сделали для того, чтобы выяснить все эти обстоятельства — от первой ссылки за стихи на смерть Пушкина до заключительной трагедии в горах Кавказа. Теперь, после выхода книги «Судьба Лермонтова», мы можем куда подробнее представить себе сложную картину отношений поэта с придворным кругом (главы «Дуэль с Барантом», «Лермонтов и двор»), во многом па-

поминающую отношения, несколькими годами раньше сложившиеся с царским двором у Пушкина.

Вновь найденные документы, письма и дневники современников, особенно записи императрицы, умело расшифрованные исследовательницей, помогли найти ответ на многие вопросы, мучившие ее предшественников. Лермонтов, как оказалось, был известен во дворце гораздо больше, чем до сих пор думали. Его сочинения были в центре внимания царской фамилии. Императрица интересовалась его новыми стихами, постоянно упоминала и цитировала их в дневнике, читала и обдумывала «Героя нашего времени». 8 и 9 февраля 1839 года во дворце по ее требованию происходило чтение «Демона» (установление этого факта позволяет с уверенностью датировать окончание работы над поэмой концом 1838 года).

В книге подробно рассказано о маскарадных интригах императрицы; новые материалы позволяют предположить, что не царские дочери, как считалось прежде, а именно она вместе с одной из своих фавориток («голубое и розовое дюмино») была участницей известного столкновения Лермонтова с «высокими особами» на новогоднем балу, которое в биографической лермонтовской литературе обычно связывалось со стихотворением «1 января» («Как часто, пестрою толпою окружен...»). Любопытен в книге пересмотр этого эпизода, позволяющий автору попутно сделать некоторые важные выводы, в частности, установить художественную преемственность между «1 января» и драмой «Маскарад». В свете описанных автором маскарадных увлечений царской четы становится более очевидным злободневный политический элемент «Маскарада». Еще в 1835 году цензура III отделения, запретившая драму, была перепугана такими ее строками:

Как женщине порядочной решиться  
Отправиться туда, где всякий сброд.  
Где всякий ветреник обидит, смеет;  
Рискнуть быть узанной...

Это было написано в те дни, когда всем было известно, что костюмированные балы в доме Энгельгардта посещают царь и царица. И не удивительно, что позднее тот же цензор, прочитав уже исправленную автором рукопись «Маскарада», снова пришел в негодование: «В новом издании мы находим те же самые непристойные напад-

ки на костюмированные балы в доме Энгельгардта, те же дерзости против дам высшей знати». Вряд ли можно сомневаться, что эти «нападки», о которых, кстати, был вполне осведомлен Бенкендорф — правая рука царя, — послужили одной из причин запрещения драмы Лермонтова.

Атмосфера и нравы николаевского Петербурга красочно и подробно воспроизведены в книге. Хорошо показан Николай I как читатель Лермонтова, внимательно следивший за деятельностью поэта, только что вернувшегося из ссылки. Но если императрица проявляла к нему сочувственное внимание и даже хлопотала за опального поэта, то коронованный фельдфебель не скрывал своей ненависти к нему и враждебного отношения к его сочинениям. Крайнее раздражение сквозит в известном письме Николая I по поводу «Героя нашего времени», подлинник которого впервые воспроизведен в книге.

Э. Герштейн отмечает расхождения и споры между царем и царицей в оценке Лермонтова. Она дает нам почувствовать, сколь опасным было положение непокорного поэта, — ведь ему пришлось «невольно быть вовлеченным в этот мир придворных интриг и сложных семейных отношений царствующей фамилии». Но тут исследовательница не удержалась от искушения дополнить свой анализ чуждым ему романтическим элементом. Рассуждая об отношении императрицы к Лермонтову, она намекнула, что к ее литературным интересам, возможно, примешивалось «чувство», а в другом месте собрала доводы в подтверждение того, что «пристрастие императрицы» к поэту следует рассматривать как «одну из причин катастрофы», то есть усиления преследований Лермонтова, приведших его к гибели.

Несомненно, всякое заступничество и всякие возражения против мнений царя, даже если они исходили от его жены, выводили из себя упрямого самодержца и обостряли его ненависть к противнику. Но уместно ли тут говорить о «чувстве» и следовало ли таким образом вводить в действие мотив ревности со стороны царя? Думается, для этого не было достаточно серьезных оснований.

Бесчисленное множество находок, уточнений, новых толкований и разъяснений заключено в книге «Судьба Лермонтова».

Из одной биографии в другую с давних пор переходят сведения о том, как писатель

В. Соллогуб написал по заказу дочери царя Марии Николаевны повесть «Большой свет», где в карикатурном виде изобразил Лермонтова под именем Леонина. Однако никто этой повести не изучал, истории ее написания не исследовал. Э. Герштейн впервые выполнила эту работу. Ей удалось показать, что повесть Соллогуба — не просто пасквиль, как принято было думать, но своеобразное и небездарное произведение, близкое к литературной пародии, во многом автобиографическое и в то же время буквально пропитанное образами и идеями лирики Лермонтова, переведенными в пародийный план. Во всех подробностях мы узнаем историю этой повести, написанной недавним почитателем Лермонтова, знавшим ему цену и все же решившимся изобразить своего друга в насмешливом и оскорбительном виде. Делалось это ради личной корысти и чтобы угодить «высоким» заказчикам.

Исследовательница приходит к заключению, что в награду за пародийную повесть, имевшую успех во дворце, царская семья, к которой был близок Соллогуб, путем искусных интриг устроила его брак с дочерью М. Ю. Виельгорского, не склонной соглашаться на это добровольно. Попутно, в процессе анализа текста повести, автору удалось установить, что целая группа лермонтовских стихов (в том числе «Есть речи — значенье», «Слышу ли голос твой», «Как небеса твой взор блистает» и другие) образует единый цикл, обращенный к одной женщине, а именно к той же дочери Виельгорского, изображенной Соллогубом под именем Надины (в повести ее безнадежно обожает Леонин). Эта убедительная гипотеза позволяет теперь уточнить датировку названных стихотворений.

Изучение творчества Соллогуба привело автора к еще более существенным выводам в главе, посвященной «Родине» и «Тарантасу». Здесь социально-художественная проблематика лермонтовской «Родины» ставится в связь с лучшей вещью Соллогуба, созданной в результате поездки автора по России вместе с художником Г. Гагариным, другом Лермонтова, участником «кружка шестнадцати». Мысли о тяжелом положении страны, о крепостничестве, о национальной самобытности, высказанные в «Тарантасе», помогают глубже понять идейный смысл «Родины», точнее расшифровать ее полемическую направленность, ибо стихотворение

Лермонтова, заключает автор, вышло из той же среды и принадлежит тому же времени, что и книга Соллогуба-Гагарина.

Очень важно и плодотворно стремление исследовательницы окончательно разрезать легенду о мнимом одиночестве Лермонтова. Выясняется, в частности, значение гусарского кружка в Царском Селе, где сохранялся традиционный дух независимости и вольномыслия, который еще во времена Дениса Давыдова являлся «своеобразной формой протеста против арачьевщины». С атмосферой этого товарищеского кружка связаны так называемые гусарские стихи и «Тамбовская казначейша», которые в последних изданиях принято датировать 1837 или 1838 годами. Э. Герштейн вполне основательно предлагает изменить их датировку на более раннюю (1836). Она указывает, что и стихи, и шуточная поэма, написанная «Онегина размером», «отражают атмосферу, которой дышал Лермонтов незадолго до смерти Пушкина: заинтересованность «Современником», глубокое сочувствие политической направленности «Моей родословной». Отзвуки этого стихотворного памфлета в поэзии Лермонтова и вообще трансформация пушкинских образов в его лирике рассмотрены автором в широком идейно-художественном плане.

Из царскосельской гусарской среды вместе с Лермонтовым вышли некоторые будущие участники известного «кружка шестнадцати», возникшего в 1838 году. В книге заново собрано все, что может пролить свет на этот важный эпизод биографии поэта. При отсутствии прямых документов, рисующих собрания оппозиционного кружка и указывающих на то, какие вопросы волновали его участников, исследовательница избрала единственно верный путь: она воссоздала биографию членов кружка, по возможности раскрыла их общественно-политические взгляды и сопоставила с ними эволюцию мировоззрения Лермонтова, проведя четкий водораздел между поэтом и наиболее видными представителями «шестнадцати». Эта работа помогла наглядно определить, в какую сторону развивался поэт, показать, как он «все дальше и дальше отклонялся от узких кастовых настроений отдельных групп и выходил на широкую дорогу общенародных дум и чаяний».

Автор смело вводит новые лица в биографию Лермонтова. Мы знакомимся с Иваном Гагариным, Андреем Шуваловым, Сер-

геем Трубецким, А. Долгоруким, Н. Жерве, М. Лобановым-Ростовским, В. Голицыным и многими другими; имена их и прежде упоминались в лермонтовской литературе, но только теперь эти фигуры приобретают для нас конкретные очертания и занимают свои места в ближайшем окружении поэта.

Нельзя не отметить своеобразное литературное мастерство, с каким автор воссоздает портреты некоторых знакомых Лермонтова, реконструируя их на основе скурых документальных свидетельств, облекая в живую плоть сухие архивные данные. Таких портретов в книге немало.

Пересматривая устоявшиеся репутации, автор реабилитирует одних и освобождает от незаслуженного ореола других. Наиболее разительные примеры — Р. И. Дорохов («Неизвестный друг») и А. И. Васильчиков («Тайный враг»). Рукопись критика А. В. Дружинина, обнаруженная Э. Герштейн в его архиве, помогла выяснить, что известный своей храбростью разжалованный офицер Руфин Дорохов, долго считавшийся одним из подстрекателей Мартынова, на

самом деле был преданным другом и почитателем Лермонтова. Он сделал все что мог для предотвращения дуэли и, по-видимому, присутствовал на месте поединка (сведения о Дорохове сохранились в записях Дружинина, встретившего знаменитого бреттера на Кавказе спустя десять лет после гибели Лермонтова).

С другой стороны, князь Васильчиков, числившийся в приятелях Лермонтова, оказался его тайным ненавистником, сыгравшим провокационную роль в дни, предшествовавшие дуэли. Эту свою роль он тщательно маскировал в последующие десятилетия, когда остался едва ли не единственным свидетелем пятигорской трагедии.

Обращение к первоисточникам, пересмотр традиционных взглядов, отрицание шаблонов — таковы особенности новой книги, целостной по своему замыслу, проникнутой стремлением понять Лермонтова с позиций нашего времени. Книга эта принесет много пользы и радости не только специалистам-литературоведам, но каждому, кто любит Лермонтова.

**В. ЖДАНОВ.**

★

## ЗНАКОМСТВО С АПДАЙКОМ

**Джон Апдайк. Кентавр. Роман. Перевод с английского В. Хинкиса. «Иностранная литература», №№ 1, 2, 1965.**

Как пересказать самое дорогое воспоминание? Как восстановить для любимой девушки свой мальчишечий мир? Как это сделать, если прошлое, как и настоящее, — зыбко, неустойчиво, очертания их расплываются и едва уловима грань между тем, что было, и тем, что кажется, между порядком и хаосом?

Именно таков мир в романе Джона Апдайка «Кентавр». Художник Питер Колдуэлл разговаривает со своей возлюбленной, рассказывает ей о детстве, о своем отце. думает о настоящем, возвращается в прошлое. Эта рамка рассказа-обращения лишь изредка напоминает о себе то словом, то структурной фразой, то совсем неожиданным в контексте «родная моя...».

Эта рамка создает интонацию доверительности, словно все это говорится только вот сию минуту и только одному человеку. Впрочем, рамка не жесткая, временами она исчезает — и тогда исчезает интимность.

Не сразу определишь, кто рассказчик, чей голос слышен. Питера? Его отца? Хаотическое нагромождение лиц, времен, эпизодов... «Все перемешалось: теплынь и пустыня, и ящерицы, и лисы, и ручьи» (Б. Пастернак).

Не сразу понимаешь, когда происходит действие: в 1947 году, или пятнадцать лет спустя, или вообще в фантастические времена, когда на земле жили кентавры.

Можно, конечно, попытаться пересказать книгу в хронологической последовательности: прозаически «вытянуть» ее в том порядке, в котором происходили события, отбрав только эпизоды реальные, отбросив мифологию и фантастику. Тогда получится примерно следующее: учитель естественных наук Джордж Колдуэлл едет на старой машине со своим сыном, едет в школу в город Олинджер. Долгие сборы, долгая дорога от фермы, где они живут, до школы. случайные встречи. После уроков отец идет к вра-

чу, он боится, что болен раком. Машина портится, и отцу с сыном приходится ночевать в гостинице. На второй день после занятий и после спортивных соревнований (учитель по совместительству еще и тренер школьной команды пловцов) они хотят попасть домой, но не могут добраться из-за бурана и снегопада. Их пригласила переночевать жена механика гаража.

На третий день они вернулись домой. Питер простудился, но у отца исследования закончились благополучно, опухоли не обнаружили.

Но «упорядочивать» роман Апдайк таким способом нельзя: в искусстве от перемены мест «слагаемых» «сумма» всегда меняется. Мир Апдайк — это мир, в котором причудливо смешаны вчера и сегодня, быт и буйная фантазия, в котором провинциальный учитель начинает копать копытами кентавра, директор школы оборачивается Зевсом-громовержцем, мир, в котором жена механика Вера Хаммел, объясняясь в любви застенчивому учителю Джорджу Колдуэллу, становится богиней Венерой, влекущей мудрого Хирона в свои объятия и мило сплетничающей про небожителей.

Но книга Апдайк не ребус, рассчитанный лишь на изощренную сообразительность и специальные знания. Ее можно воспринимать как сказку, как детские рисунки, и тогда не покажется странным, что герой романа все еще живет и действует после того, как мы прочли посвященный ему некролог, что в учителя стреляют не из обычной рогатки, а ранят настоящей стрелой. Много в книге причудливого вымысла, а боль от ранения — истинная.

Для чего живет человек? — тоскливо спрашивают герои Апдайк, представители семьи Колдуэллов в трех поколениях.

Дед-священник, умирая, ужасается: неужели меня забудут?

Отец-учитель говорит доктору: «Я готов и дальше тянуть эту бессмысленную лямку, мне бы только знать, для чего все это? Кого ни спрошу, никто не может мне ответить».

И сын-художник обращается к возлюбленной: «Я размышляю о нашей жизни с тобой, о днях, текущих независимо от восходов и закатов, о причудливых узорах все затихающего чувства, о всей этой обстановке, как на полустертой картине Брака, о тоскливой смеси фрейдистского и восточного сексуального мистицизма и думаю: «Неужели

ради этого мой отец отдал жизнь?»

Что же противостоит хаосу, небытию, той черной пропасти, в которую неизбежно — рано или поздно — каждый падает и в которую теперь ежеминутно может быть повержено все человечество? Что защищает, что ограждает человека, что дает силу жить?

Может быть, молодость, здоровье, когда жизнь едва начинается и тебе кажется, что ты вечен? Но этой биологической защиты нет даже у юного Питера. Он болен, у него псориаз, кожа его вся в струпьях, она как бы «пропускает окружающее безумие». Настойчивость, с которой писатель описывает физические недостатки своих героев, непонятна и неприятна. У Джорджа Колдуэлла все болит — живот, спина, зубы. Его неотступно преследует страх перед раком, самым современным воплощением смерти.

Может быть, от ощущения бессмысленности жизни защищает отсутствие сомнений, наивность? Но эта возможность закрыта для старшего и уже закрывается для младшего. Они не могут не задавать мучительных вопросов, не могут просто жить. Да и о какой естественной жизни можно говорить в обществе автоматизированной цивилизации, в мире, где господствуют стандартные механизмы? Очень многие живут, чтобы управлять машиной, слушать радио, смотреть телевизор. Но Джордж Колдуэлл и механический рай непримиримо враждебны, об этом свидетельствуют хотя бы его постоянные злоключения с автомобилем.

Может быть, спасает религия? Но она не спасла и деда-священника, так тосковавшего на смертном одре. Его опыт закрыл путь к религии для его сына, да и для внука. Чтобы в этом не оставалось сомнений, Апдайк изображает еще и молодого преуспевающего священника Марча. Он участник войны, он любитель спорта, он ухаживает за Верой Хаммел. Но его лишь раздражают дурацкие вопросы Колдуэлла.

Ведь он, Марч, прекрасно знает, что «пульса нет», что церковь — это пустой дом. «Хотя его вера нерушима и крепка, как металл, она и мертва, как металл». Нет, не таким людям врачевать больную душу Колдуэлла.

Множество людей защищает от хаоса другая вера — вера в возможность преобразования общества. Но у героев Апдайк, да, видимо, и у него самого ее нет.

В кафе происходит обычный для тех лет разговор — о русских, о бомбе, о войне. «Они и в бога не веруют», — обличает владелец кафе современную молодежь. «А кто в него верит? — восклицает Питер, краснея за себя, но не в силах остановиться, так хочется ему поддеть этого человека, который со своей непроходимой республиканской глупостью и упрямой звериной силой воплощает все то в мире, что убивает его отца...» Апдайку отвратительны те, кто в сегодняшней Америке сеет насилие. Жестокость мира, в котором живут его герои, яснее всего запечатлена в Зиммермане, директоре школы. Он — власть имущий. И его сила неразрывно связана со слабостью Колдуэлла. «Глупая доброта всегда рождает умную жестокость».

Он в еще большей степени, чем владелец кафе, олицетворяет все то, что убивает таких людей, как Колдуэлл. Но так было и так будет, полагает писатель. От первых дней творения, от того времени, когда ранили кентавра Хирона, мир неизменен и неизменно жесток.

От хаоса могут спасти и разные виды человеческого содружества, ощущение причастности родине, городу, заводу, школе. Но и этого нет у героя Апдайка, он одинок. Собственная деятельность представляется ему бессмысленной, бесполезной. Школу он называет «фабрикой ненависти» и многократно повторяет, что дети его ненавидят, что он физически ощущает их ненависть, что эта ненависть «засела у меня в кишках». Урок изображен, как ад крошечный. А ведь этот урок свидетельствует, что Джордж Колдуэлл — отличный учитель. Он находит ключ к труднейшей задаче — помочь детям понять движение времени, представить себе очень отдаленные, трудно вообразимые события. Истинность этой, как и многих других сцен романа, не в соответствии реальному уроку, а в соответствии восприятию Колдуэлла. Потому его боль, неудовлетворенность вполне реальны, хотя он и делает свое дело лучше, чем ему кажется.

Не может помочь ему и любовь. Жена уже плохо слышит своего мужа. Возникшее было чувство к Вере Хаммел ближе к миру фантастическому, чем к реальности. Ни дом, ни семья не могут служить ему убежищем от окружающего безумия. А ведь вера именно в такое убежище чрезвычайно распространена в обществе, где живет Апдайк.

Вот, например, в доме Веры Хаммел, где ночуют отец и сын, хрустит чистое белье, до блеска начищены полы и кастрюли, царит идеальный порядок. А в доме, где вырос Питер, нет ни порядка, ни уюта. Неудобна кухня, невкусна еда, смяты постели, вот уже сколько лет не могут починить перила у лестницы. Отец и мать небрежно-плохо одеты. Мир вещей — чужой и колючий. У жены Колдуэлла нет древнего женского умения жить в мире с вещами, владычествовать ими, она не способна устроить для мужа и сына округлый, притягивающий, защищающий дом — дом-крепость.

Потому лишенный всех этих опор, лишенный убежища, Колдуэлл и мечется, словно загнанный зверь, балансирует на самой грани хаоса. Он человек редкой чувствительности, ранимости, болезненно преувеличенной требовательности к себе. Вот он, словно кролик перед удавом, застывает под тяжелым взглядом директора школы Зиммермана. Ему кажется, что его сейчас выгонят. Работа, хотя и нелюбимая, все же дает какую-то обеспеченность, деньги, можно кормить семью, возить на машине в город сына. Но вот-вот обрушится и эта последняя шаткая опора, а Колдуэлл хорошо знает, что это значит. Его биография типична, он долго был безработным и в школу-то пришел в годы кризиса. Он помнит вкус и цвет бедности: «Пыль, рвань, плевки, бедность, всякая дрянь из сточных канав, весь хлам и хаос из-за пределов прочного, надежного мира ворвались сквозь дырочку из-за этого последнего маленького укола».

Но все-таки мир и человек в романе Апдайка не тонут в хаосе. Опора Джорджа Колдуэлла — доброта.

Он — странный человек, ведет себя странно. Даже его уродливая, найденная в ящике из-под утиля шапочка, столь ненавистная сыну, — это ведь по сути шутовской колпак, только что без бубенцов. По реакции на мир, по интонации речи он напоминает героя романа Сэлинджера «Над пропастью во ржи», он тот же Холден Колфилд, которому уже не шестнадцать, а пятьдесят лет, и все равно он нисколько не повзрослел.

Питер очень любит отца, и в то же время его раздражают нелепые положения, в которые тот все время попадает. Да и как может быть иначе, если каждому встречному-поперечному Джордж Колдуэлл, не задумываясь, отдает и свое время, и весьма тощий кошелек, раскрывает свое сердце.

Именно каждому встречному — доброта Колдуэлла нисколько не избирательна. Самые дурные люди с самыми дурными намерениями, которые хотят его обмануть, обворовать, избить, даже гомосексуалист, угрожающий его сыну, для него — только несчастные. Такие же, как и он сам.

Он чувствует ответственность и за них — за всех людей.

Доброта Колдуэлла подчас обезоруживает, парализует, но, разумеется, не вознаграждается.

Отец и сын ночью на дороге, пурга, заглох мотор, их машина стала. Мимо промчался мощный «додж». Мог бы взять их на буксир. Но не взял. Даже кроткий Колдуэлл замечает с грустным укором: я бы так не поступил. «Таких, как ты, на свете больше нет!» — с отчаянием кричит сын. С отчаянием, потому что понимает: таким, как отец, нестерпимо трудно жить в мире волчьих законов. В страшном сне Питер видит: отца осудили, он идет голый, прикрытый лишь коробкой из-под макарон, виднеются тщиные ноги, а олинджерцы осыпают его бранью, кидают в него грязью. Кто он? Сократ? Христос? Он похож на всех древних и новых мучеников. Но это современный американец, жалкий школьный учитель, владелец ненужного и бесценного — быть может, самого бесценного на земле сокровища — нежного, любящего сердца.

«Голова отца чернеет смиренной тенью, втиснутая в крохотную шапочку, которая для Питера воплощает всю отцовскую приниженность, нескладность, легкомыслие и упрямство». А интонация фразы словно противоречит ее содержанию, она — приподнято-торжественная. Эта шапочка — не только шутовской колпак, но еще и терновый венец.

И действительно, Джордж Колдуэлл обречен. Он обречен именно потому, что беспомощен, добр, бесценен и жалок. И не один Колдуэлл. Скоропостижно умирает и добрый горбун, портье в гостинице, который пустил отца и сына переночевать в кредит: ни один добрый поступок не остается безнаказанным...

Но жалкий, обреченный Джордж все-таки растет, становится значительнее и выше с каждой прочитанной страницей, пока наконец уродливая шапочка не достигает звезды — созвездия Стрельца, альфы Кентавра.

В некрологе Джорджу Колдуэллу (помещенном в середине романа) названы главные факты его жизни и все вроде соответ-

ствует действительности. И все — неправда. Там перечислены общественные обязанности Колдуэлла, их анекдотически много — и председатель клубной комиссии по ежегодной распродаже электрических ламп в пользу слепых детей.

Разве он такой, как в этом перечислении? Тебе, единственной, я, Питер Колдуэлл, хочу рассказать об отце, а все эти обтекаемые, лживые слова — пусты, бесцветны, человек в них тонет, теряется в забвении, в небытии, в хаосе...

«Доброта бессмертна», — открывает вдруг для себя Питер Колдуэлл, открывает, как будто никто никогда до него так не думал. Повзрослев, он стал гораздо ближе к отцу, ему легче влезть в отцовскую шкуру. Но тем горше чувствует он невозвратимость мгновений, когда он, молодой, нетерпимый, был так глух, а порой так жесток к отцу, постоянно осуждал его, заставлял его чувствовать какую-то вину. Он теперь поступал бы иначе, но поздно. Отца уже больше нет. И Питер, естественно, начинает творить миф об отце. Не здесь ли одна из посылок мифологического в романе?

Нельзя сказать, что отцовская доброта перешла по наследству сыну. Питер — из другого теста. Он по-иному пытается противостоять хаосу. С детства он воспринимает мир в зримых очертаниях, в красках. Становится художником. Запечатлеть на полотне ускользающие, улетающие мгновения, удержать свой мир... Ведь больше никто, ни один человек на земле так не увидит, так не изобразит маленькую ферму близ городка Олинджер в штате Пенсильвания. И тогда этот крошечный мирок тоже канет в Лету вслед за бесчисленными мирами и мирами.

Стремление к гармонии у самого Апдайка глубоко противоречиво, непоследовательно. Он хочет дать слепок того хаотического мира, в котором живут его герои. А это значит, так считает автор, пропустить хаос и на свои страницы. И вместе с тем обуздать расплывающееся, странное, причудливое, обуздать, упорядочить, запечатлеть. Художник сражается с материалом действительности. При первом впечатлении здание романа может показаться недостроенным, а то и разрушенным — не убрана строительная площадка, много мусора, то там, то здесь высятся уже ненужные леса... Как будто читаешь не только окончательный текст романа, но и черновики, наброски,



пробы. Оно, это первое впечатление, не полностью исчезает и в конце. Противоборство не во всем закончилось победой писателя. И все-таки многие победы одержаны.

Мы проникаем в книгу с помощью переводчика Виктора Хинкиса, открывшего Апдайку русскому читателю. Сложнейшая ткань романа воссоздана им не только бережно, но и талантливо. Воссоздана и двойственная природа романа — сочетание зримого, видимого, осязаемого мира, созданного Апдайком-художником, недаром учившимся в школе живописи, и мира сложнейших абстракций. Четко, по-брейгелевски, отчетливо все, что видит читатель в мире реальном. А в мифологических сценах, снах и фантазиях исчезает четкость, на тебя катятся вал за валом, буйствуют краски, бешено пляшут образы, и маленькая возлюбленная Питера школьница Пенни так непрочно, так естественно превращается в дерево...

Впрочем, переходы из одного художественного плана в другой у Апдайка подчас

головокружительны: снижается самолет — земля. Тогда сбивается настройка на одну волну — и все мертвеет, обнажается конструкция, за блистательной сценой видны пыльные задники декораций. Автор сам это чувствует, ведь Питер недаром говорит: «Последнюю грань мне не преодолеть».

Я увидела Джона Апдайка впервые, когда он стоял, заложив руки в карманы и втянув голову в плечи, как бы весь сложившись: в такой позе часто стоят высокие, нескладные, застенчивые подростки, которым некуда девать руки и ноги. Таким писатель любит себя изображать в шуточных рисунках, в такой позе фотографируется. Даже внешне он показался похожим на «Кролика», героя своего предшествующего романа, на Кентавра, на персонажей своих новелл. А в глазах у него — та чуть старомодная, чудакватая доброта, которая и противостоит хаосу.

**Р. ОРЛОВА.**



### Политика и наука

## ПРОТИВ ДОГМЫ И ФРАЗЫ

**В. И. Ленин.** Против догматизма, сектанства, «левого» оппортунизма. Политиздат. М. 1964. 426 стр.

В трудах Ленина, как и в книгах любого большого писателя — будь он художник, ученый или политик, — всегда при каждом новом их чтении обнаруживаешь новую глубину, не схваченные тобою прежде оттенки мысли и черты стиля. Так, перечитывая на этот раз статьи Ленина, собранные в сборнике «Против догматизма, сектанства, «левого» оппортунизма», я впервые обратил внимание на то, как круто, неожиданно, резко начинает Ленин свои статьи, буквально с первой же фразы, с порога заинтересовывая читателя.

«Известное изречение гласит, что если бы геометрические аксиомы задевали интересы людей, то они наверно опровергались бы — так начата статья «Марксизм и ревизионизм». А вот начало статьи «Ответ П. Киевскому (Ю. Пятакову)»: «Война забивает и надламывает одних, закаляет и просвещает других, — как и всякий кризис в жизни человека или в истории народов». Прочитав такую фразу, уже не отложишь

статью в сторону, хочется думать над только что услышанным и читать дальше. А вот еще одно энергичное начало: «Лучший способ отпраздновать годовщину великой революции — это сосредоточить внимание на нерешенных задачах ее» («О значении золота теперь и после полной победы социализма»).

Ленину-литератору чужда уклончивость общих мест, осторожных недомолвок и дальних подходов к предмету. С первой же строки он завладевает вниманием читателя, резко формулирует мысль и развивает, обосновывает ее в блестящем потоке диалектики, на ходу обогащая и подкрепляя свои выводы историческими аналогиями, ссылками на новые факты жизни, острой полемикой. Самым методом анализа и чуждой шаблону формой ленинские статьи ведут бой с тем, что атакуют они и по существу — с узколобой догматикой, засыпанием мысли, сектантским обожествлением формул.

Страсть политического вождя соединялась в Ленине со строгой объективностью ученого. Его творческий, антидогматический метод исследования социальных явлений основывался на точном учете данных, предоставляемых теорией, историей и самой повседневной действительностью. Теория — история — жизнь: эта цепь неразрывна в любой статье Ленина.

Надо ли напоминать, какое значение придавал Ленин революционной теории. «По нашему мнению,— писал он в статье «Революционный авантюризм», которой открывается сборник,— отсутствие теории отнимает право существования у революционного направления и неизбежно осуждает его, рано или поздно, на политический крах». Саму сущность ревизионизма как политического течения Ленин связывал с отходом от целостной теории, забвением конечной цели социалистического движения, беспринципным применением к обстоятельствам. Этот своего рода политический прагматизм («хорошо то, что выгодно в данную минуту») Ленин развенчал в статье «Марксизм и ревизионизм». «От случая к случаю определять свое поведение,— писал он,— приспособляться к событиям дня, к поворотам политических мелочей, забывать коренные интересы пролетариата и основные черты всего капиталистического строя, всей капиталистической эволюции, жертвовать этими коренными интересами ради действительных или предполагаемых выгод минуты,— такова ревизионистская политика».

Отстаивая значение марксистской теории, способной объяснить самые противоречивые явления действительности и направить борьбу рабочего класса, Ленин неизменно прибегал к проверке тех или иных теоретических положений опытом прошлого, уроками мировой истории и истории пролетарского движения в России. «История вообще, история революций в частности,— писал он,— всегда богаче содержанием, разнообразнее, разностороннее, живее, «хитрее», чем воображают самые лучшие партии, самые сознательные авангарды наиболее передовых классов». И решая жгучие вопросы современности, Ленин неизменно обращался к «хитрому» опыту истории, ища в нем подтверждений и указаний на правильность той или иной политической линии. Так, споря в 1918 году с «левыми коммунистами» по вопросу о Брестском мире, Ленин неод-

нократно ссылается и на Пруссию начала XIX века, заключавшую позорные мирные договоры с Наполеоном, чтобы выждать и, накопив силы, подняться против него, и на более близкий пример полемики в партии по поводу участия большевиков в Государственной думе в 1907 году. Это не просто внешние исторические аналогии, а конденсированный опыт прошлого, помогающий не ошибиться, принять верное решение в сложной политической обстановке текущего дня.

Но как ни важна теория, как ни значительна роль исторического примера, самым важным для марксиста, по Ленину, остается, однако, исследование живой жизни, ее бесконечно разнообразных условий, ее развивающихся и противоречивых форм. Конкретный анализ конкретной ситуации называет Ленин «живой душой марксизма». «Теперь необходимо усвоить ту бесспорную истину,— писал Ленин в «Письмах о тактике»,— что марксист должен учитывать живую жизнь, точные факты действительности, а не продолжать цепляться за теорию вчерашнего дня, которая, как всякая теория, в лучшем случае лишь намекает основное, общее, лишь приближается к охватыванию сложности жизни».

Казалось бы, чего проще — изучай, вооружившись диалектическим методом, живую действительность и делай на основании непредвзятого ее анализа новые выводы. Однако истинно способным на это оказывается лишь деятельный, творческий, революционный ум.

Тут есть, так сказать, сторона психологическая. В догматизме вовсе не всегда следует искать некую злонамеренность. Часто это лишь след ограниченности, тяги к привычному, устоявшемуся, канонизированному. Этот род догматики Ленин отмечает даже у весьма уважаемых и субъективно несомненно честных товарищей по партии, «охотно называющих себя «старыми большевиками». Констатируя в апреле 1917 года, что в общем большевистские лозунги вполне подтверждены историей, но конкретно дела сложились иначе, чем можно было ожидать, Ленин говорит: «Игнорировать, забывать этот факт, значило бы уподобляться тем «старым большевикам», которые не раз уже играли печальную роль в истории нашей партии, повторяя бессмысленно заученную фор-

мулу вместо изучения своеобразия новой, живой действительности». Ленин высмеивает тех, кто учебник, написанный по Каутскому, и для своего времени очень полезный, считает кладезем революционной премудрости на все времена. «Тех, кто думает так, своевременно было бы объявить просто дураками», — пишет Ленин. Этими словами он не столько хотел уязвить или обидеть кого-то, а указывал на неоспоримый факт, что самая обычная житейская ограниченность, будучи перенесена в область идеологии и политики, становится опасным тормозом на пути революционной творческой мысли.

Узкобая догматика, которая в применении к отдельному индивиду может рассматриваться как явление психологическое, в применении к социалистическому движению в целом выступает как догматизм — течение, имеющее четкую идейную окраску. Догматизм как идейное течение идет обычно рука об руку с «левой» революционностью, и Ленин последовательно вскрывает социальные корни этих явлений.

Во многих статьях, включенных в сборник, и прежде всего в своей знаменитой работе «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» Ленин глубоко анализирует мелкобуржуазную природу анархической революционности, ее приверженность к левой фразе, вся мудрость которой исчерпывается словами: «разбить», «взорвать» и «доушить».

В стране с преобладанием мелкобуржуазного населения над чисто пролетарским неизбежны проявления «левого» ребячества в рабочем движении. Мелкий буржуа, по характеристике Ленина, «испытывая при капитализме постоянно угнетение и очень часто невероятно резкое и быстрое ухудшение жизни и разорение, легко переходит к крайней революционности, но не способен проявить выдержки, организованности, дисциплины, стойкости». К словам «мелкий буржуа» Ленин очень часто прибавляет здесь выразительный эпитет «взбесившийся», подчеркивая тем самым, что он имеет в виду не трудового крестьянина, а торгаша, мелкого хозяйчика, мещанина, то есть ту публику, которую Маркс называл лавочниками, сыгравшими такую предательскую роль в революции 1848 года.

Ленин всесторонне характеризует социальную психологию этого типа мелкого буржуа — неустойчивость его революцион-

ности, обладающей свойством «быстро превращаться в покорность, апатию, фантастику, даже в «бешеное» увлечение тем или иным буржуазным «модным» течением», а с другой стороны — его бахвальство и фразерство, упоение революционным насилием, неразборчивое восхваление репрессивных мер «добивания» и «окончательной ломки», нервность и взвинченность, выдвижение и поддержку маленьких бонапартиков.

Ленин настойчиво боролся против мелкобуржуазного влияния на партию рабочего класса, заботился о чистоте ее рядов, особенно, когда она стала правительственной партией и когда к ней готовы были примазаться революционеры чувства и фразы, пропитанные мелкобуржуазной психологией и предрассудками. «Нетрудно быть революционером, — писал Ленин, — тогда, когда революция уже вспыхнула и разгорелась, когда примыкают к революции все и всякие, из простого увлечения, из моды, даже иногда из интересов личной карьеры. «Освобождение» от таких горе-революционеров стоит пролетариату потом, после его победы, трудов самых тяжких, мучки, можно сказать, мученской».

Непримиримая борьба с «левым» оппортунизмом имела еще и то значение, что рабочей власти в первые годы революции серьезно угрожали, по словам Ленина, разного рода «Наполеоны и Кавеньяки, именно на этой мелкобуржуазной почве и произрастающие». Сила, которая им противостоит — сила сознательного рабочего класса и его партии, — враждебна политическому авантюризму, левому доктринерству и тенденциям культа личности вождей и героев. Крайняя «левизна», как показал Ленин, неизбежно ведет на практике к обособлению от масс, групповой замкнутости и политическому сектантству, а в идеологии — к безраздельному господству «революционной» фразы и ложному убеждению, что массы «не доросли» до того, чтобы знать полную правду. «Швыряться звонкими фразами — свойство деклассированной мелкобуржуазной интеллигенции, — замечал Ленин. — Организованные пролетарии-коммунисты за эту «манеру» будут карать, наверное, не меньше, как насмешками и изгнанием со всякого общественного поста. Надо говорить массам горькую правду просто, ясно, прямо...» Недоверие к массам, самодовольство и хвастовство при некотором упражнении этих свойств ведут к само-

обману, к созданию иллюзорной, воображаемой картины жизни. Желаемое сначала выдается за действительное, а потом самими фразерами принимается за таковое. Возникает порочный круг, разорвать который может лишь смелая, революционная, большевистская правда.

Как умел издеваться Ленин над пошлым фразерством и хвастовством, как умел его исхлестать, унижить и выставить на всеобщее посмеище! Испытываешь настоящее удовольствие, перечитывая его широкоизвестные, но все еще недостаточно часто вспоминаемые нами статьи «О революционной фразе», «О чесотке» или, к сожалению, не включенную в сборник статью «О характере наших газет». Каких только едких слов и острых определений не находит Ленин для насмешки над мелким буржуа с настроениями барича или шляхтича, который воображает себя революционером, а по существу лишь хорохорится и хвастает, над псевдореволюционной болтовней, над бездумным повторением «превосходных, увлекательных, опьяняющих» лозунгов. Великий революционер, столько сил отдавший борьбе против буржуазного реформизма и правого оппортунизма с его недооценкой прямого революционного действия, Ленин не уставал разъяснять и предостерегать: «Для настоящего революционера самой большой опасностью,— может быть, даже единственной опасностью,— является преувеличение революционности, забвение грани и условий уместного и успешного применения революционных приемов. Настоящие революционеры на этом больше всего ломали себе шею, когда начинали писать «революцию» с большой буквы, возводить «революцию» в нечто почти божественное, терять голову, терять способность самым хладнокровным и трезвым образом соображать, взвешивать, проверять... в какой области действия надо уметь действовать по-революционному и в какой момент, при каких обстоятельствах и в какой области действия надо уметь перейти к действию реформистскому. Настоящие революционеры погибли (в смысле не внешнего поражения, а внутреннего провала их дела) лишь в том случае,— но погибли наверняка в том случае,— если потеряют трезвость и вздумают, будто «великая, победоносная, мировая» революция обязательно все и всякие задачи при всяких обстоятельствах во всех

областях действия может и должна решать по-революционному».

Педантскому пониманию марксизма и празднословию рыцарей «левой» фразы Ленин противопоставляет сознательность, деловитость и выдержку авангарда рабочего класса. Говоря в 1920 году о деятельности коммунистической партии Англии, Ленин подчеркнул мысль о необходимости выработки партией рабочего класса своей политики «на научных основаниях», «отнюдь не определения политики на основании только желаний и взглядов...». Надо ли говорить, что эта мысль Ленина имеет значение принципиальное.

Работа недавно закончившегося мартовского Пленума ЦК КПСС лишней раз подтвердила силу и жизненность этих ленинских идей, актуальное значение борьбы Ленина против догматизма и субъективизма для всей практической деятельности партии.

В краткой рецензии мы смогли остановиться лишь на некоторых вопросах, возникающих в связи с чтением сборника «Против догматизма, сектантства, «левого» оппортунизма», основательно подготовленного сотрудниками Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС Н. Г. Севрюгиной и Н. Н. Суровцевой и вышедшего под редакцией В. Я. Зевина и Г. Д. Обичкина. Многие вопросы дополнительно освещены в предисловии и комментариях к этой книге.

Можно было бы пожалеть, что в сборнике не оказались представленными замечательные последние статьи Ленина и, в частности, его так называемое «политическое завешание». Разве не связаны эти документы с той борьбой против догматизма и сектантства, которую до последних дней своей жизни вел Ленин? Впрочем, надо признать, что составители сборника были и впрямь в трудном положении при отборе материала. Ведь борьба Ленина против догматизма не исчерпывается отдельными статьями и яркими цитатами, она пронизывает все ленинское литературное наследие, являясь частью самого его метода исследования жизни, отношения к действительности. И, возвращаясь к тому, что было сказано в начале, можно повторить, что даже форма ленинских статей, его смелая, живая, неожиданная и страстная речь, начисто лишенная свалывшихся и оказавшихся

штампов, служит постоянным укором и осуждением плоской догматике.

Вот почему замечательные статьи Ленина и сегодня столь эффективно участвуют в на-

шей борьбе с узким доктринерством, идейным застоєм и беспринципной фразой.

**В. ЛАКШИН.**

★

## НАРОДНАЯ ВОЙНА

**Л. Н. Бычков.** Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. 1941—1945 (Краткий очерк). «Мысль». М. 1965. 454 стр.

Начало этой летописи положили несколько строк в газете. «На занятой противником территории,—сообщила «Правда» 6 июля 1941 года,—стихийно возникает массовое партизанское движение. Прекрасно зная местность, партизаны героически действуют в тылу фашистских захватчиков». Потом сообщения о народных мстителях стали более подробными. Из сводок Совинформбюро, корреспонденций и очерков журналистов страна узнала о героических делах партизанских отрядов «Бати» и «Алексея», о Зое Космодемьянской и Михаиле Гурьянове, о партизанских краях и зонах, «рельсовой войне», многокилометровых рейдах по тылам врага...

Не все тогда можно было раскрыть, многое стало известно лишь со временем. И вот одна за другой стали выходить в свет книги, написанные активными участниками партизанской борьбы. Мы узнали подлинные имена героев, перед нами постепенно раскрывалась поистине легендарная эпопея народного подвига. Положено начало научной разработке истории партизанского движения. Появились интересные публикации; некоторые бывшие партизаны защитили диссертации о всенародной борьбе в тылу врага. Значительное место уделено партизанскому движению в многотомной «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза». И вот перед нами специальная книга о партизанской борьбе в тылу немецко-фашистских войск.

Много внимания уделено в ней возникновению партизанского движения на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками советской земле. И это не случайно. Реакционные буржуазные историки (Ч. О. Диксон, О. Гейльбрунн и другие) видят основную причину активного сопротивления советских людей оккупантам только в излишней жестокости гитлеровцев по отношению к местным жителям. В начале войны, заявляют они, советские граждане относи-

лись к немецким войскам благожелательно, и лишь зверства оккупантов заставили народ взяться за оружие. Поэтому в первые четыре-пять месяцев в тылу немецких войск якобы не было партизанского движения. Документы и материалы, приведенные в книге, полностью разоблачают этот злостный вымысел.

Еще тогда, когда оккупанты лишь начали устанавливать пресловутый «новый порядок» в занятых ими районах, а во многих случаях и до вступления немецких войск в город или село советские патриоты создавали партизанские отряды и переходили к вооруженной борьбе против захватчиков. Уже в июле 1941 года ЦК компартии Белоруссии сообщил в ЦК ВКП(б) о том, что в тылу противника создано не менее восьмидесяти партизанских отрядов. В августе в лесах Демидовского и Слободского районов Смоленской области развернул боевую деятельность отряд Никифора Захаровича Коляды («Бати»), численностью около ста человек. Семьсот тридцать восемь партизанских отрядов было сформировано к октябрю 1941 года в оккупированных районах Украины. Партизанские отряды создавались летом и осенью в прибалтийских республиках и Молдавии, во всех областях Российской Федерации, оккупированных врагом.

Уже начало партизанской борьбы показало ее глубоко народный характер. В отряды добровольно вступили рабочие, инженеры, председатели колхозов и рядовые колхозники, учителя, агрономы, врачи. К партизанской борьбе перешли многие красноармейцы, командиры и политработники частей Красной Армии, попавшие во вражеское окружение и не сумевшие пробиться на соединение с основными силами советских войск. Ряд партизанских отрядов сформировался на базе истребительных батальонов, созданных для борьбы с вражескими лазутчиками, и из реорганизованных отрядов народного

ополчения. В партизаны шли представители всех слоев советского народа, и в этом ярко проявилось его единство, вера в неизбежный разгром врага.

Партизанское движение советских патриотов возглавила Коммунистическая партия. В директивном письме от 29 июня 1941 года, а затем в специальном постановлении от 18 июля «Об организации борьбы в тылу германских войск» ЦК ВКП(б) подчеркнул важность развертывания всенародной борьбы против врага. ЦК потребовал от руководителей республиканских, областных и районных партийных организаций лично возглавить организацию партизанской борьбы и создание партийного подполья. Для улучшения руководства борьбой в тылу врага ЦК обязал выделить «опытных боевых и до конца преданных нашей партии, лично известных руководителям парторганизаций и проверенных на деле товарищей». Организаторами, зачинателями партизанского движения были коммунисты и беспартийные активисты, оставленные партийными организациями для подпольной работы.

Автор показывает и трудности, которые в начале войны усложняли организацию и развертывание партизанского движения. Эти трудности объяснялись не только обстановкой жесточайшего террора и действиями разветвленной сети гитлеровских разведывательных органов на оккупированной территории. Подавляющее большинство подпольщиков не имело тогда опыта строгой конспирации, не овладело еще тактикой партизанской борьбы. В значительной мере это было вызвано тем, что по вине Сталина, недооценивавшего перед войной значение партизанского движения, была свернута проводившаяся в начале тридцатых годов подготовка партизанских кадров и специальной партизанской военной техники, а во время массовых незаконных репрессий погибли многие бывшие партизаны периода гражданской войны, а также и те, кто готовился к партизанской деятельности на случай нового нашествия врага.

Несмотря на тяжелые испытания, подпольные партийные организации все шире разжигали всенародную войну в тылу врага. Уже в первые месяцы войны боевые действия партизан на коммуникациях немецко-фашистских войск срывали снабжение, препятствовали передислокации вражеских воинских частей. Партизаны защищали население от грабежей, спасали советских

людей от угона в фашистскую Германию, доставляли важные сведения командованию Красной Армии, уничтожали вражеские гарнизоны. Один из пленных гитлеровских солдат, захваченных партизанами под Одессой, заявил на допросе: «Партизаны — это вторая советская армия, которую мы не видим, но которая не дает нам жить».

В книге подробно рассмотрены действия партизан во время обороны Москвы и контрнаступления Красной Армии зимой 1941/42 года. В эти месяцы враг почувствовал силу ударов партизан Брянщины и Орловщины, Подмосковья и Смоленщины, туляков и калининцев... Активизировали свои действия партизаны Ленинградской области. Они не только помогли советским войскам освободить ряд районов. Из образовавшегося здесь Партизанского края в марте 1942 года советские патриоты собрали и переправили через линию фронта обоз с продовольствием для осажденного Ленинграда. Он состоял из двухсот двадцати трех подвод, груженных хлебом, мукой и мясом. Месяц продолжался этот путь, сопряженный со смертельной опасностью для сопровождавших обоз партизан колхозников и колхозниц. Скольких детей, женщин спасли эти люди, скромно называвшие себя «возчиками»...

Еще более массовый характер приняло партизанское движение весной 1942 года. Укрепляются ранее возникшие отряды, создаются новые. Многие отряды объединяются в партизанские бригады и полки, способные решать крупные боевые задачи. Все больше ощущается необходимость создания центра по руководству боевой деятельностью партизан. 30 мая 1942 года при Ставке Верховного Главнокомандования был образован Центральный штаб партизанского движения. Были созданы также республиканские и областные штабы партизанского движения. Центральный штаб координировал боевую деятельность всех партизанских сил. Непосредственными организаторами и руководителями партизанского движения, как подчеркивается в книге, были ЦК компартий союзных республик и обкомы партии.

Усиление партийного руководства борьбой в тылу врага, централизация партизанского движения создали возможность в соответствии с обстановкой на фронте координировать действия партизанских сил и Красной Армии в оперативном и даже стратеги-

ческом масштабе. Улучшилось материально-техническое снабжение партизан, в специальных школах проводилась подготовка специалистов партизанской борьбы.

Советские партизаны наносили массированные удары по вражеским коммуникациям, срывая подвоз войск и техники из Германии и ее вассальных стран и вывоз в Германию награбленного советского имущества. Беспрецедентные рейды совершили партизанские соединения С. А. Ковпака, А. Н. Сабурова, М. И. Наумова, А. Ф. Федорова и других партизанских командиров. В последние месяцы 1942 года украинские партизаны взорвали четыреста железнодорожных и шоссейных мостов, около ста двадцати разных складов, пустили под откос сто сорок восемь эшелонов, разгромили пятьдесят четыре штаба гитлеровских войск. На всей оккупированной советской территории с ноября 1942 по апрель 1943 года советские партизаны организовали крушения около полутора тысяч эшелонов врага.

1943 год был годом коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Важную роль в достижении этого перелома сыграло партизанское движение.

В ходе победоносных боев за освобождение родной земли боевые действия партизан непосредственно слились с боевыми операциями Красной Армии.

Один из самых интересных разделов книги — участие советских партизан в освобождении народов Европы от фашистского ига. В нем содержится немало примеров совместной борьбы советских бойцов и патриотов Польши, Чехословакии, Югославии, Франции, Италии, Греции и других стран Европы против врагов мира, демократии и прогресса. В общей борьбе крепла их солидарность. Советские люди на деле показали себя подлинными интернационалистами, борцами против фашистской тирании, за свободу и независимость народов.

Книга «Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны» написана на основе многочисленных источников, в том числе и архивных. Автор проделал кропотливую работу по сбору и систематизации материалов. В книге приведены сотни фамилий партизан, более или менее подробно описаны их подвиги, не забыта ни одна республика, ни одна область, где развернулась всенародная война против оккупантов. Это, конечно, хорошо. И все же от книги,

вышедшей в издательстве «Мысль», можно было ожидать большего.

Стремясь ничего не упустить и обо всем рассказать, автор в ряде случаев «тонет» в море фактов. Вместе с тем некоторые важные проблемы истории партизанской борьбы, требующие для их разрешения глубокого анализа, крупных обобщений, в книге не рассмотрены. Это относится в первую очередь к периодизации партизанского движения. В предисловии автор вскользь замечает, что существуют основные этапы этого движения. Но что это за этапы, чем они отличаются друг от друга, каковы их хронологические рамки — так и неясно. Правда, дальше автор говорит, что партизанское движение — неотъемлемая часть всей героической борьбы советского народа в годы войны, и поэтому его история, естественно, рассматривается в связи с основными периодами Великой Отечественной войны. Выходит, что этапы развития партизанского движения точно совпадают с этими периодами. Но на странице 183 мы читаем: «Весной 1942 г. партизанское движение бурно растет и приобретает все более массовый характер». Дальше читатель узнает, что создание Центрального и местных штабов партизанского движения знаменовало подъем организованности партизанского движения на новую, высшую ступень (стр. 237). Значит, начался новый этап в развитии партизанской борьбы? Оказывается, нет. «Наступивший второй период Великой Отечественной войны (ноябрь 1942 г. — декабрь 1943 г.), — говорится на странице 267, — был периодом бурного роста партизанского движения и еще более тесного взаимодействия партизан с Красной Армией». Но ведь и в 1942 году партизанское движение бурно росло, о чем автор сказал раньше. Проблема периодизации так и осталась в книге нерешенной.

Содержащийся в труде большой фактический материал мог послужить для автора основой для серьезных размышлений и выводов. В некоторых случаях он эту возможность не использовал. Упомянув, что 6 сентября 1942 года была учреждена должность главнокомандующего партизанским движением, автор это никак не комментирует, хотя известно, что через два месяца эта должность была за ненадобностью ликвидирована. Следовало, видимо, сделать вывод и из таких фактов, как необоснованность частых перестроек Центрального шта-

ба партизанского движения и его ликвидации в марте 1943 года (через месяц этот орган пришлось воссоздать).

Великая эпопея народной борьбы в тылу врага — неисчерпаемая тема для научных исследований, призванных глубоко раскрыть закономерность возникновения и развития

партизанского движения — одного из ярчайших проявлений несгибаемой воли советских людей в годы Великой Отечественной войны, доказательств великой организующей силы партии.

**М. ГУТИН,**

*кандидат исторических наук.*

★

## НОВОЕ ОРУЖИЕ АТЕИСТА

**Ю. Антомонов, В. Казаковцев.** Кибернетика — антирелигия. «Советская Россия». М. 1964. 205 стр.

Борьба идет не один год, не один век, не одно тысячелетие — борьба за человека, за главное в человеке. Религия борется за «душу человеческую», за спасение этой души, «погрязшей в грехе и невежестве». Наука борется за сознание человека, за спасение его от догм религии. Когда-то перевес был на стороне религии и лишь немногим гениальным одиночкам удавалось увидеть, что «бог умер», что он и не рождался, что у человека нет души, бессмертной и божественной, а есть лишь смертное и преходящее сознание, что реальное бессмертие не в боге, а в людях, в вечной эстафете знаний и культурных ценностей, которую передают народы и цивилизации друг другу.

То, что было доступно одиночкам, ныне достояние миллионов. Религия проиграла борьбу, но огню не собирается сдаться. Напротив, в наши дни она пытается обратить оружие своего давнего и заклятого врага — науки — себе на пользу. То, что считалось когда-то «научной ересью», истолковывается как «доказательство бытия божиего» и «священных писаний» — будь это учение о множестве обитаемых миров (за что был отправлен на костер Джордано Бруно), или теория относительности, или наконец кибернетика, превратившаяся в оценке церковников из «посягательства материи на бессмертный дух» в «победу духа над материей».

Религиозная пропаганда меняет методы, пытается использовать для «уловления душ» достижения науки и техники. А пропаганда атеизма? Зачастую, к сожалению, приходится констатировать обратное: было время, когда и теория относительности, и кибернетика, и генетика, и теория знаков объявлялись догматиками «проявлением идеализма» и даже «проповедью поповщи-

ны и фидеизма»! Антирелигиозные книги и брошюры писались в основном атеистами для атеистов. Верующие их не читали, а прочитав, могли, пожалуй, только «укрепиться в вере» и возмутиться развязным тоном спора, который велся в духе диспута Остапа Бендера с ксендзами из «Золотого теленка».

К счастью, эти времена прошли. «Идеалистические» кибернетика, современная физика, генетика стали ведущими науками. Их достижения начинают широко использоваться в пропаганде атеизма, которая также стала иной. Атеисты обратились к верующим не с поучениями и ругательствами, а с аргументированной, искренней и человеческой речью. Таковы некоторые статьи в последних номерах журнала «Наука и религия» и брошюры серии «Отвечаем на вопросы верующих» издательства «Советская Россия», серии «Естественнознание и религия» издательства «Знание», несколько брошюр и книг из числа выпущенных атеистической редакцией «Политиздата». Не только достижения науки, но и ее спорные проблемы становятся средством пропаганды в руках атеистов (а ведь когда-то их отдавали всецело в руки церковников). Ряд этих спорных вопросов науки и привлек внимание Ю. Антомонова и В. Казаковцева.

Кибернетика находится на «стыке наук». Человеческий мозг, вычислительная машина, живая клетка, планирующие организации — все это примеры сложных управляющих систем, подчиняющихся общим закономерностям, которые изучает кибернетика. И не просто изучает: важнейшая задача новой науки, как ее понимают советские ученые, состоит в том, чтобы сделать управление оптимальным, наилучшим, наиболее полезным для человека и общества.



Мозг, живая клетка, машина, общество... Их объединяет общее — управление, понятие, которое, пожалуй, становится столь же фундаментальным для естествознания, как понятие энергии. Иммануил Кант, автор одной из первых научных гипотез «небожественного» рождения Вселенной и заявлявший: «Дайте мне материю, и я построю из нее мир». — отрицал возможность утверждения: «Дайте мне матерью, и я покажу вам, как можно создать гусеницу».

В самом деле: одного «материала» и энергии недостаточно, чтобы «построить» живое существо, даже самое простое: «энергии» физики и «материалов» химии недостаточно для решения проблемы жизни. Великий физик Нильс Бор, выступая в 1932 году, через много десятков лет после Канта, счел нужным поставить вопрос о том, что современному естествознанию нужно «добавить к нашему анализу явлений природы еще какие-то недостающие пока фундаментальные идеи, прежде чем мы сможем достигнуть понимания жизни на основе физического опыта». Вот эту-то фундаментальную идею и дала кибернетика с ее понятиями информации и управления.

Но достаточно ли этого третьего фундаментального понятия, чтобы объяснить явление жизни? Только ли на трех китах — энергии физики, материалах химии и управлении кибернетики — стоит жизнь на нашей планете? Или этих «китов» гораздо больше? А может быть, и меньше? Можно ли создать живое существо не на органической, а на какой-то другой, не белковой основе? Ведь определение жизни, данное Энгельсом, как справедливо замечает В. Казаковцев, «нельзя относить ни к позициям химии, ни к позициям физики, кибернетики или математики. Оно не относится также к позициям биологии или техники. Это философское определение, и отношением, в котором оно истинно, является вся наука в целом, во всем разнообразии ее специальных направлений и отраслей».

Быть может, в дальнейшем выяснится, что явления жизни (а тем более вершины развития жизни — мышления) таят в себе столь много неожиданностей, что наши «три кита» покажутся только рыбешками, подобно тому как сейчас нам кажутся наивными попытки механицистов свести сложнейшие явления жизни и мышления к «работе часового механизма»? Кибернетика,

создающая «умные машины», делает только первые шаги; генетика, способная искусственно регулировать рост организма, вырабатывать новые живые существа, также еще молода; еще в пеленках находится «космолингвистика» — наука о космических контактах с неведомыми «братьями по разуму», о которых мы пока что не знаем ничего, кроме того, что вероятность их существования очень велика. Каких успехов достигнут «живые машины» кибернетики, «искусственные организмы» генетики, по каким. быть может, совершенно для нас неожиданным путем пошло развитие «братьев по разуму» и что даст это в раскрытии секретов жизни и мышления, трудно судить сейчас. Но не только в отдаленном будущем, не только в глубинах космоса можно искать ключи к этим секретам. Они есть и на Земле, здесь, в настоящем. «В мире еще много таинственных явлений. Многие из них и по сей день находятся в арсенале средств религии. Но уже сейчас наука присматривается к таким явлениям, как бы примеривая к ним свои методы», — заключает главу «Теория против мифов» В. Казаковцев, предоставляя слово Ю. Антомонову, автору следующей главы.

«Лечение словом», гипноз, телепатия, ясновидение, психокинез... Когда-то эти понятия образовывали единый ряд, и не случайно. На первых этапах развития знания, когда и простое падение камня или появление кометы было очень трудно научно объяснить, разговоры о «психических силах» действительно отходили к «ведомству» сверхъестественного и чудесного. Благодаря работам Павлова и многих других физиологов наука о человеческом мозге была поставлена на строгий научный фундамент — экспериментальное изучение. Прошло некоторое время — и «лечение словом», а затем и гипноз из раздела сверхъестественного перешли в раздел научной медицины. А дальнейшие понятия этого ряда? По чьему «ведомству» числятся они?

«Телепатия — антинаучный дар передачи мысли на расстояние» — эта остроумная характеристика как нельзя лучше характеризует современный статус вопроса о «передаче мысли». С одной стороны, сотни и даже тысячи фактов, с другой — недостоверность, сомнительность этих фактов, отсутствие каких-либо строгих теорий и даже гипотез, объясняющих их (да и как можно

всерьез объяснять то, что недостоверно, не проверено?). Споры о «передаче мысли», как правило, носят чисто умозрительный характер, хотя, казалось бы, только факты могут подтвердить или опровергнуть этот феномен. В тридцатых годах в нашей стране под руководством профессора Л. Л. Васильева проводились исследования распространения мысленного внушения на расстояние. С той поры прошло больше четверти века, а... «воз и ныне там». Потому что новые исследования не ведутся, и спорящим сторонам приходится ссылаться на один и тот же набор фактов, которые можно трактовать и так и этак.

Еще большим «невниманием» пользуются феномены ясновиденья и воздействия мысли на предметы (психокинез). И не вина автора, что в качестве примера ясновиденья ему приходится брать «рассказ секретаря премьер-министра Непала», в свою очередь заимствованный из книги английского охотника Дж. Корбета. Экспериментальных протоколов, точных показаний свидетелей у него нет. Подтвердятся ли факты ясновиденья или психокинеза? Возможно ли в будущем научное изучение этих явлений? Или, напротив, последует научное опровержение? Сейчас, когда и сама постановка вопроса спорна, невозможно дать ответ. Ясно одно — и это настойчиво подчеркивается в книге, — «сколь бы ни казались нам проблемными такие свойства мозга, мы не можем без практической проверки твердо сказать, что того или иного явления нет. Как только мы это скажем, так сразу же передаем неясное нам явление на ступень религии. И она воспользуется этим немеленно в своей практике». И далее: «Религия говорит — непознаваемое. Наука говорит — еще не познанное. Точка зрения религии пассивна. Точка зрения науки — активна». Только факты могут опровергнуть или подтвердить любое явление в мире, а факты всегда подведомственны знанию, а не вере

«Современная наука чревата новой революцией. Она связана с развитием кибернетики. Перспективы этой науки являются сегодня объектом обостренного интереса», — читаем мы в книге. И в самом деле, идеи кибернетики оказались драгоценным ключом ко многим проблемам биологии, медицины, психологии, лингвистики, экономики и ряда других гуманитарных наук. Но достаточно ли этого ключа? Быть может, в работе мозга есть еще и не познанные (но познаваемые!) принципы действия, о которых мы можем только догадываться, а порой даже и не догадываться? Уместно в связи с этим напомнить слова В. И. Ленина о том, что «...на деле остается еще исследовать и исследовать, каким образом связывается материя, якобы не ощущающая во все, с материей, из тех же атомов (или электронов) составленной и в то же время обладающей ясно выраженной способностью ощущения. Материализм ясно ставит нерешенный еще вопрос и тем толкает к его разрешению. толкает к дальнейшим экспериментальным исследованиям».

Ценность книги «Кибернетика — антирелигия» и состоит главным образом в том, что она ставит многие не решенные еще вопросы и вселяет в читателя уверенность, что при правильном научном подходе, методом диалектики они будут решены. «Новизна постановки вопросов обычно вызывает споры. Но они необходимы, чтобы вырабатывать правильные взгляды. Дискуссии заставляют человека мыслить самостоятельно. А в этом как раз и заключается, наверное, главная опасность для религии» — этими словами академика А. И. Берга, сказанными в предисловии к книге, как нельзя лучше охарактеризована направленность «Кибернетики — антирелигии», борющейся за превращение «темной души» верующего в ясное сознание атеиста.

А. КОНДРАТОВ.



## КОРОТКО О КНИГАХ



**К. А. МЕРЕЦКОВ.** Неколебимо, как Россия. Политиздат. М. 1965. 128 стр.

\* Пушкинские строки из «Медного всадника», посвященные городу на Неве, не случайно стали названием этой брошюры. Автор ее Маршал Советского Союза Кирилл Афанасьевич Мерецков рассказывает о героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, о беспримерном подвиге жителей осажденного города, всинов армии и флота, сражавшихся на ближних и дальних подступах к нему.

Девятьсот дней и ночей продолжалась ленинградская эпопея. И каждый из этих дней, какой бы ни взять на выбор, наполнен драматизмом суровой и напряженной борьбы.

Гитлеровцы рассматривали Ленинград как один из главных стратегических объектов своего наступления. Они рассчитывали, что с захватом города установят господство на Балтике и развяжут руки для наступления на Москву.

К. А. Мерецков рассказывает, как были сорваны эти планы фашистов, как под Тихвином наши войска, в том числе и полки 4-й армии, которой в ту пору командовал автор книги, нанесли первое крупное поражение фашистским дивизиям.

После этого под Ленинградом на долгие месяцы завязалась позиционная война, и в сводках Совинформбюро сообщалось, что на этом фронте «ничего существенного не произошло». Однако кажущаяся тишина была обманчивой. За годы боев у стен Ленинграда противник не раз предпринимал попытки штурмом взять город. Летом 1942 года, не ожидая исхода боев на Волге, немцы вновь стали готовить крупный удар. К невским берегам прибыл «специалист по штурмам» фельдмаршал фон Манштейн, которому Гитлер предложил «разделаться» с Ленинградом. Из Крыма была перебросена 11-я армия и осадная артиллерия, принимавшая участие в штурме Севастополя. Однако войска Волховского и Ленинградского фронтов упредили противника и нанесли ему мощный удар.

Заканчивается книга рассказом о том, как под Ленинградом была одержана окончательная победа.

**С. Владимиров.**

**С. ВЕРНИКОВ.** Записки военного переводчика. Пермское книжное издательство. 1964. 135 стр.

По своему фронтовому опыту я знаю, какую немаловажную роль играл в ходе боевых действий военный переводчик. Вот почему я с таким интересом взял в руки эту небольшую книжечку. И скажу сразу, что интерес этот по мере чтения все больше усиливался.

Военный переводчик должен не только в совершенстве владеть языком противника, но и хорошо разбираться в вопросах организации, вооружения и тактики неприятельских войск; он должен уметь самостоятельно допросить пленного, а для этого надо знать, чем именно больше всего интересуется сейчас командование. В известной степени он должен быть и психологом — иначе ему не добиться успеха при допросе. А как важно правильно прочесть и умело сопоставить с обстановкой трофейные документы!

В частности, о том, как важно для военного переводчика умение разбираться в обстановке, хорошо рассказывает заметка «Артподготовка отменяется...». Если бы переводчик не смог быстро и целеустремленно допросить перебежчика, если бы он не сверил полученные показания с другими данными и тотчас не доложил об этом командованию, — артиллерия ударила бы по пустому месту. Когда я читал эту главу книги, мне вспомнился аналогичный эпизод из действий нашей авиации: именно благодаря оперативности военного переводчика, сообщившего важные сведения, было перенесено время удара по одному из крупных аэродромов в Донбассе.

Конец войны застал Верникова в одном из немецких городов, и он рассказывает, какую большую помощь оказывали наши воины трудящимся освобожденной от гитлеризма Германии в создании первого в истории немецкого государства рабочих и крестьян.

Автор наблюдателен, он умеет дать картину боя, описать природу, хотя иногда за отступлениями теряется рассказ о главном — о работе переводчика. Думается также, что автору не следовало так увлекаться

описаниями своих злоключений и переживаний. Но это, разумеется, частные замечания, не умаляющие достоинства книги.

**И. Сидоров,**  
полковник запаса.

Винница.

★

**А. С. БЛАНК.** Коммунистическая партия Германии в борьбе против фашистской диктатуры (1933—1945). «Мысль». М. 1964. 397 стр.

Это было в конце 1943 года. Каждую среду и субботу в эфире стали звучать слова: «Говорит Радиостанция немецкого Сопротивления... радиостанция всех антифашистов, всех противников Гитлера... голос друзей мира и врагов гитлеровской войны...»

Гестаповцам так и не удалось обнаружить тайный радиопередатчик, который вел работу... с территории фашистского концлагеря Заксенхаузен. Организовали эти передачи немецкие коммунисты и их товарищи — узники из других стран.

В борьбе с фашизмом пали десятки тысяч членов КПГ. Однако деятельность ее организаций не прекращалась ни на один день в течение всех двенадцати лет террористического режима национал-социализма.

Преподаватель Череповецкого пединститута А. С. Бланк собрал большое количество неизвестных ранее материалов из архивов ГДР и Советского Союза, использовал обширную легальную и нелегальную прессу, издававшуюся КПГ, материалы Национального комитета «Свободная Германия». Ему удалось дать систематический очерк борьбы, которую вели немецкие коммунисты в эмиграции (в частности, руководя движением «Свободной Германии») и в условиях глубокого подполья на территории своей страны.

Анализируя стратегию и тактику немецких коммунистов на различных этапах борьбы с нацизмом, А. С. Бланк не замалчивает серьезных ошибок, совершенных ими. В книге показано, как немецкие коммунисты, следуя линии VII конгресса Коминтерна, смогли преодолеть эти ошибки и выработать на своих конференциях в Брюсселе (1935) и Берне (1939) программу сплочения всех антифашистских сил для борьбы за новую, демократическую Германию.

К недочетам работы следует отнести явно недостаточное освещение проблем, связанных с заговором 20 июля 1944 года. Хотя лицо этого заговора определяла буржуазно-милитаристско-чиновничья оппозиция против Гитлера, стремившаяся посредством дворцового переворота и последующих сепаратных переговоров с Западом спасти германский империализм от надвигавшегося краха, — в нем, как показали исследования Д. Мельникова и других авторов, существовало и патристическое направление, программа которого во многом совпадала с непосредственными требованиями КПГ. Более глубоким хотелось бы видеть историографический раздел работы.

**Н. Черкасов.**

Томск.

**ЮЛИУС МАДЕР.** Тайна Хантсвилла. Документальный рассказ о карьере «ракетного барона» Вернера фон Брауна. Сокращенный перевод с немецкого. Политиздат. М. 1964. 182 стр.

В захолустный городок Хантсвилл в штате Алабама пришел процветание: здесь был создан американский ракетный центр. Главной ракетного центра и некоронованным владыкой Хантсвилла стал прусский барон Вернер фон Браун.

У барона два лица, две карьеры, две биографии. Биография, услужливо сочиненная пропагандистской машиной Запада, рисует ученого, поставившего свои способности и энергию на службу благороднейшему делу мирного исследования космоса. В свете этой версии барона изображают как героя Нового света, как «Прометея Америки».

Но у Вернера фон Брауна есть другая биография. Ее предпочитают не рекламировать, ее пытаются замолчать. По словам одной из западногерманских газет, это «наиболее строго хранимая тайна ракетного города Хантсвилла».

Новая книга известного немецкого публициста Юлиуса Мадера посвящена разоблачению этой тайны. Автор показывает истинную карьеру ракетного барона Вернера фон Брауна — длинный путь преступлений, «который привел бывшего штурмбаннфюрера СС Вернера фон Брауна из фашистского ракетного центра Пенемюнде на немецком острове Узедом в город Хантсвилл».

Мадер убедительно опровергает лживую басню о якобы с юношеских лет увлеченной Вернера фон Брауна мечте об исследовании космоса в гуманных целях. Карьера барона началась в 1931 году, когда он по протекции отъявленного милитариста полковника Беккера был привлечен к ракетным исследованиям рейхсвера. Германскую военшину меньше всего интересовало завоевание космоса, ракеты нужны были ей совсем для иных завоеваний.

«Вернер фон Браун создал технические предпосылки для осуществления фашистского плана массового уничтожения населения. Один нацистский ученый изобрел газ «циклон-Б», чтобы задушить сотни тысяч людей в газовых камерах концентрационных лагерей, другие создавали ракету, чтобы с помощью динамита разнести в клочья сотни тысяч мирных граждан за границей», — с гневом пишет Мадер.

Автор подробно, на основании многочисленных документов, рассказывает о военных преступлениях нацистов, полную ответственность за которые должны нести гитлеровские ракетчики во главе с Вернером фон Брауном.

Эсэсовский штурмбаннфюрер избежал наказания за свои многочисленные преступления. Спасение пришло из-за океана. Темным силам американской реакции — генералам Пентагона, военным монополиям США — оказался нужен Вернер фон Браун так же, как в свое время он был нужен немецкой реакции, генералам вермахта, военным монополиям Германии Гитлера.

Книга Мадера — страстный обвинительный документ, разоблачающий нацистское прошлое фон Брауна. Но значение ее не только в этом. Автору удалось убедительно доказать, что между Пенемюнде и Хантсвиллом существует преемственность, что «Вернер фон Браун не просто остался таким, каким был. Он стал еще более опасным, ибо Пентагон снабдил его ракеты ядерными зарядами».

**А. Зайцев.**

Кемерово.

★

**О СУЩНОСТИ ЖИЗНИ.** Сборник. «Наука». М. 1964. 351 стр.

Спор о сущности жизни покинул кабинеты биологов и философов; в дискуссию включились представители точных наук: математики, физики, химии. Основой для названного в заголовке сборника послужили материалы двух теоретических конференций, проведенных в институтах Академии наук. В числе авторов такие известные ученые, как А. И. Опарин, В. А. Энгельгардт, А. Н. Колмогоров, А. А. Ляпунов, Л. А. Тумерман, Л. А. Блюменфельд, П. К. Анохин, Б. Л. Астауров и другие. Интересны попытки ученых разных специальностей дать определение «сущности жизни». Одни дискутируют, правомерно ли считать белковые тела единственным материальным субстратом, с которым связана органическая жизнь; не существует ли на других планетах жизни, материальной основой которой окажутся не белковые, а какие-то иные тела. Другие склоняются к «функциональному» определению жизни. А. Ляпунов, например, полагает, что «жизнь можно охарактеризовать как высокоустойчивое состояние вещества, использующее для выработки сохраняющих реакций информацию, кодируемую состоянием отдельных молекул». А Л. Плюш считает, что сущность жизни заключается в борьбе с энтропией.

Таким образом, разговор о сущности жизни идет на новом, иногда непривычном для биологов уровне — в терминах математики, кибернетики, квантовой механики. Таково требование времени. По остроумному замечанию лауреата Нобелевской премии А. Сент-Дьердьи, «Творец должен был очень хорошо знать волновую механику и физику твердого тела и применять их. Во всяком случае, создавая жизнь, он не ограничивал себя молекулярным уровнем только для того, чтобы облегчить биохимикам ее понимание».

«О сущности жизни» — книга не совсем обычного жанра по форме — это книга-спор. По существу же тут не может быть спора. Ибо когда слово берут такие ученые, как И. Презент, А. Игнатов, М. Веденов, Б. Малышев, З. Каганова, упорно отстаивающие точку зрения академика Лысенко и по-прежнему нападающие на так называемых формальных генетиков, то спора не получается: оппоненты или не знакомы с новейшими достижениями молекулярной биологии, или игнорируют их.

**В. Захаров.**

**Р. ГИЛЬЗЕНБАХ.** Земля жаждет. 6000 лет борьбы за воду. Сокращенный перевод с немецкого. «Прогресс». М. 1964. 358 стр.

Посмотрите на карту размещения населения земного шара. Вы увидите поразительную картину — почти совсем не заселена добрая половина суши: ледяные просторы Антарктиды, знойные песчаные пустыни, высокие горы, влажные тропические леса и болота.

Приглядитесь повнимательней — и вы увидите, что все крупные города, поселки и даже маленькие деревушки располагаются на реках или озерах.

Не случайно колыбелью древних цивилизаций были плодородные долины Нила и Хуанхэ, междуречье Тигра и Евфрата, Инда и Ганга. Здесь в длительной и упорной борьбе с водой и за воду еще в седой древности научились люди осушать болота, проводить каналы, возводить плотины и дамбы. Задерживая и равномерно распределяя воду, человек стремился увеличить площадь плодородной земли, отвоевывая ее у пустыни.

Природа дала человеку моря, полноводные реки, озера, огромные площади лесов. Как же распорядились этим богатством последующие поколения?

Из одной страны в другую ведет нас автор книги «Земля жаждет». На протяжении веков во многих странах хищнически сводился лес. Лишенная защитного растительного покрова, земля постепенно превращалась в пустыню или подвергалась эрозии.

Вода нужна не только сельскому хозяйству. Стремительный рост промышленности городов ведет к неуклонному повышению спроса на воду. Растет потребность в питьевой и бытовой воде. Почему же не берегут ее по-настоящему?!

Сточные воды и ядовитые отходы промышленности настолько отравили реки Европы, что сделали их воду почти непригодной для питья. Загрязнен некогда прозрачный, полноводный Рейн. Радиоактивными отходами атомных электростанций заражена река Колумбия в США. Таких примеров в книге множество. Положение с водными ресурсами вызывает большую тревогу.

Дальнейшее использование водных ресурсов и преобразование рек, строительство пригационных и энергетических сооружений возможно лишь как часть общего плана преобразования природы. Проблема планового водного хозяйства остается сегодня такой же актуальной, как и прежде.

Эта книга зовет: цените и берегите воду!

**В. Шейнман.**

★

**КРИСТА ВОЛЬФ.** Расколотое небо. Роман. Перевод с немецкого И. Каринцевой и Н. Касаткиной. «Прогресс». 1964. 231 стр.

Книга молодой немецкой писательницы, живущей и работающей в Германской Демократической Республике, привлекает прежде всего тем, что некоторые жгучие конфликты современности изображены здесь остро, драматично (хотя нельзя не заметить,

что порой драматизм передается ею чисто внешними приемами: так, кризисные состояния души героев непременно сопровождаются катаклизмами в природе).

Страна пережила страшную национальную трагедию — войну, фашизм. Ныне в ГДР строится новое общество, и, однако, живучими остались пережитки немецкого филистерства, по-прежнему эгоистичного и фальшивого... Писательницу тревожит опасное сходство пожилой уважаемой фрау Герфурт, готовящей бегство своей семьи на Запад, и ретивого, ограниченного студента Мангольда, считающего себя единственным ревнителем правильной партийной линии и на этом основании запугивающего всех и вся в учительском институте. «То же слепое рвение, те же крайности и выпячивание своего «я»... Можно ли одинаковыми средствами бороться за противоположные цели?»

Главная героиня произведения студентка Рита Зейдель поначалу чувствует себя несколько растерянной. К ее идеализированным представлениям о жизни примешивается горький привкус скептицизма. Однако в результате драматической внутренней борьбы Рита приходит к большой духовной цельности. Она начинает понимать: жизненные противоречия никуда не исчезают, они накапливаются и ищут выхода, но при этом существует объективная правда, правда истории, сквозь все противоречия пробивающаяся себе дорогу. Ради этого-то стоит жить и бороться.

Иначе думает и поступает возлюбленный Риты, молодой ученый-химик Манфред Герфурт. Он тоже начал с неприятия обывательского мира лицемерия, олицетворением которого были для него родители, а кончил тем, что «ушел» на Запад.

Манфред считал своим преимуществом перед «идеалисткой» Ритой выработанный им иммунитет к разочарованиям. Но вот достаточно было недооценить изобретение Манфреда и его друга — и молодой человек уже не чувствует в себе сил для борьбы. Откуда такая душевная непрочность?

Бывает, что неудача шага, предпринятого не ради личного претупования, приводит в отчаяние человека, не обладающего внутренней стойкостью. И тогда кажется: какой смысл продолжать надеяться, если «существуют люди, которые росчерком пера могут уничтожить твои самые заветные мечты»? Какой смысл благородно «упорствовать в попытках», если существуют вечные припособленцы, папаши герфурты?

Однако тот, кто устраняется от борьбы, перекладывает свою ношу на плечи того, кто не сдастся, и делает его долю более тяжелой. Манфред понимает, что бегством в «зону вечной мерзлоты» он не только предал Риту, но и совершил своего рода нравственное самоубийство. Так или иначе путь назад, в прошлое — это путь в пустоту, дорога гибельная для человека — вот главная идея книги молодой немецкой писательницы, книги небезынертной, хотя кое в чем и схематичной и растянutoй.

**М. Рубинчик.**

**МОИСЕЙ ТЕЙФ. Рукопожатие. Стихи и поэма. Авторизованный перевод с еврейского Юнны Мориц. «Советский писатель». М. 1964. 106 стр.**

Моисей Тейф — один из старейших в нашей стране еврейских поэтов. Начал он своеобразно в июльский день 1920 года, накануне освобождения Минска от белополяков, пятнадцатилетний парнишка с городской окраины сложил свои первые строки: «Я на крыше сплужу, все гляжу да гляжу, не идут ли там наши...» Через три года — стихи о Ленине в комсомольской печати. Затем работа на одной из минских фабрик, учеба в Москве, сборники стихов и поэм, арест, война, второй арест... И вот перед нами новая книга Тейфа «Рукопожатие».

Это трагическая по сути книга, близко соприкасающаяся со столь страшным человеческим горем, что любая попытка «оформить» его стихом не может не показаться рискованной, даже бестактной. Скажем, воспоминание о мальчишке, сыне поэта, сожженном фашистами:

Его шубенка — на горе  
Из тысяч маленьких пальтишек.  
Он канул в небо в январе  
С ватагой в тысячу мальчишек.

Под силу ли стиху такое? Под силу, отвечает Тейф. Если только на этом не оцепенеть, если переплавить скорбную память о жертвах в мужественную мысль и действие, как, например, в стихотворении о присяге, которую принимают бойцы перед боем:

А там, где белый снег сиял  
В долине белой, как бумага,  
Там белым зайчиком стоял  
Ребенок мой, мой присяга.

Нет, М. Тейф не перечеркивает трагедию. Он преодолевает ее сознанием неисчерпаемости душевных сил народа.

Отсюда непривычное с виду сочетание в поэзии Тейфа мотивов, казалось бы, несоместимых: трагических и сказочно-фольклорных. Отсюда устойчивый интерес поэта к жанру народной баллады, к фольклорному романтизму, в котором столетиями находили выход фантазия и юмор народа, его музыкальная одаренность, его умение подыматься над ограниченной и по необходимости бедной сферой быта.

Очень естественны у Тейфа и «голубые флейты дождей», и «переулочка-свирилки», и скрипки, «вытертые» деревьями (даже если это деревья, выросшие на краю могил), — вся эта наивная, светлая поэтичность мира, преображенного по закону добра.

И еще привлекает у Тейфа серьезное, чуждое всякого рода «забавам» отношение к слову как носителю правды прежде всего:

Остерегайся суеты,  
Она не признак беспоконья.  
Слова прозрачны и чисты,  
И это — главное их свойство...

Крестьянин пробует зерно.  
И ты — крестьянин. Пробуй тоже  
Слова. Для этого дано  
Нам сердце, что на зуб похоже.

Запоминаются строки поэта, рожденные именно этим неприятием суеты, идеей высокого предназначенья поэта: «Любите создателей драм и элегий! Нет, я не прошу никаких привилегий, и льгот не прошу, и в состав редколлегий вводить не прошу. О, соблазнов не надо! Храните преемников Дантова ада...»

«Рукопожатие» М. Тейфа — книга интересная, значительная, ибо вся она объединена существенной мыслью о трагедии, преодоленной силами жизни — жизни каждого и жизни всех.

Г. Березкин.

Минск.

★

**А. П. ОКЛАДНИКОВ.** Олень Золотые Рога. Рассказы об охоте за наскальными рисунками. «Искусство». Л.—М. 1964. 240 стр.

А. П. Окладников — известный исследователь древних наскальных изображений на территории нашей страны — делит по сюжету и манере «писаницы» нашего востока на три больших мира: Сибирская тайга, Дальний Восток, Забайкалье, где автор впервые встретил изображение золоторогого оленя.

Наскальные изображения увиденны не только глазами ученого, но и глазами художника. В оленьей самке, изображенной в эпоху неолита на камнях Ангары, он видит «лесную мадонну», проникнутую «очарованием женственности и материнства», а в сложных композициях прозревает «самую душу наших предков, их мысли и эстетический мир».

Разгадать смысл и назначение писаниц и тем самым проникнуть во внутренний мир первобытных людей автору помогают древние легенды и сказки, которые донесли до наших дней седые жители тайги, некогда участвовавшие в шаманских мистериях у скал с изображениями тысячелетней давности. Поверенные мифом старые рисунки медленно раскрывают свои тайны.

Древнее искусство, пишет А. П. Окладников, родилось из насущных потребностей живших когда-то народов. Ученый обнаруживает, что бык и лошади на Шишкинских скалах похожи на пещерную живопись Испании и Франции, рогатые человечки на Лене, колесница в Монголии — на наскальную живопись Скандинавии, а изображение лодки с гребцами на одной из северных рек повторяет известный египетский мотив.

Не все тайны и загадки древнего искусства раскрыты в книге. Главное в том, что мы встретились с нашими далекими предками и посредником в этом свидании стало искусство.

На одном из «оленных камней» в Монголии изображен олень с бронзовым зеркалом в рогах. А. П. Окладников представил древнее искусство тем сказочным зеркалом, в котором современный человек может увидеть смутно проступающие черты своего предка.

Наивный художник прошлого создал великие произведения, не утратившие и по

сей день своей эстетической ценности. Ритуальная цель забывалась, древние рыбы и лоси вымирали, человек, начертавший смелые и властные линии, погибал, сменялись эпохи... А искусство, созданное в те времена, живет, волнует и загадывает загадки, как сказочная царевна Неоцененная Красота.

Н. Белинкова.

★

**БОРИС ЛУНИН.** Смерть ойуна. Якутская быль. «Детская литература». М. 1964. 136 стр.

Слава бывает различной. Увы! — есть и громкая слава шамана. Об одном представителе этой жреческой профессии рассказывает книга «Смерть ойуна».

Николай Протасов был влиятельнейшим шаманом (ойуном) в Якутии. Карьера его началась рано. Десятилетним мальчиком он впервые увидел камланье — пение и пляску шамана. Зрелище это так сильно воздействовало на ребенка, что он тут же принял за передразнивать и подражать.

Шло время. Старики стали поговаривать: «Из этого паренька получится шаман, какого давно не было». Прослышал о нем и «великий шаман» Дарха. Когда юноша тяжело захворал, Дарха совершил над ним моление. Вихрь устрашающих песнопений и плясок, оглушающий грохот бубна, перезвон железных подвесок и метание бесчисленных хвостов плаща заклинателя — все это потрясло и без того помутненное сознание больного.

С тех пор Дарха взял юношу под свою опеку. Теперь ничто не могло вернуть его к обычной жизни, он был огражден от нее всяческими запретами, и юрта, где он обитал, будто стала обведенной заколдованным кругом.

Дарха долго не выпускал юношу из своих цепких лап. Осторожно и хитро он вводил ученика в свой мистический мир. Наконец посвящаемый тоже научился камлать — уноситься в царство «таинственных духов» и увлекать за собой слушателей, захваченных его страшными заклинаниями. Так Протасов стал преемником Дарха и в еще раннем возрасте достиг вершины ойунской славы.

Кстати, в книге имеется любопытное пояснение: слово «шаман» происходит от маньчжурского «саман», что означает — исступленный, а якутское название «ойун» от слова «ой» — прыгать. Это невольно заставляет вспомнить трясунгов, хлыстов и других сектантов, подобными же способами доводящих себя до исступления. Примечательная общность изуверства!

Книга Б. Лунина насыщена так называемой «познавательностью». Но скажем сразу, читателя не должен настораживать этот термин, ставший несколько одиозным: скуки в книге нет. И дальнейшая судьба Протасова весьма любопытна. Он не только бросил профессию ойуна, но и стал деятельным советским человеком, умелым трактористом.

Этот сложный процесс становления человека автор показал убедительно.

А. Таланов.

★

**ИГОРЬ АКИМУШКИН.** И у крокодила есть друзья. «Молодая гвардия». М. 1964. 269 стр.

Первая книга И. Акимушкина «Следы невиданных зверей» появилась всего четыре года тому назад. За этот небольшой промежуток времени молодой биолог опубликовал несколько книг. Все они написаны живо, увлекательно, насыщены богатым познавательным материалом.

Новая книга И. Акимушкина посвящена взаимопомощи в мире растений и животных. Этот вопрос мало освещался в нашей популярной литературе, а между тем он имеет важное значение не только для понимания биологических явлений, но и для опровержения реакционной теории мальтузианства.

Обычно знания неспециалистов о симбиозе и взаимопомощи ограничиваются примером симбиоза рака и актинии, а также крокодила и маленьких птичек (куличков). Читая книгу Акимушкина, читатель убеждается, что эти примеры — только капля в море. Автор обрушивает на читателя целый водопад интересных фактов из разных разделов биологии.

Открытие симбиоза действительно началось с крокодилов. Это открытие было сделано греческим ученым Геродотом в 450 г. до нашей эры. Геродот приехал в Египет. Там жрецы показали ему храм крокодилов. В мраморных бассейнах дремали огромные рептилии. Их толстые лапы перехватывали золотые кольца, в ушах сверкали драгоценные камни. На дорогих блюдах слуги подносили крокодилам жареных куропаток, свиные окорока, пироги и кексы всех сор-

тов. Но не это поразило Геродота. Его изумили маленькие серенькие птички.

...Поев, крокодилы раскрыли рты. Птички, которые дожидались в сторонке своей очереди, тотчас же полетели к ним в пасти. Крокодилу стоило бы лишь прикрыть рот — и он проглотил бы сразу десяток вкусных куличков. Но крокодилы никогда этого не делают: без птиц-дантистов их зубы быстро испортились бы. Часами лежат крокодилы с открытыми ртами, а птички безбоязненно бегают между их зубами, чистят их.

И. Акимушкин рассказывает о многих любопытных явлениях симбиоза. Нельзя без удивления читать о том, что в Новой Зеландии на скалистых островах живет трехглазая ящерица туатара. Животное это древнее, чем бронтозавры, ихтиозавры, диплодоки и другие вымершие ящеры-великаны. Двести миллионов лет тому назад туатары произошли от первых рептилий. Это удивительное существо «дружит» с птицей буревестником и мирно живет с нею в одной норе.

Главы книги имеют неожиданные и интригующие названия: «Насекомые разводят грибы» (о термитах), «Насекомые доят коров» (о муравьях), «Муравьи — рабовладельцы» и т. п. Чрезвычайно интересны страницы, посвященные «языку без слов», то есть способам общения животных, способам передачи информации, иногда весьма сложной. «Язык танцев» у пчел, муравьев и пауков, «язык запахов» и многие другие виды сигнализации, — все это освещается на основе новейших достижений науки.

Автор нигде не стремится показать, что наука раскрыла уже все загадки природы. Он подчеркивает, что многое еще неясно и требует исследования.

Книга полна своеобразного юмора и ярких, запоминающихся сравнений.

В. Шпринк.





# ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

## ЭМ. КАЗАКЕВИЧ — ВОЙСКОВОЙ РАЗВЕДЧИК

Прошло много лет, а кажется, совсем недавно в темной землянке при тусклом свете копилки писатель Эммануил Генрихович Казакевич записывал в свои блокноты впечатления о боевых действиях советских разведчиков на войне, участником которой с первого и до последнего дня он был.

Нет сейчас в живых Казакевича. Но передо мной на столе лежат его книги о суровых годах войны — «Звезда», «Весна на Одере», «Сердце друга» и другие.

С Казакевичем мне довелось пройти в одной воинской части путь от Днепра до Берлина и до встречи с союзниками на Эльбе.

...Шел 1943 год. Войска нашей армии готовились к наступлению. Кто был на фронте, тот хорошо знает, какое невероятное напряжение физических и душевных сил требуется от разведчиков перед началом наступления. Немало бессонных ночей провели мы в поисках «языка», а пленных все не было. Сложность была еще в том, что перед нашим передним краем расстилалась болотистая пойма реки.

Река была быстроходной, по ней плыло много бревен, коряг, разной домашней утвари. Много разведчиков утонуло тогда в реке, пытаясь под обстрелом противника добраться до противоположного берега. Немало погибло в траншеях, в схватках рукопашного боя.

Помню, как-то на рассвете я стоял в траншее, наблюдая за противником. Ко мне подошел молодой сухощавый офицер в очках и вежливо, не по-военски, поздоровался. Прищурившись, он тоже стал наблюдать за течением реки и спросил: «Можно мне предложить?» Не дождав ответа, он сугубо гражданским языком стал излагать свой план действия: пустить дерево по течению реки и под его прикрытием разведчикам добраться до того берега. Такой план показался нам прими-

тивным и ничего не обещающим. Однако совет этого «штатского» офицера лег потом в основу действий разведгруппы по захвату пленного.

Ночью было свалено несколько ветвистых деревьев, и когда первое из них поплыло по реке, то оно вызвало интенсивный огонь с противоположного берега. Через большие промежутки времени поплыло второе, а затем — третье дерево, немцы стали меньше реагировать на это, а потом вообще перестали обращать на них внимание. Мы же упорно следили за тем, куда течение относит деревья и через какое время они касаются противоположного берега. За одним из таких деревьев, держась за его ветки, и поплыли разведчики.

Наступили сумерки. Ночь была теплая, от реки тянуло сыростью. Немцы почему-то не стреляли, даже не пускали ракет. Только изредка лучи дальних прожекторов рыскали по ночному небу. В траншее стояла напряженная тишина. Бойцы молча курили махорочные самокрутки, волнуясь за своих друзей-разведчиков... Вдруг на рассвете на противоположном берегу реки взметнулась высь красная ракета, и сразу грянула артиллерийская канонада. Люди бросились к своим боевым постам. На западном берегу что-то ярко запылало, вверх поднялись столбы дыма, песка, щебня. Это наши артиллеристы прикрывали отход разведчиков. Артиллерийская канонада закончилась так же внезапно, как и началась. Кто-то передал по телефону, что разведчики возвратились и находятся на соседнем участке. После долгого ожидания мы увидели наконец у поворота траншеи усталых, вымокших с ног до головы, сияющих и счастливых участников этой дерзкой операции, которые волокли «языка».

Вы, конечно, догадываетесь, что «штатским» офицером был Эммануил Казакевич. После этого случая мы ближе познакоми-

лись и стала добрыми друзьями. Он был интересным собеседником, очень эрудированным и обаятельным человеком. Был прост в обращении, никогда не зазнавался и не говорил льстивых слов. Часто ему попадало от начальства за его «штатскую» прямолинейность. Некоторым кадровым офицерам его прямота казалась наивностью, незнанием особенностей взаимоотношений между военнослужащими. Но затем стало ясно, что это черта характера писателя, который не переносил ни грубости, ни преклонения.

В дивизии полковника В., где служил в ту пору Казакевич, плохо работала разведка. Начальник разведотделения штаба дивизии кадровый офицер Н. кичился своей военной выправкой, знанием военной службы, а по существу это был сухой и ограниченный человек, которого разведчики не уважали. От занимаемой должности этот офицер был освобожден, и на его место назначен Казакевич. Специальной военной подготовки у Казакевича не было, но это компенсировалось тем, что у него был ясный ум, душевный подход к людям, безграничная любовь к родине. Новый начальник разведки за короткий срок сумел выправить положение. Разведчики его полюбили и готовы были идти за ним в огонь и воду.

В одном из боев Казакевич был ранен и эвакуирован в тыл. Мы часто получали от него письма. Его очень интересовали дела на фронте, судьба товарищей. Войска нашей армии с боями продвигались на запад, а госпиталь, где лечился Казакевич, все дальше и дальше эвакуировался на восток. Последнее его письмо было из какого-то очень дальнего госпиталя. А когда мы вели бои уже за освобождение Польши, под Варшавой ко мне в блиндаж, опираясь на палку, вошел слегка прихрамывающий, улыбающийся Казакевич. Встреча была неожиданной, радостной, и мы наперебой задавали друг другу вопросы, сообщали фронтовые и тыловые новости. Эммануил Генрихович мне заявил, что не мог дальше оставаться в тылу, а поскольку врачи отказывались его выписывать, то он без документов «самовольно» бежал из госпиталя на фронт догонять своих боевых друзей. Помню, что крепко ругал его за такую недисциплинированность, а в душе любился и радовался. Понимал, что не мог он сидеть в тылу и смотреть, вздыхая, на заживающие раны. Казакевич стал работать

в разведотделе штаба армии, где я был начальником отдела.

Так вместе с ним мы прошли с боями через всю Польшу, форсировали Одер, с юга обошли Берлин и участвовали в его штурме.

Мы всегда удивлялись упорству, трудолюбию и работоспособности Казакевича. Когда он только отдыхал? В перерывах между боями, глубокой ночью, когда очень крепко солдатский сон, он сидел над блокнотом, записывал свои наблюдения, мысли. Своих героев он не выдумывал. Он писал о жизни, быте и борьбе близких друзей и товарищей, с которыми шел по дорогам войны. Писатель жил жизнью своих героев — лейтенанта Травкина и майора Лубенцова. Многие эпизоды в его книгах навеяны совершенно реальными событиями, свидетелем или участником которых он был.

В романе «Весна на Одере» описываются горькие переживания старого солдата коммуниста Сливенко, у которого фашисты угнали на каторгу любимую дочь.

Это все было в действительности. Когда фашисты оккупировали город Николаев, они угнали многих советских людей в Германию. Среди них была дочь подполковника Шевченко Нюся. Николай Сергеевич очень страдал. Когда наши войска форсировали Одер и стали с боями продвигаться по немецкой земле, были созданы подвижные отряды, которые вырывались вперед для освобождения узников лагерей. Колонны освобожденных людей устремлялись на восток, навстречу советским войскам. Встречи эти были трогательные и волнующие. Шли торопливые расспросы — кто и откуда. Некоторые встречали своих земляков. Подполковник Шевченко все время находился в передовых отрядах и упорно спрашивал о дочери. В одной из таких встреч оказалось, что девушки знали Нюсю Шевченко, она была в их лагере, но потом ее куда-то перевели. Так и не удалось отцу разыскать свою дочь. Весточку о том, что Нюся жива и вернулась домой, он получил уже из Николаева.

...Война подходила к концу. В первых числах мая 1945 года из Берлина на запад хлынула огромная масса немецких войск. Пленные показывали, что они идут на соединение с войсками, которые ведет с запада какой-то генерал, чтобы уничтожить здесь русских и восстановить положение.

Перекрыть все дороги было невозможно, немецкие войска просочились через боевые порядки наших полков и дивизий и вышли в район Вахов, где располагался штаб армии. Батальон охраны штаба армии, связисты, разведчики заняли круговую оборону. На горизонте показалась колонна человек в триста. Впереди колонны — несколько штурмовых орудий «фердинанд». Левее этой колонны двигались еще отряды гитлеровцев. Шли медленно, с оглядкой. По головным колоннам немцев был дан залп из винтовок и пулеметов. Зенитки выпустили бесприцельных два выстрела. Немцы рассыпались по придорожным кюветам и кустам. Самоходки противника открыли огонь. Вся колонна залегла.

Мы наскоро выслали несколько групп разведчиков. Вдруг ко мне подбежал Казакевич и торопливо проговорил: «Зачем проливать лишнюю кровь? Давайте пошлем к немцам парламентариев, чтобы сдались в плен. Я знаю немецкий язык, я и пойду к ним». Это было рискованно, но Казакевич настаивал. Через несколько минут броневичок с белым флагом покотился в сторону немцев. Казакевич остановил броневичок, где врассыпную лежали немцы. Встав на машину и подняв белый флаг, он громко обратился к ним:

— Солдаты, кто хочет жить, идите к нам, война закончена, и мы никого не убиваем...

Наступило молчание. Затем к броневнику стали осторожно подходить отдельные солдаты без оружия. Казакевич им заявил:

— Идите к своим и ведите их сюда. Мы гарантируем вам жизнь...

Расчет его полностью оправдался. Через некоторое время толпы немцев стали подходить к броневнику с белым флагом. Они внимательно всматривались в лицо советского офицера, прислушивались к каждому его слову. Пленные пошли за Казакевичем, а он спокойно шел с белым флагом. Броне-

вичок медленно двигался за необычной колонной. Среди немцев был назначен старший, и колонна вскоре приобрела воинский вид. По пути к ним все время присоединялись другие солдаты, вылезавшие из кюветов и воронок, обтряхивая на ходу придорожную пыль и грязь...

Затем выяснилось, что многие из них рвутся на запад не потому, что верят в победу (какая уж там «победа»). Рвались на запад потому, что многие были родом оттуда, а некоторые боялись наказания за свои дела. Навстречу необычной колонне подошел стрелковый взвод, высланный из батальона охраны. Взвод повел колонну, а Казакевич с белым флагом и несколькими немцами возвратился обратно к кустарнику. Так за двое суток один советский офицер без единого выстрела «взял в плен» более шестисот человек. За эту операцию Казакевич был награжден орденом Отечественной войны.

Закончилась война. Эммануил Казакевич очень часто бывал в немецких населенных пунктах и встречался с гражданскими людьми. Много разъезжал, рылся в библиотеках, разговаривал с немцами. Кстати, с собой он возил огромный сундук, в котором ничего, кроме книг, у него не было.

Штаб 47-й армии расположился в немецком городе Галле. Для нас, кадровых офицеров, наступила обычная военная жизнь в мирных условиях. Казакевич как-то заявил, что не находит своего места в этих условиях. Я предложил ему поехать на учебу в военную академию. Он медленно опустился на стул и каким-то глухим, усталым голосом произнес:

— Нет, товарищ полковник. Слишком я люблю мир, поэтому и пришел добровольно на фронт. А сейчас прошу представить меня к увольнению в запас!..

**М. МАЛКИН,**

*полковник запаса, бывший начальник  
разведотдела штаба 47-й армии / Белорусского фронта.*

## «ТВОРЧЕСКИЕ ДОМЫСЛЫ» О ВЕРЕЩАГИНЕ

В течение нескольких лет вышло три издания книги К. И. Коничева под названием «Повесть о Верещагине» (последнее вышло в 1964 году в издательстве «Советский писатель», тиражом 75 тысяч экземпляров).

Автор книги описывает жизнь и деятельность моего отца — художника Василия Васильевича Верещагина.

Эта повесть уже при первом своем издании вызвала (в 1957 году) резкий критиче-

ский отзыв членов военно-исторической секции Дома ученых имени Горького в Ленинграде. В отзыве указывалось: «Признать недопустимым переиздание названной книги Коничева или ее дополнительный тираж без надлежащей переработки...»

Это мнение основывалось на том, что в повести были обнаружены многочисленные искажения исторических фактов, ошибки в обрисовке образа художника Верещагина, равно как и событий из его жизни и взаимоотношений его с окружающими.

Но отзыв специалистов не возымел своего действия, и книга Коничева снова вышла в свет почти со всеми теми же грубыми искажениями истины.

К. Коничев большое внимание уделяет семейной стороне жизни моего отца, прибегая при этом к выдумкам (которые он называет «творческими домыслами»), ничего общего не имеющими с действительностью.

Чтобы высказанные мною утверждения не были голословными, приведу несколько примеров из множества неправдоподобных измышлений, содержащихся в повести.

Из письма В. В. Верещагина жене от 21 июня 1891 года, хранящегося в Государственной Третьяковской галерее, видно, что картина, изображающая Наполеона на Поклонной горе, писалась отцом еще в Париже, до переезда его в Москву за Серпуховскую заставу (см. также книгу А. К. Лебедева и Г. К. Буровой «В. В. Верещагин и В. В. Стасов», 1953, стр. 79). Коничев же, описывая процесс создания этой картины, нарисовал сцену, могущую потешить лишь очень неприхотливого и более чем наивного читателя. Сцена разыгрывается, по Коничеву, примерно так.

Ранним сентябрьским утром Верещагин едет в телеге по московским улицам на Поклонную гору с работником Иваном и с ряженым «под Бонапарта» и уныло поющим натурщиком, с запасами «харчей» и «сороковкой водки», спрятанной в «про-рванном барабане». В конце дня, в течение которого натурщик был нужен Верещагину только для того, чтобы писать его спину, вся компания, уже полупьяная, едет домой, останавливаясь по дороге у каждого кабака. Так ведет себя Верещагин, который в действительности не пил не только водки, но и виноградного вина.

Очень странно рисует К. Коничев творческий процесс художника. Вот, оказывает-

ся, как Верещагин писал Наполеона в том случае, когда лицо последнего (в картине «Дурные вести из Франции») должно было выражать сложную гамму чувств — тревогу, гнев, огорчение: он усаживает натурщика Петра и требует от него «соответствующего моменту выражения лица», а затем просто копирует на полотне ту мину, которую состроил натурщик.

Демократизм Верещагина Коничев представляет себе как вульгарность, панибратство и даже малограмотность, заставляя художника разговаривать языком зоенковских героев. Например, он говорит жене: «Мне, Лида, ничего не надо, а Петру подкинь чего там есть на кухне». Призывая родителей помочь деньгами брату Николаю, будущий художник якобы так обращается к своему отцу: «Подкинь ему денежок, да побольше...» С натурщиком Филипповым Верещагин разговаривает следующим образом: «Кстати, тебе бы не сивуху лакать, а бургонское» и т. д. в том же стиле!

На странице 364 Коничев вкладывает в уста художника (в разговоре с историком Забелиным) такую фразу: «Я, к сожалению, читал мало». Это — чистая бессмыслица. Я могу засвидетельствовать, что в мастерской отца была библиотека, имевшая много больше тысячи книг на французском, английском, немецком и русском языках. Это были книги по истории, социологии, естествознанию, философии, астрономии, путешествия, беллетристика и т. д. Большая часть книг имела на полях заметки, сделанные рукой отца. Перед каждым из своих путешествий отец тщательно изучал литературу, касающуюся страны, куда он ехал. Перед тем, как отец начал писать серию картин о 1812 годе, он перерыл архивы и перечитал множество сочинений современников об этой войне в библиотеках Парижа, Петербурга и Москвы. В своих литературных трудах отец подчеркивал необходимость для художника быть образованным человеком, сам всю жизнь читал и учился и вдруг, по воле К. Коничева, признается: «Я, к сожалению, читал мало»...

Но оставим в стороне бессмыслицы, касающиеся самого художника, а также «перлы» вроде описания Женевы как портового города («гавань с многочисленными кораблями»). Перейдем к характеристике, даваемой Коничевым жене Верещагина — моей матери.

Моя мать была для своего мужа не только женой, но и другом, советчицей, поддерживала его духовно во всех тяжелых обстоятельствах его жизни, а после его смерти была исполнительницей его заветов, шла для этого на любые материальные жертвы.

После гибели отца в 1904 году семья наша очутилась в весьма тяжелом материальном положении. В том же году мать с помощью В. В. Стасова организовала в Петербурге выставку оставшихся картин отца с последующим аукционом. Были даны объявления во всех крупных иностранных газетах, и в Петербург съехалось много богатых иностранных покупателей. Один из них — американский миллиардер Чарльз Крен — выбрал ряд понравившихся ему картин и открыто заявил устроителям выставки, что у него достаточно денег, чтобы побить на аукционе своих конкурентов.

По каталогу выставки значилось 400 экспонатов, из них 105 полотен маслом, некоторые очень больших размеров. Ожидалось, что аукцион даст более 1 миллиона рублей. Но в этом случае лучшие картины ушли бы за границу. Поэтому, помня желание отца сохранить картины в пределах России, мать обратилась в министерство двора с предложением продать всю коллекцию картин за любую сумму, которая будет предложена, но с условием, что вся коллекция будет помещена в музей. Одновременно мать отказывалась (в случае покупки) от ежегодной пенсии, которая была ей назначена.

Министерство двора ответило, что целая коллекция может быть куплена за 100 тысяч рублей и будет помещена в музей Александра III (ныне Русский музей).

Сумма эта была до смешного ничтожна, так как за одну только картину «Кабинет» московский фабрикант К. К. Вебер давал 25 тысяч рублей. А между тем надо было заплатить за устройство выставки, вернуть долги, жить, дать образование трем малолетним детям и содержать старуху мать.

Но моя мать согласилась и на эту сумму, сообщив в своем ответе министру двора барону В. Б. Фредериксу: «Я буду счастлива знать, что коллекция цела и находится дома, в России». (Всю историю продажи картин можно проследить по переписке Л. В. Верещагиной относительно продажи картин государству, копии писем находятся у меня.)

И вот для изображения такой женщины Коничев тоже прибег к тому, что он называет «творческим домыслом». В своей повести он характеризует мою мать как «дородную поповну» (хотя из прошения о поступлении в Московскую консерваторию явствует, что ее отец был чиновником), которая, родив мужу детей, не понимала его и ссорилась с ним, отговаривала его от путешествий и требовала, чтобы он сидел дома и писал картины в своей мастерской.

Мой отзыв о «Повести о Верещагине» был бы неполным, если бы я не упомянул, что свои «творческие домыслы» Коничев распространил и на отца художника, которого он изображает так, что может вызвать у читателя только отвращение к нему, рассчитывая, видимо, на то, что воспоминания самого художника («Детство и отрочество художника Верещагина», 1895, т. I) являются библиографической редкостью и, следовательно, проверка нелепостей Коничева для рядового читателя затруднительна.

Сейчас, когда творчество художника Верещагина ценится на его родине чрезвычайно высоко и память его пользуется глубоким уважением, особенно неприятно читать в книге К. Коничева, в которой он расхваливает Верещагина как художника, то, что искажает его человеческий облик, дает неверное представление о близких ему людях.

**В. ВЕРЕЩАГИН.**

Чехословакия.  
Карловы Вары.

## О НЕТЕРПИМОСТИ В ПОЛЕМИКЕ

Мемуары А. Штейна «Повесть о том, как возникают сюжеты», напечатанные в журнале «Знамя» (№№ 4, 5, 6, 7, 8 за 1964 год), вызвали разные критические отклики. Наибольшим успехом книга пользуется у крити-

ков — сотрудников «Знамени». Статья С. Дмитриева в «Литературной России» выдержана в жанре оды. По мнению Л. Скорино, книга А. Штейна не только выдающееся произведение, но и одно из тех, которые

начинают собой новый жанр («Вопросы литературы», № 1, 1955).

Однако не все критики считают эту книгу совершенной и безупречной. В. Азаров отметил в мемуарах наряду с достоинствами и недостатки: элементы недостоверности и безвкусицы («Литературная газета», 8 декабря 1964 года). В своих критических заметках («Новый мир», № 12, 1964) я тоже привел несколько примеров домислов, дурного вкуса, легкомысленного обращения автора с литературными источниками.

Мой критический отзыв вызвал гневную статью редакции «Знамени» — «Разбирательство с пристрастием» (№ 3, 1965).

Редакция недовольна тем, что в моей статье нет глубокой разработки творческих проблем, подробного эстетического анализа. Чего нет — того нет. Но ведь мой короткий критический отзыв «Сочинение с ошибками» имеет подзаголовок «Заметки на полях мемуаров А. Штейна». Заниматься на полях глубокой разработкой творческих проблем, на мой взгляд, невозможно — для этого просто нет места.

Ошутив теоретические изъяны в моих заметках, редакция решила восполнить этот пробел в своей статье. Мемуары А. Штейна поставлены им по соседству с книгой Герцена «Былое и думы». Отдав дань восхищению книгой, редакция обрушивается на ее оппонента.

Мое утверждение — «драматургический сюжет в книге мемуаров столь же излишен, сколь он необходим в драме» — вызывает страстную отповедь: «Ну а если драматичны сами по себе жизненные ситуации, взаимоотношения людей, тогда как быть, уважаемый тов. Малюгин? Отмахнуться от этого драматизма, смягчить его?»

На глазах у изумленных читателей происходит подмена. Я доказывал, что Штейн в книге воспоминаний строит искусственный драматургический сюжет, а в «Знамени» доказывают, что я призываю отмахнуться от драматизма жизненных ситуаций. Неужели редакция не понимает разницы между драматургией и драматизмом?

Уклонившись от спора с конкретными критическими замечаниями, редакция «Знамени» приписывает мне вещи, которые я не говорил и не мог говорить. «Л. Малюгин бросается в другую крайность — нет уж, раз мемуары — значит, пусть это будет плохо. Свообразный взгляд на природу жанра!»

Но какой же чудак будет призывать писать плохо в любом из жанров? Этот упрек вызовет улыбку даже у самого доверчивого читателя.

«Кто сказал Л. Малюгину, — говорится далее в статье, — что мемуары — мертвое и бесстрастное компилирование документов?»

Никто мне этого не говорил, равно как и я этого не говорил. Говорил же я о том, что мемуарам противопоставлены выдумка и вымысел, о том, что Штейн нарушает первое и главное условие жанра.

В этом отношении критики — сотрудники «Знамени» даже добавили новый материал. Л. Скорино говорит об одном из героев книги Штейна, летчике Василии Огневе, как о личности реальной и вместе с тем типической, о его жизни, похожей на подвиг. В статье С. Дмитриева, между прочим, говорится, что Огневым Штейн назвал летчика Очнева.

Все ошибки Штейна в редакционной статье застенчиво названы опечатками. Но переименование Очнева в Огнева — это, надеюсь, не опечатка? Во имя каких соображений летчику-герою отказано в праве выступать под своей фамилией? Читатель мемуаров Штейна так ничего и не узнает о летчике Очневе, погибшем за родину, его подвиги переданы другому лицу. Подобные домыслы вызывают уже не досаду, а чувство протеста.

В моих критических заметках приведены примеры чрезвычайно вольного обращения А. Штейна с литературными источниками. Я сожалел, что он не сверил свои цитаты с первоисточниками и тем самым поставил себя в конфузное положение перед читателями. В возражении применена передержка: дескать, Малюгин призывает писать мемуары на основе печатных источников. Где это вычитано — уму непостижимо!

В редакционной статье странное соединение возмущения с признательностью. «Подметив несколько опечаток, Л. Малюгин подробно описывает нам свое негодование. Спасибо. Исправим при переиздании».

За что «спасибо»? По законам русской речи получается — за негодование. А фраза: «Исправим при переиздании» — в редакционной статье повергнет читателя в полнейшее недоумение. Неужели «Знамя» собирается печатать мемуары А. Штейна вновь в исправленном виде?

Бывает часто так, что человек признает критику, но не исправляет ошибки. В данном случае критику не признают, а ошибки исправляют. Ну что ж, пожалуй, не зря писал я свои критические заметки. Сколько ни напускай теоретического и критического туману, а все ошибки исправить придется.

Одно плохо — в полемику врываются прямые оскорбления.

Мне приходилось читать по поводу себя много бранных и оскорбительных слов, но это было в давние времена.

Плохо, что в редакционной статье «Знамя» возрождает оскорбление словом. Я спокойно читаю «дотошный Л. Малюгин» или «аккуратнейший Л. Малюгин». Дотошность и аккуратность, на мой взгляд, не главные недостатки литератора. Но писать «подозрительный Л. Малюгин», право же, неприлично.

Заканчивается редакционная статья пассажем, на котором нельзя не остановиться. Цитирую:

«А вообще-то дело здесь в другом.

Один художник верит глубоко и переживает глубоко. Он пишет о главном, и материал не милует его, и каждый раз приходится решать сложнейшие проблемы, искать правду. Другой описывает увеселительные кинопрогулки «К Черному морю», и ему не приходится каяться: такие прогулки во все времена пригодны...

Пожалуйста. Пишите. Путешествуйте к Черному морю. Только уж не судите о том, как разорвался снаряд в гостинице «Астория», когда А. Штейн пришел жить туда во время блокады. Это разные жанры...»

Действительно, «К Черному морю» — неудача.

И все же я осмелюсь послушаться строгой редакции, тем более что и А. Штейн пишет ведь не только о главном. И у него есть и слабые и легковесные вещи; скажем, «Весенние скрипки» А. Штейна еще появляются на театральной афише. Автор этой пьесы

прогуливается, правда, не к Черному морю, а в Юго-Западный район столицы, но разница здесь только в расстоянии, но отнюдь не в содержательности прогулок.

Я оставляю за собой право судить даже о том, как разорвался снаряд в гостинице «Астория», хотя бы потому, что весь 1943-й год прожил в этой гостинице, как раз тот год, когда Ленинград подвергался наиболее ожесточенным артиллерийским обстрелам. Номер в гостинице «Астория» — это не окоп переднего края и не фронтовой блиндаж, поэтому я никогда не делился с широким читателем этим фактом своей биографии, не видя в нем ничего особенного, но концовка редакционной статьи «Знамени» вынуждает меня к этому.

(Впрочем, о разрыве снаряда трудно судить даже постояльцам «Астории». Если верить воспоминаниям А. Штейна, он вошел в номер «Астории» в ту минуту, когда снаряд разорвался рядом с гостиницей, снес ларек на тротуаре. Если верить редакционной статье, начало жизни А. Штейна в отеле ознаменовалось разрывом снаряда уже непосредственно в «Астории». После такого прямого попадания в следующей статье снаряд разорвется, вероятно, уже в номере А. Штейна).

А. Штейн писал в своих мемуарах о том, как все курили фамиам Вишневному и какую дурную услугу оказали этим писателю. Из статей критиков — сотрудников «Знамени» С. Дмитриева, Л. Скорино и в особенности из редакционной статьи тоже доносится этот фамиам. Редкий абзац обходится без «художника», «большой литературы» и тому подобных слов, которыми надо пользоваться осторожно во избежание инфляции. Славословие, соединенное с нетерпимостью к критике, как правило, приводит только к плохим последствиям. Вот почему я считал своим долгом написать это письмо.

Л. МАЛЮГИН.



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ПОЛИТИЗДАТ

**Л. И. Брежнев.** О неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР. Доклад на Пленуме ЦК КПСС 24 марта 1965 года. Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 25 марта 1965 года. 47 стр. Цена 5 к.

**Возвращение.** Очерки. 280 стр. Цена 36 к.  
**Д. Гамшик, И. Пражак.** Бомба для Гейдриха. Документальная повесть. Перевод с чешского. 248 стр. Цена 38 к.

**Дело, которому мы служим.** Сборник статей. 80 стр. Цена 9 к.

**А. Н. Косыгин.** О государственном плане развития народного хозяйства СССР на 1965 год. Доклад и заключительное слово на пятой сессии Верховного Совета СССР шестого созыва 9 и 11 декабря 1964 года. 64 стр. Цена 6 к.

**Б. Кох, Б. Лукьянов, А. Романов.** Человек шагает в космос. 64 стр. Цена 6 к.

**Международное революционное движение рабочего класса** (К столетию I Интернационала). 439 стр. Цена 1 р.

**В. Монахов.** Пожнешь судьбу (Заметки о воспитании). 160 стр. Цена 14 к.

**Население мира.** Справочник. 344 стр. Цена 74 к.

**О религии и церкви.** Сборник документов. 128 стр. Цена 19 к.

**Пропагандистам о пропагандистском мастерстве.** 164 стр. Цена 24 к.

**И. Свенцицкая.** Запрещенные евангелия. 144 стр. Цена 13 к.

**Таким был Ленин.** Воспоминания современников. 608 стр. Цена 96 к.

### «МЫСЛЬ»

**М. Баскин.** Монтеские. 190 стр. Цена 25 к.  
**П. Гальдяев.** Критика современной буржуазной социологии. 95 стр. Цена 30 к.

**П. Жилин.** Как фашистская Германия готовила нападение на Советский Союз. 166 стр. Цена 17 к.

**Категории марксистско-ленинской этики.** 286 стр. Цена 1 р.

**Г. Кузьминов.** Чувственное и логическое в познании микромира. 119 стр. Цена 33 к.

**Е. Мархинин.** Цепь Плутона. 230 стр. Цена 38 к.

**В. Масальский.** Против фальсификации последствий технического прогресса при капитализме. 159 стр. Цена 50 к.

**В. Панкратьев, Ю. Томилин, Л. Моисеев.** Объединенная Республика Танзания. 96 стр. Цена 14 к.

**Применение электронно-вычислительных машин в управлении производством.** 509 стр. Цена 1 р 20 к.

**Прогрессивные мыслители Латинской Америки.** 431 стр. Цена 1 р. 40 к.

**А. Шигер.** Современная карта зарубежного мира. Административно-территориальное деление зарубежных стран. Справочник. 453 стр. Цена 93 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**М. Белецкий.** Засучивши рукава. Сатирические стихи. Перевод с украинского. 52 стр. Цена 7 к.

**А. Битов.** Такое долгое детство. Повесть. 208 стр. Цена 29 к.

**И. Велембовская.** Лесная история. Повести и рассказы. 208 стр. Цена 40 к.

**В. Величко.** Верую. Роман. 916 стр. Цена 1 р. 49 к.

**Г. Гачев.** Любовь, человек, эпоха. Рассуждение о повести «Джамиля» Ч. Айтматова. 100 стр. Цена 25 к.

**В. Герасимова.** Глазами правды. Повести. 400 стр. Цена 73 к.

**П. Дариенко.** Мне нужны дороги. Стихи и поэмы. Перевод с молдавского. 88 стр. Цена 13 к.

**М. Жестев.** Земли живая душа. Повесть. 180 стр. Цена 26 к.

**С. Залыгин.** На Иртыше. Повесть. 176 стр. Цена 31 к.

**А. Западov.** Забытая слава. Историческая повесть. 352 стр. Цена 66 к.

**М. Златогоров.** Люди, сердцу дорогие. Маленькие повести и очерки. 216 стр. Цена 31 к.

**Л. Иванов.** На земле родной (Дела и люди деревни). Очерки. 240 стр. Цена 45 к.

**П. Калица.** Ревающие сороковые. Повесть. 272 стр. Цена 38 к.

**К. Ковальджи.** Пять точек на карте. Повесть. 196 стр. Цена 29 к.

**Г. Нагаев.** На исконной земле. Стихи. 108 стр. Цена 10 к.

**В. Новиков.** Героическому времени — героическое искусство. 192 стр. Цена 45 к.

**Д. Осин.** Горюч-камень. Повесть. 332 стр. Цена 50 к.

**В. Панова.** Сентиментальный роман. 296 стр. Цена 43 к.

**А. Пысин.** Миллион адресов. Лирика. Перевод с белорусского. 112 стр. Цена 12 к.

**М. Рошин.** Как-нибудь двадцать минут... Рассказы. 260 стр. Цена 41 к.

**Л. Сапронов.** Дело к весне. Рассказы и повесть. 256 стр. Цена 39 к.

**А. Фарбер.** Вечный огонь. Стихи и поэма. 80 стр. Цена 15 к.

**А. Чистяков.** Вхожу в июнь. Стихи. 108 стр. Цена 13 к.

**О. Шаламберидзе.** Моя голубятня. Стихи. Перевод с грузинского. 84 стр. Цена 10 к.

**Шухрат.** Кавказская тетрадь. Стихи. Перевод с узбекского. 72 стр. Цена 8 к.

### «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Э. Вильде.** В суровый край. Молочник из Мяэюлы. Романы. Перевод с эстонского. 351 стр. Цена 62 к.

**Гелиодор.** Эфиопика. Перевод с древнегреческого. 374 стр. Цена 65 к.

**В. Ермилов.** Толстой-романист. 592 стр. Цена 1 р 46 к.

**С. Есенин.** Стихотворения. Поэмы. 552 стр. Цена 86 к.



**Г. Запольская.** Мораль пани Дульской. Пьесы, рассказы, повести. Перевод с польского. 344 стр. Цена 66 к.

**П. Кустов.** Родники. Лирика. 183 стр. Цена 38 к.

**Д. Максимович.** Дети становятся взрослыми. Роман. Перевод с сербохорватского. 256 стр. Цена 45 к.

**К. Миксат.** Выборы в Венгрии. Роман. Перевод с венгерского. 292 стр. Цена 41 к.

**К. Паустовский.** Избранная проза. 608 стр. Цена 1 р. 10 к.

**К. Полачек.** Карусель. Юмористические рассказы. Нас было пятеро. Повесть. Перевод с чешского. 383 стр. Цена 71 к.

**К. Причард.** Погонщик волов. Роман. Перевод с английского. 288 стр. Цена 94 к.

**Ж. Ренар.** Дневник. Избранные страницы. Перевод с французского. 503 стр. Цена 71 к.

**Р. Рильке.** Лирика. Перевод с немецкого. 256 стр. Цена 41 к.

**М. Садовяну.** Улица Лэпушняну. Повесть. Перевод с румынского. 320 стр. Цена 53 к.

**Эрджюменд Экрем Талу.** Атаман. Роман. Перевод с турецкого. 184 стр. Цена 19 к.

**Н. Тихонов.** Повести и рассказы 576 стр. Цена 1 р. 14 к.

**К. Чуковский.** Собрание сочинений в шести томах. Том первый. 736 стр. Цена 1 р. 40 к.

**М. Шолохов.** Собрание сочинений в девяти томах. Том первый. 432 стр. Цена 95 к.

**Ф. Шрабек.** Серебряный ветер. Роман. Перевод с чешского. 256 стр. Цена 60 к.

**М. Эшки.** Печаль о Родине. Стихотворения. Перевод с персидского. 128 стр. Цена 19 к.

#### «ИСКУССТВО»

**И. Вайсфельд.** Крушение и созидание. Статьи о зарубежном киноискусстве. 158 стр. Цена 62 к.

**Г. Островский.** Львов. Художественные памятники. 238 стр. Цена 1 р.

**В. Поленов, Е. Поленова.** Хроника семьи художников. Письма, дневники, воспоминания. 840 стр. Цена 4 р.

**М. Ромм.** Беседы о кино. 368 стр. Цена 1 р. 38 к.

**Русская жанровая живопись XIX — начала XX века.** Очерки. 384 стр. Цена 3 р. 60 к.

#### «НАУКА»

Аграрно-крестьянский вопрос на современном этапе национально-освободительного движения в странах Азии, Африки и Латинской Америки. 216 стр. Цена 70 к.

Большевистская печать и рабочий класс России в годы революционного подъема. 1910—1914. 408 стр. Цена 1 р. 46 к.

**А. Гессен.** Все волновало нежный ум... Пушкин среди книг и друзей. 509 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Н. Гольдберг.** Очерки по истории Индии. Национально-освободительное движение в новое время. 188 стр. Цена 75 к.

**Б. Дэвидсон.** Черная мать. Африка: годы испытаний. Перевод с английского. 280 стр. Цена 90 к.

**А. Желтяков, Ю. Петросян.** История просвещения в Турции. Конец XVIII — начало XX в. 176 стр. Цена 54 к.

**Идея развития в биологии.** Сборник. 204 стр. Цена 95 к.

**История и историки.** Историография истории СССР. Сборник статей. 469 стр. Цена 2 р.

**Критический реализм в литературе западных и южных славян.** 340 стр. Цена 1 р. 8 к.

**Л. Крысин, Л. Скворцов.** Правильность русской речи. Словарь-справочник. 232 стр. Цена 80 к.

**Н. А. Морозов.** Повести моей жизни. Мемуары. В 2-х томах. Том 1. 407 стр. Том 2. 702 стр. Цена 3 р. 50 к. за 2 тома.

**Л. Пономарева.** Рабочее движение в Испании в годы революции. 1931—1934. 327 стр. Цена 1 р. 26 к.

**Б. Райков.** Григорий Ефимович Щуровский. Ученый натуралист и просветитель. 1803—1884. 73 стр. Цена 18 к.

**Б. Рыбанов.** Русские датированные надписи XI—XIV веков. 48 стр. Цена 1 р. 44 к.

**И. Смиланский.** Крестьянское движение в Ливане в первой половине XIX в. 228 стр. Цена 75 к.

**Ю. Соронин.** Развитие словарного состава русского литературного языка. 30—90-е годы XIX в. 565 стр. Цена 3 р. 40 к.

**А. И. Тургенев.** Хроника русского. Дневники. 1825—1826 гг. («Литературные памятники»). 624 стр. Цена 2 р. 80 к.

**И. Фильштинский.** Арабская классическая литература. 312 стр. Цена 72 к.

**Эклога.** Византийский законодательный свод VIII века. 228 стр. Цена 1 р.

**Н. Яковлев.** Воспоминания геолога-палеонтолога. 87 стр. Цена 30 к.

#### СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО (СВЕРДЛОВСК)

**Я. Резник.** Народный комиссар. Повесть о Серго Орджоникидзе. 190 стр. Цена 54 к.

**Тыко Вилна.** Избранное. 65 стр. Цена 8 к.

#### ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО (ГРОЗНЫЙ)

**А. Веджижев.** Следы. Сборник рассказов. Перевод с ингушского. 160 стр. Цена 26 к.

**Т. Кодзоеса.** Испытание. Сборник рассказов. 88 стр. Цена 13 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.  
Почтовый адрес: Москва, К-6. пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 1/IV-65 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 13/V-65 г.  
А 02762. Формат бумаги 70 × 108<sup>1/16</sup>. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.) Тираж 125.700 экз.  
Зак. 770.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636